

ЗВЕЗДА

ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал
1941 ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ № 6

СОДЕРЖАНИЕ

172723

<i>Д. М. Андреев. В гимназические годы</i>	3
<i>Армас Эйкия. Четыре стихотворения. Перевод с финского и вступительная заметка Владимира Заводчикова</i>	16
<i>Николай Никитин. Вечер в Доме искусств. Рассказ</i>	21
<i>Леонид Хаустов. Рождение города. Снова в Москве. Мать. Стихи</i>	27
<i>Павел Далецкий. Возмездие. Роман. (Продолжение)</i>	29
<i>Мария Комиссарова. Павлу Тычине. Стихи</i>	99
<i>В. Тоболяков. Капкан. Олень. Рассказы</i>	100
<i>Виктор Головин. На станции метро. Стихи</i>	104
—	
<i>С. Марвич. Девятка</i>	105
<i>Ал. Черненко. В Н-ском стрелковом</i>	112
<i>Александр Морозов. Буковинские будни</i>	123

А. М. ГОРЬКИЙ

К 5-летию со дня смерти

✓ <i>В. Саянов. Встречи с Горьким</i>	145
<i>Александр Прокофьев. У Горького</i>	152
✓ <i>О. Форш. Четыре письма А. М. Горького</i>	153
<i>Ек. Замысловская. Из воспоминаний</i>	155
<i>О. Матюшина. Впечатления и встречи</i>	163
<i>Борис Садовской. Горький в Нижнем</i>	172
<i>К. Муратова. Новые цензурные материалы о М. Горьком</i>	176
<i>Г. Ф. Лано. А. М. Горький в Петропавловской крепости в 1905 году</i>	180

КРИТИКА

<i>Г. Ленобль.</i> Горький-поэт	182
<i>В. Друзин.</i> Поэзия Виссариона Саянова	191

БИБЛИОГРАФИЯ

<i>И. Эвентов.</i> Ф. Гаврилова. «Записки рядового партийца»	197
<i>А. Бен.</i> В. Тоболяков. «Сибирские рассказы»	198
<i>Д. Золотницкий.</i> Вл. Лидин. «Дорога на Запад»	199
<i>Д. Золотницкий.</i> И. И. Лебедев. «Из давних лет»	201
<i>Н. Степанов.</i> Борис Брик. «Шамиль»	202
<i>Р. Миллер-Будницкая.</i> Жюль Ромэн. «Прелюдия к Вердену». «Верден»	203
<i>О. Немеровская.</i> Томас Бойд. «В мирное время»	204
<i>С. Давыдов.</i> В. Я. Виленкин. «Вл. И. Немирович-Данченко»	206
<i>С. Касторский.</i> В. Десницкий. «М. Горький»	207
<i>Н. Пиксанов.</i> Н. Белкина. «В творческой лаборатории М. Горького»	209
<i>Н. Пиксанов.</i> Н. Калинин. «Горький в Казани в 1884—1888 гг.»	211
<i>Э. Голлербах.</i> Портрет А. М. Горького работы Эмиля Орлика	212

Д. М. Андреев

В ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ГОДЫ

Когда встают передо мной давно минувшие дни детства, я всегда с любовью вспоминаю свой родной и тихий Симбирск.

Он стоит на высоком берегу Волги и окружен со всех сторон фруктовыми садами, ослепительными в своем белорозовом весеннем уборе. Крутые склоны, спускающиеся к реке, покрыты целым лесом яблонь, груш и вишен, кустами смородины, барбариса и крыжовника. Эти сады доходят до самой воды. Под городом, на берегу, раскинулась слободка с хлебными амбарами и складами волжской пристани. От пристани наверх, в город, вьется между садами проезжая дорога. Сады между собой разделены плетнями, и наверху, где они кончаются, простой плетень отделяет сады от Венца.

Как с палубы воздушного корабля, открывается широкий вид с Венца на Волгу с ее караванами баржей и плотов, с песчаными отмелями и берегами, на которых горят костры рыбаков, на заливные луга и зеленые заволжские дали, на весь простор и необъятность бесконечных лесов и степей.

Здесь, в этом тихом городе с цветущими садами, на берегу могучей, широкой реки родился Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

Первое воспоминание об Ульянове связано у меня со вступительными экза-

менами в симбирскую классическую гимназию.

Рядом со мной на парте сидел мальчик. Он был гораздо ниже меня ростом. Его слегка рыжеватые волосы были растрепаны. Он правильно и бойко отвечал на все вопросы и этим обращал на себя внимание. Большинство из поступавших мальчиков смущалось, я тоже стеснялся и чувствовал себя неуверенно, а мой маленький сосед так быстро решил заданную нам задачу и так хорошо написал диктовку, что мы все, державшие экзамен, невольно прониклись к нему уважением. Как я узнал потом, это был сын инспектора народных училищ Володя Ульянов.

Гимназия наша стояла в самом центре города, на Спасской улице, против женского Спасского монастыря.

В одном из гимназических зданий были пансион для живущих учеников и квартира инспектора, в другом — лазарет, а в остальных двух зданиях были классы, церковь и квартира директора. На дворе был гимнастический плац с разными приспособлениями для гимнастики. Окна классов выходили на Карамзинский садик, где стоял памятник Карамзину. А с другой стороны гимназии была Соборная площадь, которая кончалась Венцом, и стоял дом губернатора.

Первые дни гимназической жизни связаны у меня с тяжелыми переживаниями. Вскоре после экзаменов внезапно скончался мой отец, и я остался круглым сиротой, на попечении тетушки. Придя в класс после похорон отца и очутившись среди чужих мне мальчиков,

¹ Эти воспоминания Д. М. Андреева записаны его внучкой, Е. В. Андреевой, со слов деда.

я еще острее почувствовал свое одиночество. Я угрюмо сидел на парте и еле сдерживал слезы, когда ко мне неожиданно подошел Володя Ульянов.

— Я знаю, что у тебя умер отец. Да ты не унывай!

Видя, что у меня глаза наполняются слезами, он добавил:

— Хочешь, я отточу тебе карандаш?

От этих простых слов, которыми он хотел меня утешить, слезы полились ручьями. Мне было стыдно плакать перед товарищами, и я, подняв крышку парты, спрятал в нее голову. Володя не отходил от меня. Он что-то говорил и до тех пор оттачивал мои цветные карандаши, приготовленные для рисования, пока я не справился со слезами.

Этот маленький эпизод врезался в мою память на всю жизнь, и с этого дня я почувствовал к Ульянову большое влечение и нежную дружбу.

Потом я узнал, что хорошо отточенные карандаши были слабостью Ульянова. Он не любил писать, если кончик карандаша чуть-чуть притуплялся, и всегда терпеливо оттачивал его. Уже в первом классе он мастерски умел точить карандаши и с удовольствием оттачивал их своим товарищам.

Помню, что как-то раз в младших классах один из учеников задался целью из озорства ломать кончики всех карандашей Володи. Долго не знал Ульянов, кто портит его карандаши. Но как-то раз во время перемены, войдя случайно в класс, он поймал преступника на месте.

Недолго думая, Володя схватил его за шиворот и отколотил.

С тех пор карандашей Володи никто уже не трогал.

С первой же учебной четверти Ульянов выдвинулся среди товарищей своими способностями, блестящими ответами и стал первым, совершенно исключительным учеником.

Он не был из тех первых учеников, которые во время перемены не расстаются с книжкой. Наоборот, он всегда много бегал, смеялся и старался расшевелить таких неповоротливых товарищей, как я.

Во время большой перемены, когда в хорошую погоду все ученики выходили во двор и делали гимнастику, он с большой ловкостью прodelывал упражнения

на канатах, шестах, на турнике и на лестнице.

Мне припоминается, что, несмотря на свою резвость, Володя уже в младших классах отличался большой аккуратностью. Например, он не терпел никакого беспорядка в своей ученической парте: тетради всегда были сложены с одной стороны, книги — с другой, а пенал с карандашами и перьями лежал между ними.

На уроках Ульянов никогда не шалил и не развлекался посторонними делами.

Даже на уроках чистописания и рисования, которые проходили особенно шумно, он сидел спокойно и выводил букву за буквой или рисовал поставленную модель.

Первый учебный год был очень тяжел для меня. Я дичился товарищей, с трудом привыкал к гимназическим порядкам. В классе надо мной часто подсмеивались за высокий рост и застенчивый характер. Ульянов не терпел несправедливых насмешек и всегда заступался за меня. Только с ним мне было легко, но мы мало времени проводили вместе. Он всегда принимал участие в играх, любил прыгать и бегать, я же был довольно неповоротлив и в шумных играх участия не принимал.

Сходились мы только на игре «в перышки». Этой игрой увлекались все гимназисты младших классов. Она состояла в том, что одно перо клали на парту, а другим нажимали на его тупой конец так, чтобы перо перевернулось. Кто сумеет перо перевернуть три-пять раз подряд (по уговору), получал его в собственность.

Володя Ульянов очень любил сражаться в перышки и играл всегда с большим азартом. Очень хорошо помню, что у него была коробочка с новыми перьями, специально предназначенными для игры. И часто, не жалея, раздавал он свои новые перья товарищам.

Когда я был во втором классе, я, как сирота, перешел на полный пансион. В то время все ученики симбирской гимназии делились на приходящих и пансионеров. Володя Ульянов был приходящим, но довольно часто навещал пансионеров после уроков. Он приносил мне книги для чтения, и, когда отпускал надзиратель, мы иногда вместе гуляли.

Жизнь в пансионе вообще была очень однообразна, скучна и строго размерена до часам. И в пансионе и в гимназии соблюдались раз навсегда введенные правила. Для провинившихся учеников была разработана целая система наказаний. Самым легким из них считалось стояние в углу в течение часа или двух, а самым тяжелым — сидеть в карцере. За шалости на уроках обыкновенно виновные оставлялись в классе после окончания занятий на несколько часов под наблюдением надзирателя или сторожа. Очень часто практиковалось оставление «без обеда».

О младших классах гимназии у меня сохранилось не много воспоминаний. Помню только, что зима нам казалась скучной и однообразной, а с наступлением весны оживал и гимназический пансион.

Весной мы устраивали экскурсии за город и на Волгу, играли на дворе в лапту, в бабки и ходили целой гурьбой в симбирские сады за птичьими гнездами.

Помню, что один из мальчиков собирал коллекцию птичьих яиц. Он сам смастерил себе ящик со стеклянной крышкой и с ячейками для яиц. В каждой ячейке на вате лежало яйцо, а на крышке было наклеено название птицы и обозначено, где и когда найдено гнездо. Мы все с интересом рассматривали эту коллекцию, когда он иногда приносил ее в класс.

По воскресным дням мы целыми артелями забирались в сады. Бегом носились мы по садовым тропинкам между яблонь и груш, перелезали через заборы, опускались под гору, снова поднимались, пока не находили подходящего сада. От запаха цветущих яблонь чуть не кружилась голова. То тут, то там чирикали птицы, с Волги доносились гудки парохода. Набегавшись по садам и отдохнув немного, мы начинали высматривать птичьи гнезда, заглядывая в чащу кустов и в ветви деревьев.

Володя Ульянов ловко взбирался на дерево, находил гнезда, но спускался на землю с пустыми руками или приносил одно яйцо из полного гнезда. Как-то раз он сознался нам, что коллекция яиц его не соблазняет и он не может ради пустой забавы разорять птичьи гнезда.

Пока мы лазали по деревьям, Володя

иногда неподвижно сидел на одном месте, терпеливо наблюдая за жизнью какой-нибудь букашки.

Один раз Володя раскопал норку названного жука. Он читал дома в какой-то книге про жизнь насекомых и теперь, раскапывая землю, с увлечением рассказывал товарищам то, что прочел.

Отверстие в норку жука было очень широкое, и нора была глубиной около метра. Нора была разделена на камеры. В одной камере оказался большой склад навоза, а в другой, на самой глубине, лежали аккуратно скатанные навозные шарики. Мы никак не могли догадаться, для чего жуки делают навозные шарики. Володя обещал спросить об этом своего старшего брата или найти в книжке.

На другой день он сообщил нам, что навозный жук перетаскивает в так называемую «детскую» свой запас навоза, в который и кладет яички. Из яичек выходят личинки, которые питаются этим навозом.

Потом он рассказывал нам, что в древнем Египте навозные жуки считались священными. Египтяне высекали их изображения из камня, лепили из глины и помещали в храмах или как талисманы носили на теле. Нам это показалось очень смешным, и мы все перепачкались в глине, пытаясь вылепить талисман в виде навозного жука.

Тяжелое дело для школьников — вернуться в город осенью и снова засесть за учебу, а еще тяжелее после привольной деревенской жизни возвращаться в гимназический пансион.

Об учебы никто не думает.

Школьники собираются кучками, обмениваются летними впечатлениями: тут и рыболовы, и ботаники, и коллекционеры минералов и птичьих яиц. Они рассказывают о своих удачах и неудачах, хвалятся своими приобретениями, обмениваются разными редкостями: собранными камушками и птичьими яйцами, сухими травами, жуками и бабочками.

Еще хочется бегать и лазать по деревьям, плавать в реке, кататься на лодке, но лето кончилось, а зима с ее коньками, снежными горами и вечеринками еще не пришла.

Начинался длинный учебный год.

Как-то компания гимназистов, к которой принадлежал Ульянов, решила за-

няться исследованием таинственных подвалов.

По рассказам стариков, в доме, где были квартиры наших воспитателей, когда-то содержался Емельян Пугачев. Его привезли в Симбирск после поражения. Закованный в цепи, сидел он в деревянной клетке, и люди приходили глядеть на него как на злодея, пока он не был отправлен на казнь в Москву. В этом же доме, по словам симбирских жителей, имелся почти законченный подкоп, прорытый сторонниками Пугачева для его побега.

Наслушавшись рассказов о Пугачеве, компания гимназистов решила проникнуть в дом воспитателей и найти там в подвалах таинственный ход. Несколько дней мы запасались свечными огарками. Одному мальчику удалось даже раздобыть фонарь, а другой принес небольшую лопату. Ульянов достал клубок толстых ниток.

— Чтобы не заблудиться, если подземный ход будет очень длинный и извилистый, — сказал он.

В продолжение нескольких дней мы после уроков тайком пробирались в подвал воспитательского дома. При тусклом свете фонаря мы терпеливо выстукивали стены, ощупывали углы и раскапывали пол. Но подземного хода не нашли.

Помню досаду и упорство Володи. Он дольше всех настаивал на продолжении поисков и сердился на нас за то, что мы быстро потеряли к ним интерес.

В тот год мы проходили в классе русскую историю. История Симбирска, как известно, связана с восстаниями Разина и Пугачева, поэтому эти восстания возбуждали в нас особый интерес. Мы стали собирать легенды, песни, которые сложились в народе, а многие из гимназистов сами пробовали писать на эту тему стихи и рассказы.

Помню, один из товарищей изобразил в стихах разговор Панина с Пугачевым в Симбирске. Эти стихи случайно сохранились у меня:

Вороненок я — не ворон!
Ворон скоро прилетит.
К сытым мести будет полон,
Всех несытых ублажит.
Издевался дворяне
Без конца над мужиком,
Не в такой кровавой бане
Быть за это им потом!
Помяни мое ты слово,
Ты, имеющий рабов,
Наш народ восстанет снова.

Пыль пойдет лишь от двorcов!
И тогда народ, свободный
От дворян и от цeпей,
Ум проявит свой природный,
Чтобы смыть позор людей.

Многие из нас переписывали эти стихи для себя. Ульянову они нравились. Он даже читал их громко в классе во время перемены.

Большой любовью среди учеников пользовался преподаватель латинского языка. Окончив Нежинский историко-филологический институт, он был вначале преподавателем истории и географии. Но за свободомыслие ему вскоре запретили преподавание этих предметов и поручили мертвую латынь. Но и эти уроки преподаватель сумел сделать для учеников самыми интересными и любимыми. Он говорил красиво, образно, с большим увлечением. Одухотворенностью своих речей он скоро привлек к себе сердца учеников. Увлекаясь историей, преподаватель часто обращался к ней. Когда он начинал говорить, весь класс замирал и, затаив дыхание, ловил налету каждое его слово.

Помню, как мы должны были читать в классе речь Цицерона. Перед чтением учитель хотел вкратце ознакомить нас с личностью Цицерона и Катилины. Он начал рассказывать и скоро нарисовал нам полную картину жизни Рима того времени. В следующий урок он опять вернулся к рассказу, обещая закончить его в нескольких словах, но так увлекся, что продолжал свой рассказ про римлян и Катилину еще четыре урока подряд. В порыве увлечения преподаватель часто делал намеки на неприглядную русскую действительность и проводил смелые сравнения. Ученики не прерывали его вопросами и впитывали каждое слово. Развернув перед нами широкую, яркую картину политической и экономической жизни древнего Рима, он приступил к чтению речей Цицерона. С каким интересом и вниманием переводили мы латинский текст! Подчеркивая красоту и образность речи древнего оратора, показывая нам ораторские приемы, преподаватель добивался того, что к концу урока гимназисты знали речь почти наизусть.

Как сейчас помню Ульянова. Он отличался феноменальной памятью и скорей нас всех запоминал латинские тек-

Стой стоя посреди класса, он декламировал по-латыни речь Цицерона, обращенную против Катилины:

— «До каких пор, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением?»

Класс замер, прислушиваясь к знакомым словам, в которые Ульянов сумел вдохнуть новую жизнь. Его резкий, мальчишеский голос дрожал на низких нотах, руки были крепко сжаты в кулаки, побледневшее лицо и широко открытые глаза поражали скрытым огнем и силой. Скоро Ульянов всех заразил своим вдохновением. Мы чувствовали себя римлянами, мы слышали речь бессмертного оратора и переживали его слова, которые падали в самое сердце. Латинист, сидя на кафедре, слушал, прикрыв глаза рукой. Он не шевелился, а когда Ульянов кончил, он молча подошел к нему и обнял.

— Спасибо тебе, мальчик! — сказал он ласково и хотел еще что-то добавить, но в эту минуту задрезжал звонок, и учитель, махнув рукой, вышел из класса.

В ту же весну я первый раз был в гостях у Володи. Когда он раньше приглашал меня, я всегда отказывался из-за большой застенчивости, но на этот раз настроение было такое скверное, что я сдался и пошел вместе с ним.

Это первое посещение дома Ульяновых врезалось в мою память. Я сидел с Володей в его комнате, во втором этаже над лестницей, и мы что-то читали, когда нас позвали вниз пить вечерний чай. Я не хотел идти, отказывался, но Володя силой потащил меня в столовую. Внизу, в гостиной, я сделал было последнюю попытку к бегству и чуть не своротил цветок, стоявший на подставке, но Володя схватил меня за руку и подтолкнул к открытой двери.

Его мать увидала меня, и все пути к бегству были отрезаны. В столовой, как мне со страху показалось, сидело много народу. Я никого не знал из Володиной семьи. Кое-как поздоровавшись, красный от смущения, я сел за стол. Мать Володи, добрая и симпатичная женщина, протянула мне стакан чая. Конфузья, я принялся за чай. Володя хитро поглядывал на меня и посмеивался. Мать Володи пыталась заговорить со мной. Я односложно отвечал на ее вопросы и

предпочитал молчать, пока Володя не завел оживленного разговора о гимназических проделках учеников. В этом разговоре приняли участие брат и сестры Володи. Каждый рассказывал про свой класс, что-нибудь вспоминал, все смеялись, спорили, острели. Понемногу, забыв смущение, я также разговорился. Скоро я так хорошо почувствовал себя в этой гостеприимной, радушной семье, что моей застенчивости как не бывало.

Прощаясь со мной, Володя, смеясь, сказал:

— Такой большой, а все трусишь!

Правда, я был на целую голову выше его, и он, маленький, смелый, никогда не мог понять моей детской застенчивости.

Оставшись на второй год, я нашел в новом классе новых друзей, но хорошие отношения с Ульяновым не прекратились. Попрежнему Володя заходил ко мне в пансион, изредка и я бывал у него в доме. Иногда мы вместе гуляли и встречались у общих друзей, например, у Коринфского и Сердюкова.

Мы все любили Аполлона Коринфского, который потом стал известным поэтом и был прозван «волжским певцом».

Коринфский жил один, почти самостоятельно, во флигеле родительского дома, и нас всех восхищала его громадная библиотека. Она занимала целую комнату и была составлена им самим. Коринфский много покупал книг, любил их и знал им цену. Когда к Коринфскому заходил Ульянов, его нельзя было оторвать от шкафов с книгами. Он взбирался на высокую табуретку, перелистывал книги и так зачитывался, что забывал все на свете. Бывало, зовешь его в общую компанию, а он только отмахнется и скажет:

— Отстань! — И даже уши заткнет, чтобы больше не приставали.

Коринфский, к сожалению, ушел из седьмого класса гимназии и занялся исключительно поэзией.

Володя Ульянов довольно часто бывал и у Сердюкова, который жил с матерью в двух маленьких комнатках. Сердюков был очень развитым мальчиком. Он много читал и говорил на запрещенные, революционные темы, приносил нам запрещенную литературу и учил революционными песням.

В наше время в гимназии было обязательным изучение одного западноевропейского языка: немецкого или французского, смотря по желанию. Ульянов изучал оба языка.

Французский язык преподавал м-сье Пор. Это был франтоватый, недалекий и с большим самомнением человек. В гимназии ходили слухи, что он был когда-то простым поваром, но потом ему повезло жениться на русской захудалой помещице, которая и помогла ему сделаться преподавателем гимназии.

Насколько эти слухи были правильны, я не знаю, но во всяком случае Пор преподавал скверно, и ученики его не любили. Пор считал своей обязанностью не только учить гимназистов французскому языку, но и красивым манерам. Он показывал, как надо кланяться при встрече на улице, при входе в комнату, как надо садиться и т. д. Я был так неспособен к галантным манерам, которые требовал Пор, что скоро мне все это надоело, и я совсем бросил французский. Фатовство Пора вызывало бесконечные насмешки учеников.

Володя Ульянов, который умел высмеивать дурные свойства людей, совершенно изводил француза своими насмешками. Я не помню подробностей, но знаю, что француза бесило подчеркнуто ироническое отношение к нему Ульянова. Володя был первым учеником, французский знал хорошо, и Пору не к чему было придражаться. Но, как-то окончательно выйдя из себя, он все-таки решил отомстить Ульянову и поставил ему в четверти четверку. После этого Володя открыто не издевался над Пором, старался сдерживаться, но отрицательное отношение к французу не изменилось у него до конца гимназии.

По этому поводу в нашем гимназическом журнале, который издавали ученики, Петя Толстой нарисовал карикатуру на француза: закрывшись веером, в ужасе бежит он к толстой жене, спасаясь от Ульянова.

Как-то между экзаменами выдался свободный день, и несколько товарищей договорились провести его за городом. Среди них был и Ульянов.

Мы решили отправиться всей гурьбой на берега реки Свияги, которая протекала лугами верстах в двух от города.

На наше счастье, был ясный, почти жаркий день. Забрав с собой провизию и удочки, отправились мы из города. Ульянов жил ближе всех к Свияге. На Московской улице, и мы зашли за ним за последним.

Товарищи остались на улице, а меня послали в дом за Володей. Большая семья Ульяновых всегда смущала меня, и я был счастлив, что мне удалось пробраться в Володину комнату, никого не встретив. Володя уже ждал нас и бегом спустился с лестницы. Я еле поспевал за ним. Из передней он крикнул кому-то, что придет только вечером. Он всегда говорил дома, когда вернется, чтобы не беспокоить свою мать.

Веселые, радостные, мы почти бегом бросились под гору по пыльной улице, которая спускалась в луга, к Свияге.

Добравшись до реки, мы выбрали тенистое место под ивами, у самой воды, и хотя вода была еще холодная, мы первым делом решили выкупаться.

Течение в Свияге небыстрое и река неширокая, так что мы переплывали ее по нескольку раз.

Володя любил плавать и плавал хорошо, но еще больше любил он лежать неподвижно на спине, так что из воды высывались пальцы его ног и лицо. Мы незаметно подплывали к нему, хватили его за ноги и старались перевернуть. Он никогда не сердился на такие шутки, но, в свою очередь, топил противника с головой или забрызгивал ему водой лицо.

Накупавшись и закусив, каждый решил заняться своим делом. Одни стали удить рыбу, другие играли в лапту. Володя лежал на траве, а я сидел рядом с ним.

Из ближнего села доносился церковный звон, и, может быть, поэтому Володя завел со мной разговор на религиозно-философские темы. Помню, что именно здесь я услышал от него впервые резкое осуждение всего, во что принято было верить. Я не возражал ему, и это, в конце концов, ему наскучило. Он всегда любил горячий обмен мнениями и спор предпочитал молчанию. Равнодушие собеседников его раздражало.

Наступил вечер, пора было возвращаться домой.

По дороге в город мы пели хором разные песни. Особенно нравились нам волжские («Вниз по матушке по Волге», «Дубинушка») и песни каторжан.

Далеко по вечерним полям неслись
голоса:

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не встречал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не страдал!

Закончив одну песню, мы начали дру-
гую:

— Часовой! — Что, барин, надо.
— Притворись, что ты заснул!
Я бы мимо за ограду
Тенью быстрою мелькнул.
Край родной проведать надо
Да жену поцеловать,
А потом пойду спокойно
В лес зеленый умирать!
— Рад помочь. Куда ни шло бы,
Божья тварь, чай, тож и я!
Пуля, барин, ничего бы,
Да боюсь я батожья!
Отдадут под суд военный
Да сквозь строй как проведут —
Только труп окровавленный
На тележке увезут.

Запевалой нашего хора были по оче-
реди Петя Толстой и я. Володю Улья-
нова я что-то совсем не помню поющим,
но в этот вечер он пел в общем хоре
с нами. Правда, он больше кричал,
часто фальшивил и из озорства старался
перекричать других, но все же пел.

Чувствуя в этом отношении свое пре-
восходство над ним, я не вытерпел его
крика и сказал:

— Ты бы лучше помолчал, а то весь
наш хор портишь!

Но на Ульянова это нисколько не по-
действовало. Он рассмеялся в ответ и
стал кричать еще громче прежнего.

Той же весной мы ходили в Киндяков-
скую рощу, к обрыву, описанному Гонча-
ровым. Роман Гончарова появился впер-
вые в «Вестнике Европы» в 1869 г. В Сим-
бирске увлекались этим романом как
раз в годы нашей гимназической жизни.

Гимназисты, под свежим впечатлением
романа, ходили в Киндяковку посмотреть
на знаменитые места. Я был там в ком-
пании с Ульяновым и Сердюковым.

До Киндяковки нас провожал отец
Володи. Он хорошо знал окрестных
помещиков и рассказывал нам, кого Гон-
чаров описывал в своих романах. У Кин-
дяковки отец Ульянова сел в ехавший
за нами тарантас и отправился дальше
по делам, а мы трое долго бродили еще
то Киндяковской роще и рассуждали
о Волохове, о Вере, о Райском.

Мы обошли весь обрыв, искали следы
знаменитой беседки и старались пред-
ставить себе, как пробирался к этой
беседке Волохов. Мы так увлеклись,
что не заметили, как село солнце и на-
ступил вечер.

Это была наша последняя прогулка
перед летними каникулами.

Когда следующей осенью, после кани-
кул, мы опять встретились в гимназии,
друзья едва узнавали друг друга, так
все выросли и возмужали. Из мальчиков
большинство превратилось в молодых
людей. У некоторых, на зависть всем
остальным, уже стали пробиваться усики,
у других петушиные голоса сменились
молодыми баритонами. Мы не хваста-
лись больше собранными жуками и ба-
бочками, а, разбившись на группы, горячо
обменивались мнениями о прочитанных
книгах, главным образом запрещенных,
и шопотом рассказывали друг другу
о брожении, которое началось в студен-
ческих кругах.

После торжественного молебна в гим-
назической церкви всех учеников соб-
рали в актовом зале, и директор гимна-
зии Ф. Керенский (отец будущего мини-
стра Временного правительства) обра-
тился к нам с речью.

Он говорил очень долго и очень скуч-
но. Он осуждал начавшееся среди моло-
дежи вольнодумство, внушал нам верно-
подданнические чувства, любовь к царю
и отечеству и уважение к религии.

Когда он кончил, все классы попарно
и чинно должны были пройти мимо него
в порядке старшинства. Зато, выйдя из
зала, гимназисты бросились в классы
с таким шумом и гамом, с таким гикань-
ем и грохотом, что дрожали полы и
стены.

По коридору прошел сторож с боль-
шим медным звонком, возвещавшим
начало уроков, и новый учебный год
вступил в свои права.

Порядки в гимназии пошли строже.
Начальство настойчиво стало бороться
с «вредными идеями», проникавшими
в среду молодежи. Одной из главных
мер против вольнодумства и «вредных
мыслей» считалось меньше поставить
учеников в такие условия, чтобы у них
почти совсем не оставалось свободного
времени для чтения «опасной» литера-
туры. С этой целью рекомендовалось

учителям не объяснять уроков в классе, а предоставлять ученикам самим разобраться на дому во всем заданном. И с этой же целью стали задаваться бесконечные латинские и греческие переводы.

Чтение запрещенных книг преследовалось очень строго. В пансионе, по распоряжению Керенского, стали часто производиться обыски. Один раз при обыске в умывальной комнате нашли под умывальником сборник революционных песен. Об этом было доложено директору. Керенский собрал учеников старших классов и потребовал выдать всех, кто приносит и читает запрещенные книги. Но ученики упорно молчали и никого не выдали.

Несмотря на все строгости, мы находили время для чтения и увлекались запрещенными произведениями Добролюбова, Писарева, Белинского, Герцена и Чернышевского. Читали мы также журналы «Дело», «Современник» и «Отечественные записки». Городская Карамзинская библиотека не удовлетворяла нас, и поэтому гимназисты старались доставать книги из частных библиотек своих родных.

Много запрещенной литературы доставал Сердюков. Я привозил книги из библиотеки моего дяди. Ульянов брал из дому. Роман Чернышевского «Что делать?» я получил от него. Помню это хорошо, потому что эта книга чуть не послужила причиной моей ссоры с Ульяновым.

Дело было так.

Володя дал мне книгу Чернышевского с условием, что я верну ее через неделю, так как книга чужая. Я дал ему слово вернуть книгу в назначенный срок. Быстро прочитав, я передал книгу для прочтения еще одному товарищу, а тот заболел. Его отправили в лазарет, и он из предосторожности захватил книгу с собой. Прошла неделя, а книга все еще была в лазарете. Пробраться туда никак мне не удалось. Мне было очень неловко перед Володиной, и я всячески избегал разговаривать с ним. В конце концов он сам подошел ко мне и спросил:

— Что же ты не возвращаешь мне Чернышевского? Ты же знаешь, что книга чужая и я обещал вернуть ее в назначенный срок!

Тогда я рассказал Володе в чем дело. Он поморщился и резко заметил:

— Если ты не хочешь или не можешь, то я сам сумею достать книгу из лазарета. Терпеть не могу людей, не умеющих держать свое слово.

Я вспылал, наговорил ему в ответ каких-то дерзостей, и мы поссорились.

Когда вспышка прошла, мне стало ясно, что я не прав перед Ульяновым.

Несмотря на запрещение и рискуя остаться в наказание без обеда, я пробрался во время большой перемены в лазарет и достал книгу. После уроков я молча передал ее Володе.

На другой день мы встретились с ним опять по-дружески и с оживлением обсуждали содержание романа «Что делать?».

Наступила зима. Снег покрывал густой шапкой деревья и крыши. Мороз щипал уши, заставлял ежиться под форменными гимназическими шинелями и подгонял прохожих. Когда наступали сумерки, скрипя валенками по снегу, бежал ламповщик с длинной лестницей. Он зажигал в фонарях керосиновые лампы, и в это время обыкновенно вся молодежь устремлялась на каток.

Катались парами и в одиночку. Скачивались в санках с больших ледяных гор. Сталкивались, смеялись, падали. Но когда на катке появлялся А. Ф. Федотченко, все расступались перед ним и давали ему место.

Федотченко был преподавателем физики и математики у нас в гимназии. В Симбирске он считался большим спортсменом и лучшим фигурным конькобежцем. Он вызывал восхищение, когда выписывал на льду свою фамилию или, присев на одной ноге, кружился волчком.

Наша гимназическая компания часто бывала на катке, и все мы одинаково восторгались искусством Федотченко, а Ульянов искренно говорил, что ему завидует. Сам Ульянов бывал на катке довольно редко, хотя катался хорошо и с увлечением. Он предпочитал тратить время на чтение книг и иногда на игру в шахматы.

В шахматы Володя играл лучше нас всех. Он часто упражнялся в этой игре дома с отцом или со старшим братом. Нас он учил разным ходам, но больше всего любил играть с Костей Сердюко-

вым, так как Костя мало чем уступал ему в игре.

Как-то раз зимним вечером я застал Володю у Сердюкова. Когда я пришел, они уже сидели за шахматной доской. Смотреть, как они играют в шахматы, я не любил, предпочитал сам играть, а вмешиваться в их игру, давать советы и рассуждать о сделанных ходах не позволял мне Володя. Это мешало ему сосредоточиться. Чтобы отвлечь их от шахмат, я задумал начать разговор на интересовавшую нас тогда тему о народныхольцах, «хождении в народ» и революционной борьбе. К такому разговору ни Володя, ни Костя не могли долго оставаться равнодушными.

Сердюков и я отстаивали «хождение в народ», а Ульянов разбивал все наши доводы вескими замечаниями.

Шахматы были забыты. Володя встал и сгреб фигурки с доски. Разговор делался все громче и оживленнее.

Наши споры привлекли, наконец, из соседней комнаты мать Сердюкова. Поинтересовавшись, чего мы не поделили и о чем так спорим, она стала нас звать «чайку попить». Но ее никто не слушал. Долго стояла она в дверях и молча смотрела на нас. Потом, покачав головой, ушла и принесла нам в комнату три стакана чаю и булку. В комнате было накурено до синего дыма. Это мы с Костей постарались. Володя тогда не курил.

Мы долго не могли угомониться. Стаканы с чаем так и стояли недопитыми, на столе валялись шахматы.

Уходя, мы с Володей особенно нежно распрощались с Костиной матерью, которая нас очень любила, как товарищей своего единственного и горячо любимого сына. Володя же хотел проводить меня до самого пансиона, хотя это совсем не было ему по пути.

Ночь была тихая, лунная, и жесткий снег хрустел под ногами редких прохожих.

— Хорошо жить, — сказал я.

— Хорошо жить и бороться, — добавил Володя.

Дойдя до высоких белых стен Спасского женского монастыря, Володя вдруг остановился и стал рассматривать залигую лунным светом обитель.

— Вот куда люди сами бегут от жизни и хоронят себя заживо! Хороша,

верно, их доля, если они в этой тюрьме находят утешение.

Долго стояли мы у стен монастыря и рассуждали про горькую участь многих обездоленных, и я никогда не забуду этой зимней морозной ночи, высоких белых стен, залитых лунным светом, и нас, двух гимназистов, рассуждающих о равноправии женщин у ворот женского монастыря.

Зимой большим развлечением для гимназистов старших классов было посещение театра. В наши гимназические годы был построен в Симбирске новый Троицкий театр. Денег у всех нас было немного, и мы не часто пользовались этим удовольствием. А когда бывали в театре, то предпочитали сидеть на галерке, не только из экономии, а потому, что тогда галерка вернее всего судила о таланте артиста. Она заполнялась молодежью, не жалевшей ни глоток своих на вызовы, ни рук на аплодисменты. И с этой галеркой считались все артисты.

Когда в Симбирск приезжала какая-нибудь столичная труппа, это было для нас настоящим праздником.

Я особенно любил приезды моего двоюродного брата, известного артиста В. Н. Андреева-Бурлака. Этот исключительный по своему таланту, прославившийся в столице артист пользовался в провинции огромной популярностью. Симбиряки преклонялись перед его талантом и гордились славой своего выдающегося земляка.

Володя Ульянов и некоторые другие товарищи просили меня познакомить их с моим знаменитым двоюродным братом.

Андреев-Бурлак обращался с нами совсем запросто, угощал иногда завтраком и много смеялся над нашими рассказами о симбирских жителях и гимназической жизни.

Володя был от него в восторге и вместе со мной посещал все представления Василия Николаевича, который снабжал нас контрамарками.

Однажды мы смотрели Андреева-Бурлака в «Записках сумасшедшего» Гоголя. В белом больничном халате, с белым колпаком на голове, Василий Николаевич давал своей талантливой декламацией полное представление о сумасшедшем. Дрожь ужаса и жалости пробежала по публике. Когда опустил занавес,

вес, мы с Володей и Костей бросились за кулисы. В театре нас уже все знали и пропускали в уборную Василия Николаевича беспрепятственно.

Обессиленный и изможденный, сидел знаменитый артист на диване. Он походил на тяжело больного человека. Казалось, что бурные восторги зрителей, не перестававших вызывать его, были ему не только совсем не нужны, но даже тяготили его.

Мы, гимназисты, потрясенные игрой, молча стояли у двери и боялись подойти к нему. Заметив нас, он встал, потрепал каждого по голове и сказал:

— Н-да... Вот видите, не могу еще совсем влезть обратно в свою оболочку! Потом уборная его наполнилась толпой восторженных зрителей, поклонниц.

Когда мы вышли, Володя все время повторял задумчиво:

— Вот так талантище!

А на другой день он сказал мне:

— Знаешь, я хотел узнать, насколько трудно перевоплощаться в какую-нибудь роль, и пробовал декламировать «Записки сумасшедшего», да ничего из этого не вышло. Талант надо!

На гимназических балах Володя Ульянов часто бывал распорядителем. Он не любил танцевать и не любил быть только зрителем, и поэтому роль распорядителя ему больше подходила.

Кроме вечеров с танцами, в нашей гимназии ежегодно устраивались концерты с благотворительной целью. Организацию концерта обыкновенно брал на себя гимназический хор, в котором я принимал участие.

Вспоминается мне один из наших концертов в городском клубе. На этом концерте кроме хора должны были выступать и приглашенные любители. Володя, как всегда, был одним из организаторов концерта.

Перед самым вечером нам сообщили, что внезапно заболел солист нашего хора. Это обстоятельство расстраивало всю программу, и распорядители стали волноваться. Перед вторым отделением концерта я вдруг вижу, что Толстой и Ульянов вывешивают над самой эстрадой объявление. Оно было написано громадными буквами, и в нем было сказано, что заболевшего солиста заменит ученик седьмого класса Дмитрий Андреев.

Меня это привело в такое смущение, что я налетел на них с кулаками.

Володя спокойно отстранил меня и сказал:

— Ты эти романсы знаешь?

— Знаю.

— Ты их пел на вечеринке?

— Пел.

— Ну, так и здесь споешь!

Это было сказано так авторитетно, что я не нашелся с ответом, и волей-неволей мне пришлось выступить.

После моего пения Ульянов крепко пожимал мне руки и говорил:

— Ну и молодец же ты, Димка! Тебе надо сделаться настоящим певцом, в этом твое призвание.

Еще несколько раз после этого вечера Володя советовал мне сделаться артистом, и я в глубине души сам подумывал об этом, но жизнь сулила мне иное.

Несколько лет подряд я пел в нашем гимназическом хоре, который состоял исключительно из учеников гимназии. Наш хор пел на всех службах в гимназической церкви и в церкви женской Мариинской гимназии. Регентом хора был ученик старших классов Писарев. Как-то раз во время одной из особо торжественных церковных служб, в присутствии попечителя, всего начальства и большого количества посторонней знатной публики, наш хор исполнил церковные песнопения на мотивы из оперы «Аида». Мы пели хоровые места из «Аиды» (например, «хор жрецов»), заменив слова оперы церковно-славянским текстом. Прodelать такой рискованный номер мог только наш талантливый и остроумный регент Писарев. Все присутствующие в церкви были в восторге от нашего пения и долго потом о нем говорили. Керенский вместе со священником очень благодарил хор, и в частности Писарева, за исключительно красивое пение.

Ульянов, конечно, знал заранее от нас про эту проделку. После службы он заразительно смеялся и уверял всех, что в этот раз он получил в церкви настоящее удовольствие.

Уже в седьмом классе у Володи сильно изменился характер. Из живого и резвого мальчика он превратился в серьезного, задумчивого юношу, который

Иногда мог резко и зло ответить товарищу, высмеять его поведение, но и горячо заступиться за него, если было надо. Попрежнему Володя много времени проводил в нашей компании, но не был таким веселым, как раньше.

Мы все очень любили катание на лодках по Волге и по Свияге. Часто ездили весной на песчаные волжские острова и там удили рыбу. Один раз перед летними каникулами, после экзаменов, Ульянов позвал Костю Сердюкова и меня покататься на лодке. Володина мать снабдила нас бутербродами и просила Володю не задерживаться на реке до глубокой ночи.

Ульянов, оказывается, уже заранее подрядил лодку с якорем, подготовил удочки и все необходимое для рыбной ловли.

Бегом спустились мы садами к Волге. Это был теплый день в конце мая. На пристани царило большое оживление, грузили баржи с хлебом. По узким мосткам с пристани на баржу носили грузчики мешки с зерном. Низко сгибаясь под тяжелой ношей, они обливались потом и тяжело дышали.

— Эй, здорово, паренек! — крикнул вдруг один рабочий, обращаясь к Володе.

— Здорово! — ответил Ульянов.

— За рыбой приехал? Ну, бог тебе в помощь! — говорил ласково грузчик, пока мы усаживались в лодку и разбирали удочки.

Это был один из многих знакомых Ульянова, с которыми Володя любил разговаривать на пристани. Его все интересовало, и он часами мог сидеть с незнакомыми людьми, расспрашивая их о работе и жизни.

Иногда, встретив на пристани татарина, он, заведя с ним разговор, спрашивал, как будет то или иное слово татарски. Помню, что один раз мы встретили грузчика, который был родом из Персии и едва-едва говорил по-русски. Володя часа два расспрашивал его о Персии, о его жизни и о том, как в Персии разводят шелковичного червя.

Мы все удивлялись его любознательности. Забыв о времени, Ульянов с одинаковым удовольствием разговаривал с грузчиками, матросами и крестьянами.

— Что ты находишь в этих разговорах? — иногда спрашивал я.

— Разве ты не понимаешь, как это интересно? — отвечал Ульянов.

Как-то раз мы опять втроем собрались на рыбную ловлю и даже обещали Володиной матери привезти для ухи рыбы.

Переплыв в лодке на другой берег Волги и выбрав там в тихой заводи удобное место, мы бросили якорь. Но рыбы поймали мало, не пришлось даже сварить уху на костре, как это любил делать Володя. Случилось это потому, что мы в тот раз не могли долго молча и неподвижно сидеть на одном месте. Нам больше хотелось говорить и спорить, купаться и плавать, чем спокойно ждать, пока клонет рыба. Нагулявшись, мы отправились в ближнее село, которое славились своими ягодными садами, но ягоды еще не поспели, и мы, наевшись деревенского ситного хлеба с молоком, сели в лодку и долго катались по Волге, качаясь на волнах, поднятых пассажирским или буксирным пароходом. Мимо нас проплывали баржи с разными грузами и длинные караваны плотов. На одном из них горел костер. Вокруг костра сидели рабочие: одни курили, другие плели лапти, кто-то бречал на балалайке. А издали, с другого плота, доносилась заунывная русская песня и плач ребенка.

Володя захотел непременно пристать к этому плоту, посидеть у костра и поговорить с рабочими. Он хотел знать, откуда идет плот, где они пристанут, чем и как живут.

Пока мы догоняли плот, приставали к нему и устраивались у костра, небо совсем заволокло тучами. Мы только успели разговориться, как пошел дождь. Плоты далеко уже отошли от Симбирска, когда мы отвязали лодку и поплыли обратно под проливным дождем. Вымокнув до нитки, мы только ночью вернулись в город.

Поднимаясь в гору, Володя все время беспокоился, что доставил лишнее волнение матери своим опозданием.

В восьмом классе Володя стал особенно резким, и порой было даже трудно с ним разговаривать. Но мы попрежнему его любили и прощали ему все, так как знали, что он потерял отца и тяжело переживает эту утрату.

Потом на его долю выпало еще более тяжелое переживание. Это были арест и казнь его старшего брата Александра.

Я никогда не забуду теплого майского вечера накануне экзамена и моей случайной встречи с Володей на Венце.

После ужина в пансионе меня потянуло из душного помещения на воздух. Я вышел на улицу и привычной дорогой, распевая какую-то песню, отправился на Венец. Проходя мимо беседки, я увидел сосредоточенно смотревшего на заволжскую даль человека. Не обращая на него внимания, я продолжал идти и петь полным голосом.

— Что же ты не готовишься к экзаменам? — услышал я голос Володи.

Обрадовавшись этой встрече, я подошел к Володе и заметил, что он как-то особенно сосредоточен и грустен. Я сел рядом с ним и стал любоваться видом на Волгу. Володя молчал и порой тяжело вздыхал.

— Да что с тобой? — наконец спросил я.

Он повернул лицо в мою сторону, хотел что-то сказать, но промолчал и снова ушел в себя. Я подумал, что он горюет об отце или беспокоится о брате Александре, который, как мы знали, был арестован вместе с другими студентами в Петербурге. Я старался рассеять его тоску и беспокойство, но ничто не помогало. Я знал, что порой Володя бывает весел, а порой нелюдим и в такие минуты избегает разговоров с товарищами. Но вечер был такой тихий, что сама природа успокаивала и вызывала хорошее настроение. Я высказал эту мысль Володе. Тогда, помолчав немного, он сообщил мне, что 8 мая казнен его брат Александр.

Это известие ошеломило меня. Сгорбившись, сидел Володя на скамейке рядом со мной. Говорить от массы нахлынувших мыслей было невозможно. Долго сидели мы так и молчали. Наконец Володя встал, и, ничего не говоря, мы направиться в город. Шли медленно. Я видел глубокое горе Володи и чувствовал твердую решимость, которой он как-то особенно был преисполнен теперь. Я невольно преклонялся перед его большой выдержкой и умением владеть собой.

Расставаясь, я крепко пожал Володину руку. Взглянув мне в глаза, он ответил на рукопожатие, быстро повернулся и пошел домой.

Весной этого же 1887. года Володя Ульянов окончил гимназию с золотой

медалью и в августе поступил на юридический факультет Казанского университета.

Зимой 1887 года, учась в восьмом классе гимназии, мы узнали, что Ульянов был замешан в студенческих беспорядках, арестован и выслан из Казани.

Весной 1888 года Сердюков и я, окончив гимназию, поступили в Казанский университет.

В Казани мы жили в одной комнате.

Как-то раз зимой я сидел один дома. Вдруг распахнулась дверь, и в комнату, весь запорошенный снегом, влетел, как ураган Костя Сердюков. Еще с порога он закричал мне:

— Знаешь, кого я сейчас встретил?

— Кого? — равнодушно спросил я.

— Да Володю Ульянова, чорт возьми! Я встретил его на улице. Он торопился домой. Завтра зайдет непременно.

На другой день к нам действительно зашел Володя Ульянов. Он очень изменился за год нашей разлуки. Появились намеки на маленькую бородку, он возмужал, и выражение лица стало еще серьезнее и вдумчивее.

Вспоминая с нами гимназию, он часто смеялся, но улыбка быстро сходила с лица и уступала место сосредоточенному выражению.

Ульянов рассказал нам о своем аресте и высылке, с возмущением говорил о правительственных репрессиях и о жестокой судьбе исключенных из университета студентов.

В это время репрессии правительства приняли небывалые размеры. Студентов арестовывали поодиночке и целыми группами. Об арестованных не доходило больше до нас никаких сведений, они как бы исчезали. Возможно, что одни из них умирали в тюрьмах, а другие без вести гибли в далекой ссылке.

Ульянов стал изредка заходить к нам, и тогда мы коротали темный зимний вечер в нашей маленькой комнатушке в задушевных беседах.

Должен сознаться, что я сильно отставал от Ульянова и Сердюкова в области политических наук и философии. Сознывая их превосходство, я избегал вступать в спор на политические темы. Ульянов подметил это сразу, он старал-

си не затрагивая моего самолюбия, все же втянуть меня в разговор и часто погоряч тогда с улыбкой: „Tres faciunt collegium“.

Ульянов всегда настаивал, чтобы мы с Сердюковым посещали студенческие кружки, где он иногда читал рефераты. Были случаи, что свои рефераты он давал нам на дом. Они всегда поражали меня своей сжатостью и четкостью, каждое слово в них было к месту. Ульянов не гонялся за красивыми и громкими фразами и проводимая им идея выражалась с удивительной ясностью.

Я был лишен возможности часто посещать кружки, так как занятия в университете и уроки, которые я давал ради заработка, отнимали у меня очень много времени.

Сердюков же скоро совсем перестал их посещать, так как решил «уйти в народ», где, по его словам, он только и мог принести пользу.

Ульянов часто и много спорил с ним по этому поводу, доказывая, что «один в поле не воин», что тот путь, который избирает Сердюков, не приносит никакой пользы.

Вначале мы посещали ночлежки, трак-

тиры, притоны с целью изучения их своеобразной жизни и описывали свои наблюдения в местной газете. Володя весьма неодобрительно относился к нашим писаниям. Он всегда говорил нам, что, прежде чем пускаться в такие дела, надо быть «подкованным на все четыре ноги» и читать, читать и читать...

Впоследствии Сердюков решил сам пожить этой жизнью, чтобы еще лучше познакомиться с ней, и переселился в какой-то притон, где и погиб от туберкулеза.

После разгрома симбирского землячества, членами которого мы состояли, и после ареста многих товарищей студенты стали осторожнее и перестали посещать друг друга. Мы с Костей некоторое время ждали прихода жандармов и готовились к обыску, уничтожая книги и рефераты.

С Ульяновым мы не видались, а через некоторое время случайно услышали в университете, что Ульянов уезжает в Самару. Это было большим горем для нас. Перед отъездом Володя зашел проститься с нами, и мы тогда же решили не переписываться, так как студенческие письма просматривались цензурой.

Мы надеялись снова встретиться, но этого больше не произошло.

Армас Эйкия

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Финский революционный поэт Армас Эйкия родился в 1904 году в Выборгской губернии.

В марте 1940 года, когда Советское правительство заключило мирный договор с Финляндией, деревня Пюхярви, где родился поэт, вошла в состав территории СССР.

Отец поэта был профессиональным революционером, деревенским агитатором; после раскола в РСДРП он примкнул к большевикам.

В 1918 году четырнадцатилетний Армас Эйкия уже пишет стихи и принимает участие в рабочем революционном движении. Вместе с отцом он посещает собрания революционных организаций.

С 1920 года Эйкия — активный участник революционного движения молодежи, а в 1924 году он вступил в члены коммунистической партии, работавшей в подполье.

Компартия поручает поэту ответственную работу в легальных организациях рабочего класса Финляндии.

Редактором ряда легальных революционных изданий Эйкия работал в течение шести лет, а в 1924 году он вступил в члены коммунистической партии, работавшей в подполье.

А в тюрьме сидеть ему приходилось часто. Четыре раза охранка арестовывала поэта, держала его по несколько месяцев и освобождала, не имея улик.

Освободившись в 1926 году из заключения, Эйкия не долго был на свободе. В 1927 году охранка снова арестовала его, и на этот раз он просидел в тюрьме полтора года.

Когда в 1930 году активизировалось лапуа-ское движение, правительство финской буржуазии запретило все легальные рабочие организации.

Армас Эйкия был в то время главным редактором газеты «Рабочие известия», выходившей в Хельсинки. Вместе с сотнями других революционеров поэт был арестован и приговорен к пяти годам тюремного заключения за коммунистическую деятельность.

Значительную часть этого срока Эйкия просидел в одиночной камере. Однако, несмотря на строгость надзора, поэт ухитрился написать десятки сатирических стихотворений, которые составили книгу «Тюремная лира».

«Буржуазная Финляндия — культурная страна, — с иронией говорит Эйкия. — Для стихов в тюрьме бумаги не дадут, но зато для других надобностей ее сколько угодно... Я ухитрился экономить бумагу, приготовленную заботливыми руками надзирателей, и, ничего не поделаешь, писал на ней стихи. Написанное с подобающими в таких случаях предосторожностями передавалось на волю».

Сохранилось многое, что было написано Эйкия в тюрьме. Подпольные типографии размножали эти стихи. Звуки «Тюремной лиры», преодолев толстые стены тюрьмы, летели на свободу, и народ хранил их в своей памяти.

В июле 1935 года кончился срок заточения, и поэт вышел из тюрьмы. Он был обрадован, когда узнал, что стихи его, сложенные в четырех стенах одиночки, не потеряны и имеют распространение в народе.

Армас Эйкия — один из крупнейших поэтов и видный общественный деятель Карело-Финской ССР. Он является депутатом Верховного Совета СССР и возглавляет Союз советских писателей Карело-Финской республики.

Вл. Заводчиков

ИЗ ИСТОРИИ ГРЕЦИИ

Гасли на море Эгейском последние
солнца лучи. Надвигалась ночь...
Сумрак надвинулся. Птицы умолкнули.
Люди во сне обретают покой.
Даже владыки Олимпа не бодрствуют,
боги великие. Греция спит.

Темная ночь. Лишь свеча одинокая
тихо и ровно горела в ночи.

Старый и мудрый ученый над книгами
молча склонился. Старик измерял
мыслью дорогу великую эллинов.

С ночи времен они шли, и Фалес
возникновение жизни исследовал
первый. Раздумывал Анаксимандр
над человеческим происхождением.

Вечное слово сказал Гераклит:
«Все не стоит, а течет, изменяется;
жизнь — бесконечная в мире борьба».
Платон все солнце учения
своим друзьям — Демокрит и Левкипп.
Для изобретения гордое атомы,
он открыл, заложил Демокрит
и объявил, что простая материя
повелевает всевластно душой.

Бросали вызов воинственной истине
два мечтаний — Сократ и Платон.
Первый — к спокойствию собственной
совести,

к звездам глаза запрокинул второй
и рассказал всем свой сон
удивительный.

Но Аристотель кнутом своего
гордого, гневного гения дб крови
сон и господство мечты бичевал.
Строя великое небо, высокое,
землю и правду искал он всю жизнь.

178 723
О золотая история гениев!
Вот Эпикур объявляет восстание
против богов, против силы небес!

Гордостью умное сердце ученого
полнилось. С кресла он встал и
шепнул:

«Греки, народ мой, начало
прекрасного —
ясной всемирной культуры заря
гордо сияла из радостной Греции!»

Тихо. Но кто это в двери стучит?
Кто это в полночь придумал
подслушивать?
Дверь распахнулась. И мрачный

жандарм
статуей встал перед взором историка.
— Разве не знаете, что государь
предал запрету все то, что читаете? —
гаркнул и новых жандармов позвал
и приказал им сурово:
— Немедленно

все, что—бумага, собрать и сложить...
А соберете да сложите, свяжете —
мигом везите, бросайте в костер!»

Утро. На море Эгейском сверкание
ярких, ниспосланных солнцем лучей.
Он убежал и не пойман жандармами,
старый ученый. Усталый старик
брел по морскому высокому берегу.
Там его встретил крестьянин

неграмотный,
Он-то историка и приютил.

1933

Я И БАЦИЛЛА

Однажды в минуту волнения души
меня посетило виденье —
возлюбленной призрак. И я совершил
в порыве любви преступленье.

Я песню сложил в заточеньи о ней;
я пел, что увидимся снова;
я клялся любить ее в песне моей, —
там не было лишнего слова!

Но власти заметили козни мои
и песенку к стенке прижали:
узки и для самой невинной любви
тюремных законов скрижали.

Итак, суждено мне за умысел злой,
за вредную как бы идею
сидеть в одиночке на хлебе с водой:
«Похлебка вредна, мол, злодею.

Не станет шалить он, почти не поев,
а станет — дадим потасовку...»
Но тут охватил меня яростный гнев,
и я объявил голодовку.

На койке холодной три дня я лежал
и жаждал согреться ходьбою,
а ноги, как хрупкий тростник от ножа,
подкашивались подо мною.

И стужа и голод терзали меня,
мороз в этой камере жгучий!
Вдруг слышу (на склоне четвертого
дня)
чахоточный кашель скрипучий.

Гляжу я, ползет из-под койки она...
Что вижу?! Нечистую силу?!
От страха скончался бы сам сатана,
увидя такую бациллу.

Рогатое рыльце чуть-чуть наклоня,
вот-вот она прыгнет сразмаху...
Бацилла готовилась скушать меня,
и я обезумел от страху.

— Прочь, гнусная, мерзкая тварь! —
как во сне,

вскричал я испуганно. — Скройся! —
Но мирно бацилла ответила мне:
— Чего испугался? Не бойся.

Меня по ошибке зовут доктора
ласкательно «палочкой Коха»,
а я, как раздуюсь, так прямо гора.
Бациллы изучены плохо...

У нас, у бацилл, подвело животы,
мне б скушать тебя, по закону...
Однако такого, презренный, как ты,
умру, не поев, а не трону.

— Ах, так! — процедил я сквозь зубы,
храбрясь. —
Ты держишь себя благородно.
Однако ж ответь мне по совести,
мразь,
что в легких моих несъедобно?
— Какие там легкие? — слышу
в ответ. —

Да что мы, бациллы, ослепли?
Ведь легких твоих от рождения нет,
они у тебя не окрепли.

И вдруг прошипела, вконец разъярясь,
Прижав в озлоблении уши:
— Не жизнь для бацилл, а страданья
и грязь...
А хочется вкусно покушать.

С тех пор как Финляндия, будто
всерьез,
республики носит название,
бациллы решают всемирный вопрос:
откуда им взять пропитанье?

Мы громко кричим, что приходит
капут,
что нечего съесть у скелетов,
а нам ежедневно в тюрьму волокут
рабочих да нищих поэтов.

Таких с потрохами сваря и с лучком
на масле прожарь по закону, —
и то благородным моим язычком
их постное мясо не трону...

Эх! Времечко было! Конечно.
и встарь
мы пропасть тут видели нищих,
однако случалось, что батюшка-царь
буржуй бросал нам на пищу.

Иной в одиночку, как боров, входил,
другой — не уступит корове;
достаточно было всего для бацилл —
и легких, и жиру, и крови... —

И тут сладострастно зачавкала тварь,
а, чавкая, даже запела
о том, как питал ее батюшка-царь.
Затем, уходя, прошипела:

— Да здравствует снова державный
колосс —
великого княжества сила! —

Проснулся я. В камере лютый мороз.
Приснится ж такая бацилла!

1928

ПРОЩЕНИЕ ¹

Я шагал среди тысяч по улице,
Рядом с теми, чья жизнь подневольна;
Чьи на фабриках спины сутулятся.
Было сердцу и мускулам больно.

Шел я, за день работой измученный,
С непомерной усталостью в теле,
Смех казался гримасой заученной,
Но глаза мои зорко глядели.

¹ Один финский стихотворец, изменивший делу революционного движения, выступил в печати с покаянием, в котором он просил прощения и обещал искупить свою вину. Однако ряд фактов неопровержимо свидетельствовал, что раскаяние упомянутого стихотворца не искренно, и Армас Эйкия ответил лицемеру стихотворением «Прощание». (Прим. переводчика.)

Пусть же копотью блуза пропитана
И окрашены кровью мозоли!
Не сломить во мне гордой,
испытанной,
Не убить человеческой воли!

Марш гремел водопадом над кручею.
Шли. Но кто там, взывающий к богу,
По какому особому случаю
Преградил демонстрантам дорогу?

Что такое? Он наземь бросается?
На колени? В раскаяньи? В плаче?
Он решил перед нами покаяться?
Рот открыл для того, не иначе!

«Созидательный род! Я с усладою
И с раскаяньем, видя вас, млею;
Я на землю у ног ваших падаю,
Даже новый костюм не жалею!

Мир стихами, бывает, поганю я
И торгую плодами искусства.
Пью и ем, не ленясь, до рыгания,
До потери сознания и чувства.

Я потею, тружусь, — но на фабрике
Наслаждений любовных, безмерно.

Как Адам, грех которого в яблоке,
Признаюсь, что веду себя скверно.

О, простите! Молю в унижении!
Я на брюхо в раскаяньи лягу!
Но питайте ко мне уважение
И создайте мне новые блага!»

Наступило молчание жуткое.
Я шагнул к нему гневно и твердо,
Возмущаясь омерзительной шуткою,
Каблуком засветил ему в морду.

1933

ЗА И ПРОТИВ

Спал в ту ночь тревожно и недолго.
И не знаю — на яву замечено
или то кошмар душил меня за горло.

Видел я,
как было искалечено
человечество во имя бога —
бога франка, стерлинга и доллара.

Видел:
гибель армий, крепостей громады,
плач детей и матерей,
голодную нужду...

Вместо зерен сыпались
смертоносным градом
бомбы в поле пахаря,
прямо в борозду.

Видел:
зашатались капитала страны,
шар земной людьми редел-редел,
чудовища высунулись
из океана
грызть, громить народы, резать
неустанно.

Начинался мира передел.

Лишь утром прогнал я видение,
что спать не давало в ночи.

Когда я проснулся, весенние
в окно ударяли лучи.

Вся стена
светом солнечным озарена.
И со стены призывал меня
огненный лозунг —
весь из огня.

Все ярче сияла
и горячей
надпись, возникшая из лучей:

«Товарищ!
Вставай и бери
бюллетень избирательный в руку!
Иди

голосуй за идею,
за ту,
за которую бьются
все честные в мире сердца;
за Сталина — лучшего друга,
вождя,
учителя нашего
и творца
свободы и дружбы народов!
Товарищ! Вставай, голосуй
за Сталинскую Конституцию!»

Да! Это я!
Вчера я мог гордиться
тем, что навек гражданских прав
лишен.

Но распахнулась дверь моей
темницы —
свободен я, и все кругом — не сон!
Вчера обляяла меня, оклеветала
цепная свора псов сторожевых —
наемников, лакеев капитала:
«Он разлагается!»
«Он — труп среди живых!»
«Готовил бунт — удобный ждал
момент!»

«Без документов прятался изменник!»
Молчать, собаки! Я уже не пленник!
Я и без вас нашел свой документ!
Советский паспорт мой!
О, как я ликовав:
страница в жизни новая открыта!
Мне
Сталинский закон
отчизну даровал,
свободный дал приют
и крепкую защиту!

Но, голосуя «Да»,
голосовал я «Нет».
И это «Нет» —

моим врагам ответ.
Нет, не топтать врагу
полей моей страны:
не дремлют Красной Армии сыны!
Я, новой мировой резни свидетель,
срываю смело занавес войны,
но лживая чужда мне добродетель —
та, на которую и прыток и речист
в усердии лакейском пацифист.
В лицо зачинщикам резни проклятой,
готовым омрачить
наш светлый, мирный день,
я, голосуя,
бросаю гранатой
свой избирательный бюллетень!

Я за то,
чтобы в чужих, далеких странах
без боязни
братья и товарищи мои
отряхнулись от окопной грязи
и в иные шли бои:
поднимая кулаки
и все сметая градом
бомб,
ударили б гражданской войной
по зачинщикам резни,
по их верховным штабам...
И ...голосовали бы со мной!

1940

Перевод Владимира Заводчиковъ

Николай Никитин

ВЕЧЕР В ДОМЕ ИСКУССТВ

РАССКАЗ

В политотделе артиллерийского дивизиона, где я служил, числилось шесть инструкторов. Мы жили все вместе в казарме, рядом со штабом, в специально отведенном для нас маленьком помещении.

Дивизион отдыхал, вернувшись в Петроград из Польши. Поход был труден, народу потеряли немало, и петроградская жизнь всем показалась прекрасной.

Еще бы, в комнате рядом с канцелярией размещены были шесть железных коек с тюфяками. Давно мы не имели таких коек. Тюфяки были даже покрыты одеялами, сшитыми из шинелей третьего срока. На стене комнаты была наклеена литография Ленина. За дверью на гвозде, в брезентовом мешке, всегда висел общий казенный паек — буханка хлеба. Хлеб подвешивался из-за крыс.

Они осаждали наши казармы как самое сытое место района. Ночью с фонарями красноармейцы дежурили во дворе у продовольственного склада. Заметив крыс, они нападали на них с топорами. Борьба шла отчаянная.

Над Петроградом сияло небо, не омраченное дымом. В домах печей не топили. Люди варили себе пищу на печурках, прозванных «буржуйками». «Буржуйки» стояли в пустых квартирах, точно костры, завернутые в кусок железа, с трубой, отведенной в дымоход. Заводы почти не действовали. Окна магазинов были сплошь забиты досками. На улицах никто не мусорил, потому что мусорить стало нечем. В городе проживала только треть населения. Остальные две трети

сбежали, погибли или дрались на фронтах.

Однажды, после упражнений в манеже, командир первого отделения 2-й батареи Донька Мелков прибежал в политотдел к инструкторам.

— Слушайте, — сказал он, запыхавшись, — я видел на Мойке дом и афишу на нем прочитал. Там написано: «Дом искусств». Что это такое?

Никто из инструкторов не откликнулся. Каждый был занят своим делом. Люди чистились, устали от тренировки.

Я нахмурился.

— А ты почему на езде не был? — спросил я Доньку.

— Я в штаб ходил с пакетом, — ответил он. — Что такое «Дом искусств»? Объясни, пожалуйста! Ты должен знать. Ты же студентом был.

Я пожал плечами.

Это задело его. Метнув на меня презрительный взгляд, он взял табуретку.

Донька был примечательным парнем. Ему едва исполнилось девятнадцать лет, и по существу он был еще мальчишкой. Его глаза всегда что-нибудь выскивали. Загорелая кожа на лице отливала синевой. Он был болтлив. В бою отличался злостью и отвагой. В мирное время многие его недолюбливали, считая выскочкой и хвастуном. В Петрограде он еще никогда не жил, прибыл к нам в дивизион недавно, как прикомандированный к новому эшелону из Луги, отпусков в город еще не имел. . . И вот сейчас по дороге из штаба округа, за какие-нибудь полчаса, он уже умудрился откопать

в городе нечто неизвестное даже мне, местному жителю.

Это было похоже на Доську. В дивизионе он тоже вечно мотался, как неприкаянный. Что бы ни случилось, Доська вертелся уже тут, на месте происшествия, и становился сразу либо его участником, либо свидетелем. Он отличался какой-то только ему присущей игрой. Короче говоря, Доська нравился мне. Он был хитер, понимал мою слабость и всегда старался ее использовать.

Сейчас он сидел против меня на табуретке, скрестив толстые, короткие ноги, представлял расстроенным и всей пятерней скреб себе затылок.

— Эх, досада! — вздыхал он. — Слушай, завтра в этом доме писатель Горький будет читать лекцию о писателе Толстом.

— Ну так что?

— Хочу послушать, — сказал Доська.

Все это показалось мне фокусом. Я решил, что Доська просто ищет благовидный предлог, чтобы вырвать у меня стпускной билет на несколько часов.

— Да ты читал Горького или Толстого? — спросил я.

— Ну еще бы! — сказал Доська.

Однако из дальнейшего разговора сразу стало ясно, что Доська врет. Он почувствовал, что ему не верят, и силясь что-то вспомнить. Он поматывал, будто лошадь, головой. Вдруг лицо его вспыхнуло, и он заявил мне с торжеством:

— О соколе читал.

— Ну, а еще?

Доська задумался. Сморщил лоб. Потом небрежно шевельнул плечом.

— Кстати, я не профессор, чтоб сразу вспоминать, — сказал он. — Да и не один я хочу на лекцию. Все желают. Всем интересно. Такое дело не каждый день случается. А то у нас одни картины.

Мне стало ясно: Доська крутит. Дело, очевидно, не в лекции.

Но в канцелярии находился наш комиссар, человек доверчивый и тоже увлекающийся. Он поверил Доське. Кроме того, Доська так горячился и настаивал, так напирал, что добился своего.

Комиссар приказал мне разыскать телефон Дома искусств.

Я позвонил туда.

Мне ответили, что Дом закрыт для посторонних и что на вечерах могут при-

сутствовать только писатели и художники.

— Люди искусства, — значительно прибавил неизвестный.

Разговор шел при Доське. По моим возражениям он сразу понял, что его затея разлетается в прах.

Он вырвал у меня трубку и прокричал в нее:

— Это невозможно! Я всему дивизиону обещал. . . В крайнем случае вы должны пустить хоть одну батарею. . . Хоть одно орудие. . .

Не знаю, что ему на это ответили. Вначале он слушал внимательно, потом губы его мгновенно перекошились. Ничего не говоря, он шмякнул трубкой о рычаг и выругался.

— Ну и чорт с ними! — сказал он. — Пусть подавятся своим искусством!

На следующий день он снова появился в канцелярии. Уже по его лицу я догадался о чем-то необычном. Доська льстиво смотрел мне в глаза и говорил, заискивая:

— Хочу все-таки попасть на лекцию! Схлопочи у командира увольнительную! Я уж заплачу! Чем хочешь? Хочешь, лошадь вычищу не в наряд?

Подозрение снова шевельнулось во мне. Я сухо оборвал его:

— У меня нет лошади.

Но Доська продолжал свое:

— Ну, мало ли что потребуется? Я-то уж тебя всегда выручу.

— Говори прямо, хочешь в город? — сказал я.

Доська замахал руками.

— Да что ты! Стану я врать! — сказал он, глядя мне в глаза, как младенец.

В конце концов он убедил меня. Больше того, он зарзил меня своей неукротимой жадной.

Я обещал ему похлопотать у командира.

— Я вместе с тобой пойду на лекцию, — сказал я.

Мне показалось, что Доська этим не совсем доволен. Но выражение его лица обыкновенно так часто менялось, что уследить за ним не было никакой возможности.

В седьмом часу вечера мы вышли из ворот дивизиона. Было еще рано, когда мы подошли к дому, стоявшему на углу Невского и Мойки. Под открытым подъездом висела желтая афиша. Других объявлений не было. Фонари в городе

не горели. Город казался молчаливым. Трамвай не ходил, и лишь иногда мелькала тень случайной машины, переваливающей через горбатый мост. Ее хрипый изношенный мотор, прорывав, вдруг затухал вдали, в перспективе темного Невского.

В глубине подъезда за двумя стеклянными дверями багровым огоньком тлея тусклая электрическая лампочка. Только некоторые окна дома были озарены и казались заплатами.

Мы стояли под деревьями у набережной. Было ветрено. К подъезду еще никто не подходил. Донька нервничал и немилосердно хвастал о своих успехах среди женщин.

— Я все-таки и здесь завел хорошее знакомство. Случайно заимел! — говорил он мне, ухмыляясь.

— Когда же?

— А вот когда в штаб ходил. Если бы ты увидел, позавидовал бы.

— Да что ты? — посмеялся я.

— Да уж будь спокоен! — уверенно заявил мне Донька. — Марусей зовут. Загляденье! Она за Невской заставой живет, — прибавил он, немного подумав.

Я увидел, как Донька что-то еще хочет сказать мне, но не решается.

На тротуаре уже появились одинокие фигуры. Каждый из прохожих непременно скрывался в подъезде. Все шли на лекцию. Народу было немного. Черная дверь на блоке, закрываясь за проходившими, странно вздыхала, будто прощая заговорщиков. В доме вспыхнул ряд окон третьего этажа над подъездом, потом их задержали глухими портьерами.

Донька встревожился. Даже в темноте можно было заметить, что глаза у него поблескивают, как у охотника. Мы ждали толпу, надеясь проскользнуть вместе с нею. Но ее не было. К подъезду подъехал извозчик, он привез высокого человека в черном пальто.

Этот человек заговорил басом. Спутник его засмеялся тонким, повизгивающим смехом. Затем оба они исчезли в подъезде. Опять вздохнул блок, и снова опустела набережная Мойки.

— Пошли! — сказал я Доньке.

Прислушиваясь к шагам, раздававшимся сверху, с полусвещенной лестницы, мы тоже поднялись на второй этаж и вошли в прихожую. Сборку стояла большая вешалка. Двое только что вошедших уже разделись. В одном из

них я узнал Горького. Он был в черном костюме, борта широкого пиджака обвисали свободно, будто на вешалке. Он оправил ворот голубой свежей сорочки, мельком поглядел на нас.

В соседней комнате, по обстановке напоминавшей контору, слышался шум. Там разговаривали и курили. Около барьера толпились чисто и аккуратно одетые девицы, болтавшие с молодыми людьми. За барьером были расставлены кафельярские столы. У одного из них стоял юноша в синей гимнастерке и в синих галифе. Он курил толстую папиросу-самокрутку в длинном изящном янтарном мундштуке. У него были темножелтые, будто грязные, руки, на среднем пальце правой руки он носил перстень с красной геммой. Он был курнос, среднего роста, строен. На его желтом восточном лице темнели агатовые глаза. Прищурясь, он контролировал всех входящих в эту комнату.

Я оглянулся на Доньку. Форма, да и не только она, а весь вид Доньки, его насторожившийся взгляд отличали его от всех остальных. Я был незаметнее, мой старый китель, мои старые студенческие брюки со штрипками ни в ком не могли возбудить сомнение. Я подходил к этой публике, сливаясь с нею. Донька же скрипел ремнями, выпрошенными у командира взвода. Его галифе сверкали вшитой в сукно желтой кожей. На сапогах брэнчали медные шпоры.

Столкновение казалось неизбежным.

Действительно, не успели мы войти в эту комнату, как я уже поймал нацелившийся на нас глаз контролера.

Я понял, что мне сейчас предстоит упрашивать его и объясняться с ним. Контролер, аккуратно положив свой мундштук на край конторки, подошел к нам, но обратился не ко мне, а к Доньке.

— Вечер закрытый! Вы кто такой? — сказал он.

Донька раскрыл рот, точно намереваясь укусить контролера.

Потом задрал голову и, не задумываясь, выпалил:

— Писатель. А в чем дело?

Такого ответа никто не ожидал. Юноша был ошарашен, потом начал оглядываться, выискивая кого-нибудь на помощь. Донька, не дожидаясь дальнейших расспросов, храбро пошел вперед. На пути он столкнулся с Горьким, внимательно наблюдавшим за всей этой

сценой. Вздернув левое плечо, он прошел мимо всех. Я увидел, как Горький проводил его веселым, усмевающимся взглядом. Тут же он остановил метнувшегося за Донькой ретивого контролера.

Короче говоря, через минуту я уже сидел рядом с Донькой в белом зале. Бронзовые кенкеты, висевшие по стенам, освещали уютный узкий зал. Его красивый паркет был отполирован, точно для танцев. Сбоку возле окон, по середине зала, стояла белая мраморная фигура работы Родэна. Зал наполнялся публикой, мне казавшейся изысканной, а Доньке в каждом из входящих уж наверно мерещился контрреволюционер. Белые воротнички и галстуки, золотые пенсне, черепаховый лорнет и боа из перьев на какой-то старушке, очевидно, казались ему необыкновенной роскошью. Из разговоров этой старушки с ее соседями я понял, что она переводчица. Донька смотрел на нее не мигая. Беспреданно то один, то другой человек привлекали его внимание, и он сидел будто на иголках, оглядываясь на все стороны, словно ожидая нападения.

Мимо него проходили люди, задевая его колени. Рядом с ним уселся маленький и тощий человек в черном сюртуке, носатый, с удлиненной головой аскета, с лысиной, похожей на большую тонзуру, бритый. Донька скромно поджал под себя ноги. Человечку многие кланялись. Он отвечал еле-еле, дотрагиваясь острым подбородком до шелкового глухого, широкого галстука, закрывавшего грудь и шею. Из-под галстука у него чуть виднелся краешек старого, пожелтевшего крахмального воротничка.

— Поляцкий поп! — шепнул мне на ухо Донька.

Замечание Доньки было верно. Действительно, в этом человечке таилось что-то от иезуита восемнадцатого века, посланного своим орденом в свет и поэтому снявшего рясу.

Сосед, однако, отличался тонким слухом. Его плоская, будто вырезанная из газеты голова насторожилась, тонкие губы съежились. Он сказал, боком глядя на Доньку:

— Вы ошибаетесь.

Потом серьезно прибавил:

— Я семит. Но пр-реклонаюсь пр-ред-р-расотой Хр-риста!

Он картавил. В этой картавости было нечто изящное и горделивое.

Донька ничего не понял. Щеки у него стали малиновыми. Это подкупило его соседа. Его жесткий профиль смягчился. Неожиданно взяв Доньку за руку, он сказал:

— Я кр-ритик Во-лын-ский. А вы кто? Навер-рно стихи пишете?

— Да! — соврал Донька.

— Здесь многие пишут сквер-рные стихи, — громко сказал старик и презрительно пробежал глазами по рядам.

Донька, глядя на Во-лын-ского, уже не замечал ни блеска люстр, ни шелкового штофа, ни развешанных по залу картин. Быстрый, размашистый человек прошагал через зал и, задержавшись возле Донькиного соседа, обнял его за плечи. На его подвыжном лице растянулась улыбка. Он опасливо поглядел на меня, потом пренебрежительно отвернулся.

— А что, Аким Львович, как вы думаете: его слава равняется славе Толстого? — спросил он, прикрыв ладонью насмешливый рот. — Тогда это встреча гигантов.

Я понял, что разговор шел о Горьком.

Во-лын-ский поднял брови дугой. Потом ерзнул плечами. Слова закипели на его тонких белых губах:

— Пр-ред-ставьте, это именно так. Я это ощущаю нер-рвами.

Спрашивавший смугился и отдернул руки от критика, как от раскаленной плиты.

Около нас шушукались и перешептывались люди искусства. Они отогревали здесь тело и душу. Я сидел среди них, боясь проронить слово, не вступая ни с кем в беседу и, очевидно, немногим отличался от Доньки. Мои глаза тоже были наполнены изумлением. Вся эта жизнь была совсем не похожа на суровую стужу, превратившуюся для нас в привычку.

Начало оттягивалось. Я встал и вышел из зала. Откуда-то потянуло запахом хлеба. Это была столовая. Почти всю комнату занимал пустой длинный стол. Возле буфета стоял кто-то в серой двубортной тужурке лакея. Волосы у него были приглажены водой. Его лицо, его взгляд и тужурка напоминали серовский портрет Николая II.

Молодой человек с чолкой и с оттянутыми губами, в стоячем крахмальном воротничке, увивался возле него. Он глядел ему то на плечи, то на бородку

■ настойчиво упрасивал одолжить три миллиона.

— Я ведь вчера с вам давал, — говорил лакей со скукой, но не теряя почтительности.

— Так это было вчера, Ефим, — возражал молодой человек. — А мне надо сегодня.

Из столовой было видно гостиную. В ней расхаживал Горький. Кроме Горького в гостиной находились еще люди, очевидно писатели. Но я не знал их. Они задавали Горькому вопросы. Он отвечал рассеянно, хмурился, потирал ладонью широкий жесткий ежик на голове. Он размышлял, потом начинал тушить свою папиросу, постукивая ею прямо о крышечку мраморного стола, потом спохватывался и быстро рукой стирал пепел, как ученик стирает с доски неверно написанное. Кругом него посматривали на часы. Время перевалило за восемь. Но Горький не замечал этого.

Шум за стеной рос. Зал уже переполнялся. Из нижних комнат публика тоже перекочевала наверх. Горький поднял голову. Я увидел прокуренные усы. Он прислушался, как на улице, к шуму и спросил:

— Пора, может быть?

Затем вышел в зал. Сразу наступила тишина.

На узком помосте зала стоял маленький отполированный столик. Горький покосился на его тонко выточенные ножки. Столик был прекрасной работы, и Горький невольно дотронулся до него кончиками пальцев. Горький казался очень высоким, столик — слишком изящным и маленьким. Глаза Горького были опущены, плечи, наоборот, подняты и торчали, будто два желвака. Горький решительно посмотрел в зал. Взгляд был мягкий, серый, почти женский. Вдруг он мгновенно переменялся. Лицо одеревянео. Голова стала грубой, словно вытесанная долотом. Горький обтер платком нос, рот, усы. Сел. Спокойно разложил на столе рукопись, надел очки. Лицо стало опять домашним. Он приступил к чтению.

Сперва он изложил историю своего сочинения. Это был небольшой пролог, в котором он рассказал, что все эти записи о Толстом были сделаны в разное время, давно, хранились в забытом сундуке, считались потерянными и нашлись совсем неожиданно.

Необычное начало расположило ко вниманию. Он читал отрывок за отрывком. Манера, с какой он вспоминал о Толстом, исключала всякую преднамеренность, он ничего не доказывал, как будто он поставил себе задачу — говорить не думая, говорить не удивляясь Толстому, не испытывая к нему ничего кроме интереса. Как будто ничто постороннее не мешало ему, впечатления текли свободно. Этот поток, наполненный жизнью, смысл всю ту гору воспоминаний, которая была нанесена его предшественниками.

Только он один показывал человека, названного Толстым.

Он читал не останавливаясь, ощутив уже власть над слушателями. Щеки его слегка зарумянились. Он окрашивал свои слова чуть заметной интонацией. Они становились выпуклее, как у актера.

Когда Горький объявил перерыв и раздались оглушительные аплодисменты, Донька с нескрываемой враждой оглядел зал. Потом, не обращая ко мне, ушел курить. Я нашел его внизу, у деревянной лестницы, возле окна. Он смотрел в темный двор.

— Ну как? — сказал я. — Понравилось?

Он не ответил. Я не понимал, что с ним случилось. Многие из публики уже спускались по лестнице. Кругом стояли кучки курящих, и расспрашивать стало неудобно.

Около нас стоял человек в зеленом жакете с круглыми фалдами. У него было полное, слегка опухшее, розовое бритое лицо, его длинные золотистые волосы казались париком из театрального реквизита, левую, согнутую в локте руку он держал на черной перевязи.

Он не курил. Он морщился от табачного дыма и, склонив голову набок, слушал красиво одетую даму, пышнотелую, пахнущую духами.

— Это сильная и могучая хватка богатыря. Не правда ли? — волнуясь, говорила дама.

Ее руки, затянутые в темносерый, серебристый шелк, рукавички, обтягивавшие запястье узкой полоской кружева, ее ямочки окол губ, ее белый лоб, ее ленивый голос оглушали человека в зеленом жакете. Он ничего не мог ответить ей. Он только моргал.

— Да? Вы скажете — я люблю Горького? Нет. Но это горьковская хватка. . . —

поёживаясь, повтoряла дама. — Она увлекает своей широтой... Она родилась на Волге... Она...

Донькин сосед стоял наверху, на деревянной площадке. Три маленькие танцовщицы, прижавшись друг к другу, стояли около него и, боясь шевельнуться, смотрели ему в рот. Они считали его великим, потому что он писал о балете. Глаза у него сверкали. Он брызгал слюной им на плечи. Он негодовал и восторгался:

— Всё трр-ранспонир-овано... И это тр-рагично! Пр-ротиворечия всегда покорряют.

В эту минуту проходил по лестнице высокий толстяк в обмякших, тожно стираемых одеждах, с лицом неопределенного цвета, как студень. Он остановился возле критика. Седые кудри, осыпанные перхотью, загибались у него на воротнике.

— И вы туда же, Аким Львович? — сказал он, покачав головой. — И вы обольщевичились? Ведь всё это пересмотр Толстого! Я не верю в документальность этих записей. Это игра. И, как всегда у него, это на руку большевикам.

Волынский брезгливым жестом отстранил толстяка, нависшего над ним, как глыба:

— Пусть это невер-рно! Но в этом есть тр-репет.

— Именно трепет! — прорычал толстяк и, не дожидаясь ответа, пошел вниз, точно бык, упрямо выгнув шею.

Прозвучал звонок. Мы снова направились в зал.

Горький продолжал чтение.

Теперь он уже по-настоящему казался равнодушным к сидящим в зале, словно он пошел сюда не по своей воле, а его упростили.

Иной раз он помогал себе жестами, и тогда мне казалось, что он, как скульптор, на глазах у публики лепит множество фигурок: то скучного, большого старика, то скептика и аристократа, то мущика и святошу, то гения, то кавалериста, то озорника, то праведника и грешника, то простеца, то философа... Каза-

лось, что каждую он держит между большим и указательным пальцами и, поворачивая ее со всех сторон, наслаждается, умиляется ею или, наоборот, подсмеивается. Я чувствовал, как из всех этих фигурок складывался у него один великий человек, которого можно сжечь и ненавидеть. Я завидовал Горькому, потому что он видел его живым.

Горький читал, склонившись над своими листками. Он уже не думал, наверное, ни о публике, ни о чтении, может быть, даже забыл о том, где находится.

Мне казалось, что из листовок вдруг всплыло перед ним лицо Толстого. Когда Горький начал читать о его смерти, голос у него подскочил, он умолк, быстро прикрыл глаза ладонью. Затем встал и, виновато махнув рукой, покинул зал.

Он ушел в гостиную. Дверь её была полуоткрыта.

Я оглянулся на Доньку. Донька был потрясен. Он выставил вперед левую руку. Она лежала у него на колене, пальцы её были согнуты, словно он держал в ней повод. Глаза были напряжены. Тело устремлено вперед, как у всадника на галопе.

Через три минуты Горький вернулся в зал с папиросой в руке.

...Чтение кончилось. Мы, вместе с остальными, гурьбой вышли из еле освещенного подъезда. Мы погрузились в тьму и уже не слушали чужих разговоров. Мы шагали вдоль чугунной решетки по набережной. Донька молчал. Мы приближались к огромным, как крепость, кирпичным казармам.

— Слушай, — вдруг шепнул мне Донька, — а ведь я хотел словчить! Ты думаешь, я на лекцию хотел? К Мару́ське думал удрать. Спасибо тебе, что ты пошел со мной, а то бы...

Не договаривая, он пожал мне руку. У ворот дивизиона мы натолкнулись на часового с фонарем в руке и с винтовкой за плечами. Часовой отлично знал нас, но все-таки спросил условный пропуск.

— Пенза, — ответили мы и прошли в железную калитку.

Леонид Хаустов

РОЖДЕНИЕ ГОРОДА

Был город сначала похож на погост:
Землянки да пара часовен.
Потом и проспекты скроили на рост
И крепость срубили из бревен.

Но грязь, что завязнет обоз с лошадьми!
Тут нужно ходить со сноровкой.
А модницы — вот они! Их не корми,
Но дай погордиться обновкой.

А сам — долговязый, еще молодой.
(Без шляпы. Распахнутый ворот.)
Шагает, глядит по-над серой водой:
И впрямь получается город!

Но кто-то уже по Руси говорит:
«Антихрист, построил на муку!»
А кто и смеется и ходит обриту:
«Хвала, государь, за науку!»

Матрос в кабаке по неделям подряд
Без просыпу пьет — воротился.
И «паче» и «иже» еще говорят,
И Пушкин еще не родился.

И Петр восседает, довольный вполне,
От пороха черен и пыли,
Не всадником медным на злом скакуне,
А просто на рыжей кобыле.

А город, гремя топорами, встает,
Неву в паруса одевая.

То просто история наша живет,
О собственной славе не зная.

СНОВА В МОСКВЕ

Идет, прищурившись от смеха,
По грязи улочек кривых.
А там — березки с лисьим мехом
На худеньких плечах своих.

И большего ему не надо.
Он вновь, как в молодости, здесь.
Опять пройти аллеей сада
И на скамеечку присесть.

Трость положить с собою рядом,
Сидеть как будто в полусне,
И снять тяжелое пенсне,
И заглядеться листопадом.

Потом средь ялтинских садов
Тому поверит он скорее,
Что просто вычитал аллею
Из книжки бунинских стихов.

Но это явь. И, лист багряный
Потрогав тонкою рукой,

Он снова вспомнит Левитана
С такую болью и тоской,

Что сразу встанет и, рассеян,
Пойдет домой, уже не тот.
Но неожиданно к музею
Он с полдороги повернет. . .

«Как хорошо здесь!» — тихо скажет
И будет, глаз не отводя,
Смотреть на золото пейзажей,
Почти вплотную подходя.

Потом почувствует усталость
И, оглядываясь, заметит вдруг,
Что в зале как-то людно стало,
Студенты, девушки вокруг.

Услышит голос чей-то справа:
«Ведь это Чехов!» И тогда
Он сам поймет; что это слава
И жизнь, быть может, навсегда.

МАТЬ

1

Я называю детством ветхий дом
И голубей на чердаке пустом.
В одной из тесных полутемных

комнат

Мы долго жили с матерью вдвоем.

Тропинка к школе на краю села
Березовою рощею вела.
Там каждым утром мать моя ходила.
Теперь тропинка эта заросла.

И только я запомнил на года,
Как медленно отходят поезда,
Которые куда-то мать увозят
И, кажется, увозят навсегда.

Была болезнь, и в тишине ночей
Я бредил воркованьем голубей,
И на руках она меня носила.
Мне было много легче. Ну, а ей?

Выздоровленье. Сон. И свет в окно.
Ее лицо — сквозь сон — озарено.
И я скажу, тот свет сейчас припомнив,
Что мать и детство для меня — одно.

2

Юность матери — русые косы.
Легкий шаг. Беспричинность тревог.
Да над Вяткой-рекой, над откосом,
Деревянный, в церквах, городок.

Юность парусной белой лодкой,
На которой катались тайком,
Пролетала вдоль Тихой слободки,
Мимо вальса в саду городском.

Все воздастся моею любовью.
Правда прожитой жизни светла:
Ведь для юности нашей, сыновней,
Материнская юность прошла!

ВОЗМЕЗДИЕ

РОМАН

(Продолжение)

ПЯТАЯ ГЛАВА

19

О том, что Жонсницкий продает излишки земли и что крестьянам для покупки будет предоставлена ссуда, Петр услышал от Ефима Гагалюка.

Потом прибежала Ханна и сообщила: — Солтыс сказал: «Ну, Ханна, теперь разбогатеешь! Теперь и замуж пойдешь».

Вся встревоженная, стояла она перед братом; по лбу ее катился пот, она вытирала его кончиком платка.

— Поди же узнай! — взмолилась Авдотья.

— Наговорят, наболтают, — постарался спокойно возразить Петр.

У гмины стояла толпа. Семен Хорук громким голосом читал объявление Жонсницкого.

Рыдзевский с трубкой в зубах сидел на перилах крыльца.

— Выходит, что Жонсницкий будет продавать! — крикнул Петр.

Толпа зашумела. Рыдзевский улыбался. Его спрашивали: какая земля, сколько земли, в каком банке брать ссуду, насколько будет рассрочка.

— А не дадут ли и на коня в банке?

Рыдзевский развел руками:

— Панове, все узнаете в свое время. Но я предполагаю, что возможно.

В толпе еще больше зашумели. Люди теснились вокруг гмины, люди входили в гмину. Каждому хотелось собственными глазами увидеть объявления, и не только увидеть, но и притронуться к ним.

Петр вернулся домой с таким лицом, что Авдотья, ни о чем не спрашивая, присяла.

Ханна доставала воду из колодца; журавлиный шест медленно скользил в ее руках.

— Ну, — торопила она, — Петр?!

— Что вы думаете, — сказал Петр, — будет жизнь! Жонсницкий продает землю. То-то в этом году весна как пришла, так и засветила небо.

Так хорошо было на душе, что ничего не хотелось делать, и Петр делал самую легкую работу, которая не занимала мыслей: точил топор, прилаживал к нему новое топорище, чинил плетень. Авдотья добрых полчаса без толку бегала по двору, потом принялась убирать дом. Выколачивала и чистила тулупы, вытаскивала из сундука старое полотно и растянула его по земле; старые штаны Петра повисли на заборе.

— Сегодня будем ужинать, — сказала она забежавшему племяннику. — Приходи, угощу!

Она припрятала на случай большого несчастья или такого же большого счастья немного фасоли. Веселой, разноцветной, жирной фасоли.

Если такой фасоли поесть — боже, как делается хорошо!

Фасоль уже лежала в воде в глиняной миске.

— Ханна, что я тебе скажу...

Ханна на завалинке штопала половичок. Бело-синий, он служил еще Авдотьиной матери.

— Послухай, Ханна, сбегай до Рыдзевской, попроси соли и постного масла! Сбегаешь?

— Сбегаю.

— Только ты не задерживайся, чтобы до вечера все у нас было прибрано.

До хутора Рыдзевского полкилометра. Ханна то шла, то бежала. То снимала с шеи платок, то надевала.

Рыдзевская выносила из погреба крынки с молоком. У нее был большой живот и здоровое лицо. И сейчас Ханна не позавидовала, а даже обрадовалась женскому счастью Рыдзевской.

— Все жалуетесь и жалуетесь, — сказала Рыдзевская, — а теперь приходите и просите соли и масла. На что вам масло?

— Фасоль заправить, пани.

— Бьюсь об заклад, что вы тесто поставили.

— Откуда же тесто, пани? Последняя фасоль! Сегодня такой радостный день.

— Теперь ты, пожалуй, замуж пойдешь?

— Не знаю, дорогая пани.

— Всё вы не знаете!

Масло было золотое и прозрачное. Оно светилось. Оно пахло. Ханна несла его в бутылочке, где его было совсем немного, — немного больше, чем на дне, — так осторожно, точно несла кувшин, полный до краев. В другой руке, в белой тряпочке — соль.

Еще вчера шла она по этой тропинке и ничего не видела и ничего не слышала: ни голубого неба над далеким тополем, ни кустов, таких живых и теплых, ни шороха птиц в кустах. Еще вчера думала свою вечную грустную думу: не женится Семен на ней! До последнего своего дня будет она батрачить, не будет у нее ни любви, ни дома, ни детей. Шла и смотрела под ноги. И шла так тяжело, что, казалось, земля раступится под ней. А сейчас увидела все, и даже маленькое болотце и в болотце головастиков. И хотя очень спешила, обрадовалась и остановилась. От ее тени головастики метнулись во все стороны.

Ханна присела над водой, потом засмеялась. И тут увидела сову, которая точно лежала в воздухе, пролетая над поляной.

А на иве раскрылись почки.

— Мой боже, если будет земля... Семен женится на мне!

Фасоль кипела. Авдотья сквозь заслонку в печи слушала глухое бульканье. Несколько раз выдвигала горшок и заглядывала, боясь, что фасоль пригорит.

Вкусный запах тянулся по хате, когда она открывала горшок.

Васька стоял рядом, тер босую ногу о ногу и спрашивал:

— Тетя, скоро?

— Еще не так скоро... Думаешь, у твоей матери скорее? Подожди, не торопись... Какой быстрый! Пойди принеси воды, чтобы после ужина была холодная вода.

И вот Авдотья пригласила всех к столу. Разварившаяся фасоль плавала в густой, клейкой жидкости.

Все видели, как Авдотья налила туда масла, как рука ее дрогнула, вылив половину. Но праздник был праздником, женщине хотелось праздновать широко и свободно, и она вылила все масло и долго держала пустую бутылку над горшком. И пожалела, что послала Ханну с бутылкой, а не с кружкой, потому что на стенках бутылки остался масляный след от капли и никак нельзя было до него добраться.

Потом она посолила фасоль.

Потом ложкой осторожно размешала. Потом сказала:

— Ну... ешьте!

Петр первый опустил ложку.

Фасоль ели медленно. Она была так вкусна, что ее хотелось есть всю ночь до утра. И, главное, ее было много. Почти полный горшок.

Ели не разговаривая. Все чувства сосредоточились на святом деле еды. Богатые не имеют представления о том, какое еда святое дело!

Пустой горшок отдали Ваське. Счастливый и важный, он сел у окна.

— У меня будет до тебя просьба, — сказала Ханна брату. — Христа ради, купи для меня морг или полтора!

— Само собой, — успокоила Авдотья.

— А может, можно и два?

— С двумя моргами Трофим перед тобой шапку снимет, — усмехнулся Петр.

Он выпил кварту холодной воды и почувствовал себя таким сытым и здоровым, как это было двадцать лет назад.

— Ей-богу! — сказал он.

Рано утром тутэйшие отправились к Жонсницкому.

Все было хорошо этим утром. Петр долго умывался у колодца и под конец плеснул из ведра на Авдотью. Авдотья, счастливая, закричала и замахнулась на него веревкой.

Взвизываясь. Петр заглянул ей в глаза и сказал с угрозой:

— Вот купим землю, и тогда я разговариваю с тобой по-своему.

— Что ты там такое говоришь? — проворчала Авдотья. — Стариком стал, а туда же!

— Это я-то стариком? — Петр ее обнял.

— Уйди от меня, дьявол! — вырвалась Авдотья и громко, на весь двор, смеялась, как смеются счастливые люди.

Петр шел рядом с Ефимом и Арцыменей. Немного впереди легкими шагами шагала Трофим Хорук.

«Какую Жонсницкий продает землю? — думал Петр. — Должно быть, продает землю в бору».

Он подумал о тех участках, которые отдыхали уже тридцать лет. На них сеяли при покойном Адольфе, при Зыгмунде не сеяли совсем.

Садовник Владэк расчесывал граблями землю.

— Мы до пана, — сказал, Петр, — по приглашению.

— Если по приглашению, так приходите!

По дорожке шли осторожно, чтобы не оставлять следов. Солнце горело на крыше замка, на окнах второго этажа. Красный сокол на флаге казался живым.

Остановились у гранитных ступеней крыльца, из уважения и робости глядя в землю. Дверь распахнулась, выглянула Кася, сказала:

— Сейчас пан выйдет.

Мелькнула голыми толстыми локтями и хлопнула дверью.

Было тихо в замке. Точно никто там не жил. Кася вышла через другую дверь и теперь шла по крайней дорожке. Вся она была белая: руки, ноги, белая блузка и носочки белые. Следили за Касей и не заметили, как Жонсницкий появился на крыльце.

— Все по одному делу?

— Все по одному.

— Ну, выкладывает свою нужду!

— У всех нужда одна, прошэ пана.

— Насчет земли?

— Так есть, прошэ пана.

— Хорошая нужда! Я продаю землю по правую сторону гати.

— Прошу извинения, — переспросил Петр. — это где же?

— Я сказал: по правую сторону гати.

Гать, как известно, у нас одна. Правая сторона у гати тоже одна.

Тутэйшие хлопали глазами. Они понимали Зыгмунда и вместе с тем думали, что не понимают его. Земля, о которой говорил помещик, была бесплодна. Она не годилась даже под выгон для овец. Петр почувствовал, как у него задрожали ноги. Ефим кашлянул и посмотрел, на него. Кто-то еще кашлянул.

— Прошэ пана, — сказал Петр, — еще раз осмелюсь спросить, может быть, выражение слов нам непонятно. Потому что если говорить о той земле, о тех излишках, то те излишки, как известно, непригодны и никогда излишками не считались... Это, как говорится, пустырь. Ведь, как известно, там даже трава не растет.

Зыгмунд усмехнулся:

— Удобрять надо землю, Гагалюк. А не так, как вы: сосете, сосете, как черви!

— Конечно, если удобрять... если двадцать лет удобрять...

— А как же насчет земли? — раздался в мертвой тишине голос Трофима. — Больше никакой не продается?

— Больше никакой.

Опять наступила тишина.

— Для вашего сведения, — сказала Зыгмунд. — Я закрываю проход и проезд через леса. Ни телегой, ни конем, ни пехотой! На ваши полосы в лесу можно будет добираться только самолетом. А так как самолетов у вас немного, то я снисхожу к вам и вашим затруднениям и предлагаю мену. Землю по правую сторону гати, мбрг за морг, честным обменом меняю на вашу землю в моем лесу. А то, что останется за гатью после обмена, вы можете прикупить на тех условиях, которые вам известны из моего объявления. Таким образом вы станете хозяевами всей земли по правую сторону гати.

Орховцы смотрели на Жонсницкого, раскрыв рты. Петр сказал хриплым от страха голосом:

— Невозможно понять, о чем говорит пан. Это о каких полосах в лесу? О наших?

— О ваших.

— Как же на наши полосы может быть закрыт проход? Ведь полосы наши!

— А почему же не может быть закрыт проход? Ведь лес — мой?

Опять наступило молчание.

— Наша земля в бору есть наша жизнь, — сказал Петр. — Такого не может быть у пана намерения, чтобы нас уничтожить с лица земли.

— Я хочу вам благополучия, Гагалюк, и поэтому советую поскорее подписать акт обмена, а затем прикупить сколько каждому нужно излишков.

21

За калиткой лежал черный проселок. Здесь, на этом участке, между соснами росла трава, сочная и нежно-зеленая. А немного дальше черный проселок превращался в ослепительно белый, песчаный, и землю покрывала одна скользкая желтая хвоя.

Тутэйшие повернули с проселка на тропу, спустились в лощинку. В лощинке Петр остановился.

— Не видано и не слыхано! — сказал Касыняк и заплакал.

Слезы потекли обильно и закапали на рубаху. Она была чистая, старательно выглаженная.

— В суд! — крикнул он. — Правды требовать, правды!

Долго сидели и лежали люди в лощине. Ползали муравьи по теплой земле. Пролетела капустница, закуковала кукушка.

Дело, которое обещало счастье, несло смерть.

22

Авдотья и Ханна ожидали у ворот. То, что Петр долго не возвращался, нравилось им. Значит, идут настоящие разговоры о покупке и, может быть, Петр пошел смотреть и отмерять землю.

— Хорошо бы твою полосу поближе к нашей! — сказала Авдотья.

— Уж все равно... только была бы!

— Конечно, только была бы.

Солнце печет. Голые ноги женщин темнеют. Лица они стараются закрыть платками, но это удается плохо. Солнце попадает на щеки, и щеки горят.

— Неужели у меня будет своя жизнь? — улыбается Ханна.

Сейчас она уверена, что жизнь будет. Будут хата, муж, дети. А что нужно для счастья? Чтоб был еще кусок хлеба. Но ведь кусок хлеба будет, если будет земля. Больше ничего не нужно. Потому что все остальное здесь есть. Выйдешь

из хаты — река перед тобой. Небо над тобой, леса шумят. Травы растут, птицы поют... вот как сейчас. Чего еще можно желать в жизни? В школе она учила про завоевателей, про королей. Зачем это люди завоевывают и становятся королями? Разве не хочется королю взять себе кусок поля и пойти по полю босиком? Ой, хочется королю, хочется... А нельзя! Он должен надевать звезды на мундир и сидеть во дворце. Или пан презес государства...

— Видала сегодня Семена?

— Рано утром видала.

— Видала все-таки... Ох, девка!

— А что еще я видала... Проснулась от шума на дворе... Смотрю на тебя с Петром... Вы спите, а светает. Выбежала во двор. И как выбежала, так и стою... Все небо шевелится, ей-богу... Туча не туча — летят жаворонки... ей-богу! А снизу, по-над Бугом заря... и жаворонки то летят, то стоят в небе... И поют, запели... Думаю: «Господи, какое утро, какое счастье!» Ворошится эта туча и стоит над нашим домом. И мне жарко стало от счастья... «Ой, какое будет у нас счастье!» — думаю. И побежала, побежала... Бегу и все смотрю в небо.

— И что же, бежишь, бежишь и, значит, видишь Семена?

— Честное слово, вижу — идет с переметом.

— Что ж, он слова говорит или больше до дела добирается?

— Больше до дела, — прошептала Ханна.

С вершины холма спускалась бричка Карпиньского. Пусть себе едет Карпиньский! Сейчас не хочется думать об осадниках. И даже не хочется думать о том, что наделали секвестраторы.

Бричка проехала. Карпиньский сидел с кнутом, в соломенной шляпе. Старый капрал и усмиритель. Про него известно, что он так усмирлял украинцев, что побоялся после усмирения остаться на Украине и приехал на Беларусь. Бог с ним, с Карпиньским! Проезжай себе, Карпиньский!

За Карпиньским проехал велосипедист, сын мельника. У него новенький хорошенький велосипед. Рога руля подняты, все на велосипеде блестит, и сам сын мельника блестит. Проезжай себе, сын мельника!

— Петр идет, — сказала Авдотья и сорвалась навстречу.

Петр шел, поглядывая по сторонам, покачивая прутиком. Вид у него был такой, что Авдотья не узнала его.

— Ой, что с тобой, Петр? Ну что, купил?

— Купил.

— Да что с тобой, Петр?

И тут, на дороге, над которой утром шумели жаворонки, по которой только что проехали Карпинский и сын мельника, — и пусть себе проехали! — над которой стояло солнце, отчего дорога отливала золотом, Петр Гагалюк рассказал жене, что случилось.

Авдотья схватилась за голову и застыла.

— Надо к начальнику повита итти, — говорила каменным голосом Ханна, — а то к воеводе... Да разве это может быть? Разве с людьми можно такое делать?

— Шла бы ты работать, — тихо сказал Петр сестре, — а то Рыдзевский возьмет другую!

23

Это была сухая, песчаная, какая-то соленая земля. Везде в Орхове уже росла трава, сразу поднялась за несколько дней, а здесь было что-то жалкое, невидное. Здесь летом не паслись даже овцы.

Пустыня протянулась от самой гати до холмов.

Над тутэйшими сияло солнце, летели с шумом и гамом птицы, вся природа как бы поднималась навстречу лету. Люди сидели на корточках, раскапывали землю, погружали в нее пальцы, сыпали ее между пальцами.

Земля была хуже, чем про нее думали.

Трофим Хорук в последние дни обегал всю новую землю. Земля лежала широко. Он прельщался ее шириной, вольностью. Кудрявые сосенки на горизонте переходили в лес. Но земля была бесплодна — песок. Хорук побежал к Густаву, старшему леснику, за советом. Он спрашивал Густава, не сделает ли пан исключения только для него? Так как сын его получил знаки отличия в армии, а сам Трофим всегда благоговел перед паном, то не будет ли ему позволено

проезжать на свое поле? Совсем тихо он будет проезжать ночью. И ночью будет возвращаться. И даже телегу он может не брать. Как-нибудь устроится и без телеги, если пану не нравится в лесу колея от колес.

— Нет, — сказал Густав, — у пана есть своя надежда на твою землю.

Хорук не понял. И тогда Густав, видя, что крестьянин не понимает, хихикнул:

— От ваших полей ничего не останется,

— Как ничего не останется?

— Да уж так, ничего!

Но Хорук попрежнему не понимал и продолжал умолять.

Он хотел притронуться к ногам Густава, но Густав отступил.

— Рассчитывай вот на что: пан по моей просьбе продаст тебе для удобрения торфу. Ты не слыхал о торфяном удобрении? Это чудодейственная сила. Земля уродит так, что ты соберешь золото.

— Какое там золото? — с сомнением пролепетал Трофим.

— Я тебе говорю.

Хорук поверил и не поверил. О торфе он решил никому ничего не говорить. Если торф действительно дает земле силу, то пусть он даст ее только на полосе Трофима. Пусть другие придут в отчаянье от бесплодной земли и начнут продавать ее за гроши. И тогда... Что ж, тогда Хорук кое-что прикупит...

Он верил и не верил. Больше не верил, и тревога делала его особенно несчастным.

Он ходил между односельчанами, прислушивался, присматривался.

— Ну что, — спросил его Петр, — измерил свою могилу? Ишь, сколько нам отпустили под кладбище! Что будешь сеять на кладбище? Рожь? А может, здесь пшеница хорошо взойдет?

— Все взойдет, — не обращая внимания на насмешку, уныло сказал Трофим и сел на бугорок.

Сейчас он не верил в торф, мертвая земля его пугала, и он думал, что нужно итти в суд, хотя и страшно итти в суд против пана.

— Надо в суд, — сказал он. — Семен говорит, что пан не имеет права...

Петр хотел сказать: «Вот пожалел трех дней счастья для сына, а теперь что?», но не сказал и отвернулся.

— Жили столько лет, и кто думал! — вздохнул Трофим.

— А как жили?
— Кто как мог, так и жили.
— В одиночку жили,—сказал Петр,—
каждый за себя. Вот и дожили!

24

Сикорский получил от Вагмана письмо о Варвасе.

Оказывается, Варвас был не просто Варвас, орховский ксендз, а человек в некотором смысле особенный, автор статей, которые очень нравятся Дукельскому и которые делают все более известными в Польше и в некотором роде составляют славу польской культуры.

Вагман интересовался, с достаточным ли уважением относится местное население к Варвасу и вполне ли удобно и благополучно протекает жизнь Варваса.

С достаточным ли уважением?

— Его будут уважать как самого апостола,— пробормотал Сикорский.

В тот же день он потребовал от Рыдзевского сведений о предполагаемых свадьбах и крещениях.

— Чтобы никаких Сосниц! — предупредил он Рыдзевского.

— Но, пане Сикорский...

— Я сказал! — сказал Сикорский. — Ты знаешь, кто такое Варвас? В некотором роде он — слава польской культуры!

Рыдзевскому стало не по себе.

— Чтобы поклонение там было и все прочее! — добавил Сикорский.

Он прогулялся мимо дома ксендза, оглядел двор, прошел к костелу, обошел его, увидел сторожа Войцеха и сказал ему:

— Больше радей, Войцех! А то я не люблю, когда костельный сторож не радует.

— Прощэ пана, я же радею!

— Ну-ну, хорошо, там увидим!

Наступила пасха. Раньше было довольно пустынно в орховском костеле, а сейчас в весеннюю тишину костела, в весеннее раздумье шли люди слушать службу Варваса, исповедываться ему, смотреть на него. Их было много.

Регине сначала понравилось это нашествие, потом не понравилось. Варвас слишком много времени проводил в костеле и слишком мало дома. У него исповедывались тоненькая, с горящими глазами жена помещика Горбачевского. Все-таки не-

приятно, когда красивая женщина говорит о своих грехах.

Регине хотелось спросить, какие грехи были у этой хорошенькой женщины. Она понимала, что нужно спросить шутливо, но она знала, что не спросит шутливо.

В это время к Варвасу стали приходить письма от читателей статей. Сначала письма приходили редко, потом все чаще.

Однажды вечером приехали почитатель и почитательница: православный старичок Акимов и пани Стэшко, у которого от дифтерита умер взрослый сын.

Потом приехали сестры Фридецкие: журналистка и художница. Они вошли в дом Варваса как в святилище, где на каждом шагу их ожидали чудеса.

С Региной, которая вела их умываться, они говорили шопотом и, — хотя этого совсем не требовалось, потому что приехали они на извозчике, — омыли от дорожной пыли ноги.

Два часа провели сестры с Варвасом в кабинете. Они сообщили о своих несчастьях: в мире нет правды и справедливости, люди лгут, обманывают и убивают друг друга.

В светлых весенних костюмах сестры сидели рядом и говорили по очереди. Они цитировали Варвасу Варваса, а Регина босиком, бесшумно ходила по коридору и прислушивалась у дверей сначала с радостью, а потом с ревностью, потому что сестры были хорошенькие и молоденькие.

Дважды она заглянула в замочную скважину: сестры не сводили глаз с Варваса.

Они смотрели на него так, как смотрела на него Регина, и у Регины похолодело сердце. Ей хотелось распахнуть дверь, но она не могла распахнуть, потому что она была только экономкой в этом доме.

«Он учитель, — успокаивала она себя, возясь на кухне с яблоками для шарлотки. — Он для всего мира. Прости меня, Михал!»

И ей хотелось готовить шарлотку на коленях и при встрече с Михалом не смотреть ему в глаза и не сказать ему никогда ни слова, а только отвечать на его вопросы, чтобы он увидел все ее благоговение.

После отъезда сестер Варвас долго сидел за столом, исписывая листок за

листком, и Регина приносила ему холодное молоко и мед.

Она спросила, хорошо ли ему, и он ответил, что очень хорошо.

— Вот напишу еще несколько писем, успокою еще несколько человек — и еще лучше станет, — сказал он и склонился к столу.

Регину охватила такая любовь к нему, когда она увидела его лицо, его руку с пером над листом бумаги, что она вышла и медленно опустилась за дверью на пол.

Ей казалось, что она сидит перед ним и обнимает его ноги. И она заплакала от счастья и отчаянья, что никогда не сможет на это решиться.

25

Весной вышла из печати книга Варваса «Утренний свет». Поток писем в Орхово усилился. Однако большинство писем Варвасу писали женщины. Многие конверты надписаны были молодыми почерками.

«Почему так много женщин? — думала Регина. — Почему? Потому что мы, женщины, тоньше, духовнее? Поэтому?»

— Да, поэтому, — шептала она, но не утешалась, потому что представляла себе сестер Фридецких, не сводивших влюбленных глаз с Варваса.

И она понимала, что то, что ей казалось невозможным, — раскрыть Варвасу свое сердце, — надо сделать. Что нельзя это откладывать, потому что, если не сделает этого она, сделает другая, а она умрет от тоски, отчаянья, ревности.

И когда ранним утром Варвас отправился в лес на обычную прогулку, Регина пошла за ним.

Земля была полна ароматами. Даже гниль — и та благоухала приятно и целебно. Даже, по правде говоря, без гнили не было бы настоящего здорового запаха в лесу.

Пели птицы. По деревьям скользили белки. В последнее время лесники зверски били ее, получая от Жонсницкого по десять грошей за шкурку. Но все же белки было много. По утрам, когда она радовалась солнцу, ее особенно было много.

В сторону Старых Лядов лес рос деревом к дереву, почти прижимаясь друг к другу, не понять — в любви, в борьбе

ли. Но если в любви, то разгоряченной, от которой седела и облетала хвоя.

Узкие тропы, неведомо кем проложенные, вели в эту чащу. Регину обступила тишина. Деревья здесь стояли так тихо, что страшно было хрустнуть веткой.

Сколько силы у земли!

Утренний свет дымился золотым дымом. Отдельные лучи, проскользнув между ветвями, обнаруживали, что даже опавшая, сгоревшая от недостатка воздуха и солнца хвоя и валежник полны красоты и жизненных сил.

Регина шла и прислушивалась к едва различимому шороху шагов Варваса. Скоро тропа выйдет на просеку, у просеки Регина подойдет к Варвасу.

Но еще задолго до просеки она испугалась задуманного и, вместо того чтобы догнать Варваса, еще больше отстала.

На просеку врывались воздух и свет, здесь росла изумрудная трава, поражающая сочностью, густотой, мягкостью. На нее хотелось лечь и протянуть руки. Ее усыпали цветы, она пахла медом и зеленью. Утренний свет делал зеленый цвет таким, каким в другое время дня он не будет: живым, полным нежности и какого-то человеческого веселья. Тени между тропинками прозрачны. Они напоминают легкую ткань, они движутся, они становятся все плотнее и плотнее. Только ранним утром можно видеть, как легка, как прозрачна тень, сколько веселья и очарования принес в мир тот, кто задумал и сотворил тень.

Небо бездонно. Потом оно станет плотным, точно жестяным, а сейчас оно живое, оно шевелится, по нему точно текут голубые струи.

Роса покрывает Регинины туфли, паутина серебрится на руках. Просека идет через пал. Черные сосны, уголь, прах. Здесь буйствовал огонь, огромный, жаркий, нетерпимый ко всему кроме себя. Среди дикого леса это место молчанья, черноты и солнечного света полно еще более дикого своеобразия и величия.

Варвас вышел на холмистое поле, засеянное овсом и пересеченное ручьем. До ручья ни кустика, ни деревца, где бы можно было укрыться и собраться с силами; Регина волей-неволей поспешила за Варвасом, который уже спускался к ручью.

Подойдя к прибрежным кустам, она услышала, как булькала вода у ног Варваса. Он сидел и обмывал ноги.

Минуту Регина стояла в нерешительности. Потом приблизилась к нему, опустилась за его спиной на колени и вдруг неожиданно для себя обняла его.

Даже сквозь одежду Варвас почувствовал, как горячо ее тело. Руки, которыми она обнимала его, дрожали.

— Ну что же... ну что же... Михал, дорогой мой... ну что же... — Она пыталась поцеловать его в губы.

Михал молчал и не двигался. Регина спросила со страхом:

— Что же ты молчишь, Михал?

— Я слушаю тебя, Регина.

— Ну и что же?

— Я слушаю тебя.

Он смотрел поверх ее головы на облако.

— Тогда что же... тогда как же... тогда зачем? Мой боже, что вы со мной делаете? Значит, я ошиблась?

Голубые глаза ее стали круглыми и блестящими. Она отпустила его, согнулась и лбом коснулась своих колен. Она хотела головой войти в землю. Кончая книгу, он так весело и ласково смотрел на нее, так хорошо говорил с ней, что она поверила в свое счастье. Зачем же тогда, зачем? Разве можно так с ней?

Михал молчал.

— Я вас не понимаю, — заговорила она, — вы меня все время учили любви... Благоволение, благоговение, любовь... Вы говорили, что радость и любовь идут рука об руку. Вы говорили, что аскетизм не есть высшее в жизни... вы писали об этом статьи. Вы говорили, что любовь зверя так же благословенна, как и любовь ангела. Почему же нет никакого благословения моей любви?

Она уже ничего не стеснялась, ничего не боялась.

— То, что у меня появилось к вам чувство, — это естественно: вы поддержали меня в трудную минуту. Наконец, вы — человек выдающийся, к вам тянется душа. Обычно принято считать, что мы, учительницы, синие чулки. Уверю вас, нам доступны все человеческие переживания. Но, быть может, Михал, я должна была о своем чувстве молчать? Или даже, может быть, я должна была преодолеть его? Но, Михал, таить от вас — зачем? А преодолеть — во имя чего? Во имя вас? Но что плохого для вас в моем чувстве? Ведь вы тоже человек, Михал, и ведь любовь благословенна!

— Что же я должен делать, если ты любишь меня? — спросил Варвас.

— Что вы должны делать? Мой боже... если вы меня любите?

Варвас смотрел на эту голубоглазую женщину с бледным, взволнованным лицом, с высокими, красивыми ногами. представлял себе, что должен делать любящий мужчина, и чувствовал всю невозможность, всю оскорбительность для себя подобного поведения именно с Региной, с которой говорил всегда о высоком и с которой, прежде чем с кем-либо другим, почувствовал себя учителем.

Он закатал брюки и вошел в ручей:

— Жарко! Такая духота сегодня!

Регина смотрела на него тупым, непонимающим взглядом.

— Я к тебе отношусь очень хорошо, — сказал Варвас. — Мне приятно, что ты живешь в моем доме, что относишься ко мне с любовью. Мне иногда нравится даже твоя ревность, потому что она говорит о силе чувства. Это хорошо... Но, понимаешь, то, чего ты хочешь от меня, мне кажется скучным. Не плохим, но скучным. Честное слово, целоваться и делать еще что-то в том же роде скучно! Любовь многообразна и может не нуждаться в этих действиях. Мы с тобой хорошо разговариваем — это и есть самое главное... А то, что ты хочешь, не только скучно, но, по правде говоря, просто невысказано. Мы говорим с тобой о таких вещах, как мир, бесконечность, счастье вселенной, мы стараемся постигнуть механику вселенной, мы живем высшим в человеке — духом и разумом... И вдруг, что же я должен делать? Прости меня, но вспомни животных! Каждый из нас видел это на улице или в поле. Для человека это не обязательно. Неужели ты этого хочешь от меня? Я думал, что ты другого хочешь.

— Да, другого, — пролепетала Регина, умирая от стыда и ужаса. — Это оттого, что вы меня не любите... Теперь я знаю.

26

Стыд после объяснения заслони́л все остальные чувства. Разочарование, отчаяние — все это почти не ощущалось от стыда.

Первым ее желанием было бежать. Не показываясь на глаза Михалу, взять свой чемоданчик и исчезнуть, бежать...

Но уже решившись бежать, она вдруг ощутила в себе нечто упрямое, несогласное, какое-то зарождение силы.

Она осталась.

В самом деле, что случилось? Отключили любовь.

Ужасно и унизительно! Но разве от отказа Михала она должна обратиться в ничто? Она всегда чувствовала себя непримиримой, сильной, готовой на борьбу. Она терпела поражения, но не теряла желания бороться. Она чувствует правду в своей любви, и разве она не должна доказать Михалу свою правду? Пусть он настолько высок, что ничего не нужно ему кроме беседы. Она согласна на это... Вся жизнь ее была трудом и борьбой. Что ж, пусть и любовь ее будет трудом и борьбой.

Но не только это почувствовала она после удара, нанесенного ей Варвасом на берегу ручья. Этот удар как бы снова вернул ее себе самой.

Действительно, Михал захватил ее, и на время она как бы потеряла себя. Но нет, Регина есть Регина.

Чего хотела она с самых ранних лет? Хотела правды и служения. Хотела служить народу преданно, бескорыстно, внушая ему честность, человечность, справедливость. В этом она видела смысл и оправдание всякой, а также и своей жизни. Но жизнь ударила ее, отбросила в сторону, и она увидела, что в Польше нельзя служить народу и справедливости, что современное устройство страны таково, что можно служить только правящей группе. Поняв это, она растерялась. И в эту минуту растерянности пришел ей на помощь своими мыслями Варвас.

Его учение показалось ей более истинным, чем другие. Оно было полно света, бодрости, оно было учением о справедливости в мироздании, о доверии к жизни, о постепенном пробуждении в человеке высших сил.

А как были нужны человеку его высшие человеческие способности, как тосковала Регина по высокому, разумному человеку! И Варвас не только сказал ей, что высокий, разумный человек будет, но еще рассказал, как будет.

Поздно вечером, когда прекращались хозяйственные заботы, она изучала его книгу «Утренний свет». В книге Варвас рисовал пути пробуждения человека.

Человек, не замечающий противоре-

чий и уродств жизни, — это человек, спящий глубоким, младенческим сном. Пробуждение начинается тогда, когда он видит несоответствие между тем, что считает истинным, и между тем, что наблюдает в действительности. Это первая ступень пробуждения.

На первой ступени мир представляется человеку хаосом, силы разрушения — основными силами мира, а все периоды нехаоса он считает в отчаянии только подготовкой к хаосу, своего рода отдыхом мира для новой хаотической деятельности.

На второй ступени открывается величайшая истина гармонии. Человек понимает, что хаос — это тоже гармония, и имя ему — школа. Сложный и противоречивый мир — не что иное, как школа бессмертного человеческого существа. Страдания, бедствия, противоречия, борьба — мудрые воспитатели, они доводят человека до той степени самосознания и силы, на которой он уже бессмертен, на которой смерть — врата в бесконечность. Это третья и последняя ступень пробуждения.

«Мысли Михала могут быть так же справедливы, как и всякие другие, — думала Регина, — ведь мир до конца не изучен... И если не все в его учении соответствует истине, то известная доля соответствует бесспорно. А разве этого мало в той тьме, которая окружает нас? А ошибки нужно исправлять»...

В глаза ей бросалась одна ошибка; с одним пунктом в теории Варваса она согласиться не могла. Варвас считал развитие высших способностей в человеке процессом самостоятельным, неизбежным и постепенным. Мир как бы сам выводит человека к высотам. Но ведь то, что происходит постепенно и, пусть, неизбежно, может происходить либо медленно, либо быстро.

Если процессу развития не содействовать, он будет медленным, если содействовать — ускорится. Книга Варваса — помощь. Но есть же и другие виды помощи! Например, сознательное, организованное создание таких условий жизни, в которых справедливость была бы ясной, сладкой, желаемой для всех.

Когда-то она думала, что этого возможно добиться усилиями одиночек, справедливых людей, к которым причисляла и себя, или усилиями политических партий. Но справедливые одиночки гибли,

а политические партии, выкрикивая на всех перекрестках свои лозунги, обещая помощь и спасение, на деле меньше всего думали о народе и о справедливости для народа.

Нужно было создать новую партию из пробужденных людей свега, которые не только радовались бы открытым истинам, но желали бы при помощи этих истин ускорить преобразование мира.

К такой мысли пришла Регина, и мысль эта успокоила и вдохновила ее.

Регина будет действовать!

Попутно появилась и вторая мысль. Она заключалась в том, что деятельность нового общества не должна быть беспредметна и преследовать общее неопределенное благо, а должна быть конкретна. Так, прежде всего должны быть уничтожены невыносимые тяготы и неправие людей, среди которых живет Варвас.

И вот, когда будут созданы благоприятные условия для существования и духовного развития тутэйших, Регина докажет, что тутэйшие разовьются легко и быстро, а не в каких-то там тысячетлетиях, предполагаемых Михалом.

И когда он увидит ее силу и правоту, разве он не оценит ее сердцем и не скажет ей: «Регина, моя милая»?

Так переплетались мир и Варвас в ее душе в эти весенние дни. А это были предпасхальные дни.

В костеле пели птицы, висели украшения, принесенные прихожанами из Орхувка и хуторов. Регина окончила вышивать большое полотенце, вышив его всеми цветами радости, которые только могла придумать ее вновь обретенная бодрость.

Завтра в костеле будет стоять гроб господень. Вокруг него будут петь птицы. Регина позаботилась о том, чтобы это были настоящие певчие птицы, а не щеглы и чижи. Будут петь канарейки и китайский соловей. Вокруг гроба будут зеленые деревья и невинные цветы.

Весна дотела в открытые двери костела. Свободный весенний ветер, такой теплый и возбуждающий на улице, в костеле делался прохладным и успокаивающим. Ветра в костеле было много, птицы купались в нем, видели в окна голубое небо и пели.

И вот в эти дни, думая о тутэйших, она захотела сделать для них что-нибудь

особенно приятное, приблизить их как-нибудь к Варвасу, к костелу, к себе.

Стражами у гроба господня обычно стояли сыновья осадников. Пусть среди сыновей осадников стражем у гроба станет тутэйший...

27

Вася Давыдзик шел к реке. Сначала Регина хотела окликнуть его из-за забора, потом передумала, сунула в мешочек ватрушку и побежала вдогонку. Ей было радостно оттого, что она готовилась принести людям радость.

— Вася, Вася... Здравствуй, Вася! Ты идешь ловить рыбу? Уже ловится рыба? Ты хороший рыболов, Вася? А что я припасла для тебя... ватрушку! Возьми съешь, у меня лишняя. Не бойся, бери! Какой ты смешной, чего ты боишься? Понюхай, как она пахнет... Вася, знаешь, что я хотела тебе сказать: ты у меня хорошо учился, поэтому я сразу подумала о тебе... Вася, я думаю, ты этого хотел бы... Вася, ты хотел бы стоять в костеле у гроба господня в медной каске, с карабином и тесаком?

Вася перестал есть.

— Карпиньский будет стоять, Адамчик будет стоять и ты... Да ешь, ешь!

Но Вася не мог есть. Слова Регины поразили его. Стоять на часах в костеле с карабином!

— Ну что, Вася, хочешь? Если хочешь, я устрою тебя.

— Хочу, — сказал Вася. Лицо его засияло.

— Завтра приходи к двенадцати часам!

Она уходила и махала ему рукой. Вася побежал домой.

Мать раскладывала на солнце лучины для светца.

Вася одним духом рассказал все. Предложение Регины было настолько почетно, что Давыдзиха забыла свою ненависть к католикам и боязнь, что дети ее будут ополячены.

— Как же ты будешь стоять, когда ты тутэйший? — усомнилась она.

— А вот буду!

— Сама Регина говорила?

— Ей-богу, она!

Назавтра белые холщевые штаны Васьки и его рубашка блестели. Васька шел, важно поглядывая по сторонам. Все знали, куда он идет; мальчишки шли за ним толпой.

Они интересовались: будет ли заряжен карабин? И он отвечал, что будет.

Они спрашивали: дадут ли ему тесак? И он отвечал, что дадут.

В двенадцать часов Васька вошел в кухню Варваса. Одежда была чиста, но ноги босы.

— Не годится босиком, — сказала Регина. — Подожди. . . мы что-нибудь придумаем.

Достала свои башмаки. Примерили. Они были тесны, но Васька даже не почувствовал тесноты. Он не верил глазам: на ногах башмаки! Никогда в жизни он не надевал подобного на свои ноги. Он боялся двигать ногами. Он хотел поцеловать руку Регине. Каблуки стучали. Подметка тоже издавала свой звук при ходьбе.

— Пройдись еще раз! Не бойся, ступай как следует!

Но он боялся ступать как следует. Ему казалось, что своими ногами он повредит чудесные башмаки. Он старался не ступать, а прикладывать ногу к полу. Он боялся сгибать колени.

— Ну что?

— Пани Регина, совсем могу ходить.

— Ну еще бы, конечно можешь!

Он шел по двору. Глаза застилало от волнения, но тем не менее он видел у забора всех. На него смотрели, а он шел в башмаках!

На паперти взял в руки медную каску. Тяжелая, настоящая медная каска! Надел. Регина поправила:

— Так хорошо. Совсем римский легионер.

Повесила тесак. В руки дала карабин.

Он шел по костелу, уже не стараясь ступать тихо, уже ступая всей ногой, наслаждаясь гулом своих шагов. В костеле гудело от каждого его шага. Подошел к гробу, повернулся, как солдат, и замер.

Было хорошо и легко. Прохладный ветер, пели птицы. Солнечный луч скользил по кафельному полу. Пушистое зеленое деревцо стояло у колонны. Люди подходили, опускались на колени, прикладывались. Подходя, прежде всего смотрели на Васю. Он боялся шелхнуться. Голову держал прямо, приклад карабина прижал к башмаку. Он чувствовал себя главным лицом в костеле. Вперед было два часа такого большого, непрерывного удовольствия.

Прошло с полчаса. Костел опустел, только старая женщина сидела в уголку.

Вася сосредоточился на себе, на своих ботинках, вспомнил, как он шел по двору, как на него смотрели. Потом поднял глаза к куполу, где сверкало и дымилось солнце, и вдруг к своему удивлению почувствовал, что голове в каске как бы неудобно, каска как бы тяжелая.

Он повел головой едва-едва, потому что в это время в костел вошли три папаника. От движения каска стала легче только на миг. Неожиданно почувствовал, что онемело плечо и что нужно двинуть плечом и рукой.

Нужно было двигаться, и нельзя было двигаться. Вася испугался. Но тут кучкой вошли школьники, и Вася ободрился. Школьники смотрели на него, на тутэйшего, во все глаза. Они ничего и никого не видели кроме него. Паны осадники шли преклонить колени, а ему не нужно было преклонять коленей, он был участником всего этого торжества.

Мальчишки преклоняли колени, шептали молитвы, крестились, кланялись. Он стоял над ними.

Он окаменел. Никогда он не стоял так прямо, так каменно, так сильно. Точно не было у него тела, только — каска, карабин, тесак.

Ушли.

И как только ушли, тяжесть и боль завладели его телом.

Башмаки жгли ноги с каждой минутой сильнее.

Переступил с ноги на ногу, и сразу нестерпимо заломило голову, плечи, ноги. . . Башмаки были железные. Через четверть часа они ломали его ноги, выворачивали суставы, палили огнем.

Он теперь думал только об одном: скинуть их, скинуть!

И он скидывал их мысленно, он бежал босиком в Буг. Он ощущал холод реки на своих ногах. Но холода не было, ноги затекли, горели, отнимались. Он не чувствовал ног. Ног не было. Вместо них была боль.

И головы не было, и шеи не было, и рук не было, одна мучительная, нестерпимая боль.

В глазах поплыли круги. Проступил липкий, холодный пот. Хотел крикнуть.

Кто-то опять вошел в костел, подошел к гробу и пропал из Васькиных глаз.

Вышел он или не вышел? Вася хотел его рассмотреть и не мог. Потом увидел научителя. Жулчиньского точно окутывал туман. Вася видел и вместе с тем

не видел его лицо: оно шаталось из стороны в сторону и то поднималось, то опускалось. Вася хотел выпрямиться и не мог выпрямиться, ему нечем было выпрямиться, ничего у него не было... его не было. Он ничего не видел, не слышал, не понимал. Он кривлялся. Двигал руками, ногами, носом, губами, тарашил глаза. Жульчинский смотрел на его гримасы в немом изумлении. У него мелькнула дикая мысль: в мальчишку вселился бес. Он хотел сообщить ксендзу, но тут Вася издал вопль, попробовал разуться и вдруг грохнулся на пол.

Каска слетела с головы, карабин лежал рядом. Вася был без сознания.

Минуту Жульчинский наблюдал за ним, скосив глаза, потом побежал к сторожике.

Марьяна и Регина подняли Васю. Он был синевато-бледен, впалые щеки ввалились еще больше. Он лежал на кухне на лавке и не приходил в себя.

— Кто его снарядил? — спросил Варвас.

— Мой боже, кто его снарядил! Откройте, пожалуйста, нашатырный спирт! У меня руки дрожат. Он очень хотел, я его спрашивала... Я думала, какое это будет значение для деревни, когда мальчик из деревни будет стоять у гроба...

Вася очнулся. Регина кипятила кофе.

— Конечно, он стоял больше других, — сказала она. — Все стоят по два часа, а он стоял три с половиной... Ему так хотелось стоять, что я решила: пусть постоит!

— Три с половиной часа для изможденного юноши!

— Я думала, я думала... я хотела... моей целью было... Михал, подождите! Михал, подождите! Михал, я вам хочу сказать...

Варвас остановился в дверях.

— Я не подумала... Извините меня! Я допустила ошибку: надо было накормить его.

Вася откинул одеяло и встал.

— Я пойду домой, прошэ пани.

— Нет, нет, ты выпьешь кофе!

— Пани, я пойду домой, — сказал Вася дрожащим голосом.

— Мой боже, подожди же, ты нездоров!

— Пусть пани пустит меня...

Он боялся думать о том, что случилось с ним в костеле. Ноги еле двигались,

в голове шумело, ему было страшно с Региной и ксендзом.

— Ну, иди домой, раз так хочешь!

Приоткрыл дверь и шмыгнул. На воздухе полегчало. Однако ноги подгибались. Нашел укромное место под плетнем и лег. Думал о том, как мать спросит: «Ну как?», и так было плохо от этих дум, что так бы и пролежал под плетнем всю жизнь.

Под плетнем было тихо, спокойно. Вдалеке кричали мальчишки. Вася закрыл глаза.

Марьяна сказала Регине наутро:

— Прошэ пани, какие разговоры говорят кругом!

— О чем разговоры, Марьяна?

— О том, что бог покарал...

— Кого ж это бог покарал?

Марьяна потупила глаза:

— Будто бог покарал мальчишку... Тутэйший... Вот бог и покарал.

— Еще что! — Регина побледнела. — Это вы выдумали, Марьяна?

— Как господа люблю, не я, пани!

— Вы должны такие сплетни не слушать, а сказать тому, кто говорит, что это глупости. Бог не мог покарать мальчишка. Мальчик — христианин.

Регина прошла к себе и села на кровать. Она потерпела новое поражение. Как все поражения, оно жестоко. Она хотела сделать хорошее, а получилось плохое.

Вдруг у нее мелькнула мысль, что она чего-то не знает. Что не так просто помогать народу. Что она чего-то не знает в народе, народ чем-то отличен от нее... Что жизнь его сложна и судьбы его сложны. Но она подавила в себе эти чувства, сказав: «Я же хочу им только добра... больше ничего, только добра».

28

Рыдзевская затеяла в доме весеннюю уборку. Все эти занавески и полотенца, потолки и полы, все эти сундуки с платьем, тулупы, тулупчики, бекеши...

— Только, пожалуйста, работай быстрее! Вот видишь, сколько работы!

— Я быстро работаю, — сказала Ханна.

— А ты работай еще быстрее, как работала я до беременности!

Ханна подтянула юбку, голову туго повязала платком. Она развешивала на заборах и веревках тулупы и тулупчики.

Она выколачивала из них пыль и обметала их.

В березках щебетали птицы. Буг, видный отсюда, сверкал и переливался. Рыдзевская мыла окна.

— С покупкой земли, значит, у вас ничего не вышло?

И хотя Ханна понимала, что Рыдзевская довольна катастрофой в Орхове, тем не менее не выдержала и пожаловалась:

— Такое издевательство, пани, над человеком! Сколько было радости! Некоторые люди съели от радости в один вечер то, что должны были есть неделю.

— На это вы всегда способны.

— Откуда же видно, пани, что мы на это всегда способны?

— Разве я вас не знаю? Я вас как выдушенных знаю.

Грязная вода текла по окнам и рукам Рыдзевской. Большой живот делал ее фигуру еще более громоздкой.

Потом Ханна белила потолки. Еще вчера она думала, что скоро будет белить потолки в собственном доме. Она вздыхала. Рыдзевской не понравились вздохи. Кроме того, она заметила полосы на потолке.

— Прошэ пани, это старая кисть.

— Старая кисть! Ты белишь и спишь, вот в чем дело! Ты скажи пану: старая кисть! Он тебе объяснит, какая это старая кисть.

— Что же мне может объяснить пан? Я сама знаю, что это старая кисть, потому что, сколько времени я у вас работаю, я все работаю этой кистью.

— Это волосяная кисть. Ты думаешь, что как у вас — мочальная?

— Почему, пани, как у нас? У нас в свое время тоже были волосяные.

— Когда это у вас были волосяные? Ни в одной хате в деревне я не видела волосяной кисти.

— Пани, волосяные кисти были раньше, до вашего приезда.

— Во всем виноват наш приезд! Точно мы не имели права приехать на свою, польскую землю.

— На этой земле всегда жили наши отцы, — тихо сказала Ханна.

— А зачем ваши отцы жили на чужой земле? Мало места у вас в вашей дикой России? Зачем было селиться на польской земле? Вбивают вам в голову, вбивают и никак не могут вбить, что это польская земля... Если

ты будешь так белить, я тебя погоню к чорту.

— Пани, — сказала дрожащим голосом Ханна, — вы же видите: известка разведена хорошо, белю я, как всегда белила... А вот кисть совсем старая...

— Слезай с лестницы! Я тебе покажу, как белят старой кистью.

Ханна слезла. Рыдзевская выхватила у нее кисть и полезла на лестницу. От раздражения она оступилась и упала. Ханна ахнула.

Минуту Рыдзевская лежала на полу и прислушивалась к животу. Потрогала его. Ей было больно, но не так уж.

— Вот до чего ты доводишь меня, — сказала она, прошла к кровати и легла. — Пан придет и когда узнает, что я упала из-за тебя, он тебя убьет.

— Прошэ пани, да чем же я виновата?

— Перестань! А то я встану и сама не пожалею своих рук.

Ханна вздохнула и принялась расправлять кисть.

И опять Ханна белила потолки, и мыла полы, и выколачивала тулупы и тулупчики.

Вчера ночью Петр слушал радио из Москвы. Говорили о человеческой жизни, о работе, о женщине... Русские женщины полетели на самолетах на край земли... Русские женщины, такие же крестьянки, как и она, Ханна... Ханна старалась представить себе, как она летит на самолете, и не могла представить. Она, со своими босыми ногами, со своей юбкой!

«Вся земля принадлежит им... Работай, сколько хочешь... Мой боже, нет ни панов, ни осадников...»

Все было противно Ханне в этот день. И хотя она была голодна, даже есть ей не хотелось в этот день. И хотя она могла съесть две тарелки овсянки, она съела одну и кислой капусты взяла совсем немного. А кислую капусту она любила, особенно с постным маслом и мелко нарезанным луком.

Домой она не пошла, не хотелось домой.

Она пошла к Варвасу.

Как и все, она плохо понимала Варваса.

Но ей, как и всем, казалось, что, быть может, он знает то, чего не знают другие. Например, то, что скоро выйдет людям какое-то послабление... И кроме

того, даже непонятные вещи он говорил так, что в сердце зажигалась надежда. И сейчас, как никогда, Ханне захотелось пойти к Варвасу, чтобы услышать это человеческое слово надежды.

Возле костела Войцех сеял траву. Ласточки вились у крестов. Она поздоровалась со сторожем, прошла на кухню и остановилась у порога.

Регина разводила тесто, чтобы спечь Михалу на ужин олады.

— Что же ты стоишь? Садись! — сказала она Ханне.

Подбросила в плиту дров, выбрала на полке четыре чугунные сковородки и поставила на конфорки. Достала горшок с маслом. Масло зашипело, по кухне потянулся вкусный чад.

Ханна сидела, грустно опустив плечи, не сводя глаз с пятна на полу перед собой. Она была совсем жалка. А Регина ее ревновала! Надо прямо назвать свои чувства: Регина ревновала! Позор! Ревновала несчастную, голодную, почти обреченную на гибель!

От этих мыслей на душе вдруг прояснилось. Регина сказала:

— У вас тяжелые несчастья, Ханна. Я понимаю, что такое голод. Я сама не всегда имела кусок хлеба. И я хочу тебе и другим сообщить приятное. Мы организуем общество для вязанья детских чулок. Сикорский обещал полное содействие, у него в городе знакомые. Хорошую шерсть мы получим в кредит, я уже договорилась. Ты и многие другие будете вязать и зарабатывать деньги. А потом, когда вы заработаете деньги, вы сможете думать не только о своих несчастьях, но и кой о чем поважнее. Не так ли? Ну, вот видишь, ты уже и улыбаешься.

— Дорогая пани, мне можно будет надеяться?

— Ну конечно, надейся! На той неделе приступим к работе.

Лицо Ханны делалось все светлее и светлее, а Регина говорила все легче, все веселее:

— Сикорский в отношении знакомств незаменимый человек... Он так обожает пана Михала, что все сделает для него...

— Тогда я пойду, дорогая пани?

— Иди и не грусти! Помни, что ты не одна.

На крыльце Ханнины ноги облизал пес. Черный с белыми пятнами. Горячим языком.

За домом Хорука — пески и загайни-тянутся на несколько километров.

Семен раздвинул ветви и увидел нескучной, бледной траве Ханну. Повалился около нее на землю.

— Думала, уж не придешь... Семен мой Семен! — сказала Ханна тихим о нежности и тревоги голосом.

Семен хотел улыбнуться, но вместо улыбки вздохнул.

— Семен, что я тебе скажу... — Ханна рассказала про общество для вязанья детских чулок.

— Не знаю, кого ты прокормишь своими чулочками. Мой отец с ума сходит... да и я, по правде, хоть кой-что повидал, а не вижу, что нам тут делать.

— Петр говорит — в суд.

— Я тоже говорю — в суд. Я спрошу судью по-солдатски: Солдат вернулся на землю, а земли у него нет... Можно лишать солдата земли?

Он вздохнул, лег на спину и кусал травинку.

— А тут с тобой, Ханна, еще канитель!

— Какая же со мной канитель?

— А такая... Веселее под ружьем стоять, чем с тобой сидеть.

Она спросила спокойным голосом, желая показать, что ей совсем не причинили боли слова Семена:

— Семен, а в жолмежах бьют?

— Дураков везде бьют. Кто не умеет по-польски говорить, или порядков не понимает, или упрямый, как пень, — тех бьют.

— А тебя, Сеня?

— Меня? Меня...

Семен закинул голову и посмотрел на небо. И Ханна посмотрела в небо. Оно было прозрачное и как бы легкое... Семен обижается на нее и при встречах ляжет вот так и смотрит в небо. И разговор: «Что с тобой, Сеня?» — «Ничего со мной, Ханна».

— Ты больше не разговаривал с отцом?

— О чем я буду разговаривать с отцом?

— Теперь же никто не может дать приданого, а я буду в обществе.

— В Дубицах за девку могут дать приданое.

— Это ты думаешь о девке из Дубиц или отец твой?

— Не знаю, кто из нас думает... Я вот не понимаю наших дел с тобой.

Ханна едва слышно вздохнула и сжала ладони.

— Не понимаю я наших дел с тобой, — продолжал Семен. — Отец — отцом. Разве в таких делах отца спрашивают?

— Ты же первый пошел спрашивать!

— Я о венце пошел спрашивать. Венца и свадьбы без спроса не сделаешь. Я о другом говорю. Я к тебе всей душой... А чуть к делу по своему праву — ты от меня, как чорт от ладана.

— А другие не отказывают? — бледнея, спросила Ханна.

— Кто другие?

— Сам знаешь, кто!

— Никого я не знаю.

— И Ольгу Мазяк не знаешь?

— Да зачем мне Ольга Мазяк?

— Ты не отвиливай, Семен, положи крест и отвечай!

— Еще и креста затребовала! Тебе она подружка, а не мне.

— Значит, не отказывает, — упавшим голосом сказала Ханна. — Боишься крест дать!

— Да ничего я не боюсь, а это несурезно!

— Нет, боишься! Вот подлая... такую подлую земля еще не носила! И ты польстил на нее? А что она сделала со своим дитёнком! Выдавила в бане... а потом бегала в церковь, лбом землю била.

— Бабы и девки знают только одно: вьют эти сплетки, вьют прямо без всякого зазрения.

— Это я вью?

— А кто же?

— Ну хорошо, Семен, ты уже заступаешься за нее... Нечего мне здесь делать. От всего отказываюсь... все выдумала, заболело сердце — и выдумала. А теперь перестало болеть, и каюсь... Ничего мне не надо от тебя... Живи спокойно, делай, что хочешь... Хочешь — сватайся в Дубицы, хочешь — бери за себя Ольгу... Ну, будь здоров, Семен!

— Да стой!

— Чего же мне стоять?

Ханна дрожащими руками повязала платок, раздвинула ветви и нырнула в щазу.

Первые шаги она прошла быстро, горячая от гнева и обиды. Бабки ее и прабабки любили как люди и как люди шли в церковь под благословение... Что

ж Семен... Не дорогá она, значит, ему, коли он хочет ее унижения. Чтобы потом про нее шептались, как про Ольгу Мазяк? «Ах Семен, Семен, не любишь ты меня совсем! И про дубицких невест уже говорит, и суровый такой, и не ласковый... Не хочу я тебя, Семен, бог с тобой...»

Но чем дальше она шла, тем обида ее становилась мягче. Она забывала о себе, а думала о человеке, которого любила. Разве она с ним ласкова? Разве она то делает, что велит сердце? Разве ему хорошо с ней? «Ах Семен, Семен, что же мне делать с тобой?»

Семен долго прислушивался, не вернется ли Ханна. Когда стих последний шорох, перевернулся на живот и тоже весь отдался чувству обиды.

«Разве она любит меня? — думал он. — Она не меня любит, а себя бережет... А что я могу сделать, когда отец уперся? Что я могу ему ответить, когда он спрашивает: что есть будете?»

Но постепенно обида утихала. Семен стал думать о том, что девка измаялась не меньше его и что, если бы она вернулась сейчас сюда, он бы обнял ее и так сидел бы, не спрашивая ничего.

30

Новой земли никто не вспахивал.

Земля страшила. Бабы проклинали ее и всякого, кто притронется к ней.

Никто, несмотря на призывы Рыздзевского, не заключал с Жонсницким сделки. Земля за гатью лежала пустая и пустынная.

Трофим Хорук скитался по ней и около нее в непередаваемом волнении. Что делать: бороться за свою полосу в лесу или не бороться? Потому что раз пан вцепился в нее, то где та сила, которая победит его? Не толкает ли сама судьба Трофима к удаче? Если орховцы не возьмут земли, то ведь можно отхватить пятнадцать моргов! Пятнадцать моргов целины, холмов, сосняка! Он справился у Жулчинского о торфе. Учитель подтвердил: торф в смысле удобрения творит чудеса.

Тогда Трофим решил и взял пятнадцать моргов.

Взял, тут же раскаялся и оцепенел от страха.

Ночью побежал на поле. Поле лежало тихое, беззвучное, чуть освещенное

мерцающими звездами. Трофим присел на корточки, раскопал ямку, погрузил пальцы в землю, нюхал ее, брал на язык.

Земля была мертва.

С ужасом ощущал он, что земля мертва.

«Торф! Разве поможет здесь торф?»

Он стоял на коленях и шептал беззвучно: «Удавлюсь, удавлюсь». Но потом ужас отпустил его. Вспомнились уверения Густава и Жулчиньского, затеплилась надежда. Он вздохнул и заторопился домой.

Надо было поднимать землю и перепаживать ее с торфом... Когда перепаживать: ночью или днем? Когда ни перепаживай, узнают. Но тем не менее решил: ночью.

Дом Трофима большой, с двумя верандами и галлереей вокруг. Никто, кроме Трофима, не имел в деревне крытой галлерей. Ее поставил отец Трофима, тоже Трофим, вернувшись после русской солдатчины из далеких азиатских земель, насмотревшись на тамошнюю жизнь. В те далекие времена у Трофима охотно жила дачники, и теперь уже несколько раз останавливались гости Варваса.

Коза бляла в хлеву. Соня, сестра Семена, полоскала жестяную кружку у колодца, чтобы подоить козу.

— Где Семен? — спросил Хорук.

— А я знаю, где Семен? Спит.

— Все у вас спят! Солнце встает, а дом спит.

— А что же теперь вскакивать, тату, что делать?

— Что делать, что делать...

Семен, почесываясь, с трубкой во рту, прошел до ветру. Трофим догнал его.

— Пахать завтра будем... Может, еще успеем...

— Что пахать? Тот песочек?

— А мы его посолим, и будет песочек с солью.

— Пашите. Я же буду в городе.

— Чего тебя понесет в город?

Семен удивился:

— Как чего? В суд.

— В суд не пойдешь! Из этой затеи ничего не выйдет.

— Почему не выйдет? Может быть, и выйдет.

— Я тебе говорю: не выйдет. Ты пойдешь в суд, а знаешь ты, сколько у твоего отца земли?

Трофим спросил так важно и так

тайнственно, что Семен выпустил изо рта трубку.

— Пятнадцать моргов!

И так как сын обалдело смотрел на него, усмехнулся и повторил:

— Пятнадцать моргов! А ты думал — один морг? Выплачивать будем ежегодно.

— Вот это да! — сказал Семен. — Пятнадцать моргов! Целый фольварк!

— И еще какой! Лесок есть.

Глаза Трофима блеснули, он захихикал. Но вдруг вспомнил, что земля вроде того что мертвая, и омрачился.

— Так, значит, ты ту нашу землю продал?

— Продал.

— Какая там земля была!

— А ты не жалеешь! Когда человек жалеет, ему не бывает удачи.

— А вчера дождик прошел... уже всходы должны быть... А как я вспахал! Давно так не пахал. Такое было тепло, такая была земля, так она вставала сама навстречу плугу... Двадцать сантиметров отваливал лемех...

Трофим взволновался. Руки его задрожали.

— Что ты мне рассказываешь? — закричал он. — Мало я измучился, так еще ты меня мучаешь?

31

Несмотря на поистине бедственное положение тутэйших в Орхове, Жулчиньский с чувством собственного достоинства исполнял все, что предписывал ему округ.

Васька Давыдзик пришел из школы, сел за стол, разложил тетради, книги. Тоненькую книжечку положил отдельно.

Она была в голубенькой обложке с изображением залитого солнцем, как бы ликующего дворца.

Сегодня с книжечкой вышла история. Пан научитель Жулчиньский сказал:

— А ну-ка давайте проверим ваши марки!

Класс зашумел. Все полезли в парты доставать книжечки. Васька полез медленно, потому что у него не было марок. Сын Карпиньского, рыжий, весь залитый веснушками, точно грязью, посмотрел на него и чмокнул губами.

Жулчиньский пошел по рядам.

Книжечка была нововведением, искусным замыслом власти. Если служащих и рабочих обложили прямым школь-

ным налогом наравне с налогами на оборону, морской флот и авиацию, то крестьян было не так легко обложить новым налогом.

И вот власти придумали игру: книжечки и марочки.

Веселые, разноцветные марочки, с изображением прекрасных школ, дворцов среди светлых рощ. Школьники, весело всплескивая руками, подъезжали к дворцам на автомобилях, мотоциклах, велосипедах.

Игра состояла в том, что из марочек составлялись целые сюжеты. И выигрывал тот, кто первый заполнял сюжет. Отдельные марки стоили пять грошей, но были и по грошу и по три.

Каким же детям не будут нравиться картинки? Конечно, детям нравились картинки, конечно им хотелось играть и выигрывать.

Жулчинский проверял книжечки и марочки на прошлой неделе. Марки были только у осадников. В их книжечках он подвел итоги и нанес под ними маленькую, изящную свою подпись красным карандашиком. А в книжечках тутэйших после огромного вопросительного знака краснели угрожающие, размашистые завитки.

— Ну, что у тебя? — спросил Жулчинский Ваську.

Васька молчал, уставившись в книжечку. На партах осадников весело зашумели.

— Опять пусто! — сказал учитель. — Посмотрите на Давыдзиковского! Опять у него ничего.

Карпинский потянулся к Васькиной книжечке, схватил ее, посмотрел, строил гримасу.

Васька вздохнул и стал ковырять ногтем парту.

Учитель заговорил о нерадении учеников к школе. . . До войны школа в Орхове была ничего себе. Старые люди еще помнят ее. Но это была русская школа, в которой кто хотел — учился, а кто не хотел — не учился. Она стояла на опушке лесов Жонсницкого. Но во время войны школа сгорела, и когда на свою, искони польскую, землю в Орхове пришла польская власть, она разместила школу в трех халупах. Все помнят, в каких халупах преподавала пани Регина. Лучшая во всей Европе польская школа ютилась в халупах! А теперь новое здание почти готово. Правда, не все еще готово, но

все же их класс занимается уже в новом помещении. И должны же школьники хоть немного побеспокоиться о школе и взять за бока своих нерадивых и скупых родителей. Разве с них берут много? Каких-нибудь пять грошей в месяц! Вот у Давыдзиковского опять пустая тетрадь. . . Всем известно, что его родители — поляки. Разве так поступают честные поляки?

— Ведь ты поляк, ведь ты знаешь это? — спросил учитель Ваську.

— Я тутэйший.

— Ты не тутэйший, а поляк. Я тебя спрашиваю: ты поляк?

— Поляк, — прошептал Васька.

— Ну, раз ты поляк, то как же ты не устыдишь своего отца? Ты стыдишь его?

— Стыжу, — пролепетал Васька.

Карпинский хихикнул. Учитель пошел дальше.

Сейчас злополучная книжечка лежала на столе. Васька смотрел на нее, и она отравляла ему жизнь.

— Тату, — сказал Васька отцу, — нужно в эту книжечку марок.

— Каких марок? — испугался Мартын.

— Марок таких, какие все покупают.

— Каких марок? — спросила мать.

— Марок тех, что вот построена школа. . .

— Что ты мелешь? Какие марки, что построена школа? — изумилась Давыдзиха.

— Все покупают марки, — сказал Васька и заплакал. — Если марок не будет, учитель скажет Сикорскому.

— Не реви! — сказала мать. — Какие это еще, господи боже, марки, что построена школа? Ты, просто не знаю, что говоришь. Разве мы можем с нашего молока покупать тебе еще и марки? Что это такое за марки, Мартын?

— Марки есть марки, — вздохнул Мартын. — Зачем спрашиваешь? Все равно надо платить. Не заплатишь — придет полицейский, скажет, что у тебя плохо подметена улица, и оштрафует.

— Откуда же люди будут платить? Откуда же мы будем платить?

Она пошла в школу, заходя то в один, то в другой двор. Везде было беспокойство. Толпа родителей направилась к школе.

— Какие марки? — спрашивали друг друга.

— Такие, за которые гроши платить нужно.

— Господи боже, откуда взять гроши?

— А может быть, напугали мальчишки?

— Насчет грошей не напугают.

На площадке перед школой, где по вечерам школьники играли в мяч, стоял Жулчиньский, опустив на глаза от солнечного блеска козырек фуражки.

Заговорили с ним по-польски и порусски. Кричали: «Возможно ли это? Не будем платить, хоть распинайте нас! Пусть сгорит эта школа! Не будем платить, потому что не из чего платить. Есть ли в мире второе такое государство, чтобы так поступали с людьми? Вчера отняли все, а сегодня говорят: «Платите!»

Громче всех кричала Давидзиха. У нее в школе училось двое, и с нее требовалась двойная порция марок. И хотя она получала кое-что за молоко от Варваса, но каждый грош у нее был рассчитан на год вперед.

— Сено мне нужно купить? — спрашивала она. — Пане научитель, нужно или нет? Ведь покоса у нас нет, а общественное пастбище, вы знаете, какое...

— Распоряжение властей, — пояснил Жулчиньский. — Смысл в том, что всем нужно думать об общем благе. Распоряжение властей такое, что нужно покупать марки. Чем лучше будет школа, тем здоровее будут ваши дети.

— А что они будут есть?

— Заботятся о здоровье детей, а козову свели!

— Козу последнюю!

— Пусть холера возьмет ее, эту школу!

Жулчиньский поднял вверх руки. Рыжая бородка его точно полетела над землей.

— Успокойтесь! Что такое? Постановление правительства или нет? Пять грошей в месяц, а столько шуму! Все вам не нравится... на вас не угодишь... А с нас, учителей, вычитают ежемесячно по злотому в пользу ваших детей... Вы за своих детей не хотите платить по пять грошей, а я плачу за них по злотому...

Этот упрек неожиданно подействовал. Наступила тишина. И в этой тишине вдруг негромкий мужской голос сказал:

— А нехай она сгорит, польская школа, где наших детей опоячивают!

И стало еще тише.

Жулчиньский снял фуражку и вытер

лоб. Лицо его приняло выражение бесконечного добродушия.

— Опять слышу голос недовольства. Идите, панове, по домам! Наскребите у себя по полочкам то, что у вас дружки просят власть, хотя могла бы взять силой.

Он уходил. Вот спина его в дверях школы. Вот исчезла.

Он плотно прикрыл дверь и выпил ковш холодной воды.

Нищета была так велика, что эта новая повинность в пять грошей подавила всех.

32

Оделись во все лучшее. В черные штаны и пиджаки. Семена не дождалось. А когда зашли за ним, Трофим сказал: парень ушел с вечера на гулянку и пропал. А как придет, так он, Трофим, сейчас его погонит следом.

Пошли втроем: Петр Гагалюк, Ефим Гагалюк и Жукович.

Высокие тополя росли по гребле, пушистая ива, береза, ольха. Справа — леса Жонсницкого, слева — до самого Буга болото. А за Бугом равнина с деревушками и фольварками.

Тут все было свое, привычное: и небо, и воздух, и земля. Ранним утром на свежую голову решение суда представлялось только благоприятным.

Не мог суд решить в пользу Жонсницкого. Это так было ясно среди полей ранним утром, когда чуть поднявшееся солнце легко и нежно касалось спины и плеч.

Ефим сказал:

— Судья, если захочет, разрешит это дело сегодня. Прочтет, посмотрит на нас, спросошает, давно ли землей владеем, и через пять минут решит.

Петр, который шел впереди, полуобернулся, увидел утреннее солнце, застрявшее в пушистой иве, прозрачную полоску облака и поверил в быстрое и справедливое решение.

Город еще спал.

Слабо блестели булыжники мостовой. Выщербленный тротуар, деревца вдоль тротуара.

Из ворот вышла женщина. Лицо ее розовое после сна. Зевнула, вынула из волос гребешок, провела по волосам. Мастеровые прошли, стуча каблуками.

Дверь в повит, в нише над лестницей из пяти каменных ступеней, закрыта.

— Пойдем на базар! — предложил Ефим.

Пошли на базар. Прислонились к перилам вокруг площади и смотрели, как на площадь въезжал воз за возом. Крестьяне соскакивали на землю, разминали ноги, оправляли коней, переговаривались друг с другом. Поляки привезли масло, кур, гусей, капусту.

Подходили покупательницы. Для одной из них торговка уже резала гуся. Она сидела среди перьев и крови, гусь умирал у нее в руках, и торговка, довольная почином, вздувала на умирающем пух, показывая янтарную кожу.

Поляк, в синей фуражке с черным блестящим козырьком, высыпал из воза картошку, огромную, чуть не в кулак величиной.

У Петра раньше родилась точно такая же, на той земле, которую отобрал Рыдзевский.

— Живут люди, живут! — сказал Жукочич.

Он осматривал каждый воз, оценивал каждое колесо, добротность шины на нем, добротность самой телеги, красоту и ровность решеток, мягкий или жесткий разлет их.

— Тутэйшему так не жить никогда, — сказал Ефим. — Тутэйший — пес. Чего шатается бездомный пес? Нет ему угла в польском доме. . .

— Нет ему угла, — повторил Петр, и делегация направилась к повиту.

В соседней с повитом кофейной мыли окна. Уборщица босиком на подоконнике быстро делала свое дело. Она была толстая и белая. Когда она смотрела на улицу, по приоткрытым губам ее скользила улыбка. Она жила весело и счастливо. Она не знала забот.

В летней кофейне — огрудке — в зеленую краску маляра красил заборчик.

Пронесли корзину румяных хайзерок. В булочной на окне лежали халы. О черном хлебе здесь никто и не думал.

С лотка старуха-еврейка продавала лимоны и апельсины. Шли гимназисты в гимназию в синих пальто, желтых ботинках и шерстяных чулках.

Полицейский прошагал по краю мостовой, внимательно оглядел тутэйших. Ехали извозчики и небольшие автомобили.

На улицах становилось все люднее.

Мелькали пальто: темносиние, голубые, серые, черные. Но такие черные, что от них шел серебряный блеск. Мелькали шляпы: серые, синие, пушистые и гладкие, мягкие и приподнятые. Мелькали конфедератки с разноцветными кантами и лакированными козырьками. Шли мужчины на мягком каучуковом ходу и женщины с задорным стуком каблучков.

Чем шумнее становился город, тем хуже чувствовал себя Петр. То чувство правды и уверенности в справедливом решении судьбы, которое он переживал утром в дороге, исчезло бесследно.

Здесь, в городе, на каменной мостовой, среди высоких каменных домов, магазинов, полных товарами и едой, среди городской толпы, здоровых, сытых людей, он вдруг понял, что никакой орховской правды нет.

Он перебирал в памяти те слова, которые должен был сказать судье, и со страхом видел, что слова эти не имеют смысла.

Принял прошение молодой, здоровый чиновник. Перед чиновником стоял стакан золотистого чая, на тарелке лежала булка с маслом и ветчиной.

И до того все это было свежее, вкусное и полезное, что тутэйшие еще у дверей различили аромат чая, ветчины и даже легкий, сладковатый душок булки.

Чиновник просматривал бумаги, ел и пил. Если бы он не так просто ел драгоценную пищу, Петр восстановил бы, возможно, свою утреннюю уверенность. Но Петр был так голоден, так давно не видал вблизи подобного, что против воли ощутил свое полное ничтожество перед чиновником, и приготовленные слова вылетели у него из головы.

Чиновник оторвался от бумаг, взял прошение и покачал головой:

— Когда вы на свет родились? Кто писал прошение? Прошение должен писать адвокат по форме.

Никто из тутэйших не знал, что прошение должен писать адвокат. Правда, были слухи про адвоката, но никто не думал, что о правде без адвоката нельзя написать.

— Чего вы просите? Леса принадлежат Жонсницкому. Так имеет Жонсницкий право распоряжаться на своей земле или не имеет?

И Петр вдруг почувствовал с неоспоримой убедительностью, что леса принадлежат Жонсницкому и что Жонсницкий

имеет право распоряжаться на своей земле. Он почувствовал, что не может говорить о правах орховских крестьян, потому что право их проезжать через чужую землю не так просто и законно, как право человека запрещать чужим ездить и ходить по своей земле.

Он спросил глухим голосом:

— Что же делать, пане судья?

— Я, положим, не судья, но советую вам взять прошение обратно. Ничего кроме расходов и неприятностей для вас не выйдет. Прощение должен написать адвокат. Кроме того, нужно оплатить судебную пошлину. Есть у вас деньги на оплату судебной пошлины?

— На оплату судебной пошлины, прошэ пана?

Никто ничего не знал о судебной пошлине. Думали — придут в суд и потребуют справедливости.

В коридоре было тихо и просторно. Белые стены. Много дверей. Двери то открывались, то закрывались. Выходили чиновники, барышни, просители. Все просители, кроме орховцев были городскими людьми. Они ходили быстро и смело, останавливали чиновников и очень тихо, но вместе с тем смело разговаривали с ними.

В коридоре неудобно было совещаться, и орховцы пробрались в переулочек и опустились на камни на краю сточной канавки.

Напротив помещался магазин автомобильных принадлежностей. Рядом с ним фотография. За фотографией улица шла круго вниз. По улице подымался тяжело нагруженный воз. Лошадь цокала подковами, колеса гремели. Люди жили и занимались своими делами.

Оставить прошение или взять обратно? Взять обратно, потому что с ними не согласишься. Лес принадлежит Жонсницкому. «А какое у него право на лес?» Петр подумал это и сразу ощутил, как мысли его стали простыми, ясными и убедительными. «Какое он имеет право на лес? Разве в России он имел бы право на лес?»

— Ну как же мы? — спросил Жукович. — Расходы, то да се... Если расходы, то как же мы?

— Продадим хаты, — мрачно сказал Петр. — Для смерти нужен гроб, а не хаты.

— Вот продадим хаты, — грустно сказал Жукович, — и вот выиграем дело. Где тогда жить?

— Не все продадим. По жребью.

— Надо итти до конца, — сказал Ефим. — Идем до адвоката! Пусть пишет прошение!

ШЕСТАЯ ГЛАВА

33

Токарский работал на станке, первом от двери.

В окно он видел желтый щербатый корпус выкончального цеха, за ним — крышу конторы, за крышей конторы — трубу соседней фабрики, а выше — небо.

Пятьдесят семь машин грохотали в цеху.

Но к грохоту привыкли и жили в нем спокойно, как в тишине.

Токарский — худой, морщинистый. Друг его Козакевич — тоже худой и морщинистый.

Они работали рядом, скинув пиджаки, внимательно следя за пульсацией машины. Тысяча пробегов — метр ткани.

Дверь открылась, в цех вбежала Михалевская из сортировочной. Притронулась к плечу Токарского, крикнула в ухо:

— Распоряжение Сокола: остановите машину!

И поманила за собой.

На деревянной площадке лестницы сказала:

— Везли тряпку... Вдруг налетели молодцы... Избили фурманов, вскочили на подводы, ударили по коням и угнали тряпку. По этому поводу Сокол приглашает некоторых рабочих на совещание.

— И меня?

— И пана. В контору.

Надевая пиджак, Токарский сказал Козакевичу:

— Заварилась каша!

В маленькой конторе собралось десять старых рабочих. Сокол не походил на фабриканта, да еще богатого, у которого великолепный особняк на Фабричной улице: бурое лицо, бурый нос — рабочий.

— Нам грозит опасность, — сказал Сокол. — Сами знаете, какое теперь время. Люди придираются к тому, что я еврей, и хотят разорить мою фабрику. Разорить легко. Руину из моей фабрики можно сделать в десять минут. Я еврей, и тем не менее я давал хлеб не только евреям,

во и полякам. Вы знаете: о евреях теперь пишут во многих газетках, а на стенах расклеивают плакаты. А к чему это приведет? К хаосу в нашей стране и к большей безработице. Если бандиты еще раз отобьют тряпку, они меня вынудят остановить фабрику. Мои старые рабочие, я прошу вас защищать предприятие, которое кормит вас. Кроме того, я обещаю прибавку. Нравятся вам мои слова?

Прыщавый конторщик Жуховецкий подал Соколу стул. Сокол сел, вынул блокнот и тут же составил список дружины. Он хотел, чтоб в этой дружине были только поляки, и рабочие согласились.

— А относительно прибавки? — спросил Токарский.

— От пятидесяти грошей до шестидесяти в день — прибавка участникам дружины, а всем остальным не меньше двадцати. Рабочие Сокола будут самыми счастливыми рабочими. Жуховецкий сегодня все оформит.

— Участникам дружины — прибавка до золотого в день, прошэ пана, — сказал Токарский, — а остальным — до ползолотого. Такая прибавка устроит всех. У каждого есть свои болезни, которые могут излечиться только при помощи значительной прибавки.

— Пан Сокол знает, как все мы трудимся беззаветно, — сказала Михалевская.

— Ну-ну, полегче! — усмехнулся Сокол. — Прибавка богатая.

Вырвал листок из блокнота, передал конторщику и исчез за дверью.

34

Тряпку грузили рано утром, на самой заре, почти ночью, вопреки всем железнодорожным правилам, по личному и тайному распоряжению Вагмана.

Утро было свежее. Деревья, покрытые первым пухом, не шевелились. Громким, пронзительным голосом кричал маневренный паровоз. Токарский поднял воротник пальто. Козакевич курил, надвинув кепку на нос. Прерванный сон ломал кости.

Под каштаном закусывали. Токарский слышал, как лущили яйца, и обонял запах колбасы. Он немного перекусил дома, но сейчас не отказался бы от хорошего куска колбасы и булки.

— Если будет прибавка, — сказал он Козакевичу, — то я куплю себе кодачок,

Павэл. Самого последнего выпуска. А свой самодельный повешу в угол на память. И Яню, может быть, возьму от этого чорта-кастрюльщика. Пусть помогает матери.

— В прибавку не верится, — заметил Козакевич.

— На этот раз, Павэл, дело верное. Вчера через конторские книги провели.

Чтобы размяться, Токарский пошел к воротам. У ворот дежурили двое молодых рабочих — рыжий, веснучатый кач Михась и Вацлав из шарпачной. За воротами лежала темная улица, едва освещаемая фонарями и бледной сумеречной полоской в небе.

Повеял ветер. Пыль вяло поднялась и сейчас же села. Токарский прислонился к воротам. Жизнь его прошла так, что трудно было вспомнить, как она прошла. Что было в этом году, что в прошлом, что пять лет назад? Из радостей были: рождение Яни, первое ее причастие, ее успехи в школе и надежды. Тайные надежды на счастье, которое вдруг придет и озолотит. Никому никогда не говорилось об этих надеждах, но они были.

И так прошла жизнь. Как это так, боже правый, идет жизнь год за годом?

Порыв ветра схватил горсть песка, поднял, развеял и побежал дальше.

Загремела первая подвода.

Нагруженные подводы подвезжали к воротам и останавливались, ожидая остальных.

Когда покинули товарную станцию, светало. В бледном сиреновом воздухе вырисовывался недостроенный костел на холме против улицы Пилсудского. Ночью на его шпиле горел электрический крест. Это был своего рода маяк Белостока. Костел строили в современном стиле, из бетона, с башнями, более всего напоминающими железобетонные артиллерийские сооружения.

Подводы гремели. Возчики, помахивая кнутами, тревожно посматривали по сторонам. Охрана шла врассыпную: кто по мостовой, кто по тротуару.

Вот проехали по мосту над железнодорожным полотном. Вот костел остался справа, и подводы гремят по улице Маршалка. Тут широкие тротуары и молодые деревья.

— Доведем в целости, — сказал Токарский Михасю. — Не ожидают они нас в такое время.

Подводы гремели уже по узкой части

улицы Маршалка, мимо вывесок шапочных и часовых мастерских. Но при самом въезде на рынок Костюшки, там, где обычно торгуют барахлом с рук, вдруг на мостовую прыгнули люди.

Возчики осадили лошадей: они боялись за лошадей, за подводы, за свои головы.

У подводы Токарский и Козакевич увидели молодых людей в туристских костюмах, с резиновыми дубинками. Они поворачивали лошадей в переулок. Лошади упирались, возчики кричали.

Михась и Вацлав подбежали к высокому туристу и схватили его за руки. Тот без труда вырвался и закричал:

— Как господа люблю, если дорога жизнь, отойдите в сторону!

Дружинники Сокола живой цепью перегородили переулок. Несколькое человек во главе с Козакевичем двигались наискосок, окружая молодчиков.

— А ну... в сторону! — крикнул высокий турист Бобровский и, схватив лошадей под уздцы, хотел увлечь их на людей.

Возчики, упираясь ногами в булыжник, удерживали лошадей вожжами. Лошади били копытами и приседали.

Михась снова оказался около Бобровского.

— А ну, отступи! — крикнул Бобровский и поднял кулак.

— Бобровский! Спокойно! — предупредил Стась. — Убьешь!

Стрельцов было всего шестеро. Случайно загулявший Бобровский увидел подводы, направлявшиеся на станцию. Презвому Бобровскому никогда не пришло бы в голову, что это обоз Сокола, но, пьяный, он присмотрелся к обозу, что-то сообразил и опрометью побежал будить Стася. В этот ранний час удалось поднять только пять человек, и Стась повел кучку к станции. Он рассчитывал на панику среди возчиков, но встретил не возчиков, а рабочую охрану.

Стась подошел к Козакевичу и громко спросил:

— Что тебе нужно во всей этой драке, отец? Э. христиане, тут против нас Сокол снарядил одних поляков! Поляки, вы защищаете еврея Сокола?

— Нечего с тобой разговаривать, — ответил Козакевич. — Если не отпустите коней, будем применять камни.

Камни были подобраны заботливо к руке еще с вечера.

— Зачем нам драться? — начал было Стась. — Мы поляки...

Но тут Козакевич отодвинул свой стрядик, и камни полетели в нападавшего.

Стась первый получил камень в плечо и едва успел отклониться от второго, летевшего в голову. Бобровский резиновой дубинкой лупил коня. Вдруг конь вырвался и понесся к рынку. Возчики вскопили на подводы и ударили по коням.

Стрельцы едва успели рассыпаться в стороны.

Кони скакали, подводы грохотали. Грохот наполнял улицу.

— Я вам дам, как лишать меня хлеба! — кричал Михась, вынимая из мешка камень за камнем.

К каменному бою Стась не приготовился. Из его людей кто лежал на мостовой, кто бежал, прикрываясь руками. Бобровский отбивался от Михася и Вацлава. Короткими, сильными взмахами он держал себя в свободном круге. Его ударили камнем. Всякий другой упал бы, но Бобровский только закричал, одной рукой прикрыл голову и, пригнувшись, бросился на врага. Кулак его был так страшен, что перед ним расступились. Бобровский побежал вдоль домов, стараясь прятаться за выступы и водосточные трубы.

Неприятное чувство поражения пронизало Стася. Туристские костюмы мелькали уже далеко впереди. Рабочие, опасаясь полиции, тоже рассеивались.

Втянув голову в плечи, Стась исчез в переулке.

35

Юзэф еще спал, когда горничная впустила Стася в столовую.

— Ну что? — крикнул Юзэф из спальни.

— А вот послушай что: все провалилось!

— Что он говорит? — спросила Зося.

— Ничего не понимаю: говорит, что все провалилось.

Зося выскочила из постели, босиком, в халате подбежала к двери:

— Пан Станислав, что такое?

— Все провалилось. И чорт знает как! Стась рассказал.

— Невозможная вещь! — изумился Юзэф. — Кто же ему разрешил вывозить ночью?

— Хотя бы и ночью, — заметила Зо-

— Я удивляюсь твоему другу: не удивляйтесь с кучкой рабочих!

— Вы не удивляйтесь, пани, вы плохо представляете рабочих. Я жил среди них и знаю их.

Зося раздражала его. Халат был на нем, что он видел много голого тела. В присутствии мужа это означает, что он не мужчина.

— Непобедимых стрелцов поколотили рабочие!

— Да, пани, поколотили.

— Матерь божия, как он спокойно об этом говорит! Юзэф, вставай же!

— Теперь вставать незачем. Зови Стася сюда!

Стась вошел в спальню и сел в кресло. Он сел в кресло, сняв с него женское белье.

— Неужели это дело Вагмана? — заговорил Юзэф. — Не представляю! А как же вас били рабочие? Ого, камнями! Сажая большая сволочь в мире — это рабочие. Они за того, кто им платит.

— Станный повод для обвинения, — пожал плечами Стась. — Со времен наших скитаний ты порядочно изменился.

— Что же, вы испугались камней? — прищурилась Зося. — Мальчишки — и те не боятся камней, а тут взрослые победители!

— Насмешка, пани, ни при чем. Такими камнями быков можно валить, а не только людей.

Юзэф одевался. Он надел беленькие коротенькие штанишки и застегнул их на перламутровые пуговики.

Стась позавидовал коротеньким штанишкам, и ему стало противно, что они надевались на пухлый живот.

Потом друг надел рубашечку из полосатого шелка, и жена поправила на ней воротник.

Когда она поправляла воротник, Стась увидел ее руки от ладоней до плеч. Это были круглые, сильные руки человека, привыкшего работать. И они были очень хороши. Они еще не потеряли от безделья своей формы.

— Я думала, пан Станислав — полководец. Муж вернулся из Варшавы и говорит: «Знаешь, кто будет капитаном? Тот Стась, о котором я тебе столько говорил». — «Тот, очень умный?» — спросила я. «Тот самый». И потом, когда я увидела вас около кино, я сказала себе: «Суровый человек!» Я думала, вы — полководец, а вы побежали. У вас был ре-

вольвер. Почему вы не стреляли? Наконец, вы могли убить несколько человек дубинками. Если б вы убили хоть одного рабочего, мы подняли бы город против Сокола. А теперь что делать? У него — победа, у нас с вами — печальные рассказы.

— Делушек ты понаделал! — сказал Юзэф. — Действительно, холерное положение.

— Какой город вы подняли бы против Сокола? Польских лавочников и гимназистов? Это ничтожная сила в Белостоке. А все-таки, пани, я полководец. Помните: и Наполеон бежал из Египта! Дрались жестоко. Вы знаете, Бобровского ранили.

Стась сказал о Бобровском, для того чтобы показать, как силен был бой и что, в сущности, он, Стась, подвергался большой опасности. Но Юзэф возмутился:

— Как же ты допустил, чтоб Бобровского ранили? Ведь это слоновая гвардия отряда!

— А почему я мог не допустить? Ты думаешь, я должен был стоять и ловить камни в сетку?

— Не будем об этом больше говорить, — заметила Зося, садясь к зеркалу. — Твой друг Станислав проиграл сражение.

Стась видел Зосино лицо в зеркале. Она говорила с улыбкой, за которую можно ударить. Что это, в конце концов, за суд над ним? Он не годится в руководители драк — вот и все. Не каждому понутру такое дело. Рабочие защищали себя. У них достаточно оснований для защиты Сокола.

— Какое-то несчастье с поляками, — вздохнула Зося, — ничего не умеют, даже драться!

— Я договорился, Юзэф, помогать тебе, — сказал Стась со злостью, — но я вовсе не желаю ради победы в глупой драке лечь в канаву с проломанной головой.

— Бросьте спорить! — остановила Зося. — Все дело в том, Юзэф, что твой друг хочет разбогатеть, но не хочет достаточно для этого потрудиться.

Стась пожал плечами. Зося причесалась и ушла в ванную.

Юзэф распахнул окно, выглянул во двор и плюнул через кустик. Стась молчал.

Зося вернулась из ванной. На волосах ее дрожали капли. У зеркала она смах-

нула капли, потом поправила прическу, потом выглянула во двор. Курица подбежала к окну и смотрела, наклонив голову. Зося бросила в нее спичечным кобком.

— Я полагаю, пану Станиславу следует пойти на фабрику Сокола.

— На фабрику Сокола ходить для меня бессмысленно.

Зося села на подоконник. Ее грело утреннее солнце. Она поводила плечами, босые ноги свешивались. Хорошие ноги, не испорченные туфлями.

Юзэф был прав: эта женщина была визбилем красоты.

— Почему это пану Станиславу бессмысленно идти на фабрику?

— Потому что меня видели этим утром около подвод.

— Пусть идет Бучиньский, — сказал Юзэф.

— Пусть идет, — усмехнулась Зося. — Но разве он пойдет? Ведь он уже владелец аптеки.

В ее усмешке сквозило: мужчины, вы плохо занимаетесь делом, вы не понимаете простых вещей.

— Если б я не была женщиной, я пошла бы сама. Панна Марья, неужели у меня не нашлось бы слов? На месте нашего друга Станислава я никого не допустила бы кроме себя. Ну что ж с того, что видели около подвод? Пусть видели! — Хорошо, я пойду. Если ты, Юзэф, считаешь, что мне удобно, я пойду.

— Какой вы волокитный, пан Стась! Надо дело делать, нельзя так много разговаривать.

Стась был голоден. После утренней драки следовало поесть, но жена его друга нисколько не думала об этом.

«Неужели не пригласит?» — подумал Стась. Деньги, полученные в Варшаве, иссякли. Он собирался сегодня поговорить по этому поводу с Юзэфом. Но разве теперь можно говорить о деньгах?

— Ну что же, я пойду, — сказал он.

И друг и жена друга отпустили его.

36

Стась поел в маленькой столовой между русским собором и синагогой с гигантской пентаграммой. Хозяин, кланяясь при каждом слове, принес жареную колбасу с капустой и пиво. На это денег у Стася хватило. На завтрашний день не осталось ничего.

С аптекой Моргулиса дело окончилось полным успехом. Неделю назад Бобровский избил Моргулиса так, что тот едва не умер. После этого он продал свою аптеку за гроши Бучиньскому и Бобровскому (долю Бобровского внес Бучиньский же) и уехал в Гродно.

Двумя колбасными тоже завладели поляки, причем на радостях они подписали договор об уплате дружине стрельцов некоторой суммы. Но колбасу они стали делать плохую, и торговля их пошла плохо.

Юзэф по этому поводу высказался так: эти поляки—познанские неудачники. В Познани им не удалась конкуренция с немцами, они приехали сюда и здесь тоже спотыкаются, потому что они такие люди, что нигде и ни в чем им не будет удачи. Но когда за дело возьмутся нормальные поляки, тогда все будет есть польскую колбасу и посапывать от удовольствия.

Стась пошел в эти колбасные. Хозяева метнулись было навстречу покупателю, но, узнав Стася, нахмурились. Не дали ни гроша ни в первой, ни во второй.

— Холера вас возьми!—сказал Стась.— Для вас люди рисковали черепами.

Он ушел, хлопая дверями, желая, чтобы вылетели стекла. Но стекла не вылетели.

У проходной конторы фабрики Сокола стоял сторож. Фабрика пыхтела и стучала. На дворе кто-то кого-то звал. По длинной узкой Варшавской улице, которая тянулась за город, пронесся автомобиль. Второй автомобиль остановился сколо фабрики. Ворота распахнулись, автомобиль въехал во двор.

Пока ворота закрывались, Стась хотел пройти, но сторож окликнул:

— Вам до кого?

— Мне по делам.

— Скажите свою фамилию, и хлопеч доложит администратору.

— Благодарю, — сказал Стась и стал шарить по карманам. — Забыл папиросы. Где здесь лавочка? Я приезжий из Варшавы.

— Прошу вас, там лавочка!

Стась вошел в лавочку и, полуоглянувшись, увидел, как сторож следил за ним.

— Есть апельсины? — спросил Стась телстую бледную женщину.

— Только лимоны. С колониальными товарами сейчас плохо.

— Очень жаль, что с колониальными товарищами сейчас плохо. Мне очень хочется колониального апельсина.

Потоптался в лавчонке и, улучив момент, когда сторож отвернулся, вышел на улицу.

37

Кино Зеликман было в осаде, но Зеликман не соглашалась ни на какие переговоры.

Бобровский, наводивший о ней справки, предположил, что она подняла на ноги варшавских родственников. Он советовал Стасю обратиться за поддержкой в дефензиву. Но Стасю противна была дефензива. Он ответил Бобровскому:

— Пусть провалится, к дьяволу дефензива!

— Пусть провалится — согласился Бобровский, — но для поляков она иногда бывает полезна.

«Что бы ни было, но я добьюсь своего, — думал Стась. — Мне отступить некуда. Я буду прост, я буду жесток. Буду как та жизнь, которая вокруг меня. Я сломлю и Сокола и Зеликман».

Он изучил местоположение фабрики и несколько раз в день прогуливался вдоль фабричного забора, наблюдая, насколько мог, жизнь фабрики.

Дважды подвезли тряпку.

Для того чтобы победить, нужно на своей стороне иметь хотя бы часть рабочих.

Он медленно шел по улице, обдумывая способы завоевания рабочих, когда увидел Яню.

Она вышла из фабричной калитки.

Стась сразу вспомнил железную дорогу, весенние поля, крылья за своей спиной, и ему захотелось проверить, узнает ли его девушка.

Он обогнал ее и пошел навстречу.

Она узнала, улыбнулась. Он приподнял шляпу.

— Ваш хозяин на этой фабрике?

— На этой фабрике работает мой отец. А мой хозяин... там! — Она махнула рукой на крыши и трубы.

Она была в той же бедной жакетке, но жакетка сидела на ней изящно.

— Пройдемся по весенней погоде?

— Уже поздно... Я тороплюсь домой... Я забегала проведать отца...

В нашем городе происходят скверные вещи.

— Рад послушать городские новости.

— Теперь, если отца долго нет дома, мать беспокоится. Мало ли что может быть!

— А что же может быть?

— Разве вы не знаете, какие у нас ужасы?

— Какие же ужасы?

— У нас снова антисемитизм.

Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами, и Стась прочел в них отвращение..

— Неужели антисемитизм? Но ведь вы полька?

— Ах, пане, разве это что-либо облегчает?

Она старалась идти с ним в ногу широким шагом, и это Стасю было и забавно и приятно. Он нарочно не уменьшал шага. Ему захотелось взять ее под руку. Он взял ее осторожно и скомандовал:

— Раз-два, раз-два... левой, правой, левой, правой...

Яня засмеялась. Не вырвала руки и пошла в ногу. Ясные глаза. Смешная и, честное слово, милая девушка!

Взглянул на Янину руку в своей руке: жесткая, но маленькая и очень женственная рука.

— Я думаю, что польке движение против евреев ничем не угрожает.

— Однажды я уже испытала, как не угрожает. Если пан Станислав хочет, я ему расскажу давнее происшествие. А куда мы сворачиваем?

— Просто сюда, здесь меньше народа. Но, может быть, Яня хочет идти по Варшавской?

Яня улыбнулась, и они свернула в переулок. В момент встречи она шла сосредоточенная и даже грустная; сейчас лицо ее преобразилось. Светлое, счастливое лицо! И не скрывает она своего счастья... Милая девушка!

— В одном дворе с нами живет Абрам Песин. Я дружу с его дочкой Розой. Вечером, я тогда еще училась в гимназии, мы пошли в кино. Мы всегда ходили в кино Зеликман. Пан Станислав успел побывать в этом кино?

— Успел.

— Не правда ли, приятное?

— Очень приятное.

— Теперь кино закрыто. Говорят, его хотят отобрать антисемиты. Но тогда оно было открыто, и в дверях стоял бело-

стокский стрелец... Надо сказать, что я училась в гимназии Штеймана, то есть в гимназии, которую содержал еврей. Обычно гимназисты и гимназистки Штеймана снимали свои погончики. А я не снимала, мне было противно снимать... В кино нельзя пройти, стрелец преградил дорогу. Я сказала ему: «Пшепрашам!» Он ни с места. Я сказала ему: «Как вам не стыдно? Вы не позволяете людям проходить в кино!» — «Мне-то не стыдно, — сказал он, — а вот вам стыдно! Вы где учитесь?» Я пожала плечами. «Кто с вами?» — Роза побледнела. «Со мной моя подруга, — сказала я, — человек». — «Человек? — захохотал стрелец. — Это не человек, а...» — Тут он сказал пакость. Губы у Розы затряслись. Я сказала: «Вы просто негодяй, которого всякий честный человек должен травить, как бешеного». Стрелец показал пальцем на мой погончик и захохотал. Прохожие останавливались. Роза схватила меня за руку и потащила. Идем, но я не могу успокоиться. Говорю Розе: «Если их бояться, они будут делать что угодно. Это ведь не люди. Во всякое время, во всяком народе есть уроды, и вот наступает день, пасмурный, сырой, и уроды растут, как грибы. Но мириться с этим нельзя, нужно бороться».

Яня поглядывала на Стася. Раскраснелась.

— Грибы и уроды! — сказал Стась и засмеялся. Он засмеялся весело, но ему не было весело.

— Слушайте дальше! Мы идем... Вдруг какой-то мужчина толкнул Розу, да так, что она едва удержалась на ногах. Толкнул и закричал: «Ты меня толкнула, извинись!» Мы тогда не знали, что это главарь белостокских стрельцов Ивановский, и удивились: «Мы вас толкнули? Извините, когда? Да это вы сами нас толкнули!» Я добавила: «В самом деле, как вам не стыдно приставать?» — «Пожалуйста, — сказал Ивановский, — мне очень стыдно». Притянул Розу к себе и плюнул ей в лицо... прямо в рот... честное слово! Повернулся и пошел. Мы побежали за ним. Мы с ума сошли. Роза кричала: «Как вы смели, как вы смели!», и все вытирала рот. Ивановский остановился, сказал: «Тебе мало?» — и ударил ее. Роза упала. Он сел ей на грудь и стал бить ее по щекам. Я прямо с ума сошла. Бегаю, кружусь, ищу камень. Он бросил Розу и пошел на меня. Я могла бежать, но я подняла свой кулак. Он избил меня,

я лежала без сознания. Вот такая история... А потом меня исключили из гимназии... Потребовал учебный округ... Видите ли, я училась в гимназии еврея Штеймана и избивала поляков... А вы говорите: полякам не угрожает антисемитизм!

Стась слушал рассказ вначале спокойно, но потом почувствовал ярость, смешанную с ревностью. Почему? Девушку он видел всего второй раз. Но она была с ним так ясна, что ему захотелось расправиться с Ивановским. Воображение нарисовало ему парк, пустынную аллею, Ивановского и себя, наносящего Ивановскому сокрушительные удары. Ему стало легче, точно он и в самом деле избил Ивановского.

— Моя Яня... храбрая, — сказал он.

Она взглянула на него, ее глаза засветились:

— Вы видите, какая я злая: я могла убить.

— Я люблю злых людей.

— Почему?

— Потому что зло — благодетельная сила. Добро, Яня, — только для смерти.

— Почему только для смерти?

— Добро, Яня, не имеет взрывчатой силы. Если б вы простили Ивановскому плевков, наверно вы не рассказывали бы мне об этом.

— Не понимаю. Ивановский — зло. Значит, он хорош?

— Как вам сказать, тут очень сложно. Разберем то, что было. Ивановский был зол, и вы были злы. Но злобу Ивановского вы презираете, а свою уважаете. Потому что вы думаете так: «Не самая злоба важна, а важна причина, пробудившая ее. Моя злоба от добра, она хороша». Но настоящая, высшая злоба, Яня, — от зла же. Что есть зло? На это может быть только один ответ: зло защищает жизнь свою, добро — чужую. Добро ведет к уничтожению жизни, к смерти, а зло, Яня, — это сила осознавшей себя личности.

— Что вы говорите? — Яня остановилась и смотрела на него с изумлением.

Уже темнело, она всматривалась в него долго. Лицо ее белело, а серые глаза были черны. Стась усмехнулся.

— Пан Станислав шутит! — вздохнула она с облегчением.

— Конечно, шучу. Я мечтаю о добре. Во всяком случае я долго мечтал о добре. Теперь я мечтаю о поле. Мечтаю, чтоб

был лес и можно было гулять по лесу. Яня знает такие мечты?

— Гулять по лесу? Какие хорошие мечты!

— А почему так поздно задерживается на фабрике ваш отец?

— Потому что в городе, как я сказала, происходят нехорошие вещи. Вы знаете, что случилось на днях на заре?

— Что же могло случиться на днях на заре? На заре люди крепко спят. Ветер пролетает над их домами и хотел бы их обвеять, да не может, потому что они прикрыты крышами, стенами, одеялами. . . Больше ничего, по-моему, не может происходить в Белостоке на заре.

Глаза Яни заблестели. Даже в сумерках было видно, как они заблестели.

— Хотите, я вам расскажу, как мой отец и его товарищи отомстили Ивановскому? Ну, не самому Ивановскому, а его товарищам. . .

— Слушаю, слушаю.

— Утром, когда на фабрику везли тряпку, стрельцы напали на подводы, а рабочие так вздули стрельцов, что те побежали, хватаясь за головы и умоляя о пощаде.

— Даже умоляя?

— Честное слово, их так здорово побили! Я бы хотела это видеть.

— Жестокая Яня! Теперь я буду вас звать: «жестокая Яня».

— Я не жестокая, а справедливая. Честное слово, стрельцы думали, что рабочие — трусы. Они думали, что как только рабочие увидят стрельцов, так побегут в подворотни. А рабочие у нас, пан Станислав, — смелые люди. Рабочие у нас, пан Станислав, хотят побеждать и будут побеждать.

Она посмотрела на него доверчиво и тревожно.

— Я с вами так говорю, а может быть, вы — капиталист?

— Я такой капиталист, что большую часть своей жизни не знаю, что мне есть.

— Безработный?

— К сожалению, это наиболее верное слово.

— О, пан Станислав. . . пан Стась!

Лицо ее стало грустным и счастливым. Она смотрела в сумеречную уличную даль. Между тротуарами струился синеватый бульжник, ехал извозчик на надувных шинах шажком, поджидая пассажира. Мальчишки на крыше двухэтажного дома ловили голубей.

Стась подумал, что в первую встречу с ней вел себя как денежный: он не только ехал во втором классе, но покупал, не торгуясь, яблоки. Говорил и ходил так, как говорят и ходят богатые. Как все это объяснить Яне? Он сказал:

— Я приехал сюда, в Белосток, к товарищу, которого давно не видел. Ему повезло. Он прислал мне на дорогу денег и обещал помочь устроиться. Вот какой я капиталист!

Яня вздохнула и улыбнулась. Бывает так, что улыбка на человеческом лице, как картина на стене: украшает, но ничего не меняет. Но бывает так, что улыбка, проступая из глубины человека, преобразует его. Яня улыбалась так. Некрасивая, она делалась красивой. Даже руки ее делались другими, когда она улыбалась, даже походка. Она улыбалась нежно, внимательно, с каким-то загадным счастьем. Может быть, счастье возбуждал в ней Стась?

— А вот если повернуть в эту улочку. . . тут живу я.

Она осторожно освободила руку. Ей не хотелось освобождать руку. Она вздохнула и посмотрела на нее. Стась улыбнулся. Она засмеялась и исчезла за поворотом.

38

Петра Гагальюка Стась увидел на берегу Бялой. Петр сидел на корточках на илистом берегу и смотрел в воду.

Бялая — пять шагов ширины. Перед Петром был высокий забор, а за забором кирпичные стены дома. Петр поднял консервную банку и заглянул в нее. Старая, ржавая банка!

Стась стоял на мосту.

«Даю слово, это Петр!»

Спустился на берег. Петр не узнал Стася. Он видел его двенадцатилетним мальчиком. Должно быть, Петр решил, что к нему спешит надзиратель, в ведении которого находится берег и который сейчас его погонит. Он встал, собираясь уходить.

— Петр!

Петр застыл.

— А ну, Петр! Поздороваемся!

Петр взглянул на протянутую руку, вложил свою, но не пожал.

— А ведь знакомы! Авдотья здорова?

— Ей-богу, знакомы. . . а все равно не признаю.

— Да я же Стась!

— Господи боже мой, Стась! — Петр осматривал его, высокого, широкоплечего и худого. Ощупал его костюм, повернул к себе спиной:

— Паном стал!

— Собираюсь. А что у нас в Орхове, Петр?

— В Орхове то, что на человеческом языке называется смертью.

Они сидели на кочках, поросших бурьяном, вспоминали и рассказывали друг другу.

Мать привезла Стася в деревню и отдала в довольно зажиточную семью Доминики, Авдотьиной матери. За Стасем поставили присматривать Авдотью. Стасю было три года, Авдотье — десять.

Пани то платила за сына, то не платила. Судя по разговорам в семье, чаще не платила.

Как было бы хорошо, если бы Стась никогда не знал матери! Если бы мог думать, что она умерла!

Когда он подросток, он просил: «Не говорите мне про мать!»

К тому времени о матери говорили мало. Денег она не присылала, сама не приезжала. Ее забыли. Стась жил как все и работал как все. Он любил поле, лес, пахоту. Авдотья стала большой и вышла замуж за Петра.

В вещах Стась хранил фотографическую карточку отца и несколько его писем к матери. Стась не мог разобрать мелкого почерка — строчка липла к строчке. Наконец прочел. В письмах отец спрашивал о сыне. Он называл мальчика нежными именами. Он писал о том, что хочет его видеть. Он мечтал о том, как будет идти по тропинке, а сын выбежит навстречу. Он писал, как поднимет его на руки и как прижмет к себе.

Стась замирал от сладкой боли, читая эти слова. Вынимал карточку и подолгу смотрел на нее.

Он видел юношу в черной суконной рубашке с отложным воротником, с огромными глазами, с такой грустной и с такой светлой улыбкой, что у Стася переворачивалась душа.

Из писем можно было понять, что отец в тюрьме.

Стась не знал отношений между отцом и матерью, не знал причин, по которым мать забыла отца. Он только чувствовал,

что нельзя было вот этому человеку глазами, светящимися даже на фотографии, изменить.

Но, может быть, он преступник? Человек с таким лицом — преступник? Разве он может убить или обокрасть?

Петр, вместе с ним рассматривавший карточку, говорил:

— Убить? Это смотря за что.

И Авдотья говорила:

— Смотри за что.

А потом советовала:

— Спрячь, спрячь, Стасик! Не муть сердца! Дай, я положу в сундук!

Стась рос. Он сразу столкнулся с такими вещами, как тюрьма, измена, убийство, забвение. Может быть, поэтому он стал читать. Он брал книги в школе, спрашивал у учителя, у конторщика в гмине.

Когда ему было двенадцать лет, вдруг в деревне появилась его мать.

Она приехала на автомобиле. В деревне думали, что это приехало большое повитовое начальство.

Тутэйшие высыпали на дорогу, и все с удивлением увидели в глубине машины женщину.

Женщина приехала одна. У хаты Доминики вышла из машины.

Стась стоял на крыльце и смотрел на приехавшую. И она смотрела на Стася. Рослый, загорелый мальчик напоминал отца. Но то, что у отца было мягко, у него было резко. Каштановые волосы отца у него были черными, карие глаза отца — тоже черными. Только взгляд остался взглядом отца — печальный и вместе с тем светлый.

Ноги у Хэлены дрожали: она хотела стать на колени перед своей молодостью и не могла; она не могла не то что стать на колени, она не могла сказать приготовленных слов, потому что сын смотрел на нее не отрываясь, и она читала в глазах его испуг и отвращение.

Спасла ее Доминика. Доминика возилась в огороде. Когда у хаты остановилась машина, встревоженная Доминика бросила цапку и побежала. Начальство! Начальство в деревне — вестник несчастья.

— Доминика, это он? — спросила Хэлена.

— Он, он, моя пани, он!

Так встретились мать и сын.

Он не хотел уезжать в город. Он хотел жить среди этих песчаных холмов,

среди лесов, рядом с теми, к кому он привык и кого любил.

Он стоял у окна, мать сидела на лавке. Она говорила быстро-быстро, слово за словом. Она торопилась. Она говорила о том, что в городе Стась будет жить в хорошей семье, в семье учительницы, что дом учительницы за городом, в саду... И в саду, как в Орхове, растут сосны. И главное — Стась будет учиться.

— Ты любишь читать? — спрашивала она. — Ведь любишь? А летом ты будешь возвращаться сюда. Стась, едем, едем!

Стась смотрел на чужую женщину, в глазах которой блестели слезы, голос которой ломался от волнения. А в дверь то входили, то выходили. Вошла Авдотья, сказала: «Пшепрашам», и полезла на полати. Ничего ей не нужно было на полятах у матери, все ее вещи были у себя, на берегу Буга. Она пришла из любопытства и страха за Стася. Во дворе Стась услышал голос Петра. Маленькая Ханна смотрела в окно.

— Собирайся! — просила мать. — Собирайся! Панна Марья, какой ты! Ведь я твоя мать! Ты говоришь, что любишь читать, — там столько книг! А каждое лето ты будешь возвращаться в Орхово.

Не следовало ему тогда уезжать с матерью!

В городе у учительницы Стась прожил два года. Потом увидел отчима. Отчим бил его и хотел убить. Мать больше не приходила к учительнице, денег за него больше не платила. Его перестали кормить. Он ушел, чтобы поступить учеником в парикмахерскую.

Так началась его самостоятельная жизнь.

Петр спрашивал, что делает Стась теперь. Может быть, служит государству или работает в торговом предприятии? Может быть, и жена его живет здесь же, в этом городе?

Стасю не хотелось говорить, что он делает в Белостоке. От Петра повеяло на него юношеской жизнью и юношеской верой. Точно Петр принес сюда, на берега воючей Бялой, тот чистый, живительный воздух, которым Стась дышал в детстве. Он понимал, что его мысли покажутся Петру вздором, ибо в этот момент они и ему самому казались вздо-

ром. Он сказал осторожно, что числится командиром отряда, предназначенного польским обществом для патриотических дел. И так как Петр не понял и смотрел на него не спуская глаз, добавил, что польское общество пытается заставить некоторых евреев уступить полякам свои предприятия.

По улице Сенкевича, по мосту над Бялой проезжали извозчики, пронеслись с мягким шорохом голубые автобусы, мелькали велосипедисты. Непрерывным потоком шли люди. Здесь же, в нескольких шагах от моста, был точно другой мир: илстая земля, покрытая следами птиц и собак, засыпанная мусором, который люди выбрасывали сюда, в надежде, что река унесет его в далекое море. Здесь было вполне уместно говорить о страшных судьбах человека.

Петр рассказал Стасю про орховские дела. Деревня теперь совсем не та, что была. Умерла Доминика. Совсем бодрая была женщина: пятьдесят пять лет — ни одного седого волоска! И лицо молодое, и походка молодая. А на работу — так совсем молодая. Страшный год подошел по-страшному. Петр стоял в своей старой солдатской шинели и смотрел в небо. Был октябрь, самое его начало. И вдруг понесло холодом. Петр запахнул шинель и подумал: «Чего это точно из погреба понесло?» Воздух стал прозрачный и как бы блестящий. Через час на зеленую листву, на необрунный картофель посыпался град. К вечеру ждали потепления, но к вечеру небо затянуло мглой и пошел снег. А через несколько дней вода в лужах и между кочками на болоте затянулась ледком, листва коробилась и осыпалась, дул холодный восточный ветер, Буг стал свинцовым. Когда ветер затих, повалил густой зимний снег крупными хлопьями в холодном, безветренном воздухе. Так пришла в Орхово после бездождного лета зима.

Две недели не переставая падал снег, промерзла земля, устраивался на зиму зверь. Белка валом шла в орешник под психиатрической лечебницей, птицы сквозь снежную мглу летели на юг. И с каждой неделей становилось все холоднее и холоднее, а к декабрю холод ударил такой, что земля зазвела как железная, самый воздух звелел, и все вокруг было бело и сине.

Зима стояла ровная, мороз не отпу-

скал месяц за месяцем. Сияло солнце, сосны стояли по пояс в снегу.

К декабрю в Орхове съели все, что можно было съесть, сожгли все, что можно было сжечь. Доминика сидела у холодной печи и смотрела в черный, холодный зев. Она первая стала жечь солому с крыши. Страшно было смотреть, как снимает человек крышу над своей головой и жжет ее в печи. Потом все стали делать то же.

Умерла Доминика так: на воскресенье она созвала всех, кто хотел с ней проститься. Простилась. Каждому сказала слово, а потом повернулась к стене: «Маленько отдохну» — сказала. Смотрят, а она уж и не жива. За ней умерла тетка Федора. И у Петра поумирали все родные. К весне Ханна осталась одна. Хаты не было. Стоял сруб. Она перебралась к брату. А весной умер сын, Володька. Лежит худенький, ясный... как живой. И хотя фельдшер сказал, что мертв, совсем мертв ребенок, мать не верила, да и отец не верил. Всем тепло принесло жизнь, а ему смерть.

— У тебя тоже было не много счастья, — грустно сказал Стась. — Жизнь теперь устроена так, что таким, как мы, приносит одни беды.

Лирическое настроение сменилось ожесточением. Он стал говорить о том, что нельзя склоняться перед несчастьями и что Петр прав, не склоняясь перед ними, и хорошо, что в деревне не склоняются, но что тем не менее надежда Петра заботит в городе — несбыточная надежда. Ни в Белостоке, ни в другом городе заработать нельзя.

— Что ты ешь здесь?

— Что собаки едят, то и я ем. В трактирах вымаливаю то, что сбрасывают стареюкам псам.

— В отряд, которым командую я, солдаты не принимают, — сказал Стась, — но тебя я устрою. Что это за отряд, я тебе уже говорил. Есть люди, которые считают, что в Польше многие богатые евреи неправильно владеют имуществом, и эти люди пытаются исправить несправедливость. Они предложили мне помочь им, и я помогаю. Тебя я устрою в этот отряд. Как вновь поступивший, ты сразу получишь на руки некоторую сумму денег, а потом, когда мы сделаем дело и фабрика Сокола станет фабрикой Водзиславского, мы получим премию: не менее тридцати злотых на человека.

Это для тебя уже будут деньги. А если выйдет мое дело, ты будешь работать у меня. Ты соберешь кое-что и купишь землю.

Он говорил и видел, как лицо Петра, — который, повидимому, плохо понимал, о каком отряде идет речь, но понимал, что Стась предлагает ему заработок, — светлело, и в позе его уже не было безнадежной, каменной усталости.

Из-за забора показалась голова кошки. Глаза внимательно осматривали людей. Кошка решала: опасно или нет? Решив, что нет, подтянулась на лапках и пошла по ребру забора. Потом спрыгнула и потрусилась по самому краю берега.

39

Юзэф пригласил к себе Антона Храпа. Антон Храп ходил на артиста: всегда до блеска выбритый, блестяще одетый, чистоплотный человек, от которого веяло здоровьем, уверенностью, умом.

В последнее время Храп пошел в Белостоке в гору. Он сосредоточил в своих руках все нити скрытой жизни города. С ним совещался сам Вагман.

Пригласить его посоветовала Зося. Ложась спать, она высказала такую мысль:

— А мне кажется подозрительным, что поляки защищают Сокола. Тебе это не кажется подозрительным?

— Мне не кажется, — ответил Юзэф.

— Поляки стоят за него стеной. Кто эти поляки?

— Кто эти поляки? Ты думаешь...

— Конечно, я об этом подумала сразу. И чем больше я над этим думаю, тем больше прихожу к выводу, что это так. Скажи, откуда у поляков такое пламенное желание работать на еврейской фабрике?

— Да... откуда?

До разговора с женой Юзэф смотрел на это просто: хозяин заставил, посулил, заплатил — дураки и пошли. Но сейчас ему это тоже показалось не столь простым.

— Дьявол их знает, откуда! — сказал он.

— Не дьявол, а Храп. Ты поговори с Храпом.

— Это ход! — воскликнул Юзэф. — Если даже ничего нет, это ход.

— Конечно, ход. Ты представь себе:

дефензива подозревает и арестовывает. . .
Представляешь?

— Вполне.

Антон Храп приехал на мотоцикле. Великолепный английский мотоцикл не

катился по бульжнику, а летел над ним. Дворник открыл ворота. Храп въехал

во двор.

Зоя крикнула из окна:

— Пан Храп, у вас превосходная машина!

Храп поклонился.

Зоя обожала автомобили и мотоциклы. И даже не столько автомобили, сколько мотоциклы, потому что на мотоцикле чувствуешь себя гораздо свободнее: он легче, подвижнее.

— На мотоцикле все можно, — сказал Храп, — даже по водосточной трубе можно подняться. А почему у пани нет мотоцикла?

— У меня многого нет. Я заведу все сразу.

— Выдержка характера! — Храп снова поклонился.

Его желтые, до колен шнурованные башмаки казались очень легкими, и весь он у своей машины напоминал спортивную.

Зоя подумала: «Это стиль работы. Поляки начинают прекрасно работать».

Она приняла участие в совещании и высказала свои подозрения.

Храп слушал, наклонив голову, постукивая пальцами правой руки по красной полированной поверхности стола. В левой руке держал трубку.

— У пани прекрасно работает политическая мысль. На фабрике Сокола эта опасность есть.

— Вот видишь! — сказала Зоя мужу. От похвалы Храпа щеки ее заалелись.

Храпу понравилось то, что щеки Водзиславской заалелись от его похвалы, и он заметил:

— Среди своих я могу кое-что рассказать.

Он стал рассказывать о сложном политическом положении города. Город недалеко от советской границы, окружен русскими деревнями. А положение в Европе таково, что многие в Польше желают заключения с Россией пакта. А ведь тогда возможно вступление в Польшу советских войск. Правда, они вступят для защиты Польши, но если представить себе русские деревни и движение Красной Армии через них, то

нетрудно себе представить и все остальное.

— Вы представляете, пани?

— Нет, не представляю.

— Неужели? Но почему?

— Не представляю, потому что не боюсь дикарей.

— Похвальный патриотизм! Но я представляю себе дикарей, которые вдруг сообразят, что их много, что раз их много, то они сила, и что они сумеют устроить так, что будут есть сколько хотят и буду брать что хотят. Это, дорогая пани, стихия, такая же непреодолимая, как и землетрясение.

— Что с вами, пан Храп?

— Припадок осторожности! — усмехнулся Храп.

— Выздоровливайте скорей! Я вам приготовлю кофе, он вас вылечит.

— Она умеет готовить кофе, — усмехнулся Юзэф. — Пьешь и только думаешь: откуда такой напиток?

— Поэтому для Польши необходимо усиление польских элементов на востоке, — закончил Храп. — Поэтому мы и вас, пан Водзиславский, благословляем в вашей деятельности.

Храп пил кофе. Оно было великолепно. Храп сказал, что оно напоминает ему тропики, Индию, тихоокеанские острова.

— Знаете, — сказал он, — пальмы над голубым заливом, ветерок по голубому заливу.

— В тропиках заливы зеленые, — заметила Зоя.

— Зеленые?

— Зеленые. Чем южнее, тем вода зеленее.

— Возможно, возможно. . . Не плавал. Бывал на нашем Польском море, оно нормального цвета.

— Поляки мало путешествуют, — сказала Зоя, наливая себе кофе, — а ведь полякам надо знать весь мир. Они столько веков бренчали цепями!

— А вам, пани, хочется на тихоокеанские острова?

— Кому не хочется? Вы только представьте себе залив, вокруг дикие скалы и черная пирога под парусом, как под крылом, влетает в залив. . . А вы стоите по колена в теплой воде и ловите голубых медуз. . .

— Прекрасная фантазия! — сказал Юзэф. — Но, по-моему, неправильная. Слушая тебя, можно подумать, что самые счастливые люди — дикари. У них

и пирога, и зеленый, как изумруд, залив, и они ходят по колена в теплом море. А тем не менее ни мысли, ни планы не рождаются в головах этих счастливых людей.

— А зачем рождаются мыслям и планам в их головах? Слушая тебя, можно подумать, что мысли и планы — благо само по себе. Мысли и планы нужны для того, чтобы добиться счастья, как зубы нужны для того, чтобы жевать пищу. Но зачем всегда сытому человеку зубы? Зачем счастливым океанийцам мысли и планы?

— Чтобы нарушить их счастье.

— Разве только для этого, пан Храп. Мы, женщины, лучше других понимаем: человек хочет счастья. А всякие там мысли, теории, планы — это от нищеты.

— Еще попрошу у пани чашечку.

— Я мечтаю о путешествии. Я не княгиня, я выросла в бедности. Молодость моя прошла в коридорах гостиницы. А сейчас мне хочется воспользоваться всем миром... и океанами, и мотоциклами, и жемчужинами. А вместо этого я сижу в Белостоке и отнимаю у Сокола его фабрику.

— Вот какая исповедь! — засмеялся Юзэф. — Вот какая у меня жена: на нее нужно надеть узду, а то наделает бед!

— На меня узду трудно надеть. Хотите еще кофе?

— Благодарны, благодарны... На всю жизнь благодарны!

Храп поцеловал ее руку и вышел из комнаты мягким, широким шагом.

Дворник раскрыл ворота. Мотоцикл, мягко покачивая, вынес Храпа на улицу.

На улице Храп дал газ. Слегка растопырив локти, Храп несся по городу.

40

Против фабрики Сокола — пиварня. Кроме пива, там подают жареную колбасу с капустой, сосиски и рыбу.

Там можно пить, есть очень дешево и слушать музыку, потому что у хозяина превосходные радио и патефон.

Пикет рабочих, ожидая налета на фабрику, расположился в пиварне.

Из окон улица видна была до самого поворота. В случае налета пикет из засады мог сокрушительно ударить на стрелцов.

Сокол сказал Токарскому и Козакевичу:

— Стойте крепко и ничего не бойтесь! Уж я вам говорю! Пускай они себе занимаются магазинчиками! Магазинчики — это их дело, а на моей фабрике мы дадим им по шее.

Он говорил спокойно и уверенно. Как всегда негромко, как всегда стоял во дворе плохо одетый, в старой кожаной куртке, с бурым, обветренным лицом. На пиво и закуску выдал деньги.

Рабочие заняли несколько столиков. Козакевич распорядился, чтобы ели сколько хотят, а пили только фруктовую воду.

Сначала, действительно, пили фруктовую воду. Но сладкая фруктовая вода не могла утолить жажду после колбасы с капустой и сосисок. Михась первый стукнул кулаком по столу:

— Как хочешь, Козакевич, а я выпью!

Токарский, которому тоже хотелось пива, сказал:

— А пусть выпьет, Павэл!

— По одной выпьем! — крикнули рабочие.

Хозяин стоял наклонившись, следя за выражением лиц гостей. И когда уловил выражение нерешительности в глазах начальников, сделал жест ладонью кельнерам и сам бросился за прилавок.

Через минуту золотистый, горьковатый напиток разнесли по столам, и люди пили пиво так, как будто всю жизнь только и мечтали о пиве.

За столиком, у бокового окошка, писала скромно одетая молодая женщина. Писала торопливо. Иногда, не находя слова, замирала. Покальвала губу кончиком карандаша, потом снова писала.

Козакевич подумал: «Приезжая. Сидит, пьет чай (около нее стоял стакан чаю), записывает расходы или пишет письмо мужу». Но когда прошло двадцать минут, а женщина все так же, ни на кого не глядя, писала, он почувствовал подозрение.

Прошел мимо столика и заглянул женщине в лицо.

Нежный овал, полуоткрытые от напряжения губы, морщинка от напряжения на переносице. Пепельные волосы выбились из-под шапочки.

«Стерва! — решил он. — Как ворона летит на падаль, так она на мужчину».

Подошел к хозяину:

— Дорогой пан, у нас, знаете, не про-

стое времяпровождение, у нас дело. Я забыл предупредить, чтобы никаких здесь пани! Поэтому вы ее очень вежливо, но попросите...

— Как господа люблю, вижу в первый раз. Тут ходят ко мне две, а эту вижу в первый раз. Пришла, заказала рыбу, потом пьет чай и пишет. Что я могу сделать?

Козакевич пожал плечами и вышел на крыльцо. В соседнем доме играли на скрипке. Шли одинокие прохожие. Ничего подозрительного. С крыльца, через забор, виднелся двор фабрики, обычная куча антрацита, кирпичные, полукирпичные и деревянные дома, то рядом друг с другом, то поперек друг к другу, то наискосок. Потому что Сокол строил свою фабрику без плана и пристраивал здания по мере необходимости, как придется. Старуха Михалевская шла по двору.

Когда Козакевич вернулся в пиварню, Токарский сказал ему:

— Посмотри на Михася!

Михась заметил путешествие Козакевича мимо женщины и, занятый до этого только пивом, теперь, не отрываясь, смотрел на посетительницу.

В эту минуту она кончила писать и позвала кельнера, чтобы расплатиться.

Она спрашивала музыкальным голосом: «А разве рыба стоит столько? А чай сколько? Ну вот, пожалуйста!» Она говорила простые слова так, что ее все слушали. Не только Михась и Вацлав, эти быки, обожатели девушек, но и сам Токарский.

Едва подымая глаза, едва улыбаясь, едва приоткрывая губы, она спросила Михася:

— Могу я у вас узнать, который час?

— Холера! — сказал про себя Козакевич. — Михась, на минутку!

Но Михась уже лез в карман за часами.

— Очень благодарна!

Она делала движения, которые делают женщины, собираясь уходить: что-то справила в волосах и жакетке, встряхнула сумочкой, посмотрела на ремешок, улыбнулась.

И тогда Михась не выдержал и сказал:

— А куда пани торопится?

— О, я очень тороплюсь... На вокзал!

— Прошу выпить со мной стакан пива!

И уже подставляет ей стул. И Вацлав тут же. Да какое Вацлав—все вертятся!

— Михась, на одну минуту! — крикнул Козакевич.

Михась подошел не сразу. Сначала пристроил женщину к столу и спросил у хозяина пива.

— Михась, что же это? Тут надо смотреть в оба, только не на женщину. Дьявол знает, кто она! Может, подослана. Бери ее под ручку и выводи вон!

— Чего ты, Козакевич, волнуешься? Все будет в порядке.

— Я говорю, Михась, надо смотреть в оба, только не на женщину. Ты уже предложил ей пива?

— Предложил.

— Откажись от этого дела! Скажи кельнеру, а я скажу ей.

— Ничего этого не будет, Козакевич. Дело мы делаем важное, но не богу молимся. Пусть сидит и пусть выпьет соколовского пива.

— Она не выпьет. Если у нас не будет дисциплины, ничего у нас не будет. Разве мы не знаем тебя? Ты теряешь голову от юбки. Помнишь, как однажды ты поехал в Гарвелин и не доехал, слез за девчонкой? И если я тебе говорю: «Отпусти женщину» — значит, отпусти.

— А ты что пристал ко мне? Кем она подослана? Стрельцами? Пусть!

Панне поднесли пива. Она трогала тонкими пальцами прозрачную ножку бокала и не пила, ожидая Михася. Михась столкнулся с ее взглядом. Ему показалось, что она улыбается не то испуганно, не то насмешливо.

— Не понимаю, из-за чего все это выходит? — заговорил он. — Вот послушай, Вацлав! Козакевич требует, чтобы мы ее вытурили из-за стола.

— Не кричи на всю пиварню, тише! — вмешался Токарский. — Козакевич прав. Назначь ей свидание и отпусти ее!

— Да чем она мешает?

— Тебя не уговоришь!

Потемнев от гнева, Козакевич подошел к панне. Когда она увидела, что он направляется к ней, она стала пить пиво. У нее горела щека таким нежным румянцем, она так была приятна, что Козакевич оскорбился. «Не от бедности,—подумал он.—Разве не нашлось бы для нее мужа? А оттого, что сука».

— Прошу с этого места, — сказал он.

— Но это место не пана, — сказала она певуче.

Михась стоял, сунув руки в карманы, не зная, что делать.

— Подумаешь, — бормотал он. — Сидим и смотрим. Пусть и она сидит!

— Это не место пана, — повторила женщина. — Мне предложил это место тот пан. Пусть он придет и скажет, что ему тесно.

— Ну, это уж слишком, — сказал Михась. — Еще пива! — крикнул он кельнеру и, грохоча башмаками, пошел к своему стулу.

Никто в это время не наблюдал за улицей, никто не видел, как из переулочка вышли мужчины и пошли к фабрике. Повидимому, они тоже решили занять наблюдательный пост, потому что, не доходя до фабрики, свернули к пиварне.

Дверь в пиварню распахнулась. Первыми вошли Стась и Петр.

Вся правая сторона была занята. По той тишине, которая наступила в пиварне, Стась понял, что в пиварне не простые посетители, да и сидели они слишком тесно для случайных посетителей.

Женщина допивала бокал. Михась молча пил свой. Хозяин побледневшим от страха голосом спрашивал вновь пришедших, что они себе позволяют.

— Пива и сыру! — приказал Стась.

Он обрадовался, увидев перед собой рабочих так близко и в такой спокойной обстановке. Конечно, было бы лучше, если бы их было два-три человека. Тогда можно было бы к ним подсесть и поговорить по душам. Он сразу узнал художника Козакевича, того самого, который громил стрелцов тогда на заре. Козакевич сидел за столиком, вытянув длинные ноги, и пил пиво глоток за глотком.

— Встреча неожиданная, — сказал Стась Бобровскому. — Будь осторожнее и не лезь в драку! Помни, что наша задача — союз и дружба и что нас здесь немного. Узнай на всякий случай у хозяина, есть ли телефон.

— Не имеется, что вы! — сказал хозяин. — В этом районе даже близко нет телефона.

Он хотел спросить: «Зачем вам телефон?», но побоялся услышать ответ, о котором догадывался: чтобы позвонить в полицию, в дефензиву и еще кое-куда.

Он не испытывал неприязни к людям, одетым в туристские костюмы. Он даже радовался, когда громил евреев, но он не хотел, чтобы драка происходила у него в пиварне, да еще между поляками.

Кто ему тогда заплатит за гибель имущества?

— Телефона не имеется, — сообщил Бобровский.

— Пусть не имеется, — сказал Стась. Он был спокоен: здесь можно будет пустить в ход такое могучее оружие, как слово.

Подошел хозяин:

— Недоразумение: в пиварне осталось очень мало пива.

— Не может быть!

Стась видел, что хозяин боится дать пиво, но вместе с тем знал, что хозяин не посмеет его послушаться, и ощущение силы доставляло ему удовольствие.

— Прошу пана немедленно доставить просимое пиво и сыр!

Хозяин пожал плечами, развел руками и короткими шажками побежал за прилавок. Оттуда он побежал в кухню. Жена жарит колбасу.

— Что делать? — спросил он.

— Подавай им все, но бери немедленно деньги. Такое у меня правило, скажи. А чуть что — я побегу за полицией.

Стась пил пиво и ел сыр. Бобровский и остальные пили пиво. Петр тоже пил и ел.

Сегодня ночью он спал рядом со Стасем. По одну сторону Стася — Бобровский, по другую — он. Бобровский, осмотрев его, похлопав по спине, пощупав руки, предложил потягаться в силе. Сели за столик и поставили локти правых рук на стол. Сначала руки, тесно сплетаясь, были непоколебимы. Потом рука Бобровского стала склоняться. Бобровский багровел, закусил губы — рука склонялась неумолимо.

— Медведь! — сказал он. — А ведь, наверно, за всю свою жизнь не сделал ни одного упражнения?

— Какие там упражнения!

— Тут природа распоряжалась, — объяснил Стась. — Я в детстве прочел «Кво вадис». Урс не выходил у меня из головы. Помнишь, Петр, я все приставал к тебе: «Сверни быку шею, сверни!»

— Помню, приставал. И таки добился своего.

— Бобровский, он поставил быка на колени. Так ты уж не обижайся!

Бобровский не обижался. Он восхищался, но он не понимал, как человек без тренировки, с сырыми, по его мне-

шлю, мускулами, победил его. Он раз-
шляля, а Стась и Петр тихо разговари-
вали о деревенских делах.

Сейчас Петр пил пиво и ел не только сыр, но и хлеб с сыром. С каждым ча-
сом к нему возвращались сила и жизнь. Он не знал точно, что должен делать отряд и что должен делать в отряде он. Враждуют два фабриканта, Сокол и Водзиславский. Какие-то там у них между собой счеты. Пусть отбирают друг у друга фабрики! Бедные люди должны же как-нибудь жить!

Стась допил пиво, повернулся к рабочим и сказал:

— Панове, давайте поговорим! Разговор будет простой, на польском, для всех понятном языке, о наших польских делах. Я знаю вас. Мы с вами встретились однажды утром у рынка Костюшки. Там наш разговор не удался, а здесь мы поговорим.

Прямо против него сидел рыжий Михась с женщиной. Женщина маленькими глотками пила пиво. Трудно было определить по лицу Михася, хочет он разговаривать или нет. Другие тоже неопределенно переглядывались, но Токарский и Козакевич сказали в один голос: — Поговорим!

Стась вышел со стулом на середину пиварни. Он сидел в полоборота к своим и к врагам.

— Мы с вами дрались, — начал он. — И такие драки между людьми происходят часто. Это так называемые бессмысленные драки. Чего-то люди не поймут и дерутся. Панове, у нас с вами есть общее, бесспорное перед лицом всего света. Как бы мы с вами ни спорили, ни ссорились, у нас с вами есть то, что связывает нас друг с другом. Польское государство связывает нас. Польша связывает нас! И вот приходят к вам поляки и говорят: «Надо устроить так, чтобы главными хозяевами на польской земле были поляки. Чтобы богатства были в руках поляков. Чтобы поляки могли не беспокоиться, что их предадут». Скажите, почему поляки сидят в этой пиварне одни по одну сторону, другие — по другую и смотрят друг на друга волками? Разве вам не кажется, что в нынешнее время, когда весь мир накануне войны, вы сидите так потому, что защищаете еврея против поляка? Вы не хотите, чтобы вместо евреев на фабрику приняли безработных поляков? Ничего

не понимаю. Вот передо мной сидит молодой поляк. Ну, в чем дело, пан?

Михась усмехнулся и пожал плечами. Сейчас, после речи Стася, он не видел особенной необходимости защищать Сокола. Стась обратился прямо к нему. Мысли у Михася были в разброде, он не знал, что ответить. Вздыхнул, пожал плечами, нагнулся к женщине и спросил:

— Как пани зовут?

— Ванда.

— Как Ванда думает, прав он?

Ванда усмехнулась и отпила глоток пива. Она сидела уже не так, как раньше, потупив глаза. Сейчас она сидела свободно и слушала внимательно, как все.

Речь Стася произвела впечатление. Рабочие многозначительно покашливали и поглядывали друг на друга. Токарский откашлялся и сказал:

— Я выслушал пана очень внимательно. Все, что пан говорит, достойно внимания. Но дело в том, что мы люди простые, мы рабочие. И многие из нас на этой фабрике работают десятки лет. Хорошо ли на фабрике, плохо ли, но все порядки ее нам известны, и каждый из нас имеет свои заслуги перед хозяином и на основании этих заслуг может требовать того или иного. А надо сказать, жизнь наша не такая сладкая, чтобы бросить в торбу свои заслуги. Кто будет новым хозяин? Водзиславский? Ничего об этом человеке не известно хорошего. Известно, что это небогатый человек и платит своим рабочим гроши. А когда он придет на фабрику Сокола, что он будет прежде всего делать: повышать нам плату? Никто в это не поверит, дорогой пан, хотя и слушали мы вашу горячую речь с большим вниманием. Рабочие не так глупы. Вот я смотрю на своих товарищей и вижу, что они понимают меня не хуже, чем пана. Конечно, всем хотелось бы, чтобы родной поляк был хозяином той фабрики, на которой работаешь. Но что делать, если он еврей? Началась драка. Из-за этой драки Сокол, чего доброго, остановит фабрику. Водзиславский и Сокол будут драться, а фабрика будет стоять? Что же тогда будет с нами? Должны ли мы дохнуть с голоду ради того, чтобы на нашей фабрике хозяином был Водзиславский? Рабочие не дураки, пан. Вот почему, хотя мы вас выслушали с большим вниманием и многим ваша речь понравилась,

лась, я скажу прямо: ничего из этого не выйдет. Рабочие будут стоять за Сокола.

— Верно! — сказал Михась и притронулся к локтю Ванды.

Она усмехнулась и посмотрела на него искоса. Она ему очень нравилась. Так нравилась, как не нравилась еще ни одна женщина. То, что она обратила внимание на него, делало его счастливым. Ощущение счастья и тревожная обстановка опьяняли его.

— Вот этот пан, — шепнул он, указывая на Стася, — убежал от меня, как заяц, туда-сюда, туда-сюда... и в переулок. А вот к этому мы приложили камни. Видите, еще забинтован!

— Мужчине хорошо: у него сила в руках.

— Признаюсь, сила в руках — приятная вещь. Он стоял у водосточной трубы и отмахивался, а потом побегал. Если б Ванда видела, как он бежал!

Щека Ванды была близко от его глаз. Такая нежная щека! Ресницы подрагивали над щекой. И полнота во всем ее теле была такая, которая опьяняла не меньше всего остального. Но главное — что Ванда выделила Михася сама, без всякой попытки с его стороны. Есть женщины, которым нравятся рыжие мужчины. Вот не подошла же она к Козакевичу или к Токарскому, хотя, как известно, старички более падки на красоту, чем молодые. Молодые не торопятся, молодые думают: «Еще успею». А старички не думают, старички хватают что под рукой. И вот, несмотря на это, она подошла к Михасю. Значит, понравился.

Михась был счастлив. Он подсчитывал, сколько у него денег. Если у нее комнаты нет и придется снять номер в гостинице, — все равно хватит. А если нехватит, даст взаймы Вацлав. Он прижал свое колено к колену Ванды и сквозь ткань платья почувствовал круглую, сильную ногу. Ему захотелось положить руку на талию, но он побоялся это сделать.

— Превосходная речь! — говорил Стась. — Надо сказать, что она мне принесла большое удовольствие. Я услышал голос разума, который всегда люблю. Я радуюсь, что у нас в Польше умные рабочие: все рассчитали, все прикинули... А вот со мной здесь десять товарищей, и все, как один, мы рассчитываем тоже, но рассчитываем иначе. Мы (он возвысил голос и встал. Хозяин, сидевший за

стойкой, вскочил), мы говорим: «Польша накануне испытания! Можно ли думать о своем диване и о своей миске картофельного супа в такие дни? Не должны ли мы в такие дни быть едины? Не должны ли мы хоть немного забыть о золотых?» К тому же, они будут. Для поляков золотые будут. Польский фронт внутри Польши — вот первое, к чему призывает нас совесть.

— Как ты думаешь, прав он? — спросил Михась Ванду.

Ему было весело, он хотел счастья, ему надоело сидеть здесь и слушать разговоры. Ему было так весело, и он так хотел счастья, что соглашался со всяким оратором.

— Смотри, как у него горят глаза! — сказала Ванда.

Михасю не понравилось, что она замечает глаза других мужчин.

— Глаза — как у волка!

Ванда поняла и засмеялась. Она попросила еще пива, и этот бокал выпила залпом.

На Петра речь Стася произвела странное впечатление. В ночной беседе с ним Стась сказал: «Дрянное у нас государство, столько несчастных людей!» И хотя Петр понимал, что для дела теперь нужно говорить иначе, ему не понравились слова Стася. Сказал бы просто: «Новый хозяин, пан Водзиславский обещает вам повышение заработка. Вот его письмо, где он подтверждает и подписывает». Надо было добыть такое письмо. А зачем говорить то, чего нет на свете?

После окончания речи Стася среди рабочих снова произошло некоторое движение. На одних, повидимому, действовала горячность тона; другие, возможно, опасаясь доноса, поддакивали: «О, так, так!».

— А вот что скажу я, — поднялся Козакевич. — Мне, как и всем здесь, понравилась речь пана начальника, молодая, полная сердца речь. В ней была высокая философия. — Голос у Козакевича слегка дрожал. Он стоял и руками крепко держался за спинку стула. Он начал так громко, что все сразу стихли, даже Бобровский, перешептывавшийся с соседом. — В ней была высокая философия. Он говорил о Польше и грядущих испытаниях. Он говорил: «Гоните иноплеменных и не доверяйте им! Кто не поляк — тот враг. Кто поляк — тот друг». Рабо-

— так ли это? Стрельцы, так ли это? Мы знаем, как живется рабочим у Водзиславского. Наши ткачи зарабатывают по сто двадцать злотых, а у него — пятьдесят. Как же нам стоять за Водзиславского? Нам обещают выгнать с фабрики евреев. Золотое обещание! А что будет с нами? Каждый знает — голодная смерть. Одни будут есть, другие будутдохнуть — разве этого хотят рабочие? Рабочие хотят, чтобы если все.

— Правильно! — неожиданно для себя сказал Петр. И сам испугался того, что сказал, и сам обрадовался тому, что сказал. Он взглянул на Стася. Тот сидел, положив ногу на ногу, и смотрел не то на Козакевича, не то мимо него в окно. Хозяин на цыпочках подошел к двери и приоткрыл ее: за дверью стояла жена, уже одетая, чтобы бежать в волицию.

— Конечно, все знают, что поляки есть поляки, — продолжал Козакевич, — а не-поляки есть не-поляки. Но когда идет бой за нашу жизнь, разве все мы не должны держаться друг за друга? И мы должны сказать начальнику стрельцов: «Нам не подходит ваша речь».

— Кто это говорит? — спросила Ванда.

К Козакевичу женщина почувствовала неприязнь еще тогда, когда он гнал ее из пиварни. Она встретила с ним глазами. Она улыбнулась ему стыдливо и просительно. Она сказала глазами: «Ведь я — женщина». Но он ответил ей глазами: «Ты — сука». И она возненавидела его.

— Это наш известный Павэл Козакевич, ткач. Он всегда любит выражаться подобным образом. Что ж, он прав. Рабочие есть рабочие.

— Поганый старикашка! — сказала Ванда.

Михась засмеялся.

— Ты злая, — шепнул он ей на ухо.

В это время Бобровский встал, потянул носом и крикнул:

— Панове, чем пахнет? Красным пахнет. Эй, старичок, признавайся! Это непорядок. Хозяин, это у тебя каждый день так говорят?

Хозяин на согнутых ногах вышел из-за прилавка и поклонился:

— Впервые слышу, как господу люблю!

Стась сидел, откинувшись к спинке стула. Он хотел остановить Бобровского, хотел сказать: «Ты испортишь все де-

ло», но потом не сказал. В душе он был согласен с Козакевичем: люди должны думать о собственном благе, потому что никто за них не подумает. Евреи, поляки, англичане — разве не все равно? Но ведь и он, Стась, тоже должен думать о собственном благе: нужно захватить фабрику, нужно получить деньги от Юзефа, нужно захватить кино. Если он будет рассеивать свои мысли и думать, что правы и те и другие, он окажется во власти атавизма и потеряет силу. Стась вздохнул и выпрямился.

Голос Бобровского гудел на всю пиварню:

— Советую устроить забастовку и заявить отцу своему Соколу: «Фабрика не будет работать до тех пор, пока ты, отец, не уйдешь». Уж мы поможем вам: ни один штрейкбрехер не проползет. А если евреи захотят работать — на веревку их! Ну, что вы ответите?

Козакевич крикнул:

— Стрельцы, не портите себе здоровья: забастовки не будет! Фабрика стоять не будет. Сокол так же хорош, как и всякий другой хозяин. Рабочие между собой были и останутся братьями.

Стась опять подумал, что Козакевич прав: никакого блага, насколько он знал, не дожидаться рабочему от хозяина Водзиславского. Но для Стася не было в правде Козакевича сейчас никакого смысла.

— Тише, Бобровский! — сказал он Бобровскому, который, разгоряченный последними словами Козакевича, озирает всех мутными глазами, испытывая, по видимому, непреодолимое желание пустить в ход кулаки. — Присядь рядом со мной! Я буду говорить. Послушайте, поляки, вам все равно, кто будет хозяином, а нам не все равно. Нам, таким же полякам, как и вы, нужно сдохнуть, если Сокол будет хозяином. Вы трусы! Вы предаете своих. Вы сидите и высчитываете, где потеряете, где приобретете. Так я вам скажу: с Соколом вы не приобретете. Высчитывать — полезное дело, но не всегда. Высчитывать нужно широким умом. А вы каким умом высчитывали? Я вам скажу: вы проиграли.

— Почему, Козакевич, ты так держишься за Сокола? — спросил Михась. — Капиталист есть капиталист.

— Ты, Михась, хороший парень, но сегодня поглупел.

— Не ругайся, Козакевич!

Михась уперся руками в столик. Жена

хозяйина вышла из кухни, чтобы бежать за полицейским.

— Я не ругаюсь, я только определяю твое поведение.

— А я тебя спрашиваю, Козакевич, хотя ты и стар: почему ты ругаешься?

— Перестань, Михась! — крикнул Токарский. — Идем на фабрику! Здесь нам больше нечего делать.

Как всякого человека, Михася иногда называли дураком. Он относился к этому беззлобно, но сейчас, когда он подвыпил и сидел с Вандой, слова Козакевича возмутили его. Он взглянул на Ванду и увидел, что она смотрит в стену: ей стыдно перед людьми за то, что она выбрала дурака.

— Прощу тебя, Козакевич, возьми назад свои слова!

Козакевич был встревожен и взволнован. В другое время он легко взял бы назад свои слова, но сейчас он не мог их взять.

— Как же ты не глуп? — спокойно сказал он. — Подседа к тебе фея — и ты забыл все на свете. Забыл, что у тебя товарищи и дело. А кто она? Теперь я тебе скажу точно: ее подослал вон тот! — Он указал на Стася.

— Что вы такое говорите? Пане, остановитесь! — вскричала Ванда.

Козакевич говорил с таким убеждением, что у Михася шевельнулось подозрение. Прищурившись, он смотрел на женщину.

— Как господа люблю, он врет, — проговорила Ванда.

— Не вру. Тебя подослали они. Думают действовать через мягонькое и сладенькое. Думают, рабочие этого не знают, так польстятся. Один из нас и польстился.

Козакевич говорил сухим, металлическим голосом. Михась увидел слезы на глазах Ванды и крикнул:

— Ты мне не отец! Не читай мне нравочений и извинись перед ней и передо мной!

Он ударил ногой стул, и стул покатился. Рядом стоял Вашевский из шарпачной, широкоплечий и приземистый. Вашевский, увидев разъяренного Михася, отступил. Кравец, коцегар, попытался удержать Михася за руку, но Михась взмахнул кулаком, и Кравец, пожав плечами, тоже отступил.

— Ради господа, успокойтесь! — крикнул хозяин.

— Михась! — крикнул Токарский.

Губы Михася дрожали. Он стоял перед Козакевичем, положив руки на бедра.

— Попросишь ты у нас извинения иль нет?

Козакевич побледнел. Он понял, что на Михася сейчас не подействуют никакие слова, но извиниться не мог. Он знал: если Михась его ударит, он ударит тоже. Что после этого будет — неизвестно. Оглядел пиварню и прежде всего заметил женщину. Она порозовела от возбуждения, глаза ее горели. Она хотела, чтобы Козакевичу размозжили голову. И это было так ясно, что Козакевич похолодел от гнева.

— Старшего своего товарища из-за суки! — сказал он.

— А... — протянул Михась и взял его за плечи.

Несколько человек бросилось к противникам. Кравец попытался втиснуться между ними, но ударом колена Михась отбросил его.

Никто не ожидал того, что произошло затем.

Никто не ожидал, что высокий стрелец подойдет широким прямым шагом к Михасю. Петр подошел и взял Михася за руки:

— Оставь уважаемого человека!

Он увидел взмученные глаза Козакевича. Точно волна прокатилась по пиварне: кто старался уйти от места спора подальше, кто теснился поближе.

— Умоляю! — крикнул хозяин. — Что это такое?

Он выскочил за дверь и посмотрел на улицу: ни жены, ни полицейских.

Стрельцы не знали, что делать: то ли броситься на Петра, то ли спокойно отступить к его поступку. Бобровский растерянно крикнул Стасю:

— Он с ума сошел. Усмири его!

— Успокойся, Бобровский! Пусть он ему за тебя наложит!

— А пусть наложит этому быку!

Петр держал Михася за руки. Михась попытался вырваться, но вырваться не сумел. Он даже не мог повернуться.

— Оставь уважаемого человека! — повторил Петр.

— А ну-ка, уйди!

Михась понатужился, вырвал правую руку, повернулся и стал грудь с грудью к Петру:

— А ну-ка, уйди!

Петр еще не остыл от гнева. Он уселся и сказал.

— Против тебя ничего не имею. Но это не тронь!

— А я вот трону! — крикнул Михась и ударил Петра по лицу.

— На защиту, на защиту! — крикнул Стась.

Но защищать Петра не было нужды, потому что Михась, опрокидывая столы и стулья, уже летел к стене.

Никогда ни от кого в жизни он не получал такого удара. Он ударился о стену, прислонился к ней и, оглушенный, сполз на пол.

— А-а-а! — завыл Вацлав и, подняв стул, бросился на Петра.

И тут же покатился, роняя стул и опрокидывая столики.

Петр защищал Козакевича, но сейчас он ударил Вацлава, и рабочие бросились на помощь Вацлаву. Бобровский, увидев своего соперника, перед силой которого он уже благоговел, в опасности, ринулся в самую гущу свалки. За ним устремились остальные.

Ванда отбежала к прилавку.

— Из-за тебя, сука! — Хозяин ударил ее в грудь.

Женщина побледнела. Хозяин ударил еще раз. Она схватила с прилавка бутылку и пустила в него. Он отклонился. В ее руках был сифон. Хозяин завизжал, скользнул за дверь и щелкнул ключом.

Он был вне себя. Из-за тонкой перегородки доносился шум свалки. Он выскочил во двор и услышал звон стекла. Стул, выбив стекла, застрял в раме.

— Панове! — кричал хозяин, выбегая на улицу. — Панове, спасайте!

И тут увидел жену, а за ней полицейских.

41

— Пана нет дома, — сказала служанка. Стась хотел уйти, но девушка добавила:

— Пани дома.

— Хорошо, тогда я увижу пани.

Зося возилась в буфете: вынимала скатерти, салфетки, пересчитывала, сортировала.

— А, пан Станислав!

Как сидела на корточках, так и не поднялась, но улыбнулась. Да так улыбну-

лась, что зубы сверкнули. Нет, она не была прекрасной; она была слишком здоровой для того, чтобы быть прекрасной.

— Что вы там натворили?

— Я думаю, что вы знаете все и без моего доклада.

— Знаю, что ваши дела опять не блестящи.

— Знаете, мне не нравится ваш тон. Так со мной разговаривал Кавалэк. Был в Варшаве такой олух, он мне много испортил жизни. Но ведь вы не Кавалэк, и Юзэф не Кавалэк. К тому же вам нужно знать, что я — Стась, а это более значительно, чем все Кавалэки и даже чем Юзэф.

— Неужели?

И она опять улыбнулась, и опять сверкнули зубы. Несмотря на то, что дела шли плохо, она столько чувствовала в себе жизни, что преодолевала огорчения.

Усадила Стася за стол. Угощала его яйцами, рыбой, колбасой, сливками, крепким чаем. Подносила хлеб, намазав маслом, и смеялась, глядя ему в глаза. О чем она смеялась? Ничего смешного не было в том, о чем они говорили.

Говорили о драке в пиварне и о том, чем все закончилось. Все закончилось арестами: арестовали пять стрельцов и десять рабочих.

— Я понимаю, — говорил Стась, — для вида наших должны были арестовать тоже. Но их должны были сразу выпустить. Их выпустили не сразу, даже позднее, чем рабочих, а одного не выпустили и до сих пор. На вопросы о нем ничего не отвечают.

— Это не с Бобровским ли?

— Нет, с вновь принятым Гагалюком.

— Ах, с этим!

— Вы и о нем знаете? Начинаю удивляться.

— Пусть пан не удивляется. Надо же что-нибудь делать от скуки! Вот я и слежу, что делают мои ближние. Поведение вашего Гагалюка странно.

— Не так уж и странно, — осторожно сказал Стась. — Мы таким путем хотели заслужить симпатию некоторой и, может быть, самой влиятельной части рабочих. А то могло создаться впечатление, что мы против рабочих. Вот мы и выступили на защиту старого вожака. Разве это не остроумный ход?

Такие ответы давал Стась и в поли-

ции. Это было вполне правдоподобно, и тем не менее Петра не освобождали.

Зося засмеялась.

— Что с вами делать! Поешьте еще сливок! — сказала она. — Вы знаете, Юзэф вторую неделю добивается Вагмана и никак не может добиться. Как гончая, носится по его следам. Однажды было настиг: вошел в ту комнату, где, как он знал, Вагман. И ничего! Никакого Вагмана, честное слово! Вместо Вагмана — шляпа Вагмана... А сам Вагман несется уже куда-то на дрезине... Это не только смешно, это подозрительно. Помните, как Соколу удалось ночью погрузить тряпку? Мне это сразу показалось знаменательным, и вот теперь рабочих выпустили, а вашего таинственного Гагалюка нет. Но мне больше не хочется об этом говорить. Послушайте... (На минуточку она загнулась и сказала не пан Станислав, а просто: «Стась».) Послушайте, Стась, я вам кладу еще сливок.

— Принимаю с большой благодарностью. Чудесное блюдо: человек сыт, а все-таки хочет сливок с земляничным вареньем.

Целые четверть часа он ни о чем не думал: ел,пил и смотрел на женщину. Она угощала его, рассказывала городские сплетни и смеялась.

Стась всегда чувствовал себя голодным. Чтобы почувствовать себя сытым, ему нужно было бы есть с утра до вечера по крайней мере месяц. Он никогда не мог смеяться так, как смеялась Зося.

— Смех из золота, — сказал он. — Ваш смех можно слушать как симфонический оркестр.

— Только раз в жизни я слышала симфонический оркестр, и то давно. Ешьте сливки с земляничным вареньем!

Он ел сливки с земляничным вареньем. Ушли все мысли, недовольство, возмущение. В комнате были он и женщина.

Женщина своей рукой накладывала ему на блюдце еду. Просторная комната, два окна выходят на набережную Бялой, точнее на тропинку среди берегового мусора, два другие — во двор. Дворник подмел садик и теперь метет двор. В городе Стась, конечно, не жил бы. Среди природы он поставил бы свой дом. И вот если забыть, что этот дом стоит в городе, можно представить себе, что это дом Стася и что эта женщина — его женщина.

По правде говоря, никогда в жизни Стась не сидел так за столом. И никогда его не угощали так и никогда ему не улыбались так.

42

Деньги окончательно иссякли. Стась зашел к Юзэфу. Юзэф ничего не дал, и друзья поругались.

Петр исчез, как в землю провалился: ни полиция, ни дефензива не давали о нем никаких сведений.

Все было плохо. Вечером Стась отправился к Зеликман.

Прислуга Зеликман спросила:

— Кто там?

Стась ответил:

— Я.

В передней стало тихо.

Стась звонил, потом молотил в дверь кулаком.

— Чего пан хочет? Пани больна.

— Нужно больную пани.

— Пани никого не может видеть.

Стась заколотил в дверь ногами.

Бледная горничная отворила дверь. Толстенькая, маленькая, она преградила ему путь в комнаты.

Стась толкнул ее и прошел в столовую. Здоровая, но бледная Зеликман сидела на диване. Она долго звонила в полицию, и полицейский комиссар наконец ответил ей: «Прошу, отвяжитесь от меня!»

— Пан ворвался ко мне в квартиру. Что это значит?

— Пани, государства врываються в государства. И это законно. Почему нельзя врываться в квартиру? У пани допотопные представления о том, что можно. Это прошлые века, пани. Мораль очень приятная, но умершая.

Зеликман побледнела еще больше.

— Что нужно пану?

— Нужно, чтоб вы поторопились.

Зеликман отвернулась. Стась подошел к буфету и взял в руки Ахилла. Бронзовый юноша метал копьё. Ахилл, Греция, боги, Христос, торговля, земля в пространстве... Солнце восходит каждое утро... У женщины нужно отнять ее имущество. Как странно, как нелепо, как противно устроен мир!

— Как все это бесчеловечно! — сказала Зеликман.

— Договоримся раз навсегда. Я предлагаю говорить на одном языке. Если вы

Будете говорить слова для меня не понятные, не будет ничего хорошего. Я говорю: человечности нет. Человечность умерла неизвестно в каком веке. Даже неизвестно, существовала ли она когда-нибудь. Но если даже и существовала, то больше не существует. От нее остался дым, чтобы морочить дураков. Человечность у нас провозглашает тот, кто хочет надуть. А я не хочу никого надувать. Я мог бы прийти и сказать: «Ваше кино нужно для спасения нации!» Я прихожу и говорю: «Мне надо! Мне! А не другому. Мне и для меня. Мне нужно ваше кино, чтобы жить. Вы должны его отдать, потому что вы — еврейка. Я возьму его, потому что я — поляк». Это условно, это оружие нашего дня. Я пользуюсь этой условностью как человек, который в драке поднимает с земли камень.

Он говорил громко. Горничная слушала его из передней, горничная-полька.

— Я называю это простым словом: вы — бандит.

Ее глаза вспыхнули, и вся она вспыхнула.

— Попрошу осторожности! Разъясняю пани: вы сказали слово «бандит» в том смысле, в котором говорили о человечности. Жизнь непонятна, пани, и все измышления о ней гроша ломаного не стоят. Единственно, что у человека есть достоверного, — это «я существую... я хочу». Все остальные философии и учения могут быть опровергнуты во мгновение ока. На ваше пустое, бессмысленное слово «бандит» заявляю: «Я хочу ваше кино».

Он очень ясно представлял себе то, о чем говорил. С Зеликман нужно действовать, как с деревом, которое нужно перепилить. Когда пилишь дерево, думаешь только о том, чтобы поскорее перепилить. Никакие шумы листвы, никакие содрогания ветвей не должны занимать мысли.

— Стэфа, принеси стакан воды!

Стэфа вошла с водой. Красные пятна покрывали ее лицо. Она не смотрела на Стася.

— Знаете что, — сказала Зеликман, — я понимаю: это — антисемитизм. Я понимаю: это — гонение. Во все времена этого было достаточно. Но я думала, что этим заниматься могут только подонки общества. Знаете, как в старой России еврейские погромы. Мои родители пере-

жили в Седлеце погром. Но ведь у нас не подонки, у нас громят сами, своими руками, философы. Не политики, которым это выгодно в политическом смысле, а культурные люди, философы. Простите, что я вам все это говорю, потому что вы не любите, когда с вами говорят на «иностранном» языке. Я хочу сказать понятнее: я ненавижу вас! Именно вас! Прежде всего вас, ваши глаза, усы, нос. Вы бьете евреев, бейте меня! Я не хочу отдать вам кино, именно вам! Потому что вы — чудовище.

— Пани! — кричала Стэфа. — Замолчите!

— Уйди, Стэфа! Слышите вы, философ, вы должны быть уничтожены как чудовище.

Стэфа схватила Зеликман за руку. Зеликман вырвалась.

— Ну, теперь поняли? Это ваш язык?

Глаза ее сияли. Она могла ударить Стася, он понял это по выражению ее лица. Она ненавидела его. Жаль, ненависть здесь ни при чем. Ненавидеть надо не людей, а положение вещей в мире. Люди чаще всего бессильны любить или ненавидеть, они не могут выбирать. Им предоставляется любовь или ненависть, и они безропотно любят или ненавидят. Стась отнимает у нее имущество, и она ненавидит его. А за что? Он хотел, чтобы она поняла его, прониклась естественностью его поведения, а она увидела бандита. Пусть! Он не имеет права уступить ей свою жизнь и ждать нового случая, который может и не прийти.

— Стэфа, дайте мне шляпку!

Стэфа принесла шляпку.

Зеликман одевалась в столовой перед овальным зеркалом. Зеркало поддерживали две змеи, поднимая над ним плоские печальные головы. Надела легонькое пальто на радужной подкладке.

Она не знала, куда идти. В Белостоке у нее были родственники: двое дядей, двоюродные сестры и братья. Дяди имели писчебумажный магазин. Когда Зеликман обратилась к ним за советом, они испугались и ничего не посоветовали. Она написала письмо воеводе, потом дальнему родственнику в Варшаве, богатому человеку. Ответа не было. Сейчас она просто решила выйти на улицу, чтобы не оставаться со Стасем в одной комнате. Ненависть приглушала отчаянье. Она была беспомощна. Дяди, к которым она придет, испугаются ее. Они не по-

дадут вида, что испугались, но испугаются. Она спросит их: «Отдать кино?» Они ответят: «О мой боже, нельзя отдавать такой театр!» Она скажет: «Тогда я поеду в Варшаву». Они ответят: «Мы сейчас не сможем присматривать за твоим театром. Понимаешь, это такое щекотливое дело!»

Она вышла и услышала за собой шаги Стася. Он шел за ней по лестнице.

Направо или налево? Пошла направо, потому что он был слева.

Он шел совсем близко, коснулся плечом. Она отошла к краю тротуара. Пошла быстро-быстро, закусив губы.

Стась шагал рядом и говорил:

— Меня нельзя ни разжалобить, ни заставить отступить. Я убежден, что поступаю правильно. Я борюсь за свою жизнь. Я совершенно одинок, пани. Обо мне, говоря общепринятым языком, можно сказать, что я несчастен. А я не хочу быть несчастным. Я ненавижу свое несчастье. Я буду бороться за себя. До последнего, до смерти... Я прав, пани. Советую вам послушать меня. Не отворачивайтесь, это же смешно! Призовите на помощь свой разум!

Зеликман вдруг остановилась, взглянула на Стася одичавшими глазами, резко повернулась, пошла назад, потом побежала через улицу. Можно было подумать, что она спасается от желто-оранжевого автобуса, но, и перейдя улицу, она продолжала бежать, крепко зажав сумочку, попадая каблучками в щели тротуара, рискуя сломать ногу.

Стась догнал Зеликман у Польского государственного банка и побежал рядом. Он бежал спортивным шагом, и всем на улице было ясно, что это куда-то торопятся муж и жена.

Она задыхалась от усталости, но продолжала бежать.

Что ей делать в этом городе? Позвать полицию, прохожих?

Пошла, спотыкаясь. Уронила сумку. Подняла. Шляпка съехала на затылок.

За магистратом повернула вниз к воеводству и вбежала в лавку «Бумага для писем».

Стась остановился в дверях. Зеликман говорила с хозяином. Тот слушал с интересом и участием и вдруг заметил в дверях Стася. Вздрыгнул и стал продавать Зеликман блокнотики.

— Если хотите в кожаном переплете... — громко сказал он и шепнул: —

У меня никого нет, моему сыну всего восемь лет.

— Я вас прошу, — громко говорил Зеликман, — пусть он проводит меня до дома моего дяди.

Хозяин исчез за перегородкой. Стась подошел к прилавку. За перегородкой хозяин спорил с женой. Когда он вернулся, Стась предупредил:

— Не помогайте Зеликман! Вам невыгодно помогать человеку, который должен освободить нам место.

Хозяин магазина «Бумага для писем», в пенсне на длинном носу, пробормотал:

— Мой сын ушел неизвестно куда.

Зеликман выбежала из лавки.

Теперь они медленно шли рядом. Вот полицейский стоит на углу. Вот прошли драгуны, люди высокого роста, полные веселья и каких-то своих, счастливых замыслов. Гимназисты в синих костюмах и шерстяных чулках, здоровые, розовощекие юноши.

— Что вам надо? — спросила Зеликман на дорожке парка.

Солнце зашло, но фонари еще не зажигались. Сиреневый поток воздуха обволакивал кусты. Люди ходили по дорожкам, и у них все было так, как было. А с ней было безумие. Стась молчал и смотрел на нее. Так смотрят на дерево, на фотографию, на обувь: спокойно, внимательно, без особого любопытства...

Если отдать кино, она станет нищей и должна будет поступить в предприятие своих дядей. Она знает своих дядей. Они позволяют ей спать в столовой на кушетке, на той самой, на которой спят приезжие родственники. Тетки будут присматривать за каждым ее шагом и каждый день будут говорить мужьям: «Твоя племянница не прибрала после себя ванной. Я не буду после нее убирать. Мылница после нее грязная. Что это такое: тесто или мыло? Скажи ей, пожалуйста!» И на пол будут смотреть, сколько пыли принесла она на туфлях. И на тарелку будут смотреть, сколько она ест. Потому, что ее родственницы — очень справедливые люди и очень боятся, чтобы кто-нибудь не поступил с ними несправедливо... Лия Зеликман училась в Париже. В Париже она встретила с Эммануилом Кацманом, румынским подданным из Бессарабии. Химик. Инженер. Он не хотел возвращаться в Румынию. Зеликман предло-

жила ему Польшу, Белосток, свое кино, свою квартиру. «В Белостоке только сукожные фабрики. На сукожную фабрику я не гожусь. Еще мог бы на ситцевую красителем». — «Поедем в Польшу, — говорила она, — там много всяких фабрик. Прошу тебя, поедем!»

Он любил ее, но не поехал в Польшу. Добился советского гражданства и уехал в Россию. Он звал ее. Она побоялась: Россия была чем-то неопределенным. Они вместе выехали из Парижа и вместе пересекли Польшу. Она провожала его до Столпцев, не веря в его отъезд и все еще надеясь. Поезда ожидали долго. Не все польские вокзалы похожи на вокзал в Столпцах: он низкий, широкий и вместе с тем какой-то воздушный. Он напоминает Скандинавию и Балтику. Он старается внушить, что Польша — морское государство.

Был вечер. Пахло цветами. Они гуляли под руку по широкому перону между цветниками. Справа, на площади, крестьянские телеги, несколько извозчиков, автомобили. Солдаты на поле за вокзалом играли в футбол.

— Какое хорошее место! — говорила она глухим голосом. — Налево — холмы, направо — равнина, и какой воздух!

С равнины веяло угольным дымом, а с холмов — запахом лип, потому что был июль и липа цвела.

Она пожимала его руку. Она надеялась, что он останется. Почему не остаться в Польше, в стране, где есть дом, который будет его домом? Разве можно уезжать от любви? Ведь любовь — самое главное... Она поехала бы с ним... Она поехала бы в конце концов, но она не могла поехать с ним, раз он уезжал от нее.

В меняльной кассе Кацман менял деньги. Долго рассматривал советские кредитки, и она взяла одну кредитку из его рук и увидела белую небольшую бумажку с надписью «Червонец».

— Хочешь шоколаду? — спросил Кацман, когда они проходили мимо автомата Веделя.

Ей хотелось рыдать, но она сказала, что хочет шоколаду. Он опустил в автомат двадцать грошей и подал ей плитку.

Она навсегда запомнила этот день.

Он уехал так просто, как в соседний город: подошел к вагону, вскочил на ступеньки, держался за поручни, улы-

бался. Поезд шел, а он все улыбался и что-то кричал ей.

Вот последний вагон все меньше и меньше, все неопределеннее.

Пошла в местечко ночевать. Чистенькое, пустынное местечко. Новые, ослепительно белые казармы, солдаты на казарменном дворе, говор солдатский из окон. А дальше тихие булыжные улицы...

Отель Канторовича. Почему она одна входит в отель? Где Эммануил? Был — и нету. Никогда она его не увидит, никогда! Был — и нету. Как трудно понять: был — и нету. Но где-то он есть... но не для нее.

Двери в отеле не закрывались. Она обошла все четыре комнаты отеля, никого не встретила, легла на постель и заплакала.

В Белостоке от Кацмана Лия получила несколько писем. Из осторожных строк, рассчитанных на чужой глаз, поняла, что он нашел счастье. Ей стало больно от того, что он нашел счастье, а она несчастна.

Когда она поняла, что он счастлив, она попыталась забыть его. Многие это делают умело и быстро. Она читала Стендаля и других писателей, трактующих о любви. Самый действительный путь для победы — путь вытеснения старой привязанности новой.

Но этот путь оскорблял ее. Как будто она не может быть сама по себе, а нуждается для жизни в каком-то мужском образе!

Если бы Кацман не уехал, Лия жила бы тихой жизнью. Но Кацман уехал, и она могла победить его только чем-то большим. В Париже она изучала языки и рисовала. Преподавание языков не было большим и особенным делом. Рисовать? Да, рисовать! Мелкие акварели висели по стенам ее кабинета: закаты над болотом, над рекой, над лесной поляной, нежные, фиолетовые сумерки, лесные дороги. Дороги, дороги... много дорог. Дорога вызывала в ней тоску, печаль и надежду.

Она рисовала каждый день. Это был ее способ разговаривать о легкости человеческого сердца, о непонятных его законах. Это был ее способ разговаривать с тем миром, который находился вокруг нее, отвечать, возражать, спорить.

В фойе кино, в одном из уголков, она устроила постоянную безыменную выставку. Сюда приносила Зеликман свои

акварели. Они висели месяц-другой, потом заменялись другими.

Акварели нравились. Зрители смотрели на болото, над которым плыл туман. Это была осень. Бледножелтая береза роняла листья. Она уже потеряла их много-много... Вот, Эммануил Кацман, ты уехал, и Лия Зеликман выросла и стала понимать, что в мире много печали.

— Что вам от меня надо? — спросила Зеликман.

Стась не отвечал. Он смотрел в глубину дорожки. Там было полутемно. Каштаны стояли тесно друг к другу и не пропускали сумеречных лучей.

— Боже мой, что это такое? — сказала Лия и пошла по дорожке.

Сейчас же она услышала скрип шагов Стася. Как она ненавидела этого рослого, худого человека!

Почему она не вооружена? Почему она живет в проклятом человеческом государстве, где нельзя убивать? Что иного можно сделать с человеком, который идет за ней по пятам?

На углу улицы Сенкевича Стась задумался. А когда посмотрел на женщину впереди себя как на Зеликман, увидел, что это не Зеликман.

Оглянулся направо, оглянулся налево. Незнакомые женщины шли мимо него, с провожатыми, без провожатых.

Он испытал облегчение: исчезла, убежала. Хорошо! Сначала он не отдавал себе отчета, что значит это чувство облегчения, но потом испугался: обрадоваться своему поражению — ведь это же чудовищно!

Нужно было признаваться и дальше: преследуя Зеликман, он поступал правильно; иначе не мог поступать честный, нелицемерный человек. Но как он ни заглушал чувств, мешавших сосредоточиться на выполнении справедливого долга, — ведь надо же сознаться, — он все время ощущал беспокойство.

Зеликман ушла. Она оправится и с новой силой будет бороться. Она его ненавидит. А он обрадовался тому, что она ускользнула. Ненасправимый, ничтожный человек!

Хотелось есть. Еды было много в магазинах, пиварнях, ресторанах. Стась вздохнул и побрел, опустив голову.

Токарская поставила на стол пирог с рисом, яйцами и капустой.

— Посмотрим, какой пирог! — сказал Токарский, нагибаясь к пирогу и нюхая его.

— Он еще нюхает его! — возмутилась Токарская.

— А ты не давай ему за это ни куска!

— Но, но, пани Козакевич, прошу полегче!

Токарский любил, чтобы в торжественных случаях на столе стояло вино. И сегодня оно стояло под громким названием «хереса», но, в сущности, — паршивая ягодная кислятина.

Он торжественно откупорил бутылку. Пирог дымился на тарелках.

Токарская ревниво следила за первыми кусками пирога, отправляемыми в рот. Козакевичка первая, понимая хозяйское сердце, воскликнула:

— Ну и пирог! Никогда не понимала, как это у тебя выходит!

— Нет, пирог сегодня не совсем удачный, — успокоенно возразила Токарская. — Перепечен!

— Что ты, Марыся! Корка — сплошное золото!

— Нет, перепечен, — расплываясь в довольную улыбку, упрямылась Токарская.

— За нашу хорошую жизнь, которая начинается по причине нашей прибавки! — поднял рюмку Токарский. — Пусть бедность навсегда отлетит от нашего порога!

— Амэн! — закричал Козакевич.

Друзья выпили.

— Пей, пей! — подмигнул Токарский дочери. — Отец благословляет, пей! Когда я вижу Яню рядом с Козакевичем, я вижу, до чего постарел и похудел Козакевич. Старая собака! Неужели и я такая? В каких-то там странах люди к старости толстеют, а в Польше худеют. Моя дочь, конечно, тоже не блещет телом, но девушки могут быть худы: у них розы на щеках и звезды в глазах. Вчера иду по парку... скамейки заняты. Вдруг встает девушка и говорит: «Пожалуйста, садитесь!» А ведь мне всего только пятьдесят лет! Значит, жизнь уже обратила меня в старую собаку. А Козакевичка какой была, такой и осталась: все молодая и все тянет, паршивка, херес! Пани Козакевич, оставьте нам, мужчинам, это удовольствие! Марыся, тащи на-

ливку для гостыи! Тише, тише! Козакевичка хочет сказать слово.

— Наша жизнь уже проходит, — начала Михалина. — Надо сказать, что в ней было много всего. . .

— Кроме одного! — многозначительно прервал муж.

— Положим. А вот пусть жизнь Яни будет полна до краев счастья! Пусть будет в ней и то, и другое, и десятое, но больше всего счастья. И то, о чем ты говоришь, пусть будет, — наклонилась она к мужу.

— Амэн! Пусть будет!

— Чтобы Яня была счастлива и чтобы к осени нашла мужа со шпорами и галунами!

— Уж и к осени! — покачала головой Токарская.

— Ну, и счастья ты ей насулила! — вздохнул Козакевич. — С галунами!

— Вы не понимаете этих вещей, а женское сердце любит блеск.

— Марыся, кусок пирога!

— Военные — хорошо, но уж больно они заносчивые, — заметила Токарская.

— Я вступлю в спор с женой и насчет военных скажу вот что, — начал Козакевич: — Пусть они все провалятся сквозь землю! Я не пожелаю своей крестной дочери в мужья солдата. Что такое солдат, знают все: морда для упражнения офицерских кулаков. А пожелать Яне в мужья офицера, чтобы Яня стала офицершей? Что ты думаешь по этому поводу, Адольф?

— Я вот смотрю на девуку. Сидит она, красная от наших разговоров. И думаю, чего она, в самом деле, красная? Нет ли у ней кого-нибудь на сердце?

Яня смутилась и пожала плечами.

— Просто так, от молодости, — вступилась мать.

— Я согласен с Марысей, — сказал Козакевич. — Яня покраснела от молодости. Так вот, я не пожелаю своей крестной дочери в мужья офицера, офицерскую шкуру, собаку, которая только и ждет, чтобы рвать народ. Скромного какого-нибудь человека, например учителя, пожелаю. Нашего брата, рабочего, тоже не пожелаю — собачья у нас жизнь. Быть дочерью рабочего тяжело, но быть женой рабочего. . .

— Затянул, Павэл, панихиду! Пригласили его выпить на радостях, а он служит заупокойную. Налей ему вишневки, Ма-

рыся! Выпей, Павэл, и проясни свои мысли!

— Мысли мои всегда ясны. Ты хочешь, чтоб я закричал: «Виват, виват — прибавка!»? Пожалуйста, кричу. В самом деле, теперь тебе можно помечтать и о замужестве дочери и о фотоаппарате. Не все же тебе, Адольф, снимать самодельными жестяночками! Но, прокричав все это, должен напомнить, что жизнь наша подводит нас к такому месту, где нас ждет драка не на жизнь, а на смерть.

— Дай ему еще наливки, Марыся!

— Цыц тебе, Адольф!

— Ты нуждаешься в забвении, Козакевич! Даже в самые лучшие минуты ты не забываешь о несчастьях. Это неблагоприятно по отношению к пану богу. Ты всегда всем недоволен.

— В вопросе о благодарности пану богу мы не сговоримся. Действительно, даже в самые свои счастливые минуты я печалюсь, когда вспоминаю, что, быть может, в этот момент мой старый друг Адольф бредет, склонив голову, в костел.

— А я, как вспомню в свою хорошую минуту, сколько ты сил кладешь на профсоюз, мне, честное слово, обедать не хочется. Может быть, в какой-нибудь другой стране профсоюзы и сила, а у нас в Польше — нет. Твой профсоюз бьется, как рыба об лед. В договоре есть пункт об отпусках. Проработал год — восемь дней отпуска. Проработал три года — пятнадцать дней. Кто из нас пользовался отпусками?

— Ты прав, наш профсоюз — малая сила, но все же сила. — Козакевич выпил наливку. — Еще прошу налить. С верхом, с верхом! Не жалейте, Марыся!

— С верхом, только не разлейте! Вот вы, Павэл, всегда подсмеиваетесь над костелом и относительно Езуса. Я даже не знаю, какие у вас мысли. А знаете, что мне рассказывал Кобрик, тот Кобрик, который нам всегда возит картошку?

— Ну что же мог рассказывать Кобрик? Бьюсь об заклад, что о чуде.

— Вы не смейтесь, Павэл, честное слово!

— Да я же не смеюсь, я пью вино.

— Это интересная история, Павэл, ты послушай! — сказал Токарский.

— Уговаривают меня, уговаривают, а я давно весь полон внимания.

— Вот что случилось прошлой осенью с пьяницей Янком, — торжественно на-

чала Токарская. — Янэк возвращался домой из корчмы. Темная ночь. Итти далеко, километров пять. Янэк идет тихо, старается смотреть под ноги, потому что вечером был дождь и везде лужи. И вдруг видит, что он не один... Высокий черный человек рядом. Янэк ничего не сказал, а незнакомец сказал: «Как тебе не стыдно? Ты пьешь, а твои дети голодают, и если ты не бросишь пить, твоя семья пропадет». Янэк хотел сказать: «Что это еще за проповедник?», но не сказал, потому что в эту минуту попал в лужу по колено. Хотел выругаться, но язык отнялся. Он только подумал: «Что это, Езус-Мария, с моим языком? Разве я так пьян?» А спутник продолжал говорить. Он отлично знал все семейные и хозяйственные дела Янка. Янэк удивлялся и слушал... Хага его стояла на краю деревни, на опушке леса. «Дай мне слово, — сказал незнакомец, — что ты больше не возьмешь в рот ни капли спиртного!» И Янэк, который в другое время проклял бы того, кто спросил бы с него такое слово, почувствовал, что хочет его дать. И дал. И, прощаясь, взглянул незнакомцу в лицо. А тут вышла луна. И он увидел, что на него смотрит Езус. Езус, печальный и строгий... Янэк закричал и упал на колени... А когда поднялся — никого не было... И хотя ярко светила луна и по дороге видно было на целый километр, никого не было на той дороге... С тех пор Янэк, первый пьяница повита, не берет в рот не только водки, но и пива. А хозяйство его так пошло в гору, что к нему посмотреть, что у него делается, заходят самые хозяйственные мужики. Вот что бывает, если захочет господь!

Токарская смотрела на Козакевича влажными, блестящими глазами. Козакевич стукнул пустым бокальчиком по столу и вздохнул.

— Что мне с вами делать? Честное слово, я готов поехать и разыскать вашего Янка. Да, впрочем, нечего и разыскивать! И так все ясно: напился человек до белой горячки и не только с Езусом, но и с богом-отцом будет разговаривать. Но до чего у нас скверно живется, если человеку для утешения нужно создавать такие рассказы! Честное слово, мне так грустно стало после вашего рассказа, что я попрошу еще вина.

— Неисправимый ты человек! — вздохнул Токарский.

— Неисправимый, — согласился Козакевич.

Кисленькое вино утоляло жажду. Он налил в стакан воды, подбавил вина, бросил кусок сахара, с жадностью пил этот квас.

Он был тревожен. На фабрике дефензива арестовала несколько человек. Из них одного с поличным — со статьей Ленина. Клубок может разматываться и дальше.

Было поздно, когда Козакевичи поехали.

— Яня, проводи меня! — Козакевич взял Яню под руку, ободряюще пожал ее руку, прижал к себе. — Ну, как твоя холера Перочинский? Не легче стало?

— Станет легче!

— И книжек не удалось почитать?

— Ни одной.

— И ту, что я дал в последний раз, не просматривала?

— И ту не просматривала.

— Плохо. А где они у тебя спрятаны?

— Они хорошо спрятаны.

— Теперь нужно быть особенно осторожной. Не знаю, кто это у нас художествует на фабрике, но есть у меня подозрение на Жуховецкого. Больно любопытный конторщик! Ну, не вешай головы! Идет и голову повесила! Тебе еще можно голову не вешать, у тебя молодость, сила, будущее.

Он смотрел в лицо Яне. Оно было темное, ночное.

По переулку догоняла Козакевичка:

— Куда это вы пошли? Я пошла за вами в ту сторону, а вы побежали в эту.

— Иди спать, Янка! А насчет Перочинского — ей-богу, хочется мне, чтоб ты дала ему когда-нибудь в зубы.

Козакевичи свернули на аллею Костелковского. Было тепло. В самую чашу каштанов залезла луна и сидела там, голая и совершенно земная.

— Какая луна! — сказал Козакевич.

Постояли, посмотрели на луну. Потом сели на скамейку под елями. Большая звезда скользила по крыше дома напротив, и казалось, что это трещина в крыше и что там, под крышей, необычайно светло и весело.

Потом пошли дальше, думая об одном: с какой стороны подойти к дому и кому первому?

Михалина думала, что лучше подойти

к дому с переулка и, конечно, ей. Она не побоится и закричит. Пусть бьют ее, она будет кричать на всю улицу.

Павэл думал, что пускать женщину на такое дело нельзя, потому что бывали случаи, когда женщин избивали до смерти. А уж лучше пойдет он сам и сам крикнет Михалине: «Спасайся, уходи!»

По крайней дорожке вдоль улицы гулял высокий мужчина. Повидимому, человек вышел освежиться перед сном.

Он шел медленнее Козакевичей и несколько раз останавливался.

Трое мужчин показались из боковой аллейки.

Они догнали высокого, поровнялись с ним.

И вдруг Козакевич понял, что они напали на него.

Они наносили ему удары, отпрыгивали и наносили опять.

— Не смей, Павэл! — уцепилась за его руку Михалина.

Она была сильная женщина, и когда Козакевич освобождал одну руку, она хваталась за другую. Она повисла на его шее.

— Разве ты не понимаешь, кто это? Не смей!

Драка кончилась. Высокий мужчина упал. Нападавшие стояли, вытянув головы, и смотрели на него.

Потом пошли назад в темноту, в тишину кустов, не обращая внимания на Козакевичей.

Человек лежал лицом вниз. Козакевич повернул его на спину. Расстегнул жилет, нащупал пульс.

Пиджак разорван, голова в крови.

В это время луна, висевшая на конце ветви, отделилась от ветки и поплыла по воздуху.

Козакевич наклонился к лицу раненого.

— Не ожидал, — забормотал он, — никак не ожидал!

— Нужно в аптеку, Павэл?

— Нужно к нам. Вот уж не ожидал! Беги за извозчиком!

Михалина побежала за извозчиком. Раненый был без сознания. Козакевич снова щупал пульс и прикладывал ухо к груди.

Раненый поминутно сползал с протетки. Михалина держала его под колени, Козакевич обнимал за плечи.

Не доезжая до переулка, остановились. Извозчик уехал, и Козакевич острожно пошел к дому.

Постоял у дверей, потом открыл дверь и переступил порог. Засады в квартире не было, — он спокойно вздохнул.

Раненый тяжел. Козакевич и в молодости не отличался силой, а теперь тем более. Раз двадцать поднимали и опускали тело, прежде чем положили в столовой на диван.

Через полчаса пришел доктор, старый знакомый Козакевича. Осмотрел раненого, спросил:

— Что, его молотом дробили? Уход, уход нужен! В больницу нельзя?

— Нельзя.

В передней Павэл рассказал, как было дело, и показал записку, снятую с пиджака раненого.

— Свои же товарищи, стрельцы. Был такой случай, когда человек этот почувствовал рабочему.

Супруги легли под утро. Уже что-то белесое было за окнами, уже какая-то зябкость тянулась через открытую форточку.

— А может быть, это не он? — усомнилась Михалина.

— Он! Я его узнал сразу. Еще тогда, когда он подрался с Михасем, я решил: «Плохо будет тебе, парень!»

Прислушался. В столовой раздался не то стон, не то вздох. Павэл встал. Он встретился с открытыми глазами раненого.

— Пусть пан лежит спокойно! — проговорил Козакевич, наклоняясь к самому его лицу. — Все в порядке, пан в своем доме.

44

Юзэф раскинулся в спальне на огромной супружеской кровати. Такую кровать потребовала Зося. По рисунку это были две огромные кровати, но, сделанные из одного куска красного дерева, они были все же одной кроватью.

Кровать занимала всю комнату. Небольшой проход оставался около стены к туалету Зоси, к телефонному столику, к столику Юзэфа с блокнотами и книгой для чтения.

Огромное окно смотрело на огромную кровать.

Зося шла по постели к туалету, Юзэф старался поймать ее за ногу. Его раздражало мелькание голых ног. Они казались ему слишком толстыми и вся Зося непристойно большой для женщины.

Когда-то она не казалась ему такой большой.

— Отстань!—сказала Зося. — Отстань! Что ты делаешь?

Она вырвалась и прыгнула на пол.

— Не люблю, когда ты меня хватаешь за ноги.

— Чорт знает что такое: ходишь по полу босиком, а потом лезешь на постель черными подошвами.

— Черными, да здоровыми! Кожа на подошвах должна быть черная.

— Я говорю— мне противно ложиться в постель: точно ложишься в сметник.

— Ты говоришь— тебе противно, а я говорю— мне противно. Мне противно смотреть на твои ноги. Мужчина! У тебя белые ноги, как у слизняка.

— А у меня отвращение к ногам, на которых кожа, как у слона.

— Пожалуйста, не прикасайся ко мне! Я всегда буду ходить босиком. Я и в Париже буду ходить босиком. Я поеду в Париж и буду для твоего удовольствия ходить по улицам босиком.

— Умалишенная!

— Почему умалишенная?

— С тебя может хватить! Натянешь драгоценный шелк на ляжки, а ногами пойдешь тонать голыми.

— А почему у тебя нос голый, а ноги не могут быть голыми?

— Потому что ты дура, если этого не понимаешь.

— А если ты умный, так объясни! Ты был студентом, так вот объясни, почему только умалишенная может пойти босиком? Почему, если руки у меня голые—ничего, если грудь—ничего, если лицо—ничего, а если пятки голые—то я умалишенная?

— Будет! Никаких разговоров о ногах! Пусть холера возьмет твои ноги!

Юзеф вскочил с постели, подхватил папиросы, книгу и скрылся в кабинет.

Диван был прохладен. Он с удовольствием улегся на прохладный диван. Никогда раньше он не предполагал, что такая красивая женщина может вызвать такое отвращение. Если ее поставить монументом где-нибудь на площади, люди будут на нее любоваться, потому что вокруг нее будут город, небо, фабричные трубы и мало ли еще что. Но в комнате она невозможна. «Слон, — подумал он с отвращением, — слон, животное!»

Он подумал о том, что есть маленькие, тоненькие женщины, которые прямо об-

виваются в постели вокруг мужчины. Он подумал, что это и есть настоящее счастье.

Развернул книгу и стал искать в ней описание тонких, стройных женщин. Но как назло, целомудренный автор описывал только природу.

Дверь растворилась. Вошла Зося в рубашке.

— Ты еще не спишь?

— Ну, чего тебе надо? Я хочу спать. Довольно с меня семейных сцен!

— Пожалуйста, спи, с моей стороны нет никаких поползновений. — Голос ее звучал злорадно и торжественно. — Только что звонил по телефону Храп. По его словам, все складывается для нас плохо. Завтра ты во что бы то ни стало должен повидать Вагмана. Он от тебя скрывается — хорошо. Поймай его утром у домашнего подъезда.

— Чтобы я ловил этого паскудника у домашнего подъезда?

— Ты его поймаешь у домашнего подъезда!—внушительно сказала Зося.— Перестань сыпать на меня искрами из глаз! Переговори с Вагманом и выясни все!

Юзеф хмуро уставился в книгу. Он не замечал жены, он читал книгу.

45

Утром Юзеф дежурил у дома Вагмана. Он забыл то время, когда он дежурил подобным образом, и теперь чувствовал унижение и злость.

Утренние бодрые прохожие спешили по улице. У тоненькой брюнетки расстегнулась подвязка. Она зашла в уголок к водосточной трубе, подняла юбку. Это понравилось Юзефу. Нога была точно из алебастра.

Женщина поправила подвязку, оглянулась на Юзефа и пошла дальше. И в эту минуту к подъезду подкатила машина Вагмана.

Юзеф прынул за угол.

От дверей до машины Вагман должен был пройти восемь шагов. Когда он оказался в дверях, Юзеф выскочил из-за угла и, чтобы помешать Вагману улизнуть, закричал:

— Какая счастливая встреча, пане Вагман!

— Приятная, приятная! — Вагман приподнял шляпу.

— Так давно не виделись!

— Да, очень давно.
— Все загружены делами?
— Предельно.
— Я, с разрешения пана, подсяду.
У меня несколько слов для разговора.
И, не ожидая приглашения, Юзэф уселся в автомобиль.
— Что ж это такое? — сказал он, когда машина, выехав из переуллка, мягко зашуршала по крупному булыжнику. — Что ж это такое? Сокол живет себе да поживает!

— Живучий человек!
— То есть как живучий? Было решение нашей организации — прервать его живучесть. Спрошу прямо: это вы разрешили ему ночью вывозить тряпку?

— Не так волнуйтесь, не так волнуйтесь!
— Я не волнуюсь. Еще раз спрашиваю прямо: это вы разрешили ему вывозить тряпку?

— Отвечу прямо: я.
— Так, превосходно! Теперь я понимаю.

Несмотря на то, что Юзэф ожидал такого ответа и заявил, что понимает, он растерялся и на минуту перестал что-либо понимать.

— Сумма политических событий, — осторожно заметил Вагман. — Вы не читали последнего письма Дукельского? Письмо это такого порядка... оно при мне... Вот прошу!

Юзэф прочел письмо. Лидер сообщал, что события приобретают очень ответственный характер, и поэтому антиеврейское движение, вопреки первоначальным предположениям, должно быть не увеличено, а ограничено. Богатые, мощные евреи должны считаться как бы поляками. («Позор!» — прошептал Юзэф.) Богатые евреи входят в защитную сень так называемой польской промышленности. Они выросли на польской земле, разбогатели благодаря польской крови, их уместно считать в лоне польской промышленности и даже отчасти польского народа. («Ты же все эти доводы раньше приводил как раз для того, чтобы искоренить евреев!») До поры до времени рекомендуется ограничивать и отчасти искоренять среднее и низшее по зажиточности еврейское население. Это, как известно, рассадник коммунизма и ненависти к Польше.

— Ну, знаете, — сказал Юзэф, чувствуя, что он перестает что-либо сообщать,

что воздух входит в его грудь точно песок и весь он, Юзэф, делается мокрым и противным. — Это что же такое? Это наша польская партия стрелцов-христиан? Да позвольте, а затраты? Известно вам, чорт возьми, сколько я затратил? Разве я могу это допустить? Вы же мне советовали сами!

— Политика есть политика.

— К дьяволу! Я не позволю. Я его застрелю, как кошку. Я никому не позволю. А вы втихомолку, ничего мне не говоря, поддерживали Сокола? Пристойное дело для поляка и руководителя христианской организации! За это знаете что? За это бьют морду.

— Но, но! — крикнул Вагман.

Машина остановилась. Трясущийся Юзэф вылез из машины. В боковое окно он увидел профиль уносившегося Вагмана. Снял кепку и смял ее. Толкнул прохожего.

«Я покажу тебе! Скрывался от меня... Я покажу тебе!»

Домой пошел пешком. Остановился на мосту над железной дорогой. Ветер обдавал его крепким запахом угольного дыма. Свистели паровозы. Облака неслись чорт знает откуда и чорт знает куда.

Он не хотел проходить мимо старой аптеки Бучиньского, напоминавшей о стрелецких делах, и перешел на другую сторону улицы.

Там не было тротуара. Черная земля была мягка от дождя, который выпал неизвестно когда.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

46

Яня, исключенная из гимназии, поступила в магазин эмалированной посуды Перочинского.

Она не заметила, как возненавидела хозяина, тридцатилетнего красивого мужчину.

Он придирался к ней по всякому поводу. Когда она входила в магазин, он смотрел на пол и говорил:

— Плохо вытерла ноги. Сколько раз просил не носить сметья!

Она топила печь, и хозяин смотрел, как она топила печь.

У нее дрожали руки от ненависти, и движения становились неловкими, как во сне.

— Сколько раз говорил: ставь подносик! Я не хочу, чтобы прогорели листы. Это чистая медь.

— Они не прогорят. Подносик занят деревянным углем.

— А это что на полу?

На пол падал уголек и потухал. Хозяин отталкивал Яню от печки, отбрасывал носком ботинка черный уголек, потом заглядывал в печной зев.

По его мнению, уголь лежал плохо. Так не гореть будет уголь, а тлеть. Он заставлял ее тушить огонь и перекаладывать уголь.

Он брал ее руки и рассматривал.

— Ты будешь цапать этими лапами мою посуду и предлагать покупателю?

Яне было двадцать лет. Она стремилась к хорошему и нежному в жизни. К большому человеческому счастью. Но чувствовала, что больше всего хочет гибели Перочинского.

Она мечтала поджечь лавку, ударить хозяина по голове стулом. Мечтала подсыпать яд его жене и детям, потому что его жена и его дети были еще противнее его.

Дочка колола Яню булавкой, сын обливал ее водой. Он вытащил у нее из сумки любимое зеркальце, отбежал в угол и на ее глазах раздавил каблуком.

Возвращаясь по вечерам домой, Яня плакала. От обиды, усталости, от того, что не могла понять, откуда такие люди.

Собственность создавала таких людей, жажда наживы. Она это знала, но иногда ум отказывался понимать.

Как медленно в Польше подвигается дело революции! Неужели придется жизнь прожить, а страной все будут управлять Перочинские?

Что она, Яня, делала для революции? Совсем мало. Главным образом читала книги, которые давал ей Козакевич. Правда, кроме этого она выступала в Кружке вольных мыслителей с рефератами и докладами. Но как всего этого мало! Можно всю жизнь выступать с докладами, и всю жизнь страну будет сковывать рабство.

В последнее время появилось приятное: Станислав... Стась...

На днях она встретила его недалеко от дома, отправляясь в магазин. Он шел медленно с тростью. Яня обогнала его и поклонилась ему.

— Жестокая Яня, — сказал Стась, — не торопитесь!

— Вы еще не забыли, что я жестокая? Но я тороплюсь, тороплюсь.

— Нечего торопиться к пауку! К пауку можно торопиться только для того, чтобы раздавить его.

— Мне не раздавить такого большого паука.

Она смотрела на него искоса. Она обрадовалась самой настоящей радостью, увидев его.

«Что это такое? Неужели? Не может быть! Разве это бывает так? Именно так и бывает, так и приходит».

Вечером Роза сказала:

— Я тебе скажу: он в тебя влюблен. Иначе он не подждал бы тебя у дома.

— Он не подждал.

— А почему ты покраснела?

— Я покраснела? Я не покраснела.

— Яня, как тебе не стыдно?

— Ну хорошо, покраснела! Но никакой любви тут нет. Он несчастный.

— Хорошо, хорошо, — сказала Роза, — он несчастный, а ты, я вижу, счастлива.

В самом деле, Яне было приятно вспоминать о Стасе. Она думала о нем и о любви. О любви она думала, что любовь так тонка и так нежна, что каждую минуту может стать трагедией. Но она не считала любовь существующей только ради любви. Любовь в ее представлении сливалась с революцией, с борьбой за освобождение людей, может быть, даже со смертью за это освобождение.

Может быть, она его любит? Нет, ни в коем случае не любит. Просто он ей нравится.

И сегодня, в самую скверную минуту, когда Перочинский опять закричал: «Покажи свои паскудные лапы», она вспомнила не только о будущей революции, но и о Стасе, и ей сразу стало легче. Даже совсем легко: кричи себе сколько хочешь!

Возможно, завтра утром она опять встретит его. Возможно, и сегодня на обратном пути. Он спросил, в котором часу сегодня она возвращается. Кричи себе сколько хочешь!

— У меня чистые руки, прошэ пана. Я не знаю, чего вы от меня хотите.

Хозяйский мальчишка плясал перед ней. Он только что кончил есть кашу. В руках его была ложка. Мальчишка плясал и перед Яниным носом махал ложкой.

Яня перетирала посуду.

— Отстань! — попросила она.

— Тра-ля-ля! — пел мальчишка, смотря на нее черными блестящими глазами. Он весь извивался. Руки, ноги, живот — все у него точно существовало отдельно, все извивалось, летало и направлялось к Яне.

За фанерной перегородкой Перочинская проверяла счета.

— Отстань! — повторила Яня.

Мальчишка не унимался. Лицо его выражало полное торжество: за перегородкой сидела мать — его защита. Он ударил Яню ложкой в нос. Тут же он хотел отпрянуть, но не успел, и на него обрушились, одна за другой, четыре пощечины. Он неистово заревел от боли и страха.

Яня, ничего не соображая, роняла посуду, вытирала ее и снова роняла. Руки тряслись, губы тоже.

Впервые она не сдержалась. Но довольно, она больше не хочет! Она думала о Стасе, и вдруг мальчишка ударил ее ложкой в нос... Нельзя же так, есть же святое у людей!

Мальчишка рыдал на груди у матери. Зловеще-спокойным голосом Перочинская расспрашивала его.

Хозяин вырос за плечами жены. Он тоже расспрашивал сына и утешал его.

Потом он вышел на середину комнаты, стал на ящик и, не торопясь, закатал рукава рубашки.

— Ты моего сына!.. — сказал он.

Яня увидела, как у него лезут на лоб глаза. Забыв все, она стала оправдываться. Оправдываясь, она говорила так быстро, как никогда в жизни. Она старалась перекричать хозяина, хозяйку и мальчишку.

Но Перочинский не слушал. Он поднял руки, крикнул жене: «Фаня, отойди!» — и бросился на Яню.

Она упала бы, но он схватил ее за голову и удержал. Он хватал ее за волосы, за уши, за нос. Он мял ее щеки, губы, стараясь достать язык.

Она разжала рот и укусила его.

Тогда он ударил ее в грудь, в спину, в живот. Разорвал на ней блузку.

Потом он пил воду и лежал на диванчике. Жена ухаживала за ним. Мальчишка ни на шаг не отходил от матери.

Обезумев, Яня стояла в углу, ухватив доску. Она не знала, что ей делать. Что она может сделать? Рассказать Стасю? Пусть он отомстит! Она мысленно, удерживая рыдания, стала рассказывать ему.

Она представила себе, как он входит в магазин и говорит хозяину:

— Дайте кастрюльку!

А потом спрашивает:

— Это вы избили Яню Токарскую? Ну? — повышает он голос и берет поудобнее трость.

Но разве можно ему рассказать об этом? Ему станет противно, когда он узнает, как ее били. Ивановский бил, тут били. Ему противно будет смотреть на нее.

Вышла на двор, за уголок сарая, и, вынув зеркальце, осмотрела себя. Ужасно избита! Ссадины, синяки не сойдут и через полмесяца! А блузка... ее белая блузка!

Облизала распухшие губы.

Перочинский показался на крыльце. Он смотрел вверх крыши сарая на облако. Но, конечно, он смотрел не на облако, а на то, что делает Яня. Мало ли что она может наделать? Например, поджечь сарай или повеситься.

Увидел зеркальце в руках Яни и успокоился.

— Эти девки, — сказал он жене, — такие холуйки! Их надо бить каждый день.

— Янка, иди работать! — крикнула Перочинская. — Быть может, ты недоволен службой и попросишь расчет? Пожалуйста, уходи! Сегодня ко мне приходили наниматься три приличные барышни. Одна приехала к родителям из Варшавы... Теперь, знаешь, не такое время, чтобы держать у себя холуек. Если хочешь оставаться у меня, будешь получать десять золотых. Пятнадцать золотых холуйке я не буду платить.

— Проще пани, у нас же контракт! Я нанималась за пятнадцать золотых.

— Я тебе повторяю еще раз: сегодня ко мне приходила приезжая из Варшавы. Она готова работать за пятнадцать золотых. Если она готова работать за пятнадцать, не могу же я тебе платить тоже пятнадцать!

Фани Перочинская светловолоса и бела лицом. При ходьбе наклоняет голову и смотрит на прохожих грустным, скользящим взглядом. Если ее сопровождает сын, грустное выражение сменяется благоговейным, материнским. Мужчины на нее смотрят с удовольствием.

— Проще пани, я работаю с утра до вечера... Я для всего... Я таскаю ящи-

ки, убираю магазин, бегаю к вам на квартиру стирать белье...

— А ты хотела бы ничего не делать, стоять рядом с паном и чтобы он угощал тебя шоколадом от Веделя? Полчаса ты рассматриваешь в зеркало свое лицо, а блузка на тебе как была разорвана, так и осталась разорвана. Ты думаешь ходить так перед моим мужем, с голой грудью.

— Что вы ко мне привязались? — пробормотала Яня, бледнея от ненависти.

Придерживая разорванную блузку, она прошла в сарай, села на ящик и принялась зашивать. Полоса света проскальзывала между дверями и освещала черную сырую землю сарая, опилки, солому, Янину ногу. У лодыжки от удара хозяйского каблука нога вспухла. Яня слышала, как чирикали воробьи на крыше. За забором, на дворе, работал каретник. Он стучал молотком по железу, и звук был хотя и пронзительный, но чистый.

«Десять золотых в месяц! Она хуже рабы. Рабу все-таки берегут. И уж, конечно, раба стоила бы хозяевам дороже десяти золотых в месяц».

Она сообщила Стасю, что возвращается домой к семи часам. Наверно Стась будет поджидать ее. Но она не может с ним встретиться. Глаза опухли, губа вздулась... Хотелось плакать.

Она задержалась в магазине до девяти. Осторожно вышла за ворота и огляделась. Стась не мог ждать ее до девяти, но ей было страшно — а вдруг ждет?

Светили фонари. Светились окна, она пошла переулком, узким, без тротуаров, со сточной канавой посредине.

Канавка воняла. Дома стояли к переулку спиной. Сюда открывались маленькие черные двери, из труб стекали нечистоты. Поминутно то там, то здесь раздавался звук струи.

Она не любила эти переулки, но сейчас поворачивала из одного в другой, боясь встретить Стася.

Конечно, он не мог ждать столько времени. Да вернее всего он и не приходил. «Зачем он будет приходить ко мне, ну зачем?»

Сейчас она ясно видела, что ему незачем приходить к ней. И стало так грустно, точно ее постигло несчастье. Но тут же она вспомнила первую встречу, свои руки, полные красных яблок...

У самого денег нет, а угощал ее щедро, ласково, весело...

— Мой Станислав,—проговорила она,— Стась!

47

Стась узнал об окончательном крушении на следующий день. Юзэф лежал на диване и курил.

Он похудел за этот день. Он нисколько не напоминал того сияющего человека, который встретил Стася в Варшаве.

— Узнаю судьбу! — сказал Стась.

Через комнату прошла Зося босиком и вышла во двор. Она скликала голубей и разбрасывала крупу. Стась слышал хлопанье голубиных крыльев, легкий шорох крупы о сухую землю.

— Ей — ничего, — сказал Юзэф. — Ходит босиком и кормит голубей. Мне кажется, что если бы ты действовал решительнее, мы скрутили бы Сокола.

— Вспомни о Вагмане: он предал нас, прежде чем мы начали действовать!

Юзэф курил. Стась не курил и сидел, вытянув ноги; настроение у него было самое скверное. Опять он стоял голый и голодный перед жизнью.

Зося забавлялась с голубями. Босая, на сверкающем солнечном дворе она протягивала к птицам руки.

«Все-таки красива, чорт возьми!» — подумал Стась.

Две отвоеванные поляками колбасные закрылись.

С аптекой Моргулиса дело обстояло тоже плохо. У Бучиньского не оказалось кредита. То есть кредит у него был, но у еврейских фирм, а теперь еврейские фирмы объявили ему бойкот.

В аптеке товары и медикаменты иссякли. В свое время Бобровский взял из аптечной кассы довольно приличную сумму, потому что хотел приобрести велосипед, кроме того набор костюмов, кроме того немного денег на всякий случай, про запас. Бучиньский с ним поссорился, ссора чуть не перешла в драку. В общем, наличных сумм в аптеке больше не имелось. А будь наличные, можно было бы обернуться. Банк ссуды не давал. То ли не верил в коммерческие способности новых хозяев аптеки, то ли кое-кто хотел взятки.

Стась зашел к Бобровскому. Бобровский сидел в кассе пасмурный и показал выручку: два злотых.

— Никак не думал, что в результате всего будет два злотых, — задумчиво сказал он.

Касса едва вмещала богатыря Бобровского. Он смотрел на Стася серыми глупыми глазами и тосковал. В аптеке было пусто, Бучинский скрывался в задней комнате.

— Пойду в пивную, — решил Бобровский, забирая два злотых и запирая кассу. — Пойдем со мной!

— Нет, сегодня я не пойду в пивную.

Не хотелось ничего резкого, грубого, шумного. Он вдруг как-то устал, точно от этой последней неудачи почувствовал груз всех прежних неудач. Выйти бы за город и пойти по тропе... Может быть, в лес, может быть, к какому-нибудь дому, но чтобы ожидал там близкий, родной человек. Чтобы, ничего не спрашивая, взял и обнял Стася.

Лучше всего, если бы это был отец, никогда не виданный, самый близкий из людей.

То, что о нем испуганно и скороговоркой говорила мать в давние встречи с сыном, создало в Стасе уверенность, что отец был героический человек.

В минуту тоски Стась воображал дом отца. Запыленный Стась входит в дом.

— Это я, отец! Знаешь, что было? Знаешь, что делается в мире?

Отец выносит столик под старую липу, и вот под липой завтрак.

Отец такой, как на карточке, вдохновенный и немного грустный. Они едят вдвоем в саду. Они лежат вдвоем в траве. Они идут в поле посмотреть пшеницу. Трава у тропы высока. Мир живет, полный зноя, ветровой свежести и своей собственной мудрости.

И Стась, и отец, и ветер, и пшеница — все знают друг друга и о жизни знают что-то большое, которое даже не нужно высказывать словом, такое оно ясное. Но, впрочем, его и нельзя высказать словом, потому что знание это, в сущности, не знание, а скорее предчувствие или воспоминание.

У Стася отняли отца.

Кто это сделал?

Несколько лет назад, страшно тоскуя по отце, он искал его. Искал людей, которые его знали. Можно ли сказать с уверенностью, что отец умер?

Мать говорила, что он умер. Но мать могла так говорить потому, что он умер для нее: ведь она жена другого!

Как-то в Варшаве Стась целую неделю не ел, не пил и скопил деньги на адвоката. Адвокат мало ему помог. Однако сказал, что следовательно, ведавший подобными делами, жил в последнее время на отдыхе в Радине.

Стась поехал в Радин. Это было трудное предприятие. Несколькими станциями он проехал в поезде, потом шел пешком.

В самый Радин въехал в крестьянской телеге.

Крестьянин, везший его, направлялся на базар. Рядом с ним сидела его жена, повязанная большим серым платком. За ними лежали лукошки с яйцами и круглые головки масла в лопуховых листьях. А дальше вскрикивали от толчков петухи. Рядом с петухами сидел Стась. К гордому тянулось шоссе, ровное, звонкое, с кучами ремонтного щебня по краям, с черными крестами у проселков, с каменным изваянием панны Марьи при въезде в город.

При въезде в город Стась увидел дом зажиточного подпанка. И сразу же у дома начиналась высокая кирпичная стена. За ней шумел парк помещика, которому некогда принадлежал городок. Теперь помещик разорился; у него остались за городом луга, а в городе парк и замок.

Телега звенела под стеной. А стена все шла, высокая, ровная, и за ней была своя жизнь — деревьев, птиц, ручьев и какого-то маленького сообщества людей.

Справа мелькали домики в садиках и огородах. Из-за заборов лаяли псы, кричала домашняя птица, из кустов сирени и жасмина вырывались воробьи, всегда возбужденные по утрам. Босоногие женщины в ситцевых платьях бежали к колодцам. Скрипели колодезные журавли. Большое стадо коров с мычаньем двигалось навстречу телеге.

В деревьях парка сквозило солнце, и парк ложился узором теней на шоссе. И пыль была еще влажна от росы. И это была жизнь, и все было хорошо, и вместе с тем все было невозможно грустно.

Стась вылез из телеги.

В городе он узнал, что следовательно умер, оставив вдову. Вдова жила в замке. Помещик, оказывается, разорился и сдавал свой замок горожанам под квартиры.

Замок был велик и простоял, повидимому, добрых два века. Стась прошел по широкому двору, заросшему травой. Солнце уже плыло над ним, по молодой траве разгуливали утки, маленькие окна замка отражали небо. Босоногий мальчишка с кнутом в руке провел Стася к квартире следователя.

Вдова встретила гостя. Стась назвался журналистом, пишущим книгу о деятелях юстиции.

Когда вдова узнала, что из Варшавы приехал специальный человек расспросить о ее муже, она растерялась. Она не думала, что ее муж такой значительный деятель.

Следователь умер в прошлом году. Год назад Стась мог получить нить к судьбе отца!

— Записные книжки, тетради, дневники вашего мужа?

Стась видел по лицу женщины, что многое было уничтожено в хозяйстве: то на растопку, то на обертку.

— Дайте мне время все разобрать и привести в порядок!

На полках кабинета стояли книги — русские, немецкие, французские. Следователь был образованным человеком. Вдова стала рассказывать о его образе жизни. Оказывается, он был горбуном. Вот его портрет. Стась увидел длиннолицего, как все горбуны, человека. Из особенностей его характера: он не ел по утрам. Он любил русскую поговорку, которую произносил по-своему: «сытое брюхо к работе глухо». Ему посылались обильный завтрак в камеру. Действительно, он работал много, особенно в эпоху политических репрессий. Он всегда думал, что на нем многое в Польше держится.

Был час еды. В кабинет подали завтрак. Вдова накормила гостя котлетами и пирожками. Несмотря на грусть, Стась наелся.

— Вам придется прожить у нас несколько дней, — сказала вдова. — Но в городке у нас жизнь не варшавская, поэтому я буду просить вас расположиться в этом кабинете. И день и два и пять... сколько потребуется для вашей статьи.

Вдова разбиралась в уцелевших бумагах мужа. Каждый день она сообщала Стасю что-нибудь новое из жизни следователя. То, что не касалось семейных дел, она разрешала ему читать.

Ничего, что хотя бы отдаленно отно-

силось к отцу! Стась потерял надежду и просто жил у вдовы, не торопясь никуда, потому что это была лучшая жизнь, которая когда-либо доставалась ему на долю. Он читал в кабинете и парке. Парк был целым лесом. За ним давно никто не присматривал. Туда забегали зайцы. Вдова уверяла, что там водятся лисы.

Стась чувствовал себя хозяином жизни. Он ел столько, сколько едят нормальные люди, он никуда не торопился, он спокойно подходил к полкам, брал одну книгу, другую, думал, и мысли в эти минуты приходили такие, что хотя в них не заключалось ничего определенного, но в них ощущалась приятная глубина.

И вдруг в маленькой тетради он нашел запись. Следователь перечислил несколько имен. Там числилась и его собственная фамилия, фамилия его отца. И число. Очевидно, дата допросов. Больше ничего.

Страшное волнение охватило Стася. Он списал всю страницу, изучил всю тетрадь. Остальное были мало говорящие записи служебные и домашние заметки, расходы и тому подобное.

Вот и все, что он нашел в Радине: несколько букв в книжке незнакомого человека, составляющих родное имя.

В грустные минуты он особенно чувствовал свое одиночество. В грустные минуты ему казалось, что и последняя его жизненная теория — необходимость лгать, покорять, насиловать — тоже неверная теория. Но тогда что же верно? Тогда что же представляет собой этот мир?

В грустные минуты он чувствовал, что любит мир со всем его невозможным смешением доброго и недоброго, что он ничего не знает, во всяком случае гораздо меньше, чем кто-либо из людей прошлых поколений, убежденных хотя бы в существовании высокого человеческого достоинства.

Он не знает и этого и, тем не менее, любит. И от этой любви только безнадежно-грустно...

Расставшись с Бобровским, который со своими двумя золотыми направился в пивную, Стась зашел в фотомагазин и взял напрокат кодачок. День был такой ясности, прозрачности и так богат светом, что ни о чем ином кроме него не хотелось думать.

В парке сверкали серебряные елки.

Садовник ходил по дорожкам, по траве и украшал по-своему природу.

Стась снял два городских костела. Они возвышались над домами, вокруг них был воздух, бесконечность... Потом снял нищего на паперти. Подумал, не пойти ли к Юзефу и не снять ли Зося? Ему захотелось снять ее на дворе, с голубями. Чувство, которое поднялось в нем тогда, когда она кормила его внимательно и весело, как влюбленная, чувство тайной связи и чего-то между ними возможного оставалось у него. Но именно поэтому он и не пошел.

Яблоня цвела.

Ее хотелось снять так, чтобы получилась она вся, пышная и сияющая, точно это была не она, а облако, которое зацепилось за нее.

Стась снял яблоню.

Все на земле было молодо. Молодой воробей прыгал по дорожке. Молодая собака погналась за ним. Молодая старуха испуганно закричала на собаку, подняв палку. И испуг ее был молод, и вся она сверкала в своем скверном, дражном старушечьем платье.

На опушке рощи стояла ослепительная от молодости хата с черной, гнилой соломой крыши и косою от дряхлости стеной. Большое облако, опираясь грудью на холм, силилось подняться в небо. Оно было так грузно, что трудно было поверить, что оно может подняться.

За железнодорожным полотном квакали лягушки. Колея шла на восток, и колея шла на запад. Рядом с ней шагали телеграфные столбы. За полотном тянулись болотистые луга.

Стась присел на краю болота. Белокурая девушка разгуливала по кочкам, проваливалась в болото чуть не по колени; у этой белокурой девушки кожа смуглая, как у степнячки, в руках туфли, чулки и целая охапка желтых лилий. Стась лег на косогор и не спускал с нее глаз.

Ему хотелось думать, что это ходит его девушка, его невеста, может быть, его жена. И когда он понимал, что этого не может быть, потому что жена требует дома, жена не может жить нигде, скитаясь из города в город и голодая, он чувствовал, что грусть и сожаление сменяются в нем прежней злобой.

Когда белокурая девушка подошла ближе, она оказалась синеглазой. Из-за соседнего куста, не замеченная Стасем,

поднялась вторая. Потянулась и прищурилась. Посмотрела на Стася, и от улыбки у нее вздрогнули ресницы.

Белокурая закричала:

— Вот сколько я собрала!

Бросила на косогор цветы и стала оправлять волосы.

У второй было широкое, сковородочное лицо, косые монгольские глаза, рыжие волосы. Она была толстая и здоровая. Смеясь, она широко раскрывала рот. Вообще она была уродлива, но рядом с белокурой, на берегу зеленого болота, над копной лилий, уродство ее не казалось уродством, а тоже красотой.

Все в этот день было полноценно и хорошо. А вот Стась не мог принять во всем этом никакого участия!

48

Постель Петра стояла между окнами. По тихой улице изредка проезжали телеги, и стекла вздрагивали и мелодично звенели.

Михалина двигалась бесшумно, мало разговаривала, осторожно на кухне стучала посудой, конфорками. Возвратившись домой, Козакевич прежде всего спрашивал:

— Ну как?

Петр отвечал:

— Ничего.

Михалина добавляла:

— Здровеет с каждым часом.

Так шел день за днем...

Ел Петр хорошо. Даже нельзя представить себе: ел куриные супы и молодых куриц, котлетки из рыбы и тонко нарезанную, зажаренную в масле картошку. Потом стал есть красные прозрачные борщи.

— Не знаю, как мне все это есть, — говорил он. — Я ем все ваше богатство, а ведь у меня не предвидится ни золотого.

— Не знает, как есть! — острила Михалина. — Надо есть попросту зубами. Мой муж думает так: «Курица — меньшее богатство, чем человек». Выздоравливайте скорее!

Козакевич после обеда читал газету. Интересные места читал вслух, так что Петр узнавал новости.

Целыми днями он думал, что же ему делать после того, как он встанет на ноги?

Выйдет он из этого дома, посмотрит направо, посмотрит налево... А дальше что?

За это время к Козакевичам заходила из посторонних только молодая девушка Яня, которую Михалина называла «наша крестница». Яня приносила лекарства, бинты, меняла повязки на голове Петра.

Она тоже тихо ходила по комнате и тоже мало говорила. А если и говорила, то самые маленькие и простые вещи, больше всего о природе.

— Ночью прошел дождь, знаете, пане Петр, такой крупный!

— Знаете, пане Петр, когда я шла к вам, такое было хорошее утреннее солнце, что я подумала: «А когда же вы выйдете на солнце?»

Петру хотелось сказать: «А зачем мне выходить на солнце? Мне нечего делать с солнцем», но он не говорил. В словах Яни была такая уверенность в том, что ему нужно выйти на солнце, что ему тоже начинало казаться, что солнце светит и для него.

Наконец он мог уже сидеть, а через неделю спустил ноги с постели и прошлся по комнате.

В эту субботу Козакевич принес закуску и объявил:

— Сегодня будет отпраздновано выздоровление.

Петр вздохнул:

— Пожалуй не стоит праздновать!

Козакевич усмехнулся:

— Очень стоит праздновать.

— Нет, пане Козакевич, не стоит... Вы послушайте, какая у нас жизнь!

Петр рассказывал. Козакевич кивал головой, Михалина подкладывала Петру то селедки, то раков, то колбасы. Он ел, но от горечи рассказа пища казалась безвкусной.

— ...И вот выйду я из вашего дома и посмотрю направо и посмотрю налево. А куда мне пойти? Есть ли такой человек на земле, который может мне посоветовать? У меня был здесь близкий человек, тот самый...

— Знаю! — перебил Козакевич. — Вы чуть не отправились, как говорится, на тот свет, а чьих рук это дело? Я буду с вами откровенен, как с мужчиной. Это дело рук того самого вашего близкого человека.

— Что вы такое рассказываете! — пробормотал Петр. — Не может быть!

— Может или не может, а в записке, которую я своими руками снял с вашего пиджака, сказано, что вас судит суд стрелцов. Это грустно для вас, но не

нужно жить иллюзиями. Вот записка. Конечно, грустно! Но что поделаешь... это такие люди.

Петр читал и перечитывал записку. Стрельцы осудили его за защиту красного. Стрельцы... Стась!

Опустил голову на руки.

— Зачем было говорить? — прошептала Михалина. — Человек только встал на ноги...

— Правда тяжела, но ее надо знать, Михалина!

Козакевич заговорил о политических партиях и о том, что представляют собой стрельцы. Подобные люди не имеют ничего святого... А что касается Стася, так десять лет назад Стась мог быть одних взглядов, а теперь других... Да и какие взгляды могли быть у мальчишки? Ведь десять лет назад Стась был мальчишкой.

— А насчет вашего раздумья, куда итти, я скажу: и нам и вам по одной дороге.

Козакевич нагнулся к Петру и говорил о невозможности для людей переносить существующий порядок и о том, что для честных есть только один путь — путь борьбы за человеческую правду.

— Тсс... кто-то идет! — предупредила Михалина.

Пришла Яня. Она принесла на своем платье острый запах вечера, и на минуту могло показаться, что в мире очень спокойно и хорошо. Яня подседа к столу, и Михалина спросила, будет ли она сначала пить чай или есть. Яня ответила, что она так устала, что не хочет ни есть, ни пить. Всю лавку Перочинских обмыла и к ним еще на дом ходила и мыла.

Она поздоровалась с Петром, пожав ему руку. Рука теплая, пожатие едва заметное, но дружеское.

— Пан Петр уже совсем здоров!

— Не называйте его паном, — сказал Козакевич.

— Мы же по-польски говорим, — заметила Михалина. — Как же иначе говорить?

— Мы по-польски тоже умеем иначе говорить, — улынулся Козакевич. — Мы умеем говорить: «товажиш». Нравится это слово?

— Так. Это мое слово, — торжественно сказал Петр. — Прошу товарищей называть меня так.

Козакевич протянул свою руку через стол.

Петр встал, пожал ее так, что Козакевич охнул.

— Имеем еще одного товарища,— сказала Михалина. — За счастье людей!

Она налила всем кисленького ягодного.

За этим столом Петр впервые узнал счастье. Оно немного напоминало то чувство, которое он испытывал в хате Ефима во время ночного слушанья Москвы. Но в том чувстве была тоска. Человек слушал, понимал, что он человек, а выходил из хаты и не знал, что ему делать. А здесь за столом сидели люди, которые знали, что делать. Мало того, они были уверены в победе.

— Мы никогда не сдадимся,— говорил Павел. — Нас уничтожат, но нас не делается меньше. Ты что-нибудь слышал о Бруно?

— Не слышал.

— Он связан был с вашими краями... Там работала группа, человек десять... Они делали все, что нужно в таких случаях: разносили литературу, организовывали стачки против помещиков, фабрикантов, налоговосбирателей... И главное — просвещали людей... Их арестовали, но обвинить не могли; были косвенные улики, прямых — ни одной. Тогда решили выпустить провокатора, мелкого чиновника повитового управления. Об этом узнал Бруно. В день процесса Бруно пробрался в суд. Надо сказать, что это не так просто — пробраться в суд. Но он пробрался, потому что был не только умный, но и могучий человек. Кого-то подкупил, где-то открыл дверь, которая никогда не открывалась, проники через какую-то крышу и какой-то переходик. Он прошел среди избранной публики и сел. Он видел товарищей под стражей. Они его не видели, они смотрели в окно, где среди голубого неба торчали красные скаты крыши и две красные дымовые трубы. Они не смотрели на публику, потому что в публике не было тех людей, ради которых они умирали. Но они еще не думали умирать: ведь нельзя было доказать, что преступление делали именно они. Судебное разбирательство зашло в тупик. Но в тот момент, когда адвокат уже торжествовал, прокурор сказал адвокату: «Вы требуете свидетеля? Хорошо, этот свидетель есть». Перед судом появился провокатор. Начался предварительный опрос: кто он, где служит и тому подобное. И тогда по залу, сначала вдоль стены, а потом и по про-

ходу, пошел Бруно. Он был хорошо одет, думали — идет вельможный человек в первые ряды. Судья мельком взглянул на него и занялся своим делом. Но вот, миновав ряды, Бруно направился к суду. Лицо его было таково, что председатель вскочил и схватился за стол. Провокатор повернулся к Бруно и онемел. И тут тремя выстрелами из револьвера Бруно разнес ему голову. Вот какой был человек Бруно, как он боролся за товарищей и за дело!

— Это был святой человек, — сказала Михалина.

— Святой человек, — подтвердил Козакевич. — Его заточили в тюрьму. Его не расстреляли, его даже не судили. Он сидел в самых страшных тюрьмах, от него надеялись выведать все тайны... Но когда прошло несколько лет и его ничто не сломило, его уничтожили. Как — мы еще не знаем. Но мы узнаем.

— Это святой человек, — сказал Петр.

— У меня есть его фотография. Я вам как-нибудь покажу. Сейчас все мои фотографии запрятаны, — беспокойное время. Одной такой фотографии довольно, чтобы засудить человека.

— Я вот думаю, — проговорил Петр, — что чувствовал человек, когда он решался на такое дело? Он не мог же надеяться бежать из суда?

— Из зала не побежишь, — сказала Яня. — Товарищ Петр пусть себе представит полный зал народу... Сначала дело было так. Публика кинулась со своих мест, давая друг друга. Думали, что Бруно выхватит второй револьвер и будет расстреливать всех, а то примется сыпать бомбами... Что там было, невообразимо! Стражники — во все стороны. Офицер выстрелил в Бруно и попал в цивильного. Бруно спасся бы, пользуясь паникой, но его погубил несчастный случай: прыгая через стулья, он сломал в лодыжке ногу. Он схватился рукой за стул и стоял, а стражники начали стрельбу по нем. Бруно бросил револьвер и закричал: «Труссы, придите в себя! Успокойтесь!» И, видя, что у него пустые руки, солдаты навалились на него. Как они били его, товарищ Петр! Как били, как топтали! Его не вели в тюрьму, а несли. Его пять спасенных товарищей рыдали от бессилия, упав на колени.

— Это был народный герой! — сказал Петр.

— Народный герой, — сказал Козакевич.

вич. — Каждый рабочий и каждый крестьянин должен носить его образ в своем сердце. Да что говорить, я его знал. Я с ним здоровался вот этими руками, я с ним говорил так, как говорю с вами. И если я человек, так это он сделал меня человеком. И если я думаю о правде, так это он научил меня думать о правде. С тех пор прошло немало времени, но я вижу его как живого.

Яня не спускала с Козакевича глаз. Усталое лицо ее порозовело.

— Да поешь ты! — прошептала Михалина. — Что ты ела сегодня? Наверно еще ничего?

— Сейчас я буду есть.

Яня ела, задумчиво покачивая головой и вздыхая.

Потом она и Михалина убрали стол и мыли посуду.

Козакевич и Петр вышли во двор. Чистый ночной ветер неторопливо тек по двору. На крыше сарая отражался слабый блеск ночи. Все остальное было в тени, и казалось — крыша висит в воздухе сама по себе.

49

В последнюю встречу Стась был печален.

Они шли по ломжинскому шоссе. Вокруг было много воздуха, зелени, облаков. Гудели телеграфные провода. Белели на косогоре ромашка и арника. Трава высокая, свежая, чистая.

— Ничего в этом мире не получается хорошего! — сказал Стась.

Яня засмеялась. В этот день она могла смеяться по всякому поводу. Она сказала, что скоро люди устроят такую жизнь, где не будет ничего кроме великого и прекрасного.

Стась усмехнулся и стал доказывать, что законы жизни противоречат великому и прекрасному. Но она понимала, что он спорит, потому что он без работы, настроение у него скверное и ему хочется позлить ее. И, продолжая спорить, больше думала о том, что он рядом с ней, что ей хорошо, что это, пожалуй, любовь.

В сумочке она несла бутерброды. Раскрыла сумочку и протянула Стасю.

Честное слово, он ел так, как едят люди, которые ели очень давно.

— Хотите, я поговорю с одним моим знакомым, даже немного родственником, с моим крестным отцом? Может быть, он

что-нибудь придумает для вас. Какая у вас специальность?

— У меня была школа шоферов.

— Поговорить?

— А ваш крестный отец — владелец автомобилей или заводчик?

— Заводчик... только с другого конца. Он работает на фабрике Сокола... ткач. Его фамилия Козакевич... его все уважают. У него много знакомых... Хотите?

На обратном пути Стась рассказывал о своем детстве.

— Это детство нового человека, — глубокомысленно заметила Яня. — Когда человек так страдает, он понимает, что старый мир невозможен.

У нее столько поднялось тепла к Стасю, что она не выдержала, стремительно обняла его и поцеловала в губы.

Он не ответил на поцелуй, улыбнулся и взял ее под руку. Сначала ей показалось это достаточным, но потом она испугалась: только взять под руку, после того как она поцеловала?

Ведь она вся раскрылась в поцелуе... Может быть, он не посмел? Но ведь она же посмела?

Она перебирала в памяти все: как он толкнул ее на вокзале, как сказал о ее глазах, как угощал яблоками, как встречались они здесь... Это оттого, что он скромный и печальный. Милый Стась... ехал к другу, а у друга, должно быть, не так жирно... К другу хорошо приезжать с деньгами.

Пролетел голубой ломжинский автобус. На крыше лежали чемоданы, блеснули стекла. Он только на пять минут отравил воздух, а потом опять стало хорошо.

— Я познакомлю вас с моим крестным отцом. Даже если он и не придумает ничего, все-таки я вас познакомлю.

После того как она поцеловала Стасю, она чувствовала его родным. Она могла теперь смотреть на него сияющими глазами не стесняясь. И она смотрела.

Они простились в городе, недалеко от его дома. Она шла назад, переживая счастье, какого не знала никогда.

Она любила этого несчастного большого человека. Этого безработного, бездомного. Она думала о том, как познакомит его с Козакевичем, как понемногу Козакевич прояснит его душу и Стась пойдет вместе со всеми, вместе с ней... Впереди, наверно, ждут страдания. Революция несет страдания своим первым

борцам. Но какие это сладкие, возвышающие страдания!

Она была такой счастливой дома! Она вела песни, помогая матери. И хотя не нужно было, вымыла в кухне пол. Мать удивилась:

— Яня, зачем ты?

Она ответила:

— Я хочу, чтобы в кухне, по которой ты топчешься, было чисто.

Потом пошла в сарай колоть дрова. С наслаждением вдыхала она запахи сухих дров. Петух заглянул в сарай. Смотрел на нее одним глазом, склонив голову.

Глубокая радость пронизывала ее.

Но утром она опять вспомнила: Стась не ответил на поцелуй! И опять стало страшно. Мой боже, разве он не должен был прижать ее к себе? Пусть так нежно, что человек подумал бы, что это во сне! Стась ее не обнял. Только сейчас ей представился весь ужасный смысл этого. Не обнял!

Но через некоторое время она успокоилась и решила, что это даже хорошо: мужчина должен быть сдержанным. Он не ответил на ее поцелуй и не обнял ее, но он был нежен и ласков.

Она ожидала пятницы. В пятницу они условились встретиться и пойти к Козакевичу.

50

В пятницу Яня стирала у Перочинской белье. Белья было много, мыльная пена вздувалась под руками. Когда ее делалось слишком много, Яня собирала ее ладонями и бросала в ведро. Перочинская в столовой на пианино играла пьески и вальсы.

— Почему не подброшены дрова в плиту?

Яня вздрогнула от неожиданности.

Перочинская отвлеклась от музыки, чтобы поинтересоваться происходящим на кухне, и заметила непорядок:

— У тебя совсем холодный бак!

— Я взяла мало воды.

— Ты взяла мало воды, но ведь будет принимать ванну не только пан, но и дети.

В кухне жарко, в открытое окно не веет прохладой. Может быть, потому, что марля на окне густа, может быть, потому, что ветер тепел. Яня выходит на двор босиком, потому что стирает босиком. Стась думает, что она служащая мага-

зина, приказчица, а она попросту служанка для всего. Двор жесткий, каменный, но у забора низкая трава с лопухами и сырками, которые в детстве Яня и Роза ели. На дворе все-таки ветер. Вот он, теплый, струится из-за забора. Вот воробей бросается прямо в волну ветра.

Яня идет в сарай за дровами. Потом снова кухня, стирка. Но вот она положила белье в котел, вымыла ванну для Перочинского, постлала у ванны коврик, выпарила губку и мочалку, вымыла стул, на который будет положено белье Перочинского.

Перочинский прошаркал в ванную туфлями. Он мылся долго. Жена заходила к нему тереть спину и поить холодным чаем. Он довольно покряхтывал и что-то говорил тонким голосом. Может быть, ему было щекотно? Противный, волосатый Перочинский! Как противно после него мыть ванну!

Она мыла после него ванну с отвращением, собирала мыльную грязь и прибирала грязное белье.

После отца мылись дети. Мылись с шумом и криком, обливая друг друга водой, открывая душ так, что веер дождя хлестал в стены.

— Почему не поставлен самовар?

— Сейчас поставлю.

— Не сейчас, а давно надо было! Пан вышел из ванны, дети выходят через минуту, а чаю нет.

— К тому времени, как дети выйдут из ванны, чай будет.

Сколько раз Яня давала себе слово не отвечать. Пусть говорит, что хочет. Надо стоять как камень, на который льется вода. Много раз Яня давала себе слово не отвечать, но все-таки отвечала, и сейчас что-то злое схватило ее за сердце, и она сказала:

— Я, пани, знаю, как долго моются ваши дети.

— Почему ты говоришь: «ваши дети»? Я думаю, мои дети моются нормально.

— Я знаю, пани, ваших детей.

— Ты знаешь? Ну и что ж?

Хозяйка стояла совсем близко, и Яня ощущала запах ее пота, смешанного с духами. Этот противный запах кружил ей голову.

— Ваши дети ничего себе, — сказала Яня, проваливаясь в ненависть. — Только я не хотела бы, чтоб это были мои дети.

Перочинская выгарашила глаза, потом захохотала:

— Что? Чтобы мои дети были твоими детьми? Ты смела подумать, что это могли бы быть твои дети? Сумасшедшая! Я тебе скажу: ты никогда не будешь иметь детей.

Она села на табуретку около стола, положила круглый локоть на стол. Рука белая, с тонкими пальцами. Халатик распахнулся на голой ноге. Голая нога красива. Халатик распахнулся так, что Яня видела полную левую грудь с темным длинным соском. Перочинская не только не закрывалась перед ней, но, наоборот, ей, видимо, доставляло удовольствие уничтожать Яню своей женской силой.

— Ты никогда не будешь иметь детей,—повторила Перочинская, меряя Яню взглядом с ног до головы, причем так, чтобы Яня видела, что Перочинская меряет ее с ног до головы.— Оставь эти мечты! Ты неспособна родить, у тебя слишком узкий таз. Когда мне было семнадцать лет, моя мать повела меня к врачу, чтобы он меня осмотрел. А твоя мать водила тебя к врачу? Наверно нет. У вас, у простонародья, к врачу бегают по пустыкам. Была у меня кухарка. Когда она входила в кухню, другой человек уже не мог войти, ему было тесно. Я ее выгнала, потому что она одна ела столько, сколько ели все мы. У нее, бывало, заболит голова: «Золотая пани, я больна. Будьте ласковы, позвольте сходить к доктору!» А у меня если болит голова, я этого даже не замечаю. А вот там, где нужно, там вы к доктору не идете! И вот мать тебя к доктору не водила. А я все эти вещи знаю и говорю: тебе нельзя выходить замуж. Я тебя заранее предупреждаю. Иначе с мужем у тебя будут неприятности. Он тебя выгонит в конце концов.

— Я не собираюсь замуж.

— Она не собирается! Еще бы ты собиралась! Ты посмотри на себя в зеркало: у тебя ничего нет!

Перочинская запела песенку, потрогала самовар и исчезла.

Яня долго не могла успокоиться. Она не думала, что ее так заденут слова о детях. Она никогда не думала о детях, она думала о любви. И вдруг теперь поняла, что между любовью и детьми полная зависимость. И что Перочинская сделала то, что хотела: оскорбила ее будущую любовь.

Кухарка вернулась из костела и рассказывала, как хорошо играл органист. А ведь всем известно, что он пьяница. Кухарка сидела в углу, между краном и столом, набирала в ладонь холодную воду и пила.

— Поддай самовар! — попросила она Яню.

Яня отнесла самовар в столовую. За столом в халате сидел Перочинский. Промытые волосы его блестели, лицо было свежо и румяно. Он напомнил Яне, сколько ящиков прибыло с вокзала и что надо прийти в магазин на два часа раньше, чтобы подготовиться к продаже всю партию.

То ли потому, что Яня сегодня очень устала, то ли потому, что она пережила ненависть, то ли потому, что хозяйка применила новый способ мучительства — презрительное рассуждение о ее, Яниных, женских достоинствах, то ли по всему этому вместе, но Яня была очень недовольна собой.

В день встречи со Стасем она хотела быть ясной, простой, безбурной.

Да, пожалуй, самым неприятным были рассуждения Перочинской. О своих достоинствах Яня думала мало. Любовь в ее мыслях всегда была связана с делом, с жизнью, с революцией, и любовь возникала не потому, что пухлые щеки и алые губки, а потому, что души людей тянулись друг к другу, потому, что полным цветом цвели высокие чувства людей.

Только сейчас по-настоящему поняла она слова о ее, Яниной, женской бедности. Это было страшно, ведь это на всю жизнь, ведь тут ничего изменить нельзя. . . И с этим новым ощущением она вновь вспомнила, и воспоминание оледенило ее: Стась не ответил на поцелуй! Она ведь некрасивая, целовать ее, должно быть, противно.

На рынке Костюшки между костельными шпицами поднималась луна. Поднималась в молчаливом небе, сопровождаемая одной звездой. От костела упали тени и от фонарного столба тоже. Воздух стал нежный и грустный. Из бара вышла группа мужчин и остановилась, разглядывая, как висит между костельными шпицами луна.

Когда Яня проходила по краю парка, луна шла через буки и липы. Шла, как собака, ни на шаг не отставая от Яни. Тени от деревьев лежали на полянах,

Деревья были гораздо выше, чем днем, а люди гораздо тише; а когда они прижимались друг к другу под елкой или на скамейке, они делались совсем тихими.

Яня шла очень медленно. Она могла идти, могла не идти. Могла лечь на землю, могла стоять так, как стоит столб, ничего не чувствуя, ничего не видя. Ноги были тяжелы, она так устала!

Стась не пришел!

Она вырвалась от Перочинских на пять минут раньше условленного времени, стояла на улице под каштаном и ждала.

Она была уверена, она была так уверена... Она даже не оглядывалась. Она думала: «Вот-вот подойдет, окликнет». Все сомнения ее в этот момент угасли.

И даже спустя четверть часа она ждала и спустя полчаса ждала.

Она ждала его целый час.

Почему же он не пришел? Несчастье? Может быть, с ним случилось обыкновенное человеческое несчастье? Попал под автобус, под мотоцикл?

Но может быть и другое, страшное: он не пришел потому, что Яня ему противна...

Михалина уже спала. Павэл читал, низко опустив абажур на лампе.

Усталую, бледную, всю опустившуюся Яню усадил Козакевич рядом с собой.

— До того трудно мне там, до того надоело! — сказала Яня. — Мне кажется, никогда это не кончится... Пройдет пятнадцать лет, пройдет двадцать лет — всё я служанка для всего. Разве счастье должно посетить все народы? Нас оно не посетит. Поляки ходят в костелы, подымают глаза к облакам — вот их счастье.

Она говорила все отрывистее и отрывистее; губы ее оттопыривались, слезы застилали глаза. Как в тумане, видела она морщины на лице Козакевича, клоч седых волос на его лбу. Всю жизнь прослужит она у Перочинских: ее будут бить, она будет стирать белье, ставить вместо кухарки самовар, распаковывать ящики, потому что раз есть девка — Перочинский считает излишним нанимать рабочего. За последние две недели она не прочла ни страницы. Она даже забыла, что читала раньше, потому что голова так устает, что все вылетает из головы.

— Не узнаю Яни. Откуда такое отчаянье?

Козакевич положил руку ей на плечо и заглянул в глаза. И тут она не выдержала и заплакала.

Заплакала, полузакрыв глаза, кусая губы, вся сморщившись, чтобы не издать звука и не разбудить Михалину.

— Совсем устала?

— Да, — пролепетала Яня,

— А где тот человек, с которым ты хотела прийти?

— Он... он не пришел.

— Ну, так приходите завтра!

— Прости меня, что я так разревелась! Люди учатся, каждый день видишь, как идут гимназистки в гимназию, а ты — проклятая богом рабыня.

— Какая нетерпеливая!

— Ты меня можешь утешить: поручи мне работу. Невыносимо мне больше так. Не бойся за меня! Не жалей меня, ради меня самой не жалей меня!

Михалина повернулась на постели, кровать скрипнула. Михалина позвала тихо:

— Яня, иди сюда!

И, когда девушка подошла, она прижала ее к себе.

51

Два часа назад туча представлялась сизой полоской, невинным облачком. Спустя час она уже вползала на крыши домов, и свет под ней мерк, и жизнь умолкала. Теперь собирался дождь. Распахнув настежь окно, Зося сидела на подоконнике.

Юзэф ушел рано утром. В последнее время обстоятельства были таковы, что не представлялось возможным сидеть дома и пить излюбленное кофе.

Но Зосю не беспокоили обстоятельства. Если даже все это правда и холера Сокол организовал Водзиславскому бойкот, — да так тонко, что нельзя найти ни начала, ни конца, — пусть, пусть!

Она не верила, что у нее может быть печальная судьба. В ней, в ее теле протекала важная жизнь, гораздо более важная, чем все Соколы и бойкоты.

Она ощущала свое тело как бы со стороны, она жила как бы вдвоем со своим телом.

Она могла подолгу оставаться одна и не чувствовать себя в одиночестве, потому что она была со своим телом.

Она распахивала халат и видела в зеркале груди, живот, ноги; крепкие груди

не нуждались в поддержке лифа. Зося поворачивалась боком. В профиль они придавали телу законченность. Именно таким должно было быть тело. Несмотря на тяжесть, груди были легки. И ноги, несмотря на величину, были легки. Все тело было легким, потому что оно было сильным.

Она ходила из комнаты в комнату бо-сиком, вытирала пыль, переставляла по-суду. Когда она работала, тело ее жило еще более приятной жизнью.

Поэтому она не только переставляла посуду, но и подметала в спальне и в сто-ловой.

И все это доставляло ей удовольствие и казалось несравненно более важным, чем дела и провокации Сокола. Несмот-ря на всю их угрозу для ее замыслов.

Так как тело ее было большое, она предпочитала комнате двор, реку. Но реки в Белостоке не было, в Белостоке был только двор.

Она чувствовала себя близкой во-робьям, голубям, своей собаке. Точно между ними существовала тонкая связь, которой не существовало между нею и людьми.

Но в этом нельзя было никому при-знаться.

Вчера ночью Юзеф рассказал страш-ные вещи: его контрагенты отказались вести с ним дела.

Простые старьевщики отказались про-давать ему тряпку.

— Мой пане, — заявили они, — люди так обеднели, что сами теперь носят тряпки.

— Что вы мне голову дурите? — воз-мутился Юзеф. — Кто это в Польше сам теперь носит тряпки? Вы пришли ко мне с пустыми мешками. Вы получили от меня задаток?

Старьевщики сначала было испуга-лись, но потом проявили готовность вер-нуть задаток.

Это было невероятно и страшно.

— Мы сами пойдем собирать тряпку, — сказала Зося.

Юзеф сердился и кричал, а она в са-мом деле готова была собирать тряпку.

Утром она позвонила по телефону Храпу. Храп бо-жился, что найдет концы всему этому делу, и вместе с тем гово-рил, что теперь считается непатриотич-ным ссориться с такими людьми, как Со-кол. Надо же считаться с курсом, прово-димым Дукельским!

— Мой муж, который стоит рядом, — сказала Зося, — говорит: «Пусть иде-т Дукельский к дьяволу! Сколько у него курсов в день?»

— Моя пани, он — надежда Польши!

— Но разве поэтому мы должны итти по миру?

Юзеф побежал к Храпу искать концы.

Туча кольцом охватила город и вдруг ринулась вниз. Зося, выскочившая во двор, была избита мгновенно. Горячий дождь хлестал. Он не падал, не лился — он хлестал.

Зося захохотала и протянула к нему руки. Он отхлестал ее по рукам, по ще-кам, по губам, по груди.

Она не выдержала и бросилась под крышу. Она была счастлива, она ругала дождь, как человека. Она своим телом понимала дождь, как самое себя.

Вытерлась и вернулась на подоконник. Смотрела во двор, на котором ничего не было кроме воды. Вода плясала, пры-гала на крыши, с крыш, кипела в воз-духе и на земле.

Шум стоял невообразимый. Стемнело.

В это время возвратился Юзеф. Он пришел пешком, не обращая внимания на дождь. Его костюм обратился в тряпку, ботинки хлюпали и падали с ног, шляпа обвисла. Он бесконечно долго звонил: из-за шума дождя никто не слышал звонка.

Наконец ему открыли.

Не говоря ни слова, он дал оплеуху служанке, прошел в ванную, оставляя по всем комнатам лужи, и стал раздеваться.

Он сбрасывал с себя все на пол.

— Дай пану халат! — сказала Зося.

— Но, пани, пан же стоит без всего!

— А тебе что? Он твой кавалер или пан?

— Все пропало! — крикнул из ванной Юзеф. — Если б это был один Сокол, Храп скрутил бы его. Он поклялся мне, что скрутил бы его. Но в компанию Со-кола замешались поляки, мои дорогие соотечественники! А что может сделать Храп с поляками? Что я могу сделать с ними? Им выгоднее Сокол, чем я. Со-кол богат, я нет. У Сокола связи вплоть до Африки, у меня даже в Белостоке вода в решетке. На что я им? Они разбо-гатеют без меня, на моей неудачной игре.

Он вышел из ванной и ходил по сто-ловой из угла в угол. Зося сидела на по-доконнике.

— Я сегодня уволил всех рабочих.
— Ты с ума сошел!
— А что делать? Они будут греться на солнышке, а я буду их кормить? Не только моя.— все мелкие фабрики летят к чорту.

Зося слезла с окна и закрыла раму.
— По-твоему, надо продавать фабрику?

— Откуда я знаю, что надо? — Он бросился на диван.

— На твоём месте я не позволила бы Стасю хватать кино, а взяла бы кино сама.

— Она предлагает мне кино Зеликман! Кому нужно кино во время войны? С фабрикой Сокола я стал бы миллионером. Ты знаешь, сколько сукна требуется на армию? Ты знаешь, какая у Польши скоро будет армия? Ты знаешь, какие я мог бы получить поставки? Ты знаешь, что холера Сокол уже надумал какой-то ход? А ты говоришь — кино! Только такой осел, как Стась, мог мечтать о кино. С этого кино можно нажить столько, сколько с дохлой кошки.

— Имея кино, можно все-таки жить. Надо ставить веселые комедии, и публика будет ходить.

— Иди к дьяволу!

Юзеф прошел в кабинет.

Здесь было еще темнее. Он включил свет. На стене висела большая копия с картины «Амур и Психея». Амур нежно подхватывал тоненькую девушку под маленькие груди.

Юзеф любил смотреть на эту сцену. Всегда она возбуждала в нем удовольствие. Но сейчас ему была противна даже Психея. Как ни была она тонка, какие ни были у нее маленькие груди, все равно она была женщина, наверно она любила спорить, давать глупые советы и не стояла того, чтобы ее так нежно обнимать.

52

Сизая туча прошла, за ней потянулась серая, более высокая и светлая.

Она бросала на землю мелкий, тонкий дождь. От нее веяло холодом, она была бесконечна, она оцепенела над городом. Только к самому вечеру стало легче на небе, серое стало розовым, потом красным, потом золотым, величавым, торжественным и безгрешным.

Ночью вернулось тепло. А утром, когда

Токарский шел на фабрику, земля благоухала так, точно она сейчас родилась.

В проходной толпились рабочие.

— Что вы здесь заснули, панове? — спросил Токарский.

— Фабрика стоит! — крикнула Михалевская.

Токарский не понял, но у него кольнуло в сердце.

— Кто стоит? — Он протолкался во двор.

Через большую блестящую кучу антрацита посредине двора, разваливая кучу, торопились рабочие. Над машинной не вился дымок, и даже привычного отвратительного запаха грязной, мокрой тряпки как будто было меньше.

С правой стороны двора, у навесов, куда в мешках свозили старую и новую тряпку, стояла толпа.

Токарский пробрался сквозь толпу и увидел, что мешков под навесами нет.

— Даже из сортировочной вывезли, — сказала Михалевская.

В полуразвалившемся деревянном бараке сортировочной тоже было пусто. Только несколько мешков лежало в углу около изразцовой печи, да подушки, на которых во время работы сидели работницы, валялись под окошком.

А вчера здесь был огромный запас тряпья!

Произошло что-то нехорошее, во что не хотелось верить.

— Захожу я раненько в сортировочную, — рассказывала Михалевская, — и вижу разгром. Ничего нет! И мастера нет!

— К администратору! — крикнул из окна ткацкой Козакевич.

На деревянную площадку механической выскочил механик:

— Панове, пары спущены!

— К администратору, — звал Козакевич, — к администратору! — Несмотря на тревогу, Козакевич испытывал радость: подступала буря. — К администратору!

Администратор жил над конторкой. Он показался на железном балкончике, замахал шляпой.

— Не волнуйтесь! Советую примириться с судьбой. Судьба наша в том, что нет сырья.

Толпа напирала, но все молчали, боясь проронить хоть слово.

— Нет сырья... Пан Сокол бился как рыба об лед. Налог огромный, а настоящей работы нет, раз сырья нет... Поз-

вольте, позвольте, не перебивайте! Сейчас я отвечу на все ваши сомнения. Вы скажете: мы же отбили тряпку! Но из одной тряпки, без шерсти, сукна не сработаешь. А шерсти нет. Хлопка нет.

— Запаса шерсти было на полгода! — крикнул Козакевич.

— Прошу в разговорах со мной не приплетать лжи. Пан Козакевич — известный фантаст. Это в прошлом году был запас на полгода.

— И в этом году был! А можно спросить, куда подевалась тряпка?

— Раз нет шерсти и хлопка, тряпка — мусор!

— Мы выпускали ткань и без шерсти.

— Тогда мы экспортировали сукно в Африку, а теперь есть возможность получить отечественный рынок.

— Как же можно получить отечественный рынок, если стоит фабрика?

— Пан администратор, где тряпка?

— Я уже сказал.

— Панове, мы тряпку отбивали своими руками, и Сокол нам обещал. . .

— Кто виноват, что сырья нет?

— Да тише вы, а то я разгоню всех! Кто виноват? Вам сейчас подавай виновных! Спросите, Козакевич, судью, кто виноват. Снег виноват. Может, в Египте выпал снег. Или война виновата: хлопок идет на войну. А шерсти, может быть, нет потому, что овцы подошли или опаршивели. Или еще что-нибудь вышло. . . Разве здесь, в Белостоке, известно, почему?

— А где запасы тряпки?

— Козакевич опять поет свою песню! Долбит и долбит без конца. . . Прошу спокойствия! Вот поэтому пан Сокол и решил временно прикрыть фабрику. Прошу не волноваться! Вы знаете, какое сейчас в Европе время? Чорт знает, что теперь делается! Надо сидеть тише воды, ниже травы. Идите по домам! При первой возможности пан Сокол пустит фабрику.

Администратор приподнял шляпу. Дверь на балкон захлопнулась; слышно было, как звякнуло стекло. Семьсот рабочих остались без хлеба.

— Это кара смертью, — сказал Токарский и сел на камень.

Всю свою жизнь он чувствовал зыбкость земли под собой, точно жил по чужой милости. Всегда он ожидал катастрофы. Но как раз не ожидал сейчас. Сейчас, после защиты фабрики, после

торжественного распоряжения Сокола прибавке. . .

Рабочие не расходились. На дворе стоял сдержанный гул голосов, изредка прерываемый криками. В проходы между корпусами веял ветер, донося угольный дым с чужих фабрик.

Токарский сидел на камне, не принимал участия в разговоре, и сам точно окаменел. Он вдруг удивился тому, как быстро прошла его жизнь. Только что была молодость. Только что молодым парнем входил он во двор фабрики Сокола, — тогда маленькой, неказистой фабрички, — и вот уже минуло тридцать лет! В течение тридцати лет он каждый день видел этот двор, каждый день вечером торопился домой. И всегда приятно было знать, что его ждут Марыся, ужин и несколько покойных часов перед сном.

Токарский долго сидел на камне, слушал и не слушал то, что говорилось вокруг него, и, когда рабочие стали наконец расходиться, медленно пошел со двора.

Ночью он не спал.

Яня заснула сразу. Жена, наплакавшись, заснула тоже, а он не спал. В голове носились фабрика, ткацкая, его станок, — один из пятидесяти семи, первый от двери, — он сам без пиджака за работой, в грохоте и звоне. . . Пыльные окна, за ними кирпичи выкончального цеха. . . Фабричные корпуса, какие бог послал к случаю: деревянные, кирпичные, одни — боком ко двору, другие — лицом. . . Грязные, неопрятные, но дающие человеку жизнь.

— Холерная жизнь! — бормотал Токарский. — Живешь, дрожишь — и вдру тебя валят с ног и душат.

Ворочался к боку на бок, вставал, выходил на кухню пить воду, открывал окно и смотрел на улицу. На углу тускло горел фонарь.

Еще вчера семьсот человек жили спокойно, имели свой угол, хлеб, надежду. . . И вот нет ничего. . .

Утром в семье почти не разговаривали. Токарский лежал на постели, потому что вставать было незачем. Токарская перебирала вещи в шкафу. Яня в одиночестве выпила чай, спросила несмело:

— Мамуся, я возьму с собой этот хлеб?

— Возьми!

— Мамуся, я принесла дрова.

Мать не ответила.

Яня ушла. Токарская надела пальто и собралась в костел.

В костеле она крестилась святой водой, прикладываясь к деревянному, мастиковому и бронзовому Христам, стояла на коленях на каменном полу, читала молитвы по молитвеннику, без молитвенника и, наконец, просто обращалась к господу, бессвязно, покорно, но со жгучим чувством веры и требования. Рядом с ней молились женщины и мужчины. Мужчин было больше.

На земле сразу стало страшно и неуютно. Ветер, когда она возвращалась домой, показался ей очень холодным и засыпал пылью ее глаза. Она поскользнулась, переходя через улицу. Магазины на витринах и в распахнутые двери показывали свои недоступные теперь богатства.

За что, боже, такая кара смертью?

Она не понимала, как устроен мир. Она понимала толк в мясе, овощах, птице и тому подобных вещах, которые наполняли ее жизнь, как и жизнь всякой другой женщины. Она не понимала, почему уволен ее муж, и даже не думала, что это можно как-то понимать. Понимать здесь нечего: несчастье есть несчастье.

В полдень Токарский отправился на фабрику. Проходную заколотили, у калитки дежурил полицейский. Кучка рабочих стояла в отдалении.

За одну ночь люди точно похудели, лица вытянулись, губы подобрались. Среди рабочих был Козакевич. Он сообщил, что союз текстильщиков предполагает обратиться с протестом к правительству.

— Ничего не получится, — уныло сказал Токарский. — Хозяин есть хозяин. Он закрыл фабрику — и все.

— Раз ты открыл фабрику, так ты взял на себя обязательства!

— Обязательства! — усмехнулся Токарский и пошел домой.

— Зачем же ты приходил сюда? — крикнул ему Козакевич.

Токарский не ответил. Зачем он приходил? От беспокойства и тоски. И ушел тоже от беспокойства и тоски.

За стеной плакал ребенок. В сущности говоря, он не плакал, а орал. Орал ночью и днем. Вероятно, для кого-нибудь это было святым материнством, а для Стасы — проклятьем.

Стась лежал на кровати, ничего не ел и только несколько раз в день пил воду.

Часть дружинников уехала из Белостока, часть осталась. Бобровский пьянствовал. Напившись, он побил провизора Бучинского, и тот подал на него в суд.

На свиданье с Яней Стась не пошел. Принесла ему жизнь любовь ясной девушки и отравила любовь.

Яня звала его к Козакевичу! Что было бы, если бы он встретился с Козакевичем!

Встретиться с Козакевичем нельзя. Следовательно Яня недоступна? Разве он может сказать ей, кто он? Но, предположим, скажет. Но для чего? Для того, чтобы она плюнула ему в лицо? Для этого не стоит говорить. Если говорить, то говорить так, с такой силой убеждения, чтобы она приняла его правду, его мысли.

И тут наступало самое странное и непонятное: Стась не хотел, чтобы его правда стала Яниной правдой.

Почему?

Не хотел! Ни за что!

Яня, думающая как он, — это невозможно.

Яня, поступающая как он, — это противоестественно.

Но почему же? Если он прав, то почему же?

Протягивал руку к стакану и пил воду. За стеной плакал ребенок. Надо действовать: надо продать шляпу, вторую пару белья и действовать. И чем отвратительнее было у него на душе, чем менее хотелось действовать, тем яснее он видел, что спасение в том, чтобы действовать.

Если в Белостоке Стась понесет поражение, то в каком другом месте он его не понесет? А он не хочет поражения и гибели. Он требует той части, которая принадлежит ему.

Зеликман не было дома. Окна квартиры были темны. Стась вошел в подъезд, поднялся этажом выше, сел на подоконник.

Форточка была открыта. Он открыл пошире, и тогда в коридор влетел ветер. Верхний ветер, который не растерял еще над городом полевой свежести. И шум донесся. Звук патефона. Какой-то любитель духовой музыки играл на баритоне. Это было очень далеко. И баритон, проносясь над десятком кварталов, стал нежным, как флейта.

Несколько раз хлопали входные двери. Несколько раз мимо Стася проходили жильцы, внимательно и тревожно осматривая его. Людей всегда тревожит человек, который стоит на лестнице, а не идет по лестнице.

Снова хлопнула дверь. Поднималась женщина. Прошла первую площадку. У второй задержалась, зазвенел ключ о замочную скважину.

Стась ринулся вниз. Рука женщины дрогнула, она не могла попасть ключом в скважину.

Стась соскользнул по перилам. Зеликман не успела захлопнуть дверь.

Она ничего не сказала, сняла жакетку и повесила ее около зеркала. Посмотрелась в зеркало, поправила волосы. Все делала так, как будто никого рядом не было.

В дверях оказалась заспанная Стэфа. Зеликман сказала спокойно:

— Я буду пить чай.

Она не ожидала, что Стась пойдет за ней в спальню, но он пошел. Когда она пошла в ванную, он пошел тоже. Больше всего на свете она боялась показать, что у нее дрожат руки, а в ванной у нее так задрожали руки, что она впилась в мыло ногтями.

Позвонить в полицию? Бросить все и побежать к дядям? А потом бежать из Белостока? Ни за что!

— Пани, чай готов! — сказала Стэфа.

В Стэфинах глазах Стась прочел страх: она испугалась его лица. Скулы, он чувствовал, у него глубоко западали, губы подобрались. Последний раз он ел третьего дня.

Лия села за стол. Налила чаю. На тарелочку положила хлеб, придвинула масло, сыр. Она ела. Стась смотрел ей в рот. Раскрыла книжку, стала читать. Она ненавидела Стася, его не было в комнате, он не существовал.

Тогда Стась достал из буфета стакан, налил чаю и стал тоже пить.

Если бы кто-нибудь взглянул со стороны, он увидел бы: поссорившиеся супруги пьют чай.

Лия выпила второй стакан. Стась съел весь хлеб и всю полендвицу. Он ел быстро — от голода и от злобы. Тарелка опустела. Лия подошла к буфету и сделала бутерброд.

— Все-таки вы соизволили заметить, что вы за столом не одна. Иначе вы положили бы полендвицу на тарелку.

Я пришел к вам в последний раз, чтобы поговорить с вами в последний раз. Вы знаете, с кем вы имеете дело? Вы имеете дело с человеком, который хочет быть честным.

— Перестаньте! — Лицо ее то бледнело, то вспыхивало.

— Ага, очень приятно: соизволили услышать и отозваться! Я хочу, чтобы вы поняли, что я не пощажу. Вы занимались в Париже науками, вы должны знать, что из всей научной галиматии истинно только то, что жизнь борется за себя. Жизнь борется за себя, запомните! Запомните еще: свойства, которые долго и заботливо отбирала и растила жизнь, — ложь, жестокость, обман. Будем честны: благодаря низменным свойствам существует жизнь. Загляните в историю: какой расцвет зла! Сколько великолепных, неподражаемых образцов зла подарила нам история, сколько характеров она выковала! А добро? Много ли образцов добра? «А» отдал «Б» кусок хлеба, снял с себя рубаху, отдал нищему, пожертвовал десять злотых. Вот и вся радуга добра. А там, где добро достигает высоты и приобретает титул святости, — там жизнь прекращается. Святость не хочет жизни, она отдает жизнь. Святость начинает с отдачи куска хлеба, кончает отдачей жизни. Понимаете меня, Зеликман? Настоящая жизнь, — в которой кровь и сила, — ненавидит добро. Моя мать выгнала меня из дому, для того чтобы удержать свое счастье, свою жизнь. Она поступила великолепно. Правда, я чувствую себя оскорбленным и презираю ее. Но это потому, что во мне еще силен атавизм. Я еще не приобрел всех нужных свойств. Однако я сказал себе: «Если ты признаешь жизнь, тогда поступай так, как требует закон жизни. Если у тебя нет на это силы, кончай самоубийством!» Прожить, утверждая добро, нельзя. Утверждая добро, я не имею права на хлеб, на крышу, на рубашку. Я не имею права выйти в поле и сказать: «О поле!» И обнять его так, как может обнять человек. Я не имею права свободно взглянуть на небо, броситься в реку, взять в руки книгу, чтобы насладиться величайшей из мировых сил — разумом. Я не могу ничего! И вот я вижу вас. Вы можете все. Я должен взять от вас вашу силу, я не имею права отдать свою жизнь. Почему я должен ее уничтожить, а жизнь Зелик-

ман сохранить? Какие у Зеликман преимущества передо мной?

Он перегнулся через стол. Лия побледнела. Она сказала чуть слышно:

— У меня есть преимущества перед вами.

— Тогда поединок! — крикнул Стась.

— Какой же вы хотите поединок?

— Конечно, не средневековый. Наш поединок уже начался. Сегодня мы его кончим. Передавайте мне свое кино! Ну!

— Нет, — прошептала Лия, — не передам!

— Вы должны передать! Вы передадите!

— Как вы можете меня заставить?

— Заставлю!

— Вы не заставите. В Польше нет закона о конфискации имущества евреев.

— Вы все рассуждаете в моральном плане. Я рассуждаю в плане простой, реальной силы, при помощи которой носят воду и копают картошку.

Стась обошел вокруг стола. Она не сводила с него глаз. Он подошел к ней, взял ее за плечи.

— Не трогайте меня!

Она сбросила его руки. Он положил их опять.

— Прошу извинения, у меня выхода нет.

Глаза ее сияли от ненависти, рот открылся, она оскалилась. Она напоминала волчицу. Он почувствовал, что ее ненависть заражает его, что он теряет власть над собой. Он коротко вздохнул и ударил ее по щекам.

Лия ахнула. На минуту Стась замер, потом стал бить ее так, как выколачивают ковер.

Лия пошатнулась, упала на стол, закрыла голову руками.

Стась стоял около нее с каменным лицом. Руки его сжимались, он готов был бить еще. Если бы Лия не вырвалась, не упала на стол, он бил бы еще. Но она была от него на расстоянии двух шагов, и этих двух шагов он не мог сделать: ноги его дрожали и подгибались. Он видел тонкое человеческое тело, распростертое на столе. Одна рука лежала на столе, бледная, тонкая рука; вторая прикрывала голову; плечи дрожали... Ему казалось, что нужно еще бить и что он будет еще бить по этим рукам, по этой тонкой спине. Он не понимал еще, что происходит с ним, не понимал еще, что

с каждым мгновением теряет то, что он знал так ясно.

Он стоял, и точно из самых недр земли, через стены дома, через пол вставала невероятная, чудовищная жалость. Жалость точно всасывалась в него. Она ломала кости, сводила члены, скручивала жилы. Тело распадалось на бесчисленные частицы, и каждая была нагружена беспредельной жалостью. И несмотря на груз, тело было так легко, что могло лететь. Стась ничего не думал. «Сила атавизма», «бытовая привычка», все то, что он знал и так часто говорил себе, ничто сейчас на него не действовало. Он не думал. Нет, он думал, но только не головой, а как бы всем естеством. Он хотел, повинувшись каким-то огромным, неведомым, нестерпимо сверкавшим потокам истины, обнять эту женщину, поднять ее на руки, понести по земле, укачивая и песней навевая на нее сон.

Он поднял руки и схватился за голову. Он сжал голову так, что, должно быть, хрустнули кости, но не почувствовал боли.

Произошло, с одной стороны, нечто совершенно правильное, а с другой — непоправимое.

«Зеликман!» — хотел он сказать и положить руку на тонкую, вздрагивавшую спину.

Но у него не было человеческого языка, чтобы объяснить то, что нужно было объяснить.

Так, держась за голову, он пошел на цыпочках к двери, открыл ее и оказался на лестнице.

Он шел медленно, потому что ноги его стали вялыми и бессильными. На улице ветер пахнул на него ночной сыростью.

Между булыжниками росла трава. Около забора по тротуару торопливо прошел пешеход. Тут была какая-то фабрика. Труба таяла в небе. Комар сел на щеку и укусил. Стась устало согнал комара.

Он подошел к забору и оперся на него. За забором рос жасмин. За крышей дома сияла и переливалась Кассиопея.

— То жизнь! — сказал Стась созвездью и заплакал.

Заплакал с невероятной силой и слабостью, ничего не понимая, от всего отступаясь и со всем сливаясь...

— У меня мать больна, — сказала Яня Перочинскому, — я не могу завтра прийти.

Перочинский состроил гримасу.

— Чем же она больна?

— Прощэ пана, она очень больна.

— Если очень, то, может быть, она больна тифом или оспой?

— Прощэ пана, я не знаю.

— Ну, раз ты не знаешь, то и я не знаю. Спросись у пани!

— Уже начинается! — сказала Перочинская.

— Что начинается?

— Начинается беготня. Как только девке двадцать лет, она теряет всякую пристойность. На твоём месте я пошла бы к врачу и попросила впрыснуть.

— О чем вы говорите?

— Не притворяйся? Ты отлично понимаешь, о чем я говорю. Не ты первая у меня служишь. Если ты хочешь, я поговорю с доктором Вишневым.

Перочинская сидела у открытого окна в капоте, от которого глаз не хотелось оторвать: это был цветник в солнечный день, цветник из голубых и белых цветов, и ела творог, оттопыривая мизинец и изредка поглядывая на него. Мизинец хотелось обломать.

— До тебя у нас служила девушка из деревни. Та была как вол. Входила в кухню — и пол шатался под ней. Брала ведро — и вырывала дужку у ведра. Она была работница не чета тебе. Она понимала ящик так, как ты поднимаешь лукошко с ягодами. Она дрова колола так, что раскалывала полено с одного удара. Ей было шестнадцать лет, и все было хорошо до двадцати лет. А в двадцать она сошла с ума. Как в марте сходят с ума кошки. Я спросила у доктора Вишневого, нет ли какого-нибудь средства.

Перочинская положила еще творогу, налила молока, насыпала сахару. Какая это была хорошая еда! Белый как снег, творог, молоко ледяное, из погреба.

— Я спросила у доктора Вишневого, нет ли какого-нибудь средства. Он сказал, что есть, и предложил впрыснуть. Я согласилась. Доктор осматривал всех в доме, осмотрел ее и сделал впрыскивание. Ей сказали, что это прививка оспы. Такая она после этого стала тихая и

смирная! Я ей к пасхе новое платье подарила.

— У меня, прошэ пани, мать больна. Можно мне, я завтра не приду?

— Чтобы твоя мать не болела, советую тебе сходить к Вишневному. Скажи, что тебе двадцать лет, что ты служишь у меня и что я прислала тебя.

Она опять осматривала Яню с ног до головы так, чтобы Яня видела, что она ее осматривает.

— Отпускаю тебя в первый и в последний раз.

Какая хорошая дорога за городом! Город уже сзади. Прямо, как большая гряда кирпича, — город. По полям рассыпаны нежные круглые холмы, озимые высоки. И идет такой теплый, такой горячий дух от полей. Подорожники, ромашка, мята... Все это как бы поднялось вместе с ветром к небу.

Ее догнали и перегнали велосипедисты. Голые колени покрывала пыль. Это были туристы, пересекавшие Польшу из конца в конец, по польским горам, по польским равнинам. Вот все дальше они, все дальше, все бледнее... Вот расплылись они в воздухе...

Дорога течет, как река. Люди стали строить дороги в подражание реке.

Еще недавно Яня ходила по этой дороге со Стасем. Мой боже, не нужно думать о нем, не нужно вспоминать! Сердце так болит, когда думаешь о нем!

Но так как она думала о нем все время, то сердце болит все время. Сначала она решила, что Стась бросил ее; потом решила, что с ним несчастье. Сегодня тоска немного отпустила ее: сегодня она идет на свое первое собрание.

За березовой рощей озеро. Темное, тинистое, с лилиями. От него пахнет болотом: лягушки и жабы прыгают в черную воду. Тропинка влажна. Яня разулась и вошла в воду по колени. Пауки побежали по воде во все стороны.

Она расположилась под соснами, на горячем песке, среди прошлогодних шишек. Туфли поставила рядом. Солнце жжет ноги. Шумят сосны, нежно, едва слышно. Потянул ястребок ввысь. А это идет человек.

Мимо или сюда?

Сюда!

Появился незнакомый человек, внимательно посмотрел на Яню и спустился в овражек. Потом появилось еще несколько и с таким же подозрением по-

смотрели на нее. «Уйти, а прийти потом?» — подумала Яня, но тут пришла Михалина, поцеловала Яню и села с ней рядом.

— Выходите, товарищи, это своя!

Через полчаса на полянке расположилось двадцать человек. Козакевич стоял под сосной и говорил. Козакевич совсем не походил на Козакевича. Даже голосом. Яня загляделась на него, охватив руками колени, прижавшись к ним подбородком. Она точно плыла по реке. И точно вокруг нее уже гремела мировая война. Темные рабочие массы выходили друг на друга с оружием. Крестьяне выкатывали друг на друга пушки. А люди, которых называли хозяевами, директорами и министрами, считали, что другого пути нет. Тупые, жестокие люди, для которых жизнь человека не значит ничего, которые не хотят пошевелить мозгами, чтобы увидеть, что есть другой путь для человека, что, как только человек научится уважать, ценить и любить жизнь, он неизбежно вступит на этот другой, простой и естественный, путь.

— Вступит, — шепнула Яня.

И ей хотелось немедленно быть достойной этого другого пути.

Козакевич и она уходили последними. Она думала, что, оставшись наедине, он улыбнется ей так, как улыбался всегда. Но он не улыбнулся.

— Вот, — сказал он, — значит, и Яня зашагала с нами!

Она кивнула головой, чувствуя, что ничто не заставит ее свернуть в сторону.

55

Безработные Сокола, члены профсоюзов и не-члены, выбрали комитет из пяти человек для борьбы за жизнь.

Это была война не на жизнь, а на смерть, и все понимали, что нужны организованность, повиновение и отсутствие паники.

Комитет мобилизовал пятьдесят старых рабочих Сокола во главе с Токарским и отправил по белостокским фабрикам.

Они обнаружили сырье Сокола на пятнадцати предприятиях.

Комитет составил акт. Он действовал по всем правилам закона. Была призвана полиция. Полиция тоже составила акт.

Акты передали властям. В этот день повеселевший Токарский пригласил

старьевщика и продал ему за десять злых свой праздничный костюм, стоивший тридцать шесть злых.

— Ничего, заведу новый! — сказал он. — А сегодня пообедаем по-настоящему и выпьем кофе.

У него появилась какая-то уверенность в благополучном окончании дела. Возможно, потому, что даже полиция благосклонно участвовала в делах комитета, и власти, принимая акты и заявления, тем самым говорили о беззаконии Сокола.

«Все-таки власть, — думал Токарский. — У власти есть способ убеждать даже капиталистов».

В воеводстве обещали рассмотреть дело в три дня.

Однако прошло тридцать дней, а результата не было. Поторопиться с делом делегировали двух старых рабочих — Козакевича и Токарского.

В воеводстве объяснили: ответчика нет. Нельзя разбирать дело без него. Надо подождать, когда он вернется.

— Как нет?

— Так нет. Что вы, панове, по интересующему вас вопросу таких вещей не знаете? Нет Сокола в Белостоке.

Токарский и Козакевич вышли из воеводства. По широкой аллее, с цветниками и газонами до самых крыльев дворца, двигались чиновники и горожане. Козакевич медленно шел, шурился на острый шпиль часовой башни и что-то насвистывал.

— Ты в комитет? — спросил Токарский.

— А ты разве не в комитет?

— Никуда я не пойду, — глухо сказал Токарский и опустил на тачку.

Его поразило новое ощущение: до него никому нет дела. Только товарищи, бесильные, как и он, как-то еще думают о нем.

Никому нет дела до того, что Токарский умрет.

Он сидел на тачке согнувшись. В тачке лежал дерн. По дерну тревожно бегали муравьи. Токарский принялся следить за одним большим. Муравей спустился на дорожку и влез на стебелек анютиных глазок, потом вернулся к колесу тачки, потом перебежал дорожку в противоположную сторону. Сколько движений, беготни!

На дворе пахло травой, анютиными глазками, листвой парка.

Токарский впал в душевный столбняк.

Жизнь ушла куда-то вкось. Какое-то такое чертовское устройство мира, что человеку себя не пропитать! В поле пойти, зайца убить — нельзя: чужое поле и чужой заяц. Взять лопату, поднять грядку — нельзя: чужая земля... Только подумать: вся эта необъятная земля, каждый ее клочок кому-то принадлежит. Булку с прилавка взять нельзя. А ведь небо над человеком одно, и земля, по правде, общая для всех мать.

Подумал о боге. Есть ли ему дело до Токарского или нет? Всю жизнь он верил в бога, как ему заповедала церковь. Смотрел на муравьев и не мог решить, есть ли богу до него, Токарского, дело или нет.

Повидимому, нет. Хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы обидеть бога. Почему это, в самом деле, иметь все могущество, устроить всю эту землю и все это небо, а простого счастья, нужного для человека, не создать? Неужели это было так уж трудно? Солнце создал, а простого счастья не мог создать?

От этих мыслей становилось страшно. Они приносили боль, но вместе и отраду. Было совершенно очевидно: во всей необозримой вселенной, — как в небе, так и на земле, — до Токарского никому не было дела. Если он умрет, товарищи скажут: «Умер наш Адольф. Просим для него прощения», — и все. Еще жена беспокоится о нем, но жена не идет в счет, потому что она нераздельна с Токарским.

— Никого во всем миротворении! — прошептал он, чувствуя страх, отвращение и негодование.

Подошел садовник и сказал:

— Ну, иди, пане, по своим делам! — и покати тачку под ворота.

56

Теперь вещи продавали постоянно. Вещь за вещью.

Старый диван, приданое Марыси, по-

следнюю значительную вещь, продали за полтора злотых.

На эти полтора злотых жили неделю. Потом стали продавать мелочь. Несколько раз получали маленькое пособие из союза, дважды взяли в долг у соседа. Абрама Песина, отца Розы. Яня просила Перочинскую прибавить пять злотых, чтобы попрежнему получать свои пятнадцать злотых. Пани посоветовалась с паном и сказала, что потом прибавит, а сейчас не прибавит.

Стась исчез. Каждое утро, выходя из дому, Яня надеялась встретить его и каждый вечер, надеясь встретить его, возвращалась медленно, разглядывая прохожих.

Не встречала она больше высокого, худого человека в коричневом костюме. И от этого было так грустно, как никогда не бывало.

Однажды он подарил ей кило шоколаду от Веделя. Она сказала: «Зачем, Стась? Это же дорого», и испугалась, увидя, как потемнело его лицо. «Что вы думаете, — сказал он, — мне принадлежит весь мир, разве я не могу подарить вам кило шоколаду?»

В те дни она думала ему помочь: отец получил прибавку. Честное слово, тогда было совсем не плохо!

Козакевич стал прозрачным. У Михалины волосы начали седеть. Несколько дней она вязала шарфы в мастерскую, потом ей отказали. Шарфов было много, их не покупали.

Еще трижды собирались в лесу и дважды в городе. Выяснилось, что надеяться на общерабочую поддержку нельзя. Выяснилось также, что совсем близко война. Впрочем, в польских газетах писали, что она не так близка.

Настроение у Яни было такое скверное, что ее не пугала война. Она очень ослабела от голода, щеки запали и побледнели, пуговицы на юбке пришлось перешить.

(Продолжение следует)

Мария Комиссарова

ПАВЛУ ТЫЧИНЕ

Не все ль равно — незваной, званой,
К вам эта песня в дом войдет
Я назвала ее Светланой
И проводила до ворот.

В снега пушистые одета
И вся девически-светла,
Она приветствовать поэта
От костромских лесов пришла.

За ней — стеною встали ели,
Легли бескрайние поля,
Метели звездные запели
И разбудили тополя.

За ней, вдали, в избе просторной,
Степенно вокруг сидит народ.
Подросток голосом задорным
Читает «Партия ведет».

И вдруг — «Лесных звоночков» трели,
Зозули нежное ку-ку,

И открываются «Пастели» —
Седой туман укрыл реку.

Днепра серебряные струны,
Как сто бандур, отозвались,
И сто дорог под небом юным
В один огромный шлях слились.

Дорога дружбы! Медоцвета
Кругом раскинулись цветы,
В снега пушистые одета,
По ней в цветах идешь и ты.

Тебе навстречу — ширь степная.
Как этой встречей ты горда,
Моя метельная, лесная,
Со мной прошедшая года!

И нет на свете песни краше
Той, что с народом вместе шла, —
И в этом счастье доли вашей,
И в этом гордость ремесла!

КАПКАН

1

Костер гас, белый дымок тянулся к шумной горной речке. Панков, повар экспедиции, почесал искусанные комарами босые ноги и, взяв с углей закопченный чайник, сказал ботанику и зоологу:

— Как завтра до склада доплывем, накормлю я вас, товарищи начальники, по-настоящему. Там у меня и крупа, и сахар, и сухари неподмоченные.

Он искоса взглянул на ботаника, который, откинув накомарник, опершись локтем о нагретый осенним солнцем камень, пил из эмалированной кружки чай.

— Тогда,—продолжал Панков,—Константин Петрович и разговеться разрешит. Две банки спирта—не везти же их обратно в Ленинград!

— А вы что, соскучились, Панков? — спросил Константин Петрович, поглядывая сквозь очки на повара.

— По спирту? Не так чтоб уж очень, а все же есть. Да ведь и то сказать, дело мы сделали. Цветочков насобирали, шкурку насолили, камней столько, что лодка тонет. Чего ж и не приложиться? — Панков облизнул губы. — Я как выпью, так сразу свой организм и почувствую.

— И часто вы его чувствуете? — спросил, засмеявшись зоолог.

— На деле не пью, а в выходной без этого. На меня жизнь и так криво глядит, почему и не поутешить себя.

В Ленинграде Панков долго и настойчиво упрашивал взять его в экспедицию, думая, вероятно, без особого

труда получить большие деньги. Но путешествие по горам и реке, усеянной камнями, оказалось очень тяжелым. Лето выдалось дождливое, камни не раз пробивали лодку, приходилось вручную на себе, таскать из лодки груз, бродить в холодной воде по колючему каменному дну.

Панков откровенно сказал однажды ботанику:

— Константин Петрович, это я все беды на вас наворожил!

— Какие беды? — спросил Константин Петрович, выжимая мокрый накомарник.

— А вот дождь и что лодка кувывается... Мне всю жизнь не везет...

— Ну, что касается дождей и лодки, то это уж не ваша вина, — успокоил Панкова Константин Петрович, — в экспедиции разное случается.

— Да ведь это не все еще, Константин Петрович, — продолжал Панков, — вам, как некурящему, невдомек. А ведь нынче искурил я табак, перекинулся на листья, на мох, все курю, а потом наткнулся на какие-то катышки. Сколько угодно их под ногами валяется. Курнул раз, курнул два... Ну, замечательно ароматичный и крепкий табачок! И ведь что же оказалось?

— Знаю, — улыбнулся Константин Петрович, — мне Сергей Иванович сообщал.

— Да, — вздохнул Панков, — оказалось, это я курю помет полярной куропатки. Только мне так может повеселиться.

Теперь Панков часто мечтал о запасном складе, где есть настоящие папиросы и продукты для вкусного обеда.

Склад был устроен два месяца назад на холме. На доски аккуратно уложили продовольствие, гербарные папки, заспиртованные шкурки. Все это покрыли брезентом и, натывав вокруг палок, обвязали их веревкой.

2

Медведь очень жалел, что комаров здесь больше, чем мышей. Комары страшно надоели ему, он то и дело вытирал морду лапой. Бежал на четвереньках и срывал дерн, под которым любили скрываться мыши. Однако и комары не стгавали, они безбоязненно лезли в глаза медведю, кусали черный нос. Медведь терся мордой о свежевзрыхленную землю и, глухо ворча, неся дальше. С самого утра медведь почти ничего не ел, сжевал только несколько маленьких корешков.

Вдруг медведь заметил на взгорьи какой-то большой серый камень. Медведь сел и внимательно вгляделся в камень. Теперь он уже совершенно ясно различал веревку, опоясывающую камень. Это заинтересовало.

Втянув настороженно воздух, медведь направился к холму. Приблизился к самому камню, принохиваясь, обошел вокруг и понял, что это не камень, а съедобная куча. Опасаясь хитрой ловушки, медведь коснулся лапой веревки и сразу отскочил. Все было тихо, по-старому звенели комары. Веревка, подождав, успокоилась. Медведь опять шагнул к серой куче и сунул морду над веревкой. Пофыркивая, с удовольствием вдыхал вкусный запах. Комары облепили медвежий нос. Медведь сердито щелкнул лапой по окровавленному носу и, зацепив нечаянно веревку, разорвал ее. Кусок веревки валялся на земле. Тогда, осмелев окончательно, медведь сдернул когтями брезент и принялся ворошить банки. Пригоршнями доставал макароны, крупа сыпалась из разорванного бока жестяной банки. Банка с колотым сахаром упала и покагилась, загремев, медведю под ноги. Зажав пучок макарон, медведь кинулся в сторону и уже больше не трогал эту банку. Вырвав из другой банки запаянную крышку, медведь наткнулся на спирт и стал пить. В горле у него давно пересохло и медведь жадно глотал из банки. Опорожнив банку, он взглянул на деревья. Де-

ревья стояли не шелохнувшись, в голове же медведя шумело, как в бурю в лесу. А пить хотелось еще и еще. Медведь откупорил новую банку — там лежали заспиртованные мышинные шкурки. Медведь выпил спирт и тщательно обсосал каждую шкурку.

Глаза налились кровью, помутнели. Ему захотелось кататься. Разбрасывая банки, мешки, медведь прыгал, переворачивался через голову. Он чувствовал, что гора, с которой он летит, делается все выше и круче. У него захватывало дыхание. Ковыляя, он кое-как добрался до ближайшей елки и, ткнувшись носом в мох, повалился на бок и заснул сильнее, чем зимой в берлоге.

Он не учуял, как к берегу пристала лодка, как на холм поднялось трое людей.

Заметив разрушенный склад, зоолог бросился подбирать раскиданные среди гербарной бумаги и банок шкурки.

— Мои бедные шкурки! Мои редчайшие шкурки полевок! — восклицал зоолог. — Кто же это все сделал?

— Не ходите здесь, Сергей Иванович! — закричал Панков. — Здесь же крупа с макаронами. Господи, не топчите макароны! Это, наверно, медведь накуролесил.

Ботаник собирал гербарные листы и говорил:

— Ах, варвар, варвар, что натворил!

— Константин Петрович, — мрачно сказал Панков, — это все я. Уж я такой несудьбистый человек.

— Идите вы к дьяволу с вашей судьбой! — огрызнулся ботаник. — Сами мы виноваты, — надо было как следует лабаз устроить.

Панков прислушался, подбежал к елке, вернулся на цыпочках, бледный и, приложив палец к губам, прошептал:

— Тс-с! Они тут.

— Кто «они»? — спросил ботаник.

— Медведь, — шептал, оглядываясь, Панков.

— Где? — вскрикнул зоолог, схватив ружье. — Сейчас убью подлеца!

Взведя курок, зоолог побежал к елке. Ботаник обогнал его и поднял руку. Медведь храпел, тучи комаров вились над ним, весь нос был усеян багровыми от крови комарами.

— Сергей Иванович, — сказал вполголоса Константин Петрович, — давайте мы

его живьем добудем! Пустой ящик в лодке есть. Пока покараульте!

Зоолог остался сторожить медведя. Константин Петрович с Панковым притащили вместительный, крепкий, с железными перекладинами ящик. Раскрыв ящик, они молча поставили его набор возле самого медведя. Панков сделал знак зоологу, потом, быстро нагнувшись, втиснул медведя в ящик. Константин Петрович захлопнул крышку. Медведь перевернулся в ящике и заворочался. Панков закрыл ящик на замок и погрозил кулаком:

— На копейку выпил, а накуражился на сколько!

— Варвар, одно слово — варвар, — сказал Константин Петрович. — Много он нам научных трудов погубил, пусть сам науке послужит, подарим его Зоосаду.

— А чем этот подлец дышать будет? — спросил зоолог, подняв повыше ствол и осторожно спуская курок.

— Я дрелью просверлю сейчас дырочки, — сказал Панков.

Опилки угодили в ноздрю медведю, он чихнул и открыл глаза.

— Ну чего? — спросил медведя Панков. — Переложил чересчур? Может, опохмелиться прикажете? Или, может, кисленького чего? Рябинки, например?

Медведь прыгнул, больно ударившись головой о тяжелую крышку ящика, упал и заревел.

— Ага, — нравоучительно сказал Панков, — вот оно чего вино делает! А насчет ящика не беспокойся, он и двух таких выдержит.

3

В экспедициях Панков больше никогда не бывал. Он устроился продавцом в «Гастрономе».

В выходные дни Панков нередко посещает Зоологический сад. Встречая по дороге в сад знакомых, Панков говорит:

— В Зоосад бегу. Надо одного приятеля там попроведать.

Отдав билет. Панков направляется

в ресторан и выпивает залпом два-три стаканчика водки.

— Теперь я свой организм чувствую, — говорит он буфетчице.

Купив несколько французских булок спешит к медведям. В самой крайней клетке живет медведь, привезенный Панковым. Просунув лапу сквозь решетку, медведь смотрит на столпившихся возле клетки зрителей. Панков снимает шляпу и говорит:

— Здравствуй, Варвар!

Медведь вглядывается в Панкова и принюхивается. Медведь уже почти забыл тайгу, она только изредка и смутно ему снится, но водочный запах о чем-то напоминает медведю. Коротко рыча, медведь поднимается на задние лапы и тянется к Панкову.

— Узнал, узнал! — смеется Панков. — Как не узнать! Я ж его из лесу сюда доставил.

— Вы охотник? — спрашивают Панкова.

— В жизни ружья не касался.

— А как же вы его достали?

— Уж я человек такой удачливый, голыми руками медведей ловлю.

— Нет, правда, как? Капканом?

— Капканом. Рюмочным капканом. Знаете этот самый рюмочный капкан?

И, выразительно щелкнув пальцами возле кадыка, рассказывает историю поимки медведя.

— Допился, значит, до тюрьмаги, — сочувственно говорит кто-то.

— Что медведь! — подхватывает женщина. — И люди до доброго не допиваются.

Появляется уборщица. Она несет медведю завтрак — морковь, картофель, свеклу.

— Будьте ласковы, — подает ей булки Панков, — и от меня! Я на него зла не имею. Конечно, безобразить так не полагается. . . Ну, будь здоров, Варвар!

Панков раскланивается. Медведь, разломив булку, все еще ловит запах Панкова. Долго смотрит вслед Панкову, и только когда этот человек исчезает за поворотом, медведь принимается грызть булку.

О ЛЕНЬ

Уже полтора десятка лет исполнилось оленю-дикарю. Он был стар и дряхл, одно копыто сломано, линял он позже всех и давно уже не гонялся за самками.

И вот, когда стадо переходило через быструю горную речку, его сшибло течением с ног. Вода, светлая и холодная, потащила его, каменистое дно рвало шерсть со впалого бока, головой олень ударился о большой гладкий камень. Хорошо, что на повороте оказалась галечная коса. Он еле-еле выкарабкался и с закрытыми глазами, кашляя, долго дрожал на мокрых гальках.

А ведь из этой речки он впервые в своей жизни пил воду! Он уже забыл, как пятнадцать зим назад мать привела его сюда и, показывая пример, напилась сама. Взглянув на мать, он коснулся воды мягкими губами и зачихал — вода попала в ноздри. Он куснул воду зубами и сделал несколько глотков. Вода показалась ему слаще материнского молока.

Широкая долина, по которой текла речка, была окружена горами. Почти все вершины украшал снег, но на одной, более низкой, снег бывал только зимой и поздней осенью. Рослые горы с некоторой снисходительностью косились на свою подругу, коротышку с темной макушкой.

На этой горе и прошла вся его жизнь. Вон там в кустах полярной березки он родился, а выше по серым лишайникам бегал осенью с хмельной головой за самками. Он любил свою гору и ни на что не променял бы ее. Часто взбирался на ее узкую вершину и, с радостью вдыхая холодный воздух, глядел на долину и речку, на соседние вершины, покрытые снегом. Он бил копытом, словно желая проверить, не скрыт ли где-нибудь под камнем снег. От удара вспыхивала желтая искра, но снега не было.

Открыв глаза, он увидел, что стадо с какой-то настороженностью следит за ним. Любопытные телята хотели приблизиться к старику, которого поваляла вода, но матери преградили им дорогу.

Олень понял, что он скоро умрет, и не побрел за стадом. Оглянувшись на ухивших оленей, он начал медленно подниматься в гору. Он поровнялся с полярными березками. Листья березок уже покраснели. Дикарь сорвал листик и разжевал, не почувствовав вкуса.

Он поднимался с трудом, спотыкаясь и падая. Из раскрытого рта вывалился сухой язык, словно олень пробежал много верст. Но, подгоняемый близостью смерти, он миновал лишайники и лез по каменистой круче. Стайки горных куропаток безбоязненно кружились над его головой. Мелкие камни выкатывались из-под ног, и вороны встревоженно каркали, когда камни шуршали возле их гнезд.

До вершины было уже близко, однако путь тяжелел с каждым шагом. Олень уже плелся не по прямой, а зигзагами.

Наконец он достиг давно знакомой и родной вершины. Ноги подламывались, хстелось лечь и долго-долго отдыхать.

Собрав остаток сил, твердо стал на вершине и, прощаясь, пристально взглянул на долину, на речку, на соседние горы с яркими снежными шапками.

Потом упал на передние ноги. Сердце у него колотилось, глаза с неподвижными редкими ресницами были широко открыты.

Он ткнулся мордой о камень. Постояв на коленях, упал на бок и, глубоко вздохнув, дергаясь, вытянулся.

С годами истлело сердце, ветер растащил по клочьям гнилую шерсть, дожди и птицы сорвали с костей мясо. Скелет — белые, чистые, крепкие кости — хранился среди камней на вершине.

И теперь, даже в июльские жары, в самые пылающие полдни, когда и на высоких горах исчезает на время снег, здесь, на приземистой и узкой вершине, ослепительно сверкает жемчужной россыпью снег.

Виктор Головин

НА СТАНЦИИ МЕТРО

Тогда в Москве трамваи не ходили.
Случалось, редко-редко — грузовой.
Груженные людьми автомобили
Куда-то шли, трясясь, по мостовой.

А в доме хлеба с вечера ни грамма!
Осенний день за окнами свинцов.
Война... О ней напомнил красный мрамор
И в светлых нишах статуи бойцов.

Рабочий — с тульской длинной винтовкой,
Матрос — с наганом в бронзовой руке.
... Красногвардейцы с песней шли Покровкой
На Курский. Голод. Фронт невдалеке.

И, глядя на бойца на постаменте,
Чей твердый палец замер на курке,
Он вспомнил кровь — на пулеметной ленте,
Найденной им на пыльном чердаке.

Трагедия, укрытая от взора:
Как знать — чья кровь? И пусть, в конце концов,
Вот этого рабочего, который
Суровым взглядом смотрит вам в лицо.

Отрадно знать, что пролита не даром,
Землей так жадно впитанная, кровь.
... Москва — сто раз спаленная пожаром
И в первый раз построенная вновь!

С. Марвич

ДЕВЯТКА

ЗАМЕТКИ ИЗ БЛОКНОТА

1. СТАРЫЙ ТРАМВАЙНЫЙ БИЛЕТ

«Городские железные дороги». Так отпечатано на старом билете. Под надписью — герб этих дорог. В него врисован рожок. Возможно, это память о временах дилижансов.

Я нашел этот билет заложенным в старой книге, билет трамвайного маршрута номер девять. Сколько же лет он пролежал в книге? Быть может, этот билет — ровесник ленинградскому трамваю и маршруту номер девять, в вагоне которого он когда-то был оторван от катушки и с тех пор треть века пролежал ненужный, забытый, затерянный среди страниц толстой книги.

О многом он мне напомнил. Узкая полоска серой бумаги стала для меня лупой времени. Я смотрел через эту лупу в прошлое. Время замедлило свой ход, и те перемены, которые теперь так привычны для глаза, я видел в движении, я видел, как отдельно появлялась каждая из них.

Товарищ старый билет городских железных дорог! Я приглашаю тебя спустя треть века вновь совершить поездку по твоему маршруту. Вспомним старое, увидим новое.

Я не случайно выбираю девятку. Она — самый маститый, содержательный, яркий маршрут ленинградского трамвая. И самый постоянный. Девятка сохранила свое направление. Ее линия осталась той же, но далеко продолжена в оба конца города. Девятка связала два славных заслуженных в боях за новый мир пролетарских района. И здесь открывается богатейшая история маршрута.

Я очень люблю о ней думать, если случается мне проезжать девяткой из конца в конец города, будь то осенью, когда мокнет рябина в палисадниках Лесного, или в распутицу, когда из-под колес трамвая бежит лента коричневой воды, или в те дни, когда на деревьях у Выборгского кольца девятки набухают почки.

На этот раз я еду в зимний солнечный день.

Вагон трамвая стоит на кольце. К нему из ворот политехнического городка спешат две девушки: одна — в пуховом берете, другая — в ушанке; с ними немолодой человек в каракулевой шапке. Он несет портфель и кожаную тубу. В такой тубе возят чертежи. Вошли три подростка в шинелях и фуражках ремесленного училища. Они остались на площадке: так им интереснее — всё видно по сторонам.

Трамвай ушел с кольца. Здесь девятка идет быстро. Мелькнул выступ высокого нового дома, а рядом — оторопевший от такого соседства кривой, прижатый к земле домишко. Он доживает последние годы. Это старожил Выборгской стороны. Он помнит те времена, когда дома стояли на пустырях, а не на улицах, когда Обломов поселился у Агафьи Матвеевны Пшеницыной и на Выборгскую забегали волки.

Земля здесь была дешевая. Чиновники строили за Невой дачи и по воскресеньям ходили слушать музыку на полюстровские воды. Знать в этих местах не селилась, но ей здесь отводили леса для охоты. Выборгская сторона оживилась позже, чем другие пригороды старого Петербурга. За Нарвской, за Невской,

вдоль Обводного канала уже видны были большие заводы, а жизнь на Выборгской оставалась сонной. Новых улиц не прокладывали. В лесу стояли молочные мызы.

Зато в середине века Выборгская заторопилась. В это время она росла гораздо скорее, чем другие окраины столицы. Землю здесь отдавали по дешевке. Дешевы были рабочие руки. Началось огораживание огромных пустырей. Пришел иностранный заводчик. Так появились здесь Парвиайнен, Эриксон, Лесснер, Розенкранц, Нобель, Рено. Собираясь поставить свой корпус король цельнотянутых труб Маннесман. Русский заводчик на этих пустырях почти не оседал. Он с трудом выдерживал такое соседство.

В последние годы века в Лесной провели городскую железную дорогу. Пять коночных вагонов, от которых были отставлены лошади, тянул кургузый паровичок с огромной трубой. На его площадках лежали вязанки дров, а перед колесами были укреплены две метлы, чтобы сбрасывать с пути посторонние предметы. Устройство этой машины было диковинное, словно паровичок строили те самые тульские кузнецы, которые подковали блоху. У паровичка был совершенно одинаковый вид спереди и сзади. Конечное кольцо ему не требовалось. Окончив маршрут, он по боковому пути обегал свой состав и пристраивался к нему с противоположного конца. Машинист и кочегар менялись местами. Один переходил на заднюю площадку, ставшую передней, другой — на переднюю, ставшую задней. Только и всего. И тут и там имелись запасы дров, дверца топки, колокол с веревкой, две метлы впереди колес.

Паровичок шел в Лесной. Там среди сосен начали закладывать белые корпуса нового большого института. Из этих стен русские заводчики должны были через несколько лет получить знающих инженеров, которые сумеют поставить дело по-эриксоновски, по-маннесмановски, по-заграничному.

Это было на том месте, откуда в этот зимний день отправляется наша девятка. В этих корпусах почти сорок лет тому назад начал свою работу профессор Федотьев. О его трудах будет уместно вспомнить сейчас. В начале века он показывал в лаборатории Политехнического

института чудесную новинку — ванночку для электролиза алюминия. Это была лабораторная модель тех ванн, которые уже стояли на французских заводах.

Паровичок, который был одинаков спереди и сзади, ходил к белым корпусам нового института. Паровичок исторгал из себя больше копоти, чем скоростной Колея была одна.

Паровичок подолгу ждет встречного на одном Муринском проспекте, на другом. На открытой верхушке вагона, которую звали «империалом», раскачивается под осенней непогодой пьяный. Сидят два плотника из деревни и с ними испуганный городом подросток, вахтер из казенного дома с медалью за турецкую войну. Чахлая женщина с грудным ребенком на руках. Изъеденный жаром литейщик со старого Лесснера. Проезд на империале стоит на две копейки дешевле, чем внизу, под крышей.

Вот он, старый Лесной! Долгие стоянки паровичка. Палисадники с зеркальным шаром на клумбе. Кабаки с граммофоном. Затянутые зеленой тиной пруды. Кривой фонарь, кривые на обе стороны дома. И трубы со стороны Сампсониевского проспекта. Много труб...

Профессора ездили в институт на паровичке. Каждый год студентам нового приема объясняли процесс электролиза. Каждый год из белых корпусов института выходили с дипломом знающие инженеры. Но когда заводам требовался алюминий, они выписывали его из Франции. Этот металл дешевле. Зачем тратить деньги на сложные установки, на поиски минералов? Правда, еще Ломоносов говорил, что минералы сами на двор не придут. Ну и не надо. Пусть придет готовый металл через таможню!

Шли другие годы, близкие к нашим, напряженные, богатые надеждами. Случалось, что паровичок не коптил в пригороде. Тогда он лежал поперек проспекта баррикадой. Разразились дни пятого года. За них и Выборгская, и Нарвская, и Невская, и Московская заплатили кровью. И вот поднят тихходный паровичок с земли. И те же пассажиры сидят на империале. У Выборгской были свои годы роста, но теперь рост остановился. У ворот заводов по утрам томятся безработные. К полудню они расходятся.

Пришло время исчезнуть паровичку.

Его заменил трамвай. Но девятка еще не дошла до белых корпусов института. Ее конечное кольцо было ближе к городу — у Финляндского вокзала. Вагоны с другими номерами маршрутов ходили к институту. Прибавлялось студентов, но лабораторная ванночка по электролизу алюминия оставалась единственной в стране. Русский купец всё еще не давал денег ни на поиски бокситов, ни на новые машины. А бокситы лежали нетронутыми совсем недалеко от города, и в министерстве давно уже покоилась докладная записка об этом.

В двенадцатом году баррикадой на Выборгской стороне лег уже не паровичок, а вагон трамвая. В это время здесь читали первые номера «Правды». Никогда не угасала здесь готовность к новым боям, и время работало на тех, кто поднял знамя этих боев.

Прошло пять лет. Апрельским вечером на привокзальной площади, которая когда-то была кольцом девятки, увидели Ленина. Окончилось его второе изгнание. Но предстояло третье — самое короткое — перед великой октябрьской победой.

Она пришла. Но впереди лежали годы тяжелых испытаний. Выборгская отдавала фронтам гражданской войны лучших своих сынов. Заводы работали в четверть силы. Вагон угля, прорвавшийся с юга, был сказочным богатством. По этим улицам не ходили ни трамвай, ни паровичок. Рельсы лежали под снегом. Два дома вселялись в один, и опустевший разбирали на дрова. Мало осталось людей и в белых корпусах института. Корпуса подолгу стояли темные. Однажды аудиторию осветили свечкой, которую студент добыл в часовне. И всё же работа не остановилась, и мысль не умерла. В те годы в этих стенах создали новый научный институт. Теперь он расположен в новом доме, за оградой городка, окруженный прямыми, высокими северными соснами. О его работах знают физики всех стран.

2. ВЕЧЕРНИЕ ОГНИ

У Флюгова переулка девушка в ушанке захлопнула книгу. Подруги распрощались. Они сделали это с оттенком веселой лукавости, словно у них есть общая забавная тайна, о которой никому не надо говорить. Оставшаяся поверну-

лась к полузамерзшему окну и помахала подруге перчаткой. Немолодой пассажир, который вез портфель и кожаную тубу, спрятал улыбку в воротник и приготовился дремать до далекой остановки у Пяти углов.

Флюгов переулок... Он существует давно. Дни его были тихие и сонные. Но вот уже лет десять, как он живет очень молодой жизнью. На его пустырях построили дома студенческого общежития. Они выросли в первую пятилетку. Пожалуй, в каждом городе найдешь человека, который помнит о Флюговом переулке, который прожил там годы своей юности, получил оттуда письма и писал туда. Этот переулок нельзя забыть. Он не был занесен в титульный лист огромных первыхстроек, но он рос вместе с ними, и без них ему не было жизни. Ранней осенью, когда в Лесном еще не падают листья, в этих домах начинался слет молодых студентов со всех концов страны. Первые дни слета шумны. Съезжаются начинающие металлурги и физики, механики, химики. Через неделю в этих домах устанавливается рабочая тишина. Сколько инженеров дал этот переулок! Я видел здесь вчерашнего чабана из Средней Азии, немолодого парттысячника из Приморья, парнишку из архангельских лесов, якута. Они не всегда были подготовлены к тому, чтобы в пять академических лет пройти свой курс наук. Но люди привозили с собой железное упорство, и оно побеждало. Отступали единицы.

Если мы сядем в вагон девятки с дорожным блоком в руках, мы заполним наш блокнот на пути от кольца к кольцу. На каждой остановке возникает новая тема. Флюгов переулок достоин своей особой темы.

Но кондуктор уже нажал кнопку звонка. Переулок остался позади. Пролетел не застроенный еще пустырь, откатился назад десяток склеротических, оставшихся от прошлого домишек, и опять пошли по правую сторону высокие новые дома.

Светлые трехстворчатые окна, балконы смотрят в сторону центра и в Лесной, дощечки почты и сберкасс, универмаг длиной чуть не в квартал, широкие дворы, обсаженные деревьями. Сквозь арки ворот на этих дворах мы видим детей с санками. Они одеты тепло, добротной. Их много здесь теперь, в домах рабочих «Красной Зари», завода

имени Карла Маркса, других заводов Выборгской. Кирпич, бетон, много стекла. Вечером огни этих домов видны далеко с остановок девятки.

И вот теперь стоит рассказать об одном человеке, которого я близко узнал. Он сродни первым обитателям высоких домов на Флюговом переулке. Они начали учиться в одно время. И в одно время окончили учебу. Их имена я порой встречаю теперь в газетах. Чабан из Средней Азии занят теперь сложными и тонкими установками по использованию солнечной энергии. Парень из архангельских лесов работает над теми проблемами физики, которые ведут к разрешению сокровенных загадок. Приamoreц занялся вопросами вечной мерзлоты.

По-другому шло ученье у моего приятеля. Он, лекальщик крупного завода, был одним из первых студентов-вечерников. Когда самому лекальщику минуло тридцать четыре, а дома уже бегали двое детей, было нелегко взяться за архитектуру. Наука начиналась на пороге второй половины жизни, трудно начиналась она. Но каждый день после работы он собирал тетради в клеенчатый портфель, и девятка везла его с Выборгской через весь город в вечерний институт. Он приезжал оттуда, когда дети бормотали сквозь сон и жена подмывала, ожидая мужа. Пять лет он отжил с двойной нагрузкой. Но сознание цели стало страстью, и оно оказалось сильнее ночной усталости, сильнее всех препятствий, которыми были обставлены эти пять лет.

Так совершался переход к новому делу. Цель была достигнута. О ней можно было бы сказать коротко: «Рабочий стал архитектором». Но это сухо, как формула. А мой приятель, Петр Семенович, умел мечтать.

Через два года после того, как он окончил учебу, мы бродили с ним по его строительной площадке. Когда-то на этих пустырях Выборгской он слонялся мальчишкой. Теперь он тут возводил дома. Один был готов вчерне, окна были утеплены рогожами и кошмой, под навесом лежали радиаторы. В другой дом в тот день вселялись.

Мы оставались там до темноты. Петр Семенович всё хотел увидеть, как освещают этажи и пролеты нового дома, его дома. Последние машины убирали рас-

сыпанную гарь, щебенку, строительный мусор. Потом мы отступили подальше в темноту, огни зажглись, издалека дом казался огромным кораблем, и корабль словно приближался к нам. Мы постояли и пошли к остановке девятки.

Это было шесть лет тому назад. Теперь Петр Семенович строит дома в Донбассе, а я снова еду девяткой и вспоминаю тот осенний день, когда мы смотрели, как зажигались огни в его первом доме.

На остановке у этого дома садятся двое. Оба свежесвыбриты. Они никуда не торопятся. Можно понять, что у них свободный день. Из разговора выяснилось, что один — бригадир, а другой работает у него в бригаде. Бригадир будет фигурой помельче спутника. Он в меховой куртке с воротником из шкурки стриженной овцы, которую у нас научились выделывать с изяществом. Замечено мной, что небольшие ростом люди питают особое пристрастие к меховым курткам. Его спутник — в черном с каракулем пальто.

Они говорят с паузами, но паузы исходят от бригадира. Он задумывается над ответами. Предмет беседы важный, близкий обоим. Идет разговор о рабочем месте, о том, что с новыми, более совершенными станками условия этого места в пролете сильно изменились.

Сосед в черном пальто с каракулем доказывает, что ящик с инструментом стоит теперь неудобно, что это надо изменить?

— Как же изменить?

Точных предложений пока что нет. Но сосед сделал энергичное движение рукой. Это значило, что медлить в этом деле нельзя, что теряется время.

— А если приделать подножку? — предложил бригадир.

— Утяжелит вес. Это скажется.

— Надо проверить.

— Факт! Заметно утяжелит.

— А если поставить на бабки?

— Вот разве это...

— Сообразим. А можно еще...

Разговор был прерван соседом на площадке. Пассажир доказывал контролеру, что его чемодан относится скорее к карманным вещам, чем к багажу. Пассажир был упорен, и спор продолжался. Из-за него я так и не узнал, как был решен вопрос о ящике с инструментами.

Но разговор об этом, видимо, прекра-

тился. Сосед бригадира стал протирать кружок в замерзшем окне. Бригадир спросил его:

— Ты зачем в город поехал?

Сосед улыбнулся, потому что серьезный разговор пришел к неожиданному повороту.

— Да просит мой: купи игру «Поход в Арктику». Увидел он у приятеля. Здесь в магазинах нет, я искал.

3. ПАМЯТНАЯ ТОЧКА

За проездом под железнодорожной веткой исчезли пустыри. Уже нет старых деревянных домов, которые строили на Выборгской во времена Обломова. Но еще встречаются старые каменные, особые дома прежней рабочей окраины, построенные по дешевке, на дешевой земле и для большого дохода. У них сплюснутый фасад и слепые двory. Это дома тех времен, когда ревнитель православия швед Нобель воздвигал в этом районе церковь. У этой церкви был воинственный характер. Она пыталась сохранить свою былую власть даже после того, как не стало здесь Нобеля. В районе помнят о том, как она бросила вызов новому Дому культуры, построенному по соседству с нею. Это было не так давно. Однажды в тот час, когда в саду Дома культуры начиналось многолюдное собрание, вдруг зазвонили все колокола этой церкви. Звон был яростный, неистовый, злобный. Звонили так, чтобы сорвать собрание. Но вскоре нобелевская церковь замолчала навсегда.

Бригадир в меховой куртке слез у Ломанского переулку и повернул направо от остановки. Можно было догадаться, что он идет в Выборгский дом культуры обменять книгу, взять билет в театр, — для собрания, для лекции еще рано.

За Ломанским переулком девятка идет тише. Улица стала уже, начинаются перекрестные линии. Отсюда трамваи расходятся в центр, к Балтийскому заводу, в Московский район. Направо тянется длинная ограда медицинского городка. Там больше полувека назад начинал свою работу великий Павлов. Налево, за коротким переулком у Финляндского вокзала осталось старое кольцо девятки.

Показалась Нева. Девятка взбирается на длинный мост. Это памятная точка

города. Почти четверть века тому назад в канун великой октябрьской победы здесь стояли отряды выборжцев. Они охраняли мост. Утром юнкера пытались, по приказу Керенского, развести его, чтобы отрезать окраину от центра. С полудня трамваи ходили только до старого конца девятки у Финляндского вокзала и поворачивали назад. Поздним вечером Ленин, переодетый так, чтобы его было не узнать, покинул тайное убежище на Выборгской, перешел через этот мост и повернул по Шпалерной к Смольному. Там уже собирался Второй съезд Советов.

4. НЕЗАМЕТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Три проспекта, по которым дальше идет наша девятка, относятся к центру города. Эта часть города изменилась меньше, чем прежние окраины. Она давно уже плотно застроена. Свободного места здесь не было. Налево от первого проспекта отходят тихие улицы. По ним проносились раньше кареты феодальной знати. С восемнадцатого века на этих улицах стояли ее дворцы. А проспекты, по которым идет девятка, ей были не по душе. Она их не украшала. Зато было много доходных домов. Вид у них по большей части скучный. Что ни владелец, то свой аляповатый стиль. С позднего ампира через те стадии, которые трудно как-либо назвать, эти дома переходят к модерну. Былая простота линий утрачена. Но у этих кварталов есть своя славная история.

Здесь рождалась мысль разночинца, в типографию бежали курьеры «Современника», везли на гражданскую казнь Чернышевского. Здесь, в угловом двухэтажном доме, Некрасов, больной и подавленный, подошел утром к окну. Напротив, у подъезда министерского дома, понуро стояли крестьянские ходоки из дальних губерний. Вышел вахтер, швейцар позвал городского. Они разогнали ходоков.

Некрасов сел к столу, и не было больше ни усталости, ни уныния. Рождались гневные строки «Размышления у парадного подъезда». Поэту казалось, что давно уже эти стихи жили в нем, а теперь он только перенес их на бумагу.

Состав пассажиров в нашем вагоне девятки сильно переменялся. На углах

входит много народа, и уже теряются те люди, которые ехали вместе со мной с конечного кольца маршрута. Последние остановки додремывает пассажир, упрятавший лицо в воротник. Пяти углов он, надо думать, не пропустит. За долгие годы этих переездов у него выработался безошибочный инстинкт, который сильнее дремы. Скоро сойдет и спутник бригадира. Ему надо в «Пассаж», отыскать настольную игру для сына. Но у него есть еще одно дело в трамвае.

В вагоне дребезжала рама, особенно на крестовинах. Должно быть, ремонтный слесарь в парке сегодня ночью не очень внимательно отнесся к вагону. сосед бригадира, покинувшего девятку у Ломанского переулка, оглядел раму и точно установил причину. Он вынул карманную отвертку и накрепко завинтил два вылезших из гнезда шурупа. Сделал он это по-хозяйски, как свое коренное дело, словно на минутку перешел в другую бригаду. И рама перестала дребезжать.

Это незаметное движение было простым, уверенным, естественным, как дыхание человека. И никто ничего не сказал. Но это простое движение воспитали великие перемены, и вряд ли оно было возможно в старой девятке.

5. КОНЕЦ МАРШРУТА

Вот пройден и третий проспект в центре города. Показался большой дом Технологического института. Девятка пересекает Международный проспект. Больше ста лет тому назад Александр Сергеевич Пушкин, неутомимый ходок, шел этим проспектом за Московскую заставу и дальше в Царское Село и возвращался к вечеру. В самом начале проспекта стоит дом, о котором он не мог не вспомнить, проходя мимо. В этом доме учился военный инженер-путеец Александр Бестужев, один из пяти декабристов, казненных на кронверке Петропавловской крепости. Пушкин писал «Полтаву», и на полях рукописи не раз появлялась перекладина с пятью повешенными. Этот образ никогда не оставлял его.

У меня сохранилось смутное воспоминание детства. Помнится, что, пересекая улицы, наименованные по номерам рот гвардейского Измайловского полка, де-

вятка потом шла через мост прямо на стену, в которой была выложена мозаикой икона богородицы. Сезонники, выходя из вокзала, зажигали возле иконы свечи. Это была последняя молитва перед поисками работы. На чахлой траве по берегам Обводного канала спали босяки. Они уже ничего не искали, в знак полного презрения к жизни выводили мелом на подметке рваного сапога: «Не буди, два рубля». Они знали, что два рубля были в этих местах сказочной ценой за рабочие руки и поэтому никто их не разбудит.

Это было самое больное место старого Петербурга, его дно. Санитарный врач, который издал брошюру о жизни этих улиц, был немедленно выслан жандармами. В брошюре содержались одни только цифры, но к ним не нужно было ничего добавлять. Цифры сами составляли понятную для всех страшную правду. На этих улицах норма жилья на человека опускалась до гробовой. Человек занимал ровно столько места, сколько нужно было для того, чтобы вытянуть ноги в тяжелом сне. Но была еще другая норма, которую мрачные шутники называли «полугробовой». Одно и то же место на нарах сдавали двум жильцам. Днем отсыпался тот, кто работал ночью, а на ночь место занимал тот, кто отработал свое днем. Но и это еще не предел нищеты. Селились в ямах пустыря, жили под мостом, между штабелями дров. Устраивались на вмерзших в канал барках. Если в сумерках от барки исходил дымок, это значило: се человек! Днем дымок не показывался — могли заметить на берегу и согнать с барки.

Канал обнесен гранитом, давно исчез петербургский босяк, обитатель унылых берегов, застроены пустыри. У Балтийского вокзала было второе конечное кольцо старой девятки. Больше двух десятилетий очень уж короткой была дорога, отходившая от этого вокзала. Теперь волей братского народа дорога, перерезанная на две неравные части, сомкнулась и оканчивается у берегов Балтики. Вокзал не напрасно сохранил свое название.

Кольцо девятки давно уже перенесено дальше, к Нарвским воротам. Налево вдоль канала остаются разросшиеся корпуса «Красного Треугольника», марка которого известна во всех пяти частях света. Не осталось и следа от старой,

пердевшей Таракановки: она засыпана, **в** ее месте проходит новая улица. На **г**лу этой улицы в вагон садятся чет- **веро** парней. Очевидно, это заводские **локкеисты**. У каждого — ключка, а конь- **ки** в кожаном футляре они держат бе- **режно**, как музыкант хорошую скрипку.

Последний поворот трамвайного пути. **Н**ачинается улица, которой много забот **отдавал** Киров. Он застал ее грязной, **без** фонарей, с булыжником, глубоко **уп**едшим в землю. Старый город обры- **вался** далеко до этой улицы. Тут были **владения** Нарвско-Петергофской поли- **цейской** части, окраина, а не город. **Вспомним**, что весь город разделен был **на** полицейские части. Всё здесь пере- **делано**. К Дому культуры ведет широ- **кий**, по вечерам залитый огнями про- **спект**. Он не уступает центральному. Ча- **сто** здесь видели Кирова, когда шла пе- **рестройка**. Порой он приезжал рано, **с** гудком первой смены, иногда загляды- **вал** после работы. В плаще и фуражке **он** пробирался по буграм переворошен- **ной** земли, говорил с каменщиками, **с** архитекторами, находил доброе слово, **веселую** шутку для хорошего работника **и** никогда не забывал людей, с которы- **ми** встречался здесь.

До конца пути осталось не больше **минуты**. За поворотом покажется Нарв- **ская** арка.

Рано! Слишком рано! Еще не все пас- **сажиры** знакомы нам.

На месте у выхода, которое отведено **для** матерей с детьми, сидит работница **с** двухлетним сыном. Мать уже немоло- **да**. Это ее последний ребенок, может **быть** неожиданный. Она везет его из кон- **сультации**. Его там мерили и ставили на **весы** и поощрительно шлепнули за хо- **роший** вид. Потом шел разговор о том, **как** его кормить и одевать. А мать, ожи- **дая** в приемной, рассказывала соседке, **что** между этим сыном и старшим до- **волью** много годов.

Несмышлеными еще руками ребенок **лезет** в лицо матери, и немолодая жен- **щина** говорит со счастливой хрипотцой **в** голосе:

— Сынкà, да ты мне глаза выцара- **пашь!**

В этом месте у улицы небольшой из- **гиб** вправо. Остановок больше нет. Де- **вятка** ускоряет свой бег. Остались пос- **ледние** секунды.

Мне не хочется выходить из девятки, и

я вспоминаю еще одного пассажира. Но видел я его не здесь. И жил он при- **зрачной** жизнью. Он был одет в поно- **шенную** шинель, в серую папаху, и к **борту** шинели была пришита ленточка **георгиевского** креста. Он вышел на коль- **це** девятки и, растерянный, осмотрелся **вокруг**. Он не узнаёт старых мест. Оста- **лась** только арка с бронзовыми конями, **а** где же кривые дома, лепившиеся вниз, **где** кабак «Стоп-Сигнал»? Дома все **новые**, высокие. Он еще раз мучительно **оглядывается**. Вот небывалой величины **фабрика** с остекленным переходом, под- **нятым** высоко над землей. Куда же он **попал?** Как зовут этого человека? Лишь **вчера** он вспомнил свое имя. Это унтер- **офицер** Филимонов,¹ потерявший память **в** первую мировую войну. Теперь память **вернулась**. Но как изменился мир за то **время**, пока Филимонов жил в глухом **забытьи!** Как радостно и светло стало на **старой** земле!

Да, о старой окраине напоминает толь- **ко** тяжелая триумфальная арка. Ее слава **окончилась**. Она не замыкает города за- **ставой**. Окраины больше нет. Впереди но- **вые** улицы, бесконечный проспект. И дале- **ко** над домами мы видим статую Ленина.

Когда-то возле арки стоял слепой, не- **заметный** дом. В августе семнадцатого **года** в нем собирался шестой съезд пар- **тии**. Ленин был в последнем подпольи. **Наступали** грозные дни. Съезд партии **взял** курс на восстание. И великие корм- **чие** провели корабли сквозь бурю.

Теперь на этом месте стоит огромный **Дом** культуры. Я помню, как здесь де- **сять** лет тому назад на подмостках сце- **ны** перед двумя тысячами зрителей луч- **шие** путиловцы в рекордный срок соби- **рали** трактор. Я помню, как из окна по- **езда**, шедшего на юг, путиловцы прово- **жали** взглядами колонну своих тракто- **ров**, бороздивших украинскую степь. Но **показатели** нашего времени растут не- **удержимо**. Те скорости и те машины **остались** позади.

Маршрут девятки окончен. Она отды- **хает** на кольце. Мы покидаем ее.

Привет тебе, девятка! Ты хорошо по- **служила** на своем веку. Служи и даль- **ше** великому городу, пока и тебя не **сменит** новая скорость! И благодарная **сохранится** память о твоём маршруте че- **рез** весь город.

¹ Герой картины Фридриха Эрмлера «Обломок империи».

А. Черненко

В Н-СКОМ СТРЕЛКОВОМ

В кабинете батальонного комиссара было светло от двухсотсвечевой электролампы. Разноцветная карта Европы ярко выделялась на фоне темных обоев. В дальнем углу, у печки блестел металлическими частями мощный пулемет.

Батальонный комиссар Шубин рассказывал о коренной перестройке в боевой подготовке бойцов, командиров и политработников Красной Армии.

Наша беседа затянулась до позднего вечера. Она закончилась бы гораздо раньше, но к комиссару то и дело звонили по телефону, приходили бойцы, командиры, политработники. Вот и сейчас опять кто-то постучал в дверь.

— Войдите! — негромко откликнулся Шубин.

Вошедший красноармеец, приложив руку к шлему, четко сказал:

— Разрешите доложить, товарищ батальонный комиссар.

— Докладывайте!

— Ваше приказание, товарищ батальонный комиссар, выполнено...

— Хорошо.

— Разрешите итти?

— Пожалуйста, товарищ Егеров.

— Есть, товарищ батальонный комиссар.

Однако красноармеец медлил уходить. Его бледное, худощавое лицо было чем-то озабочено.

Шубин, вскинув на бойца свои голубые усталые глаза, тихо спросил:

— У вас есть дело ко мне, товарищ Егеров?

— Да, товарищ батальонный комиссар.

— Боец замялся, неловко переступил с ноги на ногу, а затем, подтянувшись, решительно продолжал: — Так что товарищ батальонный комиссар, наша рота должна на днях пойти в тактический поход за город.

— Возможно, — неопределенно протянул Шубин.

— Хочу доложить вам: во время этого похода я непременно заболую.

— Да? — Шубин слегка, как бы нехотя, улыбнулся. — Вы, значит, хотите, чтобы я освободил вас от похода?

— Нет, товарищ батальонный комиссар. Я здоров. Но вот... полста километров пешком... по снегу... и в такой мороз... Непременно простужусь.

Шубин вопросительно посмотрел на бойца.

— Бойтесь, значит, товарищ Егеров?

— Не боюсь, товарищ батальонный комиссар. А так что точно знаю: непременно заболую! Такая уж у меня натура. Как чуть простыл — так и в постель. Эдакий поход — нелегкая штука!

— Конечно, нелегкая штука, — ответил Шубин. — Но вы же не один пойдете, товарищ Егеров. Вместе с вами пойдут ваши товарищи. Весь коллектив. Вся рота! Трудно будет — товарищи помогут вам. И притом мороз человеку совсем не страшен, если человек находится в движении.

Егеров молчал.

— Ну, а если вы чувствуете себя плохо, — добавил, наконец, Шубин, — обратитесь к врачу!

— Что вы, товарищ батальонный комиссар! Я здоров.

— Тогда в чем же дело?

— Хотел предупредить вас, товарищ батальонный комиссар. Непременно я заболел.

Шубин снова улыбнулся.

— Не заболете, товарищ Егеров! — сказал он как-то просто и убеждающе.

После ухода красноармейца Шубин на секунду задумался, потом, раскрыв блокнот, записал:

«Егеров не должен заболеть!» — и, подчеркнув эти слова, отодвинул блокнот в сторону.

Наш разговор продолжался.

— Нарком товарищ Тимошенко, — сказал Шубин, — решительно призвал нас отказаться в боевой учебе от условностей, от шаблона. Он призвал нас перестроить боевую подготовку в соответствии с теми новыми требованиями, которые предъявляются сейчас Красной Армии советским правительством, партией и лично товарищем Сталиным. Нарком призвал нас максимально приблизить учебу красноармейцев и командиров к условиям действительно боевой обстановки. Он указал, что надо помнить старое суворовское правило: «Тяжело в учении — легко в бою».

Тут Шубин быстро поднялся из-за стола и, закулив папиросу, энергично зашагал по кабинету. От его медлительности не осталось и следа. Взволнованно он продолжал:

— А вы знаете, что сталинские принципы обучения и воспитания войск начали претворяться в жизнь еще во время боев с белофиннами?

И Шубин рассказал о том, как при подготовке к прорыву «линии Маннергейма» С. К. Тимошенко организовал специальное обучение войск, подобное тому, какое в свое время и в другой обстановке проводил Суворов перед штурмом неприступной турецкой крепости Измаил. Создавая искусственную крепость с рвами, с крепостными валами, Суворов учил своих солдат преодолевать эти препятствия. Так и С. К. Тимошенко создал в ближайшем тылу находившихся на фронте дивизий специальные городки, учебные поля, подобные укрепленным районам финнов, с минированными полями, проволочными заграждениями, линиями надолб, противотанковыми рвами. Были созданы учебные ДОТы. А в тылу 123-й стрелковой дивизии был даже в точности воспроизведен

целый укрепленный финский район Сумма. И вот тут началась специальная выучка войск.

А дальше вы знаете? 11 февраля начался героический штурм «линии Маннергейма». И через какой-нибудь месяц враг был поставлен на колени и запросил пощады. С того, собственно, времени и началась боевая учеба Красной Армии по-новому.

Шубин прошелся по кабинету.

— Ну, а теперь обратимся к нашему полку, — сказал он после некоторого раздумья. — Наш полк, как и вся Красная Армия, строго выполняет приказ наркома о перестройке боевой учебы. Вот что характеризует состояние боевой подготовки нашего полка: частые тактические выходы за город с маршем по пятьдесят-семьдесят километров и с ночевкой в поле, в лесу, зимние лагеря, боевые стрельбы, длительные ночные занятия... Раньше у нас, например, не было зимних лагерей. Были только летние. И зимой бойцы жили в городе, в казармах. А теперь многие из них проводят зиму за городом, в лесу, в палатках. Вот и сейчас командир нашего полка в зимнем лагере. Проверяет, как идет боевая учеба...

Слушая Шубина, я невольно вспомнил красноармейца Егерова, вспомнил его категорическое «непременно заболелю». И мне захотелось поговорить с батальонным комиссаром об этом красноармейце.

Но комиссар, прохаживаясь взад-вперед по кабинету, с увлечением рассказывал:

— Знаете, хорошо в сосновом лесу зимой! Чистый морозный воздух. Дышится легко и свободно... Вы только посмотрели бы на наших бойцов: загорелые, розовощекие, бодрые...

В это время в дверь кто-то настойчиво постучал.

— Войдите!

В кабинет вошел невысокий смуглый комбат.

— Товарищ батальонный комиссар, — громко сказал он, — по вашему приказанию капитан Шугай явился.

Шубин быстро прошел за стол и, взяв какую-то бумажку, строго взглянул на Шугая:

— Почему вы, товарищ капитан, утврдили расписание занятий командира второй роты, в котором занятие по гла-

зомерному определению расстояния значится в классе?

Капитан молчал.

— Почему, — настойчиво переспросил Шубин, — это занятие проводится в классе, а не в поле?

Тут капитан виновато признался:

— Это моя ошибка, товарищ батальонный комиссар. Утверждая расписание занятий, я невнимательно просмотрел его.

— А вы понимаете, что вытекает из этой ошибки, товарищ капитан? Мы портим людей, не готовим их как следует к будущим боям. Мы забываем, товарищ капитан, слова наркома обороны: «Ничего не делайте условно. Все делайте только безусловно».

— Виноват, товарищ батальонный комиссар. Больше этого не повторится.

После ухода капитана Шубин недовольно сказал:

— Вот видите, как еще живуч шаблон в боевой подготовке! Но сейчас это уже единичные случаи. У нас, знаете, есть замечательные люди, подлинные энтузиасты боевой учебы по-новому.

И, как бы подтверждая слова батальонного комиссара, неожиданно в кабинет вошел младший командир Горбунов, бравый, розовощекий юноша:

— Товарищ батальонный комиссар, разрешите обратиться с просьбой?

— Слушаю, товарищ младший сержант.

— Мне запрещено участвовать в лыжном марше.

— Почему? — удивленно спросил Шубин.

Горбунов замялся:

— Да я тут на днях, товарищ батальонный комиссар, прихворнул немного.

— Ну и что же? Кто же вам запрещает участвовать в лыжном марше?

— Врач запрещает. А я уже совсем выздоровел. — И Горбунов молодежато подтянулся.

— Врач больше нас знает, товарищ младший сержант.

Горбунов слегка смутился, а потом снова обратился к Шубину:

— А все-таки, товарищ батальонный комиссар, разрешите пойти на лыжах! Жаль отставать от товарищей. И такой поход — двадцать километров!

— Беречь себя надо, товарищ младший сержант! — строго ответил Шубин — На лыжах вы не пойдете.

— Слушаю, товарищ батальонный комиссар. — И, громко пристукнув каблуками, Горбунов вышел.

Только было хотел я заговорить с Шубиным о красноармейце Егерове, как дверь кабинета вновь приоткрылась и вошел политрук Тимофеев.

— Разрешите, товарищ батальонный комиссар?

— Слушаю.

— Согласно приказанию командира полка, первая учебная рота в ноль тридцать выходит на ночные тактические занятия. Будут какие дополнительные указания?

— Главное, товарищ политрук, чтобы бойцы знали обстановку, чтобы каждый красноаремец знал свою боевую задачу... Затем, не забудьте выпустить в походе «Боевой листок».

— Есть, товарищ батальонный комиссар.

— А темы политбесед вы уже наметили?

— Наметил. Можно идти?

Но Шубин остановил политрука:

— У вас, товарищ политрук, есть боец Егеров. Обратите на него серьезное внимание. Ему надо помочь. Поддержать его следует.

— Я хорошо знаю Егерова, товарищ батальонный комиссар, — доложил Тимофеев. — Его у нас прозвали «маловером», потому что он мало верит в свои силы и способности. А способный боец дисциплинированный!

— Вот-вот! Помогите ему уверовать в свои силы!

Когда ушел политрук, Шубин сказал мне:

— Знаете, замечательный человек этот Тимофеев. Участник боев с белофиннами. Орденосец. Очень интересно передает свой боевой опыт красноармейцам и командирам... Знаете что? Я вам рекомендую пойти с этой ротой на ночные тактические занятия. И Егерова там встретите, — улыбнулся он, словно угадывая мои мысли. — А главное — на практике увидите, как идет боевая учеба по-новому. Повнимательней присмотритесь к таким командирам, как младший сержант Коротаев и сержант Феоктистов. Роль младших командиров и на войне и в учебе огромна. Младший командир — непосредственный начальник и воспитатель бойцов. Он ежедневно и ежедневно обучает их, воспитывает в них

боевые качества, которые так нужны на войне: храбрость, настойчивость, военную хитрость, возможность переносить все трудности боевой жизни...

Продолжая говорить, Шубин остановился у распахнутой форточки и вдруг, к чему-то прислушиваясь, замолчал.

Снаружи донесся далекий гудок паровоза. Ему откликнулся другой.

— Не могу равнодушно слушать паровозный гудок, — признался он.

Бывший слесарь железнодорожного депо и помощник машиниста, Шубин долго слушал переключку маневренных паровозов.

Раздался телефонный звонок.

— Батальонный комиссар слушает... Ах, это ты, Ниночка? Нет, нет, милая! Сегодня на «Чкалова» не пойдем... Когда? Завтра или послезавтра. На послезавтра у нас билеты в цирк? А я совсем забыл, дочка... Ну что ж, на «Чкалова», значит, завтра пойдем. Нет, нет, не обману! Обязательно пойдем... Сегодня, дочка, попозже приду. Вы не ждите меня. Ложитесь спать...

Шубин повесил трубку.

— У меня, знаете, три дочки... То в кино надо сходить, то в цирк, то в театр... А тут еще, помимо полка, почти каждый вечер учеба. Общеобразовательная и специальная, военная. Вот и сегодня у меня: география и физика. Да у нас, собственно, весь полк учится — от командира полка до рядового бойца. По вечерам одни занимаются в общеобразовательных группах, — а их у нас десятки, — другие идут в лекторий, третьи в «Дом Красной Армии».

И вдруг спохватившись, Шубин быстро прошел к столу. Перелистав блокнот, он громко воскликнул:

— Э, да у меня ведь послезавтра немецкий язык! Целых два часа! Вот вам и цирк! Пропал я, знаете, если не пойду в цирк. Их ведь четверо, — жена и три дочки, — заклюют, засмеют... Обманщик, дескать, обманщик!

Шубин покачал головой, а потом, махнув рукой, сказал:

— Ну ладно как-нибудь выкрутимся... — И, надев шинель, предложил мне: — Пойдемте! Я познакомлю вас с командиром первой учебной роты.

В казарме было тихо и полутемно. Бойцы мирно спали. Дежурный бодрст-

вовал, неторопливо прохаживаясь у дверей.

Не успели мы хорошенько познакомиться с командиром роты, старшим лейтенантом Рычаговым, как вдруг тишину казармы расколот громкий голос дежурного:

— Тревога, тревога для первой учебной роты!

Один за другим вскакивали бойцы. Без шума, без суеты они быстро оделись, разбирали противогазы, винтовки, вещевые мешки.

А командир роты уже отдавал боевой приказ командирам взводов, разъясняя им тему ночных тактических занятий:

— «Противник» нарушил нашу границу и в деревне А только что высадил воздушный десант, намереваясь занять И-скую железнодорожную станцию. Нашей роте приказано к шести ноль ноль прибыть к месту высадки десанта, разведать его численность и огневые средства и до похода главных сил сдерживать «противника», не дать ему продвинуться к станции. А если он окажется малочисленным — уничтожить его.

Вся рота была уже в полной боевой готовности.

Командиры взводов передавали приказ командирам отделений, а те доводили его до каждого бойца.

Я наблюдал за красноармейцем Егоровым. Однако он, как и все бойцы, не выказывал никакого беспокойства, внимательно выслушивая своего чернявого веселого командира отделения, сержанта Феоктистова.

Рота форсированным маршем вышла за город. Была темная морозная ночь. Глубокий снег затруднял движение, но бойцы шли ровно, слаженно.

Впереди роты осторожно двигалась разведка, от нее то и дело являлись бойцы с донесениями. Были выделены и дозоры, охранявшие роту с флангов, спереди и с тыла. В одном из дозоров находился боец Егеров.

Вскоре подул холодный, колючий ветер, посыпал снег. Ветер все усиливался, гоня поземку.

Разведка, которую вел командир отделения, плотный, коренастый младший сержант Коротаяев, осторожно продвигалась вперед. Бойцы-разведчики, пригибаясь к земле, держась подальше от шоссе, прячась за кустарник, зорко высматривали «врага».

Командир отделения внимательно следил за действиями своих разведчиков. Вот он, что-то заметив, заспешил к кустарнику, где шагал Леонов, рослый, плечистый боец.

Ружье у него висело на ремне через плечо, а руки были глубоко засунуты в рукава шинели. Двигался он свободно, совершенно не маскируясь.

— Товарищ Леонов! — строго окликнул его командир отделения. — У вас что, перчаток нет?

— Есть, товарищ младший сержант, — И Леонов тут же взял винтовку в руки. — Холодно уж очень!

— Но ведь вы же, товарищ Леонов, сейчас на войне! А на войне бывают морозы и покрепче, чем этот. А потом, как должен действовать разведчик на войне?

— На войне я буду действовать, товарищ младший сержант, совсем иначе — скрытно.

— А почему же сейчас вы не действуете так? Враг сразу обнаружит вас и уничтожит. Или захватит в плен. Вы можете сорвать всю операцию.

Боец двинулся, уже маскируясь, низко пригибаясь к земле. И вскоре рослого, на голову выше многих других бойцов Леонова трудно было обнаружить среди заснеженного поля.

Мы с политруком Тимофеевым направились к дозору, в котором находился Егерев.

Егерев шел молча, озираясь по сторонам и обходя снежные увалы. Шлем на нем был нахлобучен по самые глаза, воротник шинели поднят и чем-то подвязан — все это, видимо, стесняло бойца, затрудняло его движение. И он громко дышал, шагая по глубокому снегу, порой доходившему до колен.

— Ну, как дела, товарищ Егерев? — спросил его Тимофеев.

— Ничего, товарищ политрук, — ответил боец.

— А от кого это вы так замаскировались? — усмехнулся Тимофеев и кивнул на нахлобученный шлем и высоко поднятый воротник.

— Так что, товарищ политрук, от простуды замаскировался.

— Таким укутанным она вас скорее найдет. Вы же вспотеете, товарищ Егерев! Итти ведь еще километров пятнадцать придется. Наденьте как следует шлем, откиньте воротник!

Егерев молча снял с шеи повязку, правил воротник.

Через некоторое время он двигался уже свободно, дыша ровнее, спокойнее.

— Так что и в самом деле, товарищ политрук, эдак сподручнее, — признался он. — Только вот простуда не прицепилась бы!

— Непременно прицепится! — усмехнулся неподалеку шагавший маленький и сутулистый боец Безнаев.

Егерев недовольно скосил глаза в другую сторону и вдруг зашагал быстрее, энергичней.

Ветер, словно назло, все крепчал, осыпая бойцов крупным, колким снегом.

Начинался буран.

Но рота настойчиво продвигалась вперед и, как было приказано, ровно в 6 часов 00 минут подошла к месту высадки «вражеского» воздушного десанта. За 5 часов 20 минут рота прошла 25 километров без отдыха, по колено в снегу, при встречном свирепом ветре!

Командир отделения Кортаев приказал бойцам незаметно пробраться в расположение «противника» и разведать его численность, огневые средства, состояние обороны.

Боец Леонов, прячась за сугробы, перебегая от дерева к дереву, а по открытой местности пробираясь ползком, быстро очутился в расположении «врага».

«Противник» (заранее высланный сюда один из взводов этой роты) хорошо подготовил район обороны: вырыл окопы, замаскировал их снежными увалами, умело расставил пулеметы, автоматическое оружие. Об этом доложил командиру отделения вернувшийся из разведки первым Леонов.

— Численность противника не превышает одного взвода, — сообщил Леонов.

— Хорошо, товарищ Леонов! — похвалил его Кортаев.

Командир роты, старший лейтенант Рычагов быстро принял решение о наступлении. Каждому взводу было дано определенное направление до рубежа атаки.

И вот бойцы, используя снежные завалы, деревья, кустарник, а в открытой местности проводя самоокапывание, короткими перебежками пошли в наступление.

Начинался рассвет. Мороз, казалось, стал еще крепче, лютее.

Помня наказ комиссара, я внимательно

Он следил за работой младших командиров. Действительно, то, что ускользало от командира роты и даже от командиров взводов, было на виду у командиров отделений: они были непосредственно с бойцами, бок о бок с ними.

В отделении сержанта Феокистова боец Безнаев, вопреки правилу делать быстрые, короткие перебежки, делал медленные и большие.

Феокистов сделал замечание Безнаеву и сам показал ему, как надо делать короткие перебежки.

Не только Безнаев, но и другие бойцы с интересом наблюдали за искусными перебежками своего командира. Пригибаясь к земле, Феокистов вихрем пронесся 5—6 метров, бросился в снег и тут же отполз в сторону; потом снова стремительно полетел, снова бросился в снег и вдруг, быстро перекатившись, очутился в 3—4 метрах в стороне от места падения.

— Гляди, как здорово, — удивленно шепнул Безнаев своему сумрачному соседу Егерову. — Упал — и в сторону! Упал — и в сторону! А враг будет стрелять по тому месту, где он упал. Здорово?

Егеров согласно кивнул головой, неотрывно следя за перебежками командира.

— И простуды не боится, — ухмыльнулся Безнаев, кивая на командира, у которого не только шинель и шлем, но и все лицо было в снегу.

Егеров отвернулся.

— Товарищ Егеров! — неожиданно окликнул его поднявшийся с земли сержант Феокистов. — Вперед!

Егеров неуверенно поднялся и, пробежав с десяток шагов, опустился на землю, отполз в сторону. Затем, выбрав впереди себя бугорок, он уже быстро вскочил и так же быстро побежал. Вот он камнем упал на землю, прячась за бугорок.

— Прекрасно, товарищ Егеров! — одобрил сержант. — Боец Безнаев, вперед!

В соседнем отделении также шла горячая учеба. Младший сержант Коротаяев, заметив, что боец Сибикин совершенно открыто, на виду у противника встав на колени, проводит самоокапывание, приказал отличнику-бойцу Евдокимову показать, как надо самоокапываться.

Евдокимов, лежа на левом боку и при-

слонив голову к земле, ловко заработал лопаткой, отрывая окоп.

— Словно автомат какой! — удивленно сказал Сибикин и, так же припав к земле, стал быстро самоокапываться.

Сосед Сибикина, Петров, недвижно лежа в снегу, равнодушно усмехнулся.

А «противник», уже заметив наступающую роту, вел по ней ожесточенный огонь.

Но и наступавшие вели не менее ожесточенный огонь.

Кругом трещали пулеметы, автоматы, хлопали винтовочные выстрелы. При наступлении бойцы встречали «вражеские засады», пулеметные гнезда... Условно были здесь сведены до минимума — только холостые выстрелы, самое же наступление велось не по шоссе и не по дорогам, а так, как требовала боевая обстановка, — по снежным сугробам, через рвы, канавы, через кустарник.

В самый разгар наступления, когда отделение младшего сержанта Коротаяева обходило небольшой холм, боец Леонов вдруг ползком зашепшил к командиру.

— Товарищ младший сержант, — шопотом доложил он, — я заметил сейчас, как кто-то выглядывал из-за холма.

Оказывается, за холмом была засада «неприятеля», вооруженная ручным пулеметом.

— Видели, товарищи, — обратился командир отделения к своим бойцам, — как важно быть зорким, наблюдательным? Благодаря товарищу Леонову мы избежали неприятельской засады. Иначе многие из нас легли бы здесь от вражеской пули.

И младший сержант, приняв новое решение, повел отделение в далекий обход холма.

Но совсем неожиданно откуда-то застрочил «вражеский» автомат. Боец Евдокимов, быстро окопавшись, стал зорко следить за опушкой леса.

Автомат смолк. Но только бойцы попытались делать перебежки, как автомат снова застрочил.

— Товарищ младший сержант! — Евдокимов кивнул на опушку леса: — Снайпер ихний где-то здесь. Разрешите?

Евдокимов, пробираясь ползком и то и дело окапываясь, быстро удалялся в сторону, откуда можно было лучше выследить снайпера.

— Этот враз снимет, — кивнул на Евдокимова равнодушный Петров.

— А почему ты не можешь враз снять? — спросил его Сибикин.

— Я ж не снайпер!

— И Евдокимов не родился снайпером, — заметил Леонов, внимательно наблюдавший за опушкой леса. — А вот натренировался!

А Евдокимов, искусно окопавшись, уже вел редкий, но меткий огонь по «вражескому» снайперу. И через какие-нибудь две-три минуты снайпер «неприятеля» был «уничтожен».

Коротаев повел своих бойцов в дальнейшее наступление.

Увлечшись «боем», я совсем забыл о Егеров, как вдруг увидел его, раскрасневшегося, вспотевшего, с горящими глазами. Держа в руке шлем, он короткими перебежками двигался вперед.

— Товарищ Егеров! — окликнул его политрук Тимофеев. — А теперь вот вам уже следует «замаскироваться». — И он кивнул на шлем, который боец держал в руке. — Вы же вспотели! Так может и простуда прицепиться.

— Так что жарко, товарищ политрук! — И Егеров виновато улыбнулся, надевая на бегу шлем.

Вскоре наступавшие достигли намеченного рубежа. Командир роты дал условный сигнал:

— В атаку!

Бойцы с криком «ура», поддержанные ураганным огнем пулеметов, бросились на хорошо укрепившегося «противника». «Враг» не выдержал атаки: одна часть его была уничтожена, другая взята в плен...

После разбора занятий был дан отбой на отдых.

Бойцы шумно располагались в лесу, разжигали костры, готовили себе завтрак. Многие подтрунивали друг над другом, вспоминая те или иные промахи во время «боя».

И только Егеров молчаливо сидел в стороне, прислонившись к стволу огромной сосны. Он часто прикладывал ладонь ко лбу, вздыхал, сокрушенно качал головой.

— Что с вами, товарищ Егеров? — спросил его политрук Тимофеев.

— Так что жар начинается, товарищ политрук, — тихо ответил боец. — Такая уж у меня натура: как чуть простыл, так и в постель.

Политрук приложил руку к его лбу:

— Все это вам кажется. Кому про такого марша и такого «боя» не было жарко? Пойдемте-ка лучше со мной! Приведем политбеседу в вашем взводе и подумаем о выпуске «Боевого листка».

Днем рота продолжала тактические занятия, настойчиво отрабатывая задачу — отделение в обороне и в наступлении.

Маскируясь, бойцы преодолевали метровые снежные сугробы, по целым часам находились в снегу: одни в казанах, другие — на холмах, третьи — в лесу.

Мы с командиром роты Рычаговым подошли к отделению сержанта Феоктистова, которое находилось «в обороне».

Боец Безнаев стоял смущенный перед наспех, кое-как отрытым окопом.

— Вы, товарищ Безнаев, — говорил ему Феоктистов, — весь на виду у врага. Так враг быстро уничтожит вас. Надо отрывать настоящий окоп. Вон смотрите какой прекрасный окоп у Егерева!

Безнаев сначала даже не мог найти Егерева, так искусно тот замаскировался.

— Товарищ сержант! — вдруг, пожимая плечами, горячо воскликнул Безнаев. — Зачем же отрывать настоящей окоп? Ведь это не настоящая война!

— А как же вы будете действовать на настоящей войне, если сейчас не научитесь отрывать окопы?

Бойцы усмехнулись. Безнаев заметил это и покраснел.

Опустившись к своему окопу, он энергично заработал лопаткой.

Но на этом рытье окопов не закончилось. Оказывается, эти окопы были «ложными», чтобы обмануть «противника». Отведя отделение назад, сержант Феоктистов приказал бойцам отрыть новые окопы.

И действительно, когда подошел наступающий «противник» (отделение младшего сержанта Коротаева), он открыл огонь по «ложным» окопам, полагая, что в них находятся обороняющиеся.

Однако Коротаев скоро разгадал уловку обороны и, в свою очередь, решил также применить военную хитрость.

Оставив на месте Евдокимова и Леснова, для того чтобы те своим огнем отвлекали внимание обороняющихся, он повел остальных бойцов в сторону, намереваясь ударить во фланг обороны...

Я продолжал внимательно следить за работой младших командиров.

Сержант Феоктистов обучал своих бойцов основам штыкового боя, показывая, как надо делать выпад при ударе и как выдергивать штык. А младший сержант Кортаев настойчиво занимался с бойцом Сибикиным, который не совсем умело обращался с ручным пулеметом: он не мог быстро сменить диск. Кортаев лег вместе с бойцом за пулеметом и не оставил его до тех пор, пока тот окончательно не усвоил технику быстрой смены диска.

К концу тактических занятий, под общий смех красноармейцев, привели «пленного» бойца Петрова, который был послан в разведку. Он, оказывается, шел совсем не маскируясь, с винтовкой на ремне через плечо, и, конечно, был быстро обнаружен «противником» и захвачен в плен.

Командир отделения Кортаев, сделав внушение Петрову, поручил разведчику Леонову разъяснить бойцу его ошибку.

День клонился к вечеру. Было тихо. Не шелхнувшись стояли высокие сосны и ели. Сквозь перистые облака проглядывал огромный пунцовый шар солнца, слегка окрашивая в розовое заснеженные поляну и лес.

Кругом пылали костры. Бойцы дружно заканчивали обед.

А Егеров, лежавший поодаль на ворохе ветвей, нерадостно глядел на веселых товарищей и то и дело прикладывал ладонь ко лбу.

— Как вам не стыдно, товарищ Егеров, паниковать? — попробовал было усюветить его проходивший мимо политрук Тимофеев.

Но Егеров стоял на своем:

— Так что, товарищ политрук, теперь уж определенно заболел. Все тело горит как в огне. Температура, видать, уже под сорок подбирается.

— Будет вам чудить! — рассмеялся политрук.

Егеров тяжело вздохнул и отвернулся. Но политрук не оставил его в покое. Продолжая шутить с бойцом, он схватил его за руку, заставил подняться и повел к костру.

Усадив Егерова подле себя, политрук спросил бойцов:

— Ну как, товарищи, чувствуете себя?

Перебивая друг друга, бойцы отвечали:

— Хорошо, товарищ политрук!

— Малость устали!

— А так — ничего!

— Товарищ политрук, — обратился к Тимофееву один из бойцов, — рассказали бы нам, как вы воевали с финнами.

— Да я же, товарищи, рассказывал.

— Еще раз расскажите!

— Расскажите! Расскажите! — поддерживали остальные.

— Хорошо. — Политрук закурил и слегка откинул шлем на затылок. — Я построю свой рассказ применительно к нашему тактическим занятиям. Товарищи. Да и не только покраснеть, но и подумать о своей жизни.

К костру, у которого расположился политрук, подходили все новые и новые бойцы. Всем хотелось послушать его рассказ.

— Вы видели, товарищи, — не спеша начал он, — как недавно забрали «в плен» нашего разведчика Петрова. — И политрук обвел пристальным взглядом бойцов: — Здесь товарищ Петров?

— Я, — едва слышно откликнулся тот.

— Так вот, товарищ Петров, послушайте, как действовали наши советские разведчики во время боев с белофиннами. — Политрук немного помолчал, что-то припоминая, а потом громко продолжал: — Нашему минометному расчету, который действовал на Карельском перешейке, было приказано выбить финнов с сильно укрепленной высоты. Высота эта препятствовала наступлению нашей дивизии. Приказ мы получили ночью, а к утру нужно было уже очистить эту высоту от финнов. Командир Родичев, теперь Герой Советского Союза, я и двое разведчиков, товарищи Новиков и Задири, отправились разведать расположение огневых точек противника. Был жгучий январский мороз... Тридцать пять градусов! А тут еще засвистела метель. Но мы настойчиво двигались вперед, пробирались ползком, прятались за пни, за сугробы, зарывались в снег... Так мы обнаружили несколько пулеметных гнезд финнов. Наши разведчики Новиков и Задири быстро доносили о замеченных ими огневых точках. Через два часа большинство этих огневых точек были уже засечены на нашей карте. А еще через два часа мы открыли ура-

ганный минометный огонь по высоте. Браг ответил сильным пулеметным и ружейным огнем. Наш командир был дважды ранен, но не покинул боевого поста. Раненный, он через меня отдавал приказания.

Бойцы, затаив дыхание, слушали рассказ своего боевого политрука. Кругом было тихо. Только слышно было шипение и потрескивание влажных сучьев в огне костра.

— Через полтора часа, — продолжал рассказ политрук, — большая часть огневых точек финнов на Н-ской высоте была подавлена. А вскоре наша дивизия пошла в наступление и, заняв высоту, двинулась дальше. Так, товарищи, благодаря самоотверженности наших разведчиков Новикова и Задири мы смогли быстро уничтожить препятствие, которое затрудняло наступление дивизии. Советское правительство наградило Задири орденом «Красная звезда», а Новикова медалью «За отвагу».

— Понял, Петров? — толкнув товарища в бок, тихо спросил Леонов.

Петров не ответил.

А политрук Тимофеев, снова закурив папиросу, обратился к бойцу Безнаеву:

— Послушайте, товарищ Безнаев, что случилось с одним из бойцов нашего расчета. Был у нас этакий Тряпицын, увальень-парень: не маскировался, не самоокапывался, при наступлении не делал нужных коротких перебежек. И, в первые же дни, конечно, он был убит. Финны изрешетили его из пулемета.

Бойцы молчаливо переглянулись. Безнаев опустил голову.

Когда стало заметно темнеть, по роте был отдан приказ: оборудовать палатки в лесу и разместиться на ночлег.

Егеров не ожидал этого. Он думал, что вот-вот будет дан приказ о выступлении роты в город, а оказывается — придется ночевать в лесу. Егеров совсем приуныл.

А его товарищи уже устилали будущий пол своей казармы еловыми ветвями. Другие натягивали палатки. Третьи собирались в полевой караул охранять лагерь.

В полевой же караул был назначен и Егеров. Это политрук Тимофеев, помня наказ Шубина, решил помочь бойцу уверовать в свои силы, уверовать в то, что

он совершенно здоров и ничего с ним не случится.

Егеров молча выслушал приказ сержанта Феокистова о задачах полевого караула и, еще более помрачнев, направился вместе с Леоновым выбрать позицию.

В палатках было шумно и весело. Бойцы располагались на отдых. Здесь густо пахло сосной и елью. Утрамбовывая еловые ветви, Сибикин шутливо сказал Безнаеву:

— Ну и перина как у моей бабушки!

Безнаев, не отвечая Сибикину, кивнул Евдокимову на выход из палатки и тихо попросил его:

— Пойдем-ка на минутку!

— Зачем?

— Дело есть.

Только бойцы вышли из палатки, как вдруг Безнаев бросился на землю и, выхватив из чехла лопатку, быстро заработал ею, отрывая окоп.

Евдокимов удивленно глядел на товарища.

— Ну как? — спросил его Безнаев. — Правильно я делаю? — И он еще энергичнее заработал лопаткой.

— Хорошо, — одобрил Евдокимов. — Очень хорошо!

Из палаток доносились неясный говор, смех. Вот кто-то негромко затянул песню, но, никем не поддержанный, тотчас же замолчал.

Громко, на весь лагерь, раздался голос дежурного по роте:

— Приготовиться ко сну! Через пять минут отбой!

Бойцы и командиры медленно расходились по палаткам...

А недалеко от лагеря, на опушке леса, Егеров и Леонов, выбрав удобную для кругового наблюдения и обстрела позицию, отрыли пулеметный окоп, умело замаскировали его кустарником, снегом.

Здесь бойцы должны были провести ночь, охраняя отдых своих товарищей.

Егеров и Леонов так искусно замаскировались, что мы со старшим лейтенантом и политруком едва отыскали их. Неожиданно повалил густой снег, подул северный жгучий ветер. И вскоре завывала, закружила метель.

Пулеметный окоп засыпало снегом. Но часовые продолжали бодрствовать, зорко охраняя сонный лагерь. Поочередно один из бойцов очищал окоп от снега, а другой был неотлучно у пулемета.

Егеров приметил, как Леонов все чаще и чаще обминал носки и головки своих сапог.

— Ноги, что ли, мерзнут? — спросил он товарища.

— Да я тут во время разведки, — признался Леонов, — в болото провалился и, кажется, ноги немного промокли.

— Так что нужно было командиру отделения доложить! — строго заметил Егеров. — Освободили бы от полевого караула.

— А на войне тоже освобождения просить? — усмехнувшись, спросил Леонов.

Вместо ответа Егеров вдруг совсем строго, начальнически сказал:

— Так что давай скидай сапоги! Снимай, значит, мокрые портянки! — И тут же, сбросив с себя сапоги, он передал Леонову две сухие свои портянки.

Леонов с благодарностью посмотрел на товарища и быстро переобулся.

— Спасибо, — сказал он и, сменив товарища, принялся разгребать снег.

Егеров залег за пулемет.

Так всю ночь, до самого утра, бойцы неустанно боролись с метелью, расчищая окоп и зорко охраняя свой лагерь.

А утром, несмотря на то, что они ни на секунду не сомкнули глаз, Егеров и Леонов уже вместе с ротой бодро шагали форсированным маршем в город.

По заснеженным полям из края в край неслась боевая песня:

Но сурово брови мы накупим,
Если враг захочет нас сломать.
Как невесту, родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать...

Ровно в 12 часов 30 минут старший лейтенант Рычагов докладывал командиру Н-ского полка об итогах полуторасуточных тактических занятий 1-й учебной роты.

Подполковник внимательно слушал командира роты.

Тут же находился и заместитель командира полка по политчасти Шубин.

— Не были вчера с дочками в кино? — шопотом спросил я батальонного комиссара.

Он отрицательно качнул головой.

А командир роты уже лаконично заканчивал доклад:

— Ни одного заболевшего, ни одного отставшего, товарищ подполковник!

— А как там боец Егеров? — спросил его Шубин.

Не успел командир роты ответить, как в дверь громко постучали.

— Да, да! — энергично откликнулся подполковник.

В кабинет вошел со свернутым в трубочку листом бумаги красноармеец Егеров.

— Разрешите, товарищ подполковник, обратиться к батальонному комиссару, — бодро сказал он.

— Пожалуйста! — И командир полка снова заговорил со старшим лейтенантом Рычаговым.

— Товарищ батальонный комиссар, — продолжал Егеров, — товарищ политрук Тимофеев приказал передать вам «Боевой листок».

Только сейчас заметил я, что бледное до похода лицо Егерова было теперь обветрено, загорело, покрыто легким румянцем.

— Ну как, товарищ Егеров, — спросил его Шубин, — не заболели вы?

— Так что, товарищ батальонный комиссар, не заболел, — весело ответил Егеров, и довольная, широкая улыбка озарила его лицо.

— Я же говорил вам, товарищ Егеров!

— Точно, говорили, товарищ батальонный комиссар. Разрешите итти?

— Идите и передайте политруку Тимофееву, чтобы он немедленно явился сюда. — И Шубин подошел к столу, возле которого продолжали разговор подполковник и старший лейтенант.

— А теперь вместе с решением тактических задач, — говорил командир полка, — надо решать и задачи огневой подготовки. Надо начинать проводить боевые стрельбы. Надо учиться стрелять в интервалы и через голову своих бойцов, чтобы «обстрелять» бойцов, закалить их, приучить к огню...

В кабинет вошел дежурный по штабу и, спросив у командира полка разрешение, обратился к Шубину:

— Товарищ батальонный комиссар, вам звонит преподаватель немецкого языка и просит перенести сегодняшнее занятие на пятницу. Что прикажете ему ответить?

Шубин улыбнулся.

— Ответьте: не возражаю, — кратко сказал он.

«Значит, в цирк сегодня пойдет с дочками» — подумал я.

Вскоре явился политрук Тимофеев. Шубин обратился к нему и к старшему лейтенанту Рычагову:

— Ну, товарищи, мы с подполковником поздравляем вас. Вы допущены к испытаниям для поступления в Академию имени Фрунзе.

Командир полка и его заместитель крепко пожали товарищам руки.

— Только смотрите, — строго предупредил их подполковник, — не подведите. Не посрамите честь полка!..

Вошедший в кабинет помощник начальника штаба полка молодой худощавый лейтенант Храбростин положил подполковнику на стол какие-то бумаги.

А подполковник, уже обращаясь ко мне, заметил:

— Здорово у нас люди растут! Очень здорово! Смотрите, у нас ведь половина всего командно-начальствующего состава полка выросла из рядовых красноармейцев. Возьмите вот, к примеру, лейтенанта Храбростина. Всего лишь несколько лет тому назад пришел он в наш полк

красноармейцем. А теперь — помначштаба полка!

Когда ушли политрук, командир роты и помначштаба, подполковник озабоченно сказал Шубину:

— Придется вам, товарищ батальонный комиссар, срочно выехать в зимний лагерь и провести там занятие. У меня сегодня учеба в корпусе.

— Есть, товарищ подполковник.

«Вот тебе и цирк, батальонный комиссар!» — подумал я.

Но командир полка тут же добавил:

— Через три часа вы уже будете обратно в городе.

«Успеет в цирк» — посмотрев на часы, решил я.

А подполковник, пододвинув к себе стопку книг и журналов, обратился ко мне:

— Ну, а как вы думаете о нашей работе? — И он, слегка прищурившись, переспросил: — Как думаете: неплохо мы готовим людей к будущим боям?

Александр Морозов

БУКОВИНСКИЕ БУДНИ

(ИЗ ПУТЕВОГО ДНЕВНИКА 1940 ГОДА)

ЧЕРНОВИЦЫ

Ночью 23 августа я приехал в Черновицы львовским поездом. С утра брожу по улицам в районе почты, улицы Фердинанда, синагоги... Уличная утренняя обшарпанная толпа. Грязноватые старомодные фиакры. У извозчиков тоненькие кнутики на длинных палках. Желтые, зеленые, оранжевые вывески и вывесочки облепляют фасады, карабаются одна на другую, высовываются на улицу, как визитные карточки навязчивого комивояжера, обрушиваются на тротуар, царапают глаза... Железные ржавые, пыльные шторы плотно закрывают витрины. Большинство магазинов закрыто. Идет приемка и учет национализированных товаров.

Становится тепло. Чистильщики сапог водружают на площади испанские апельсиновые зонты... Появляются фланирующие без видимой цели личности с дождевыми плащами на руках...

Вывески продолжают лезть в глаза и раздражают своей развязной претенциозностью. Все самые мелкие магазины называются: „Noblesse“, „Chic parisien“, „High Life“ и т. д. В каждом доме по три-четыре таких лавчонки: одна витрина и стеклянная дверь. Кажется, весь город состоит из таких магазинов и магазинчиков. Проходные дворы с брандмауэрами, увитыми плющом, превращены в своеобразные пассажи, в воротах каждого дома справа и слева колонки маленьких дощечек — портные, шапочники, сапожники, часовщики, адвокаты. Особенно много в городе портных и адвокатов. Едва ли не самое большое здание в городе — здание бывшего суда. В нем комфортабельно разместился ныне облесполком со всеми своими учреждениями. В Черновиках умели судиться, и 540 черновицких адвокатов не сидели без дела.

Поднимаюсь по Лилленгассе к базару. В глаза бросается высокая голубая карусель, украшенная изображениями тигров, леопардов и неистовых коней с мчащимися на них амазонками. Под полотняным залатанным куполом — бродячий цирк Флориана, неподалеку чахлая тир и несколько наскоро сколоченных сараев, занятых паноптикумом. В цирке Флориана актеры после представления ходят среди зрителей с медными тарелочками.

Кругом приютились не столько торговцы, сколько торгующие. На земле, на мешках и ковриках или прямо из сундуков торгуют всяким хламом; здесь разложено и навалено всевозможное старье.

Чуть дальше пышет изобилием овощной рынок. Пестрыми грудями, — как на итальянском базаре, под театрально-ярким солнцем комедий Гольдони, — в круглых плетеных корзинах стоят плоды и овощи, оранжево-красные помидоры, белая капуста, зеленые арбузы, темнолиловые сливы, изумрудный перец, матовые клубни картофеля и нежная морковь под легким слоем чистой земляной пыли.

Под вечер на улице Янко Флондора (она же Панская, она же Херренгассе) магазин КОГИЗа вывесил большую школьную полотняную каргу Советского Союза. Какой маленькой кажется Румыния, — что там Румыния, вся Европа, — по сравнению с нашей страной!

Перед картой собралась огромная толпа. Смотрят подолгу, затаив дыхание, на необъятную страну. Смотрят молча, даже не спрашивая, что означают отдельные обозначения. Это ощущение масштаба, растворение в чем-то неожиданно гигантском. Два крестьянских парня в белых узких, как гетры, штанах и киптариках стоят, откровенно разинув рты.

Люди здесь до чрезвычайности обшительны.

Если вы просидели с человеком пять минут в кафе, то потом он, встречаясь с вами, приподымает шляпу и представляет новых знакомых. Все жаждут изучить поскорее украинский и русский языки. Возникают самозванные курсы и группы, где люди, едва знающие язык, берутся Все жаждут изучить поскорее украинский и русский еще нет учебников и словарей. Русский язык учат по старым книгам с ятями и твердым знаком, по советским учебникам немецкого языка для средней школы. В разговоре уже часто вставляют русские и украинские слова словно любуясь ими как самовитым, новорожденным словом. Особенно понравилось почему-то слово «вот». Чувство, знакомое мне самому, когда некоторые слова нового языка нравятся сами по себе, независимо от смысла.

Уличная толпа необычайно пестра. Вечером на улице Янко Флондора можно встретить все виды и оттенки светлых летних костюмов, шляп и беретов. Проходят две румынки с золотыми крестильными крестиками, выпущенными поверх модных платьев. Юноши в спортивных костюмах. Толпа крестьян в белых узких, как рукава рубахи, штанах и расшитых китпиках, фетровых цветных шляпах с пестрыми перьями. Девушки в плахах с расшитыми бисером рубашками, цветками и лентами в волосах. Все босиком. Горожанки в туфлях на пробках, ноги без чулок, ногти с кроваво-красным педикюром на деформированных обувью пальцах. Нищие, беженцы, «концентралы» в зеленых военных гимнастерках и круглых картузах, румынские лиценсты, бородатый равнин в длиннополом сюртуке и белых нитяных чулках...

Скольким людям невесело жилось в Румынии! В одной из местных газет я вычитал следующее: в 1937 году, в конце января, в жалкой лачуге на улице Млештиней, № 2, нашли умершего от голода безработного Антона Иванюка, 54 лет. «За относительно короткое время это уже третий случай смерти от подобных причин» — меланхолически комментировала газета. Иванюк был найден соседями на полу совершенно голым, окоченевшим под грудой мешков. Конура, в которой он жил, была лишена всякой мебели, он был болен, не выходил на улицу из-за мороза, сжег все, что у него было, даже одежду. Соседи обрядили труп старика в какие-то тряпки, чтобы было в чем похоронить.

В СТОРОЖЕНЕЦКОМ РАЙОНЕ

3 сентября

Непосредственная цель моего приезда в Буковину — поиски пушкинских материалов. В семье помещиков Ролли должны были храниться

письма Пушкина к Екатерине Стамо и книги, которые он читал. В 1907 году с одним из Ролли вел переписку П. Е. Шеголев. Ролли подтвердил, что видел книгу Руссо с пометками Пушкина и знает о существовании двух писем поэта. Ролли даже обещал разыскать их и поручил это своему дворецкому. Тот доставил ему комплект «Москвитянина». Тогда Ролли обещал Шеголеву, что при случае поищет сам «в своем замке Красне под Черновицами». Так дело и заглохло... В заметке Шеголева в журнале «Минувшие годы» (1908) Ролли именовался графом и австрийским посланником в Венецуэле. Вот и все, что я знал. После мировой войны и всех возможных пертурбаций найти что-либо не так легко, но попытаться стоило — и я поехал.

Выкрашенный в стальной цвет автобус, со свежей красной звездой на кузове и белым пятном от замазанного румынского герба, ползет в гору. Все время раздвигается горизонт, все новые и новые гряды зеленых холмов открываются взору. На скамье впереди меня два только что получивших направление в школы учителя. Они будут преподавать на самой границе в молдавском селе. Оба в коротких брюках гольф, пестрых чулках, с белыми плащами, перекинутыми через руку, и рюкзаками на коленях. Вид альпинистов, отправляющихся в экскурсию. Всю дорогу, обернувшись ко мне через спинки сиденья, они строили планы: как устроятся на новом месте, будут работать, учиться русскому языку...

Стороженец — маленький городок к югу от Черновиц. Где-то здесь, в этом районе, замок Красне или Красно-Ильск. Чтобы собрать сведения об этом имении, иду в райземотдел. «Карта фондуара», в которую мне советовали заглянуть в Черновицком облземотделе, оказывается не карта на стене, как я предполагал, а румынское юридическое учреждение, где регистрировались все сделки о земле — купля, продажа и наследование. Архивы свезены в одно место, и добраться к ним пока нет возможности.

Меня направляют к старому землемеру, ныне плановику, Шелудякову. Усталый пожилой человек с загорелым лицом, в зелено-желтой, напоминающей френч старомодной курточке, под румыным транспарантом, изображающим различные сорта румынских яблок, говорит служебным тоном. Однако толку от него я не добился.

Красно-Ильск. Вечернее ласковое солнце. На фоне зеленого, чуть тронутого осенью парка и фиолетовых Карпат ослепительно белый, словно выточенный из куска мела замок. Собственно, не замок даже, каким мы себе его обычно представляем, — с башнями, бойницами и подъемными мостами, а большой, вместительный двухэтажный дом с высокой дранчатой крышей и

решетчатыми зелеными, почти квадратными окнами. Построенный в конце XVIII века, охотничий замок сохранил свои удивительные пропорции и справедливо относится к замечательным памятникам буковинского зодчества. Крыльцо с четырьмя низкими, круглыми дорическими колоннами. Тяжелый медный четырехугольный фонарь на цепях.

... Вот и книжный шкаф в стене с широко раскрытыми дверцами. Самого беглого взгляда на переплеты достаточно, чтобы убедиться, что это не та библиотека. Книги другого состава, книги середины прошлого века, юридического и исторического содержания. Запыленные томы истории Шлоссера и Всеобщей истории Карла Роттека (1838) и Реальная немецкая энциклопедия 1830 года. Книг — современниц кишиневского Пушкина, то есть вышедших до 1822 года, нет вовсе.

Два сытых коня с грохотом мчат меня обратно в Чуден.

Немощные улицы, невзрачные, облупившиеся домишки без палисадников. Канавы и колдобины, уходящая вниз зеленая дорога к Красно-Ильску. Главная улица Чуден, или Чудина, состоит из убогих одноэтажных лавчонок — скорее полутемных сараев с гнилыми, сияющими пустотой полками. На прилавках жалкие, засиженные мухами картонные коробки с тесьмой, пуговицами, синькой, гвоздями, красками и какими-то мазями. На углу бывший чахлый румынский кооператив. Заведующий сбежал, прихватив кассу. Рядом — лавчонка в пять квадратных метров. В корзинах недозрелые яблоки, мятые сливы и помидоры. Хозяин — плотный пожилой мужчина в степенном картузе дореволюционного русского лавочника. Хозяйка — тоже немолодая, добродушного вида женщина.

В примарии — помещение сельсовета. У входа несколько босых крестьян в коричневых кислошерстных самодельных суманах и три или четыре необычайно подвижных старика в заносенных шляпах и замызганных пиджаках, но при белых твердых воротничках. Один из них снимает шляпу, протягивает руку и рекомендует: «Моргулис». Я справляюсь, давно ли он здесь живет. — «Сорок четыре года». Вхожу в примарию и спрашиваю этих общительных стариков об окрестных имениях и их прежних владельцах. Все кричат наперебой и засыпают меня сбивчивыми сведениями. Наконец инициативу берет в свои руки Моргулис.

— Ruhig — кричит он. — Я знаю лучше всех! С этим безмолвно соглашаются, и он начинает:

— Последним владельцем был Маврокордат...

— А до него был Розенберг, — ввязывается старичок в таком засаленном пиджаке, что не-

возможно определить, какого он был цвета при своем возникновении.

— Ruhig! Я знаю лучше всех. Маврокордат купил у швейцарского общества, а швейцарское общество приобрело Красно-Ильск после смерти Макса Розенберга в тридцать третьем году, а Макс Розенберг купил имение у барона Стырча, а барон Стырча — у Ильского...

Следует несколько анекдотов из жизни Ильского. Это целая легенда о пастухе и помещицкой дочери, несчастной любви и наследстве. Однако о фамилии Ролли никто ничего не слышал. Начиная спрашивать о других помещиках. Подробно, захлебываясь от переполнявших его сведений, Моргулис стал выкладывать мне, кто на ком был женат, кто кому и почему наследовал, кем и за сколько у кого куплено имение. На меня так и сыпались: Плескарены, Давидены, Бобешти, Ропши, как куда проехать, у кого можно остановиться, с кем поговорить, фамилии владельцев имений: Флондор, Петрино, Гармузаки, Зотта, их родство и свойство до двенадцатого колена. Никакая румынская карта Фондуара не располагала столькими сведениями. Казалось, он всю жизнь только и делал, что продавал и покупал имения, попутно занимаясь на досуге генеалогическими исследованиями. Потолковав должным образом, я простился с осведомленным собеседником и вышел на улицу. Скоро он меня догнал:

— Разрешите вам задать один вопрос?

— Да, пожалуйста, — сказал я, приготовившись отвечать: кто я, зачем приехал, почему интересуюсь здешними помещиками. Несколько неловко, словно собираясь задать очень интимный вопрос, он говорит:

— Скажите, у вас очень большая армия?

— Да, порядочная. А что?

— Да так! Знаете ли, такая большая армия, наверно, нуждается в металле, ну, в железе. Ах, как много нужно такой армии!

Не совсем понимая, куда он клонит, я выжидательно молчу.

— Я тут сорок лет торгую старым железом и знаю, где его можно дешево купить. Скажите, я могу получить поставки для армии? Как вы думаете?

Пришел «примар», добродушный, кряжистый, энергичный украинец из Днепропетровской области. За ним неотступно следовала большая толпа со множеством самых неотложных дел. Босоногий парень в белой холщевой рубашке до колен, в пестром джемпере и шляпе с пером нетерпеливо переминается с ноги на ногу. Еще при румынах он одолжил другому, такому же щеголю, ботинки пойти на вечер, а тот зажил и не отдает. Приходят с запутанными земельными, арендными делами. Доказывают, что

земля никогда не принадлежала им, а они только арендовали. Другие, наоборот, что давно владели этой землей. У некоторых все клонится к тому, чтобы использовать закон о земле в личных целях. Чтобы разобраться во всем этом, нужен верный глаз, и просто диву даешься, как в пограничном румынско-еврейском местечке, где далеко не все говорят по-украински, в сложной обстановке прекрасно ориентируется новый «примар». Сейчас ему предстоит снарядить делегатку от Северной Буковины на Сельскохозяйственную выставку. И это очень его заботит.

У стола стоит молодая, бедно и бесцветно одетая худощавая женщина с тонкими чертами лица. Румынка. С застенчивой робостью она отказывается от поездки. Ее не пускает муж.

— Вот и втолкуй им! Проезд бесплатный. Дают на дорогу деньги. По пятьсот рублей. Им это просто непостижимо, — говорит с огорчением «примар».

Румынка теребит платок, потом как-то боком выходит из комнаты.

4 сентября

Кангина в Чудеи. Четыре столика с несусветно грязными скатертями. На шаткой деревянной подставке чахлые цветы в красных глиняных горшках. Словно чучело исполинского насекомого, пылится в углу допотопный граммофон с серебристой трубой. Тут же на столе весь его репертуар — четыре до невозможности исцарапанные пластинки, в том числе одна русская «Тройка» американского производства. Услужливый содержатель кантины в рваном пиджаке и черной засаленной шляпе, сдвинутой на затылок, суетится с таким видом, словно содержит лучший ресторан в Бухаресте. Над ним добродушно посмеиваются красноармейцы. Мне они говорят: «В этой загранице чистоту искать — вовсе ничего не есть».

Я заглянул на кухню и тут же был покаран за свое любопытство. На грязной доске, облепленной мухами, студенистый кусок сырой печенки. Таз с совершенно черной, вонючей водой, в которой плавают обеды и окурки. В нем одну за другой моют тарелки, незамедлительно поступающие к столу. Вернувшись, я заставил себя вспомнить, что я немного этнограф, и мужественно съел печенку и выпил приторно-теплое молоко из «тех самых» стаканов. В горле у меня все время что-то шекотало.

Сию в примарии и наблюдаю день председателя сельсовета.

Все еще не решен вопрос о делегатке на Сельскохозяйственную выставку, а ей пора уже ехать в Сторожинец. Из района звонят по теле-

фону и торопят. Завгороднюк, председатель, тревожится.

Приходит местный торговец Шехтер, перед тем упрощивший меня быть переводчиком. Он хочет получить лес на починку крыши. В отсутствие Завгороднюка замещавший его судья, молодой парень из-под Днепропетровска, щедро выдал Шехтеру справку в Лесопромхоз, разрешающую приобрести ему лес «по потребности». Но там заупрямились. Шехтер и пришел просить председателя подтвердить ему это распоряжение. Завгороднюк внимательно читает справку и, совершенно не меня выражения лица и не говоря худого слова, разрывает ее перед самым носом торговца.

— Кто же такие справки пишет? Если тебе такую справку выдать, ты все леса у нас скупишь! Вот тебе справка: «Разрешается гр. Шехтеру получить один кубометр пиломатериалов для ремонта». Теперь иди в Лесопромхоз — получишь!

— Что он говорит? Что он говорит? — спрашивает меня Шехтер.

Я перевожу.

А делегатки все нет и нет! Кандидатка, правда, уже намечена. И даже дала согласие. Но председатель волнуется: не отговорили бы! Потом он о чем-то думает и встревоженно спрашивает:

— А сколько у них земли?

— Да мало!

— А сколько все-таки «мало»?

— Сейчас узнаем!

Крикман, помощник председателя из местных жителей, бесшумно выходит из примарии и через две минуты возвращается.

— Ну что?

— Послали узнать.

— Вороти немедленно! Эх, и дурачье! Еще напугаете людей!

Замордованная, затравленная румынская деревня. Надо быть очень и очень чутким, чтобы пробудить в людях чувство собственного достоинства, вывести их из состояния вечной заботности.

А делегатки нет и нет! Обеспокоенный председатель выходит со мной на улицу. Навстречу нам, прихрамывая, идет с палкой одутловатая старуха.

— Мать! — толкает меня «примар».

Испытующее, недоверчивое выражение ее лица и бескровные, плотно сжатые губы не предвещают ничего хорошего.

— Ну, где дочка?

— Прощаться пошла с подругами.

— Что-то долго прощается!

Мать внимательно смотрит на председателя и потом почти шопотом спрашивает:

— А вернется?

Председатель смеется. Он смеется от души и так сказать, педагогически. Ему почти неловко и не так уж весело.

— Я отвечаю головой. Я, примар! Понимаешь: примар! — кричит Завгороднюк.

Старуха как-то апатично кивает головой. Это она и сама знает.

— Ну вот! И твоя дочь вернется через три недели... Это ведь счастье! В Москву поедет! Да я бы сам с радостью поехал! Я сам ведь в Москве не был. Да вот и он бы тоже поехал!

Завгороднюк делает неопределенный жест в сторону завертывшегося неподалеку Моргулиса. Тот, почуввав, что речь зашла о нем, угодливо приподнимает шляпу и приближается.

— Ну как, Моргулис, поедешь на выставку? В самую Москву?

— Отчего не поехать? Пожалуйста! — И хотя Моргулис почти понимает, что это скорей всего шутка, на всякий случай говорит: — Нет, правда, пошлите меня, я уж все осмотрю! И доложу в точности.

Моргулис настолько на мгновение прельстился этой мыслью, что его даже озарило знание русского языка.

— Вот видишь, бабка, а ты боишься!

— А может, можно кого другого послать?

«Примар» свирепеет:

— Нет нельзя. Нечего уж назад пятками! Я уже распорядился. Подводы готовят!

Воцаряется неприятное молчание.

— А ты б поверила, мать, что твоя дочка может через год стать примаром, — вот как я, — или куда еще дальше махнуть?

Старуха плотнее поджимает губы, и ее дряблое желтое лицо становится вовсе недоверчивым.

— «Ишь, — думает, — как брешет!» — втихомолку говорит мне примар.

Через полчаса одна, не провожаемая никем, легкой походкой вышла девушка из дому. Одета она была совсем по-городскому: в вязаном джемпере, жакетике, белой шапочке. В руках у нее был крохотный ученический портфель.

Еще через час я увидел ее мать. Старуха молча ковыляла по дороге вслед давно уехавшей подводе.

5 сентября

Никаких надежд на машину. Единственный способ добраться до Стороженца — подводами, от сельсовета к сельсовету.

В примарию неожиданно входит пропыленный и словно еще более загоревший Шелудяков. Вид у него намученный и раздраженный. Он требует подводу, чтобы ехать дальше по району.

— Где я вам подвод наберу? Нет у меня

подвод. Не рожаю я их! — артачится Завгороднюк.

— Ну хорошо. Мне так и придется доложить в райисполкоме, что по вине председателя сельсовета товарища Завгороднюка был сорван план землеустроительных работ. — желчно переходит в наступление землемер.

Вся сцена имеет такой вид, что никаких румын вообще никогда не было и старый служака, дореволюционный специалист и бывший земский землемер, уже долгие годы привычно пререкается с председателем сельсовета.

Что касается меня, то я еду с учительницей, которая вместе с тем выполняет функции на рочного — отвозит пакет с бумагами.

Чиреш — румынское село на Малом Серете. Название, в переводе с румынского, означает примерно «Вишняки». Низкие мокрые плетни. Маленькие домики. Село скученное и невеселое. Вросшие в землю кресты из пористого камня, весьма архаичные по форме, расставлены вдоль дороги словно гумбы или межевые знаки.

Дорога идет вниз. Мостик. Длинный дощатый забор помещичьего парка. Направо — небольшой спиртовой заводик. За ним — поле. В поле — толпа крестьян. Делят землю. Иду к ним. Здороваемся. Приветливы. Село это в своем роде знаменито, и его не раз уже навещали журналисты. Здесь жил один из самых лютых помещиков Буковины — разбогатевший маклер, спиртозаводчик и лесопромышленник Ауслендер. Особенно жесток был его племянник, молодой Генрих Ауслендер. Он не расставался с револьвером, бил встречных крестьян хлыстом по лицу без всякой с их стороны провинности, в виде, так сказать, приветствия. Он обсыпывал и обирая батраков, насиловал батрачек. Грубый и невежественный, ущемленный своим неравноправием в Румынии, он упивался властью над зависимыми от него людьми и вел себя в деревне маленьким сатрапом.

На мои вопросы крестьяне отвечают все сразу, хором, певуче растягивая гласные: «Дааа, дааа». «Тааак, тааак». В ответах обычно повторяют конец или часть вопроса, только с радостно утвердительной интонацией.

— Землю делите?

— Делим! Делим! — кричат все певучим хором.

Эти русские слова уже все знают. Хорошие это слова! Может быть, и даже наверно, не все из того, что я говорю, понятно, но главное — несомненно, и об этом только и хочется говорить: делят землю! Дают землю людям, отдавшим ей все свои силы. Земля, та самая земля, что манила к себе несбыточной мечтой отцов и дедов, оросивших потом каждую ее пядь и не смевших пройти по ней, не озираясь. Земля!

Вечная, неистребимая в людях тоска по справедливости вдруг нашла утление.

Замечаю, как все ужасающе бедны. Дрожачие от холода, совершенно посиневшие, босонogie женщины в необыкновенных рубищах. Рваные, висящие клочьями юбки, заплатаанные и переаплатаанные кофты, полусгнившие от ветхости, расплзающиеся на теле овчины. Мужчины в коричнево-кислых, выгоревших и пожухлых сумахах. Один в каком-то невозможном одеянии, собранном и сколотом булавками из нескольких обрывков старых дождевых плащей. Все ежатся от холода. Видно, вышли с раннего утра и сильно промерзли. День выдался прямо осенний. Почти у всех в руках или подмышкой тоненькие колышки, напоминающие скорее неровно нащепленные крупные лущины.

Иссохшая старуха, почерневшая как сама эта земля, нагибается и берет горстку земли в свои землистые руки и перебирает и мнет ее в синеватых, искривленных, как коренья, пальцах. Глаза ее светятся на мертвевшем лице.

«Примар», местный крестьянин, очень толковый, рассудительный и спокойный человек, выкликает по списку крестьян. Вызванный подходит и ставит свои колышки в указанном месте. Никаких споров или замечаний. Все совершается почти в безмолвии. Наделяют в среднем по сто—сто пятьдесят «прожин», то есть по полтора—два гектара на семью. По здешнему безземелью это большие наделы. Уже в первый месяц советской власти 55 тысяч гектаров земли и около 30 тысяч гектаров посевов перешли к крестьянам. 43 690 безземельных и малоземельных крестьянских хозяйств получили землю.

— Теперь, куда ни глянешь, земля — крестьянская.

— Так! Так! — снова кричат все хором.

Давидены. Большое украинское село. Примария в белой крестьянской хате с палисадником. Во дворе, в сарае, стругают парты для школы. В примарии мечется посыльный, совсем молодой паренек в нелепейшем румынском картузе с острыми полями, повидимому, надетым для пушей важности. В примарии довольно много народа: собирается актив сельрады. Сегодня начинают сдавать государству первый хлеб.

Пришли два члена комиссии. Высокий, крепкий, костлявый мужчина в длинном коричневом сардаке, напоминающем порыжевшую бурку. Черноволосый. Крупные, ровные зубы. Большой, чуть запавший, несимметричный нос. Карие глаза. Сурово-доброе, загорелое лицо веласкезовских пастухов. Такие лица врезаются в память. Другой — в егерской куртке оливкового цвета, с большими желтыми пуговицами, затрепанной

фетровой шляпе и латаных штанах, в тяжелых пыльных ботинках.

Здесь же мельтешит сухопарый и суетливый крестьянин в киптарике. У него озабоченное и пугливое лицо. Он жадно прислушивается ко всему, что говорится в примарии. Сам он тоже все время что-то лопочет невнятной и захлебывающейся скороговоркой.

Тот, что в оливковой куртке, рассказывает о своем столкновении с соседним помещиком. Все тем же Ауслендером. Ух, и насолил он мужикам!

— Работал я сторожем на фольварке. Ну, осень пришла. Иду до него за расчетом. Выскакивает молодой Ауслендер и прямо кулаком в грудь. И револьвер наставляет. «За что? — думаю. — Я за своими деньгами пришел. Цап его за револьвер. «Путишь, брат?» — «Нет, не шучу!» — «А не шутишь, спасибо говори, сволочь, что винтовку дома оставил, дал бы тебе раз!» А сами гнем друг друга. Ну, бросил я его. «Подожди, — говорю, — придет на тебя час!» Год за годом! Пришел!

Все одобрительно подтверждают. Пришел на него час!

— А у нас есть еще один. Работал в лесу около дров. Тоже на Ауслендера. И убило его деревом. Шесть месяцев пролежал. И так до сегодня ни копейки с Ауслендера того не получил.

Очень интересно услышать здесь, в бывшей Румынии, слово «копейка» применительно к расчетам с помещиком. Тот ведь расплачивался леями.

Расспрашивают меня о колхозной деревне. Самые простые, общеизвестные у нас вещи вызывают восторженное изумление. Переспрашивают и неизвестно чему кричат все хором: «Да! Да!». В примарии всего человек семь, но каждую мою фразу тут же, при мне, передают из уст в уста.

— В России не все получают в колхозах поровну?

— Не все. Кто сколько выработает. Получают по труду.

— Не все... не все... По труду... По труду... — разбегаются слова, как круги по воде.

Это своеобразное эхо радости. Люди словно освобождаются от каких-то смутных сомнений. Вероятно, все то небольшое, что я успел им сказать, они уже не раз слышали. И переспрашивают, как мне кажется, не из доверия или простого удивления, а просто для того чтобы еще раз слышать о хороших вещах.

Приходит уполномоченный райисполкома Титаренко. Начинается маленькое собрание. Титаренко неторопливо объясняет нормы поставки.

— У кого полгектара посевов и меньше — тот

поставляет 15 кило с гектара. У кого от полутора до двух гектаров — тот поставляет по 60 килограммов с гектара. С двух до пяти — по 90 килограммов с каждого гектара. А с пяти и выше — по 110 килограммов. Кто богаче — тот больше! Поняли?

— Поняли! Поняли!

Все рады, словно услышали что-то необыкновенное.

— Возьмем рассчитаем к примеру! У вас сколько гектаров посеяно? — обращается он к суетливому крестьянину в киптарике.

— Я? Что? У меня что? Это про меня, что? Я не из этой деревни! — бормочет он скороговоркой и спешит улизнуть за дверь.

— Ну, а у вас сколько посеяно? — обращается Титаренко к другому.

— Тридцать прожин.

— А детей сколько?

— Пятеро.

— Земли, значит, меньше, чем полгектара. Вот с вас и причитается семь маленьких килограммов.

Здесь различают маленькие и большие килограммы (центнеры).

Бригадиры расходятся.

...Едем на бричке по селу. Нас обгоняет бедно одетый человек в городском платье. Серые глаза светятся совсем по-детски. На лице торопливая, радостная готовность. Он весь поглощен своим чувством долга. У него большая семья и совсем мало земли. Он — в прошлом рабочий, поляк, от безработицы осевший как-то на землю. С него причитается совсем немного хлеба. Но он весь — порыв и озабоченность. Ему хочется скорее, еще до ночи, принести своих полтора килограмма зерна.

Темнеет. Мы все еще едем по селу.

Белая хата на пригорке. Внутри жарко натоплено. Курится паром уставленная чугунами и крынками синяя плита. В двух шагах от нее, на дощатой кровати под пестрым тряпичным одеялом лежит нестарый еще, но очень изможденный мужчина в белой холщевой рубашке, завязанной у ворота веревочкой. Заострившееся, сухое, покорное лицо с синими теньями. Желтые руки неподвижно лежат поверх одеяла, словно он давно забыл о них. Большой — секретарь примари, избранный после прихода Красной армии. На вопрос, как его здоровье, отвечает глухо и неожиданно-громко, но как-то деревянно, будто не о себе. Что с ним, он не знает. Даже не может сказать, что, собственно, у него болит. Просто, видно, смерть пришла. Такого же мнения и его домашние и «примар».

— Уж не придется в сельраде-то работать, — говорит он. — Вы уж меня простите! Заболел-то ее во время.

Титаренко говорит какие-то утешительные слова и проявляет распорядительность:

— Надо прислать врача. Врач был? Нет? Безобразия! — делает он внушение «примару».

— Что ж поделаешь, когда смерть пришла!

— Все равно, врачу показать надо.

Бричка катится дальше по затихшему селу, то и дело сворачивает, подымается в гору, пересекает деревянные высокие мостики над мелкими осенними речками...

— Так завернем к помещику? — спрашивает неожиданно Титаренко.

Бричка прогремела по деревянному мостику и бесшумно покатила по клейкой колее. Мы въехали во двор, вернее — в сад, служащий в то же время двором. Поленицы дров. Каким-то сараюшки, три собачьи будки, повернутые друг к другу фасадами, овраг, подступивший к самому дому, показавшемуся мне очень не взрачным, не старинным, но старым, опустившимся, обветшалым и совсем розовым в последних лучах заходящего солнца.

Обходим дом со стороны кухни. В сенях на нас кидается крупный пойнтер. Титаренко отпрядывает назад, прижимая дверь рукой. Пса удерживают, и мы проходим на кухню. Кухня обдает нас приятной теплотой. На кухне очень чисто. Молодая украинка-кухарка смотрит на нас с любопытством и, пожалуй, некоторым недоброжелательством. «Не потому ли, что мы идем к бывшему барину?» — мелькает у меня в уме. Титаренко тоже как-то смущен и преувеличенно насторожен. Кроме того, он не уверен, как, собственно, надо вести себя с этим человеком, одним из немногих небезважных помещиков.

В Стороженце, когда я наводил справки о Красно-Ильске, мне сказал секретарь райкома партии:

— Тут у нас есть один академик. Может, он что знает об этих материалах. Наведайтесь!

По правде, мне тогда не подумалось, что речь шла о румынском академике, и я остался с убеждением, что он имел в виду какого-нибудь нашего ученого, приехавшего собирать материалы по Буковине.

Помещик, к которому мы сейчас шли, и был как раз этим академиком. Он славился своей библиотекой, слыл среди крестьян человеком ученым, и, повидимому, за это на него не очень злыбились. Народ уважает книжных людей даже тогда, когда они этого совсем не заслуживают. После национализации бывшему помещику оставили два гектара земли, дом и вернули корову и лошадь.

По пути в комнаты мы сталкиваемся в полутемном коридоре с торопливо вышедшим нам навстречу хозяином.

Высокий, худой неврастенический старик

с острым лицом и раздражительной французской бородкой. Нос с горбинкой. Выдвинутый вперед подбородок. Такие лица любили писать второстепенные живописцы, которым всегда недоставало подлинной силы великих мастеров.

Проходим в тесную и уже совершенно темную комнату. За нами несут керосиновую лампу. Навстречу ей мелькает другая, — передо мной старый буфет с зеркалом и медными шандалами. Вся обстановка восьмидесятых безвкусных годов. Только на стенах черные квадраты портретов без рам, очень наивных, но несомненно документальных, начала XIX века. По стенам еще развешаны мелкие олени рога. На столе клетчатая клеенчатая скатерть.

На тонком жестином подносе приносят бутылку вина. Сухая, маленькая экономка, она же бывшая гувернантка, присутствует при беседе, заменяя бежавшую в Румынию хозяйку.

Хозяин сдержан и суетлив одновременно. В нем желание показать полнейшую лояльность и в то же время некоторую независимость.

В его голосе какая-то снисходительность. И я чувствую в нем затаенное высокомерие. С почти ненужной резкостью я его спрашиваю:

— Вы член румынской академии?

— Я член-корреспондент румынской академии.

— По какой дисциплине?

— По истории.

— А внутри истории?

Он не совсем понимает. Потом говорит:

— Familienforschung.

Aha! Значит, генеалогия! Передо мной — румынский архивист, историк румынских боярских родов, бывший директор архива в Яссах, Север Зотта. С ним мне действительно стоило поговорить. С места в карьер спрашиваю его о фамилии Ролли. Он бесконечно ошеломлен. Знает ли он эту фамилию? Да разумеется! Как же ему не знать? Но почему? Он вдруг схватывает со стола карманный электрический фонарик и стремительно куда-то убегает внутрь дома.

Он возвращается через несколько минут с двумя или тремя книгами и начинает мне их демонстрировать. Он очень возбужден.

В книге Октава Георга Лекка „Familie Voeresti Române“, Букарешт, 1899, целые две страницы посвящены этой, ныне вымершей фамилии Rollé или Rollet.

Беседа наша приобретает видимость специальной. Во время ее Титаренко почти незаметно исчезает, обещая, впрочем, зайти за мной позже.

Мой хозяин все больше и больше приходит в состояние двигательного невроза. В нем странно спутаны испуг, гордость, ущемленность, сомнение. Кто знает, может быть, лет пятнадцать со дня ухода его в отставку уже ни-

кому не надобна была его осведомленность. Мне очень трудно направить его мысль в нужное русло.

— Когда умер барон Стырча, мой кузен, я разбирал его библиотеку в Красно-Ильске и никаких пушкинских бумаг не обнаружил. А я бы уж не пропустил!

Я ему верю. Но относительно книг с возможными пометками Пушкина он не может сказать с абсолютной уверенностью. Деловая часть разговора окончена. Очень поздно. Безмолвно сидевшая все время гувернантка вносит тарелки и накрывает к ужину. От ужина я отказываюсь. Я устал, и у меня совершенно пропал аппетит.

Хозяин закладывает за воротник салфетку и осторожно расправляет ее на коленях. Рядом с ним ставят эмалированное ведро с горячей водой. В ведре плавают две бутылки с вином. Затем ему подают жестяную шкатулку, наподобие тех, в которых раньше хранили чай, чтобы он не выдыхался. Кажется, он еще отпер шкатулку маленьким ключиком. В шкатулке, завернутый в несколько салфеток, лежал черный хлеб. Он нарезает несколько тоненьких кусочков и выкладывает их на тарелку.

Начинается ужин. Хозяин ест много и с аппетитом. Он все время подливает себе в рюмку и становится все оживленнее и говорливее. Он рассуждает о различных предметах. Сперва он порицает румынского короля за недалекость: «Король, я думаю, должен будет отречься. Но Румыния останется. Из-за устья Дуная. Вот что спасет Румынию!». Потом он полагает, что русские имели все права на Бессарабию; он даже не имеет ничего против отхода к России Северной Буковины. Он даже рад, но полагает, что русские чуть перехватили.

Дальше он прямо недоумевает, почему русские не оставили status quo, как в 1812 году в Бессарабии, когда «была оставлена вся прежняя администрация». Надо же было оставить какой-то переходный период, чтобы население привыкло... И потом национализация, — я, конечно, ничего не имею против того, что крестьяне получили землю... Да я и не помещик. Я даже обижаюсь, когда меня зовут помещиком. Это моя жена была помещицей. Имение ее. Она и убежала. А я остался. Я — ученый. Я не мог уйти от своих книг: как казак не может расстаться со своей лошастью, так и я — с книгами. Но вот почему бы все-таки русским не выпустить выкупные боны за землю? Потом по ним можно было бы не платить, но все-таки люди чувствовали бы себя довольнее. Могли бы эти боны продавать! Я совершенно объективно говорю. Я не помещик и не капиталист.

Он начинает мечтать:

— Как вы думаете, мне дадут пенсию? Я ведь получал пенсию, а раз переходит территория, то переходят и обязательства. Не могу же я жить с двух гектаров! Пенсию я получал пять тысяч лей. Это же по-русски небольшие деньги — сто двадцать рублей. Или я продам университету свою библиотеку. Ее мне оставят в пожизненное пользование. Нет, я доволен. Я положительно доволен! Я изучаю сейчас Конституцию и вижу, что у русских есть законы. Я всегда говорил: страна в сто семьдесят миллионов не может жить без законов. Россия — цивилизованная страна. Когда все бежали, я остался. Скажите, разве это не мужество? Я не ушел от своих книг. Как казак!

Желтый свет от лампы словно клубится. Серое поблескивание фаянсовых тарелок и салфетки на груди хозяина... Неустойчиво освещенное пространство с восковой, окостеневшей гувернанткой и механически беспокойным, словно заводным стариком...

Меня словно опустили на ниточке в театраль- ный макет или игрушечный кукольный домик, и я уже живу в нем по внутренним законам ку- кольного мира, неодушевленного лишь для очень прозаических взрослых людей и их малолетних подражателей...

Пойнтер кладет мне голову на колени, и тон- кая собачья шерсть засеребрилась на моем ко- ричневом костюме. Пес — самый здесь реальный.

Убирают со стола. Я заметил, что за весь ужин гувернантка съела только немного карто- фельного пюре. Хозяин убирает в жестяной ла- рец несъеденный хлеб и бережно сливает невы- литую мною рюмку обратно в бутылку.

Нас навещает Титаренко. Он всю ночь ездит по селу, подготавливая сдачу хлеба.

Завернули неслыханные холода. Передавали по радио, что два градуса мороза. Я — в одном костюме.

— Ночуйте здесь! Я думаю, ничего...

Я остаюсь. Но я принужден еще осмотреть библиотеку. Хозяин непременно хочет мне ее показать.

Я предчувствую, что библиотека эта ничем не поразит мое воображение. Хозяин берет со стола две лампы и провожает меня в кабинет. Стол с темной плюшевой скатертью. Бронзовые часы «рококо». Полки вдоль стен. Большая, не очень специализированная библиотека. Никаких рари- тетов. Но хозяин водит меня около полок, пока- зывая книги с таким видом, с каким, наверно, допускает непосвященного хранитель ватикан- ской библиотеки к подлинным «бреве» пап.

Отдельно, на маленьком столике, книги о Рос- сии: немецкие переводы Тургенева, книги по истории России, мемуары, две или три русские революционные брошюры времен пятого года

в темновиншевых обложках. Здесь же Сталин- ская Конституция на украинском языке.

Хозяин собрал сюда все, что у него было о России, и теперь ночи напролет читает эти книги. Видимо, он силится постичь новый строй мыслей, идей и вещей, пришедших из России, его мысль мечется, и он не знает, за что ухва- титься...

Мы ходим по крашеному, облупившемуся полу. Хозяин, словно оправдываясь, говорит:

— Ковры жена увезла. Она все увезла, что можно было захватить. С вечера узнали о рус- ской ноге. Всю ночь была суматоха. Жена за- брала все ценности и уехала с внучкой. Рано утром. А сын через час усакал верхом. Я остался. Как казак.

Ему, видимо, очень нравится это сравнение.

— У меня нет имущества. Вот этот пиджак я ношу десять лет. У меня нет другого. Вот по- смотрите! — И он распахивает пиджак, как будто подтверждение его слов можно прочесть на под- кладке.

Он пьян, но его опьянение непохоже на сбив- чивую оглушенность редко пьющего человека. Он в приподнятом настроении, но все, что он говорит, имеет свой смысл. У него есть то, что я бы на- звал «чувством фасада». Именно поэтому беседа с ним перестала быть интересной. Я решитель- ным тоном говорю, что хочу спать. Он проводит меня в комнату за библиотекой, где на большой деревянной кровати приготовлена свежая по- стель и три одеяла, ибо очень холодно.

Он оставляет мне свечу и спички, просит быть осторожнее с огнем и не устроить пожара и за- пирается от меня на ключ со стороны библио- теки. В моем распоряжении остается выход через другие комнаты.

Приятно поевжившись под холодными просты- нями, я мгновенно засыпаю.

6 сентября

Проснулся я поздно. В окна бил свет. Прямо перед глазами стоял большой станок с недокон- ченным ковром. Настежь раскрытый шкаф. Сто- лик со старыми журналами: моды, домоводство и рукоделия; полочка книг, евангелие, несколько старых романов и совсем новых религиозно-фило- софских сочинений на немецком языке. Какие-то бабочки и пузырьки. Все в страшном беспорядке, словно дом вывернули наизнанку. Рядом детская. На полу брошенный мишка. Кровати без одеял и даже матрацев. Зеркальный шкаф, тоже полу- раскрытый. Не отпертый, а соскочивший замок. Полусорванный дрянной коврик на стене. Ночной столик с колодой карт. Обложка от «Гулливера» и несколько рассыпанных по полу детских кни- жек. Торопливо брошенный дом. Эту половину так за два месяца и не прибрали.

Прощаюсь с гувернанткой. Хозяин еще спит. У кооператива толпа. Здесь принимают и вешают хлеб. Полутемное помещение. Пустые, источенные червями полки. На одной из них несколько кос с короной и именем короля Кароля. Стоила такая коса 170 лей. Я постукиваю по этим косам, и они странно дребезжат.

Крестьянин в полушубке подмигивает. Без слов очевидно, что косы дрянн.

Появляется Титаренко. Его тотчас же обступают. Выплывают самые разнообразные дела и нужды. Одна крестьянка просто жалуется на бедность: куча детей, все разуты. Титаренко говорит:

— Поле тебе дали? Дали! Богатым не дали? Не дали! Вот погоди, скоро и на детей получишь!

Многодетные матери уже слыхали про пособие и спрашивают, когда его начнут выдавать и на Буковине.

Выстраивается длинный ряд подвод. С горы на «фире» подъезжает толстая, неуклюжая, низкорослая женщина.

— Честная вдовушка! — с неприязнью говорит мне вполголоса Титаренко. — Намучились мы с нею! Уклоняется от хлебопоставок. Кулачка. Одна живет. Всего полно набито, а говорит: ничего нет, не смолотили да не убрали, да то, да сё. Выпивает, говорят, порядком. И батраки у нее. Да, здоровая баба! Вдовица, одним словом!

— Ну как, Саламаха, привезла хлеб государству? — обращается он к ней. — Нехорошо отвливать, нехорошо!

Саламаха, не отвечая, возится у мешков. Она в полушубке до пят. Ей лет сорок пять.

У нее недоуменно-испуганно-придурковатое выражение лица, маленькие глаза, мясистое лицо. Свесив зерно, она собирается тотчас же уехать. Но ей говорят, что по наряду надо будет ей и отвозить. Она артачится, уверяет, что лошади не в порядке и не вытащат воза в гору. Потом с большой неохотой остается. Но только о ней забыли, как она исчезла. Сперва лошадь пошла шагом, будто сама, потом, немного отъехав,пустилась в гору.

— Где Саламаха? Упустили Саламаху! Догоняйте Саламаху!

Саламаху воротили. Она еще раз пробовала ускользнуть и все плакалась, что лошади слабы.

Выстраивается длинный обоз. Титаренко с отеческим видом считает подводы:

— Уже пятнадцать подвод... Запишите переодовников! Прискар Василь. трое детей, земли тридцать прожин, сдал пять килограммов. Стоколас Марко — сдал десять килограммов. Детей шесть душ. Дученко Георгий — детей трое, сдал

семь килограммов. Все бедняки. У каждого по полгектара земли, а то и меньше.

— А Саламаха-то что было выкинула!

— Опять удрала?

— Нет! У нее в этом сельсовете четыре гектара и в другом — два. Так она, чтобы избежать дифференцированного повышения, хотела сдать здесь с четырех, а там с двух. Все меньше получалось. Темная-темная, а это сразу сообразила!

Обоз трогается. В палисаднике у примарга запирают жеребенка, но он вырывается и бежит за матерью.

Большинство крестьян украсило обруи красными ленточками и цветной бумагой.

Обоз тянется в гору. Отсюда до Стороженица два трудных перевала.

Нас нагоняет легковая машина райисполкома. Мы садимся в нее, чтобы поспеть заранее в город и организовать встречу первого красного обоза с хлебом на Буковине.

ШКОЛА № 2

25 сентября

Желтое трехэтажное здание. Помещение бывшего лицея. Ныне советская средняя школа № 2.

Преподавание сейчас ведется на украинском языке. Учащиеся в большинстве своем приняты вновь. Но социальный состав, по словам директора, трудный.

Я пришел в комнату занятий. Навстречу мне валила толпа учащихся старших классов. Внешний вид их напомнил старую частную предреволюционную гимназию, не особенно придиричивую по части дисциплины и прилежания, плюс провинциально-европейский стандарт. Подростки в спортивных костюмчиках, коротких брюках гольф и пестрых гетрах, однако без малейших признаков физической выправки, подтянутости или натренированности. Выхоленные, неразумно раскормленные юноши апатично-самодовольного вида. Неврастенические, подергивающиеся, чрезмерно оживленные молодые люди. Корректные мальчики, расшаркивающиеся перед старшими. Девочки в платьях колоколом, с открытыми голыми коленями и модными прическами; припудренные носики, выстриженные брови и острожно подкрашенные губы.

Все чрезвычайно вежливо и приветливо прощаются с директором.

Проходим в классы. Они поражают своим убежеством. Душные после уроков комнаты, хотя окна открыты настежь. Совершенно непредставимые парты: тяжелые, грузные колоды на четырех учеников, они очень массивны, и целые поколения школьников не сумели их истерзать пе-

рочными ножами. Они — как средневековые ко-
лодки или синагогальные скамьи. Высокий по-
мост. На нем обшарпанный стол. Профессорская
кафедра.

Профессорские звания здесь дешевы. «Профес-
сором» зовут всякого преподавателя средней
школы. Нашим приезжим учителям это немного
льстит.

Вдоль стен, под самым потолком, тянутся мед-
ные прутья. Кое-где с них спускаются на шнурах
географические карты и картины. Остальное
было занято портретами румынских королей.

Заходим в пятый класс, где только что окон-
чился урок. Ученики, толпящиеся в классе, мгно-
венно становятся навтыжку за парты. Водво-
ляется полная тишина. Директор здоровается и
машет рукой. Все садятся. Приветливо-любопыт-
ные лица. Директор дружелюбным тоном задает
несколько вопросов. Ему почтительно докладывает
один из учеников на ломаном украинском
языке, что сегодня проходил с ними господин...
товарищ профессор, — быстро поправляется
ученик.

Директор делает знак, означающий примерно
«вольно», и ученики почтительно и как-то неза-
метно оставляют класс.

— Милые, в сущности, ребята, — говорит ди-
ректор. — Страшно вежливые. С каждым в от-
дельности приятно поговорить. А коллектива все-
таки нет! Не получается пока. Начнешь говорить
с классом — все слушаются, а сами никуда. Оно
и неудивительно, впрочем.

Молодые люди, изображающие студентов, при-
ходили в школу с трубками. Директор вывесил
плакат: «Курити заборонено», чем привел в сму-
щение Горано. Что же это за школа, где висят
такие плакаты?

На-днях к директору пришла какая-то мамаша.
Просит за свою дочь, которую перевели в дру-
гую школу по территориальному признаку. (Она
живет на другом конце города.)

— Дуже прошу оставить у вас у школи дочку.
Ее ухажор здесь занимается.

Довод! К удивлению любящей матери, он не
подействовал.

КАФЕ НА УЛИЦЕ ЯНКО ФЛОНДОРА

26 сентября

Два часа дня. Облачный, но теплый день.
Слегка парит. Черновицкое Корсо — улица Янко
Флондора — полна гуляющих (послеобеденный
кейф). В кафе невозможно найти свободный
стул. С двух до четырех здесь просиживают за
столиками; один стакан черного кофе и два пи-
рожных — это максимум, что здесь съедается.
Нескончаемые ленивые разговоры, сменяющиеся

неожиданным говорливым оживлением: пришел
кто-то со свежими известиями. Кафе на улице
Янко Флондора — маленькие информационные
бюро, где наряду с только что услышанными по
радио новостями можно получить и весьма прак-
тические сведения житейского характера.

За столиками сидят большими компаниями.
Новые посетители здороваются чуть ли не со
всем кафе, прежде чем примоститься на самом
уголке чьего-нибудь столика. Кельнерши всех
знают по имени и фамильярны с посетителями.
Они очень неторопливы и способны подолгу
болтать с клиентами. Заказа здесь приходится
ждать минут сорок.

— Говорите по-русски, почему вы не говорите
по-русски? Вам сейчас же принесут. — учит меня
местный житель. — Русские не умеют и не лю-
бят ждать. Они не понимают, что такое снеста.
У них много дела. Им некогда. Скоро и у нас
будет меньше времени и больше дела. А вы,
правда, русский? И пьете черный кофе? Русские
обычно пьют сладкий кофе с молоком, мы уже
заметили. Черный кофе не в моде! Правда,
в России не любят черного кофе?

Он способен рассуждать так нескончаемо долго.
Это и есть видимость послеобеденной беседы.
Увы, весь культурный облик старых Черновиц
подстать этой не требующей большого напряже-
ния болтовне.

Центром политической жизни Черновиц было
кафе «Европа». Здесь в придачу к стакану чер-
ного кофе можно было получить целый ворох
газет на пяти языках и до позднего вечера
приятно болтать о мировых событиях, высказы-
вая по каждому поводу свое собственное, ори-
гинальное, ни на чье больше не похожее сужде-
ние. В кафе «Европа» пытливые умы плели тон-
кую сеть умозаключений, строили прогнозы, ре-
шали судьбы народов, объявляли войны, уничто-
жали целые государства и народы... Незаметно
приближалась ночь, и возбужденные этой ум-
ственной гимнастикой черновицеры расходились
по домам. Сейчас они проводят целые ночи за
радиоприемниками и слушают все иностранные
радиовещания подряд... Днем по беспроволоч-
ному телеграфу из кафе «Европа» и других ана-
логичных агентств сенсационнейшие известия раз-
летаются дальше... Вот только что в кафе при-
бежал седовласый плотный мужчина. Протискав-
шись к самому дальнему столику у плюшевого
дивана, он застрекотал:

— Венгерское радио сообщает... Только что
сам слышал... В Трансильвании... — И, едва вы-
ложив скоропалительную новость, стремительно
убегает, оставляя после себя гул заговорившего
кафе. Повидимому, он побежал в кафе на-
против.

Черновицеры — завзятые полиглоты и в силу

исторических причин говорят на двух языках (румынском и немецком, вытеснившем еврейский), кроме того, каждый второй из них понимает по-французски или по-английски, каждый третий еще разумеет хоть немного по-итальянски, по-венгерски или по-польски. И на всех этих языках они говорят почти одинаково плохо.

Но все эти черновицкие буржуазные интеллигенты десятки лет жили бок-о-бок с угнетенным украинским народом и вовсе или почти не знали его языка.

Украинский язык влачил здесь жизнь пария. Теперь этот «мужицкий» язык стал государственным, и черновицким обывателям приходится сожалеть о многих упущенных возможностях изучить его раньше.

Все это не мешает черновицерам быть очень высокого мнения о своей культурности.

— Черновицы соединили в себе культурные традиции Парижа и Вены, — объявляет мой сосед за столиком. — Нет такого уголка в мире, где бы вы не встретили черновицера. Году в тридцать седьмом сюда приезжал бразильский министр. Здешний уроженец. Государственный ум.

Вчера я слышал еще одну историю знаменитого черновицера. В юности, отлив из нескольких серебряных монет примитивные пули, он отправился в горы и расстрелял их в пористые скалы. Через несколько дней он открыл в Карпатах серебряную жилу. Ему, говорят, удалось убедить в этом нескольких недалеких гимназических профессоров, и они организовали акционерное общество. Сейчас этот предприниматель на Борнео...

Шумит кафе. Сиреневый дымок стелется над столиками. Один из завсегдатаев вынимает папиросу и обращается к соседу. Тот протягивает свою папиросу, потом неожиданно одергивает ее, лезет в карман и с театрально-заговорщицким видом извлекает плоскую зажигалку. Зажигалка производит неожиданный для меня эффект. Ее встречают ироническими приветственными возгласами. Я не совсем понимаю эту сцену, и мне объясняют: в Румынии в интересах спичечной монополии были запрещены зажигалки. Пользование зажигалками влекло за собой судебное преследование. Более того, запрещено было и прикуривание. Прикуривание в Румынии рассматривалось как подрыв государственной экономики.

За соседним столиком, у окна, двое мужчин шиберского вида, словно сорвавшиеся с карикатур Георга Гросса или Карла Арнольда времен инфляции, спорят о науке. Что им Гекуба и что они Гекубе? Впрочем, черновицеры обожают науку. Их в равной степени волнуют судьбы надзвездных пространств и невидимых атомов, межпланетные сообщения, особенности душевной

жизни домашних животных и уголовные кодексы. В здешней газете «Моргенблат» вела специальный отдел и публиковала свои научные экспертизы «доктор философии госпожа Августа Кириллоф, почетный член Венского астрологического общества». Она была очень скромна. В ее задачу лишь входило «заложить фундамент великого гороскопа жизни», перекинуть мост от земного, или, как она выражалась, терестрического, к астральному берегу. «Миссия научной астрологии состоит в изъяснении космических нероглифов».

Черновицеры вообще большие поклонники культуры. И притом самой современной. Черновицкий обыватель очень боится показать себя отсталым. Он всегда гипермодерн. Он покупает только последние новинки. Слушает только самую модную музыку. Вешает над диваном самые модные репродукции. Они читали Фрейда, слышали о Бергсоне и Шпенглере, непрочь потолковать о Хиндемите и Стравинском, восхищаются Джойсом.

Пруст, Хексли, Пираделло для них уже старомодны.

Черновицкий обыватель — агрессивная посредственность. Ему во что бы то ни стало хочется показать, что он значит и стоит больше, чем на самом деле. Для обозначения этого свойства здесь существует хорошее слово «препотент», мнимая значимость в сочетании с самодовольством.

Здесь было слишком много людей, которые ни при каких обстоятельствах не намерены были трудиться. Таких и сейчас порядком среди завсегдатаев кафе. Бывший студент парижской Сорбонны, «ироник по профессии», как он себя определяет, так характеризует нынешнее состояние умов черновицкого культурного обывателя:

— Здесь жили отраженным светом своего достатка. Вот были у нас коммерсанты, владельцы предприятий, купцы — почтенные все люди. Их считали культурными членами общества. У себя на предприятии они давали дельные распоряжения, к их голосу прислушивались. Не было ни малейшего повода усомниться в их, скажем, уме или способностях. И вдруг пришла Красная Армия. И с них сразу все слезло. Они какие-то пустышки, идюты. Мы удивляемся: неужели они когда-нибудь были умными людьми? Они — как детские воздушные шары, из которых выпустили газ. Они утратили свою эманацию, исходившую от их богатства. Они упали в цене в собственных своих глазах. Теперь им нечем казаться, а быть они, собственно, ничем и не были!

Мыслящая, «левая», как здесь еще говорят, часть интеллигенции стремилась понять Советскую Россию и жадно ловила все сведения, ка-

кие только она могла получить о ней. Любопытное явление: здесь изучали Советскую Россию по русским классикам. Мне много раз приходилось слышать:

— Через русских классиков мы узнавали Россию, а значит, и Советы.

Советская литература проникала в Румынию отдельными каплями. То проскочит номер «Интернациональной литературы», то румынская цензура пропустит немецкий или французский перевод какого-нибудь советского писателя. Один раз, — это помнят все, — вдруг был пропущен английский номер «СССР на стройке». Это была большая сенсация.

Циркулировали — и в большом числе — антисоветские книги. Румынская цензура их охотно пропускала — и была недалёковидна:

— Мы вычитывали в этих книгах совсем не то, для чего они были написаны. Скажем, ругают порядки на вновь построенном заводе: и то, мол, неладно, и это не клеится. Отсюда делалось только один вывод: «Ага, большевики построили еще один завод, а мы и не знали!» Все негативное отбрасывалось. Чем больше ругали Советский Союз, тем он казался нам лучезарнее.

Конечно, столь косвенно и случайно получаемая информация не могла дать людям конкретное представление о Советской России. Ее представляли себе очень абстрактно и умозрительно. Композитор Самуил Флор рассказывает:

— Как-то я путешествовал по Бессарабии и смотрел через реку на советскую сторону. Я ни когда не забуду своих чувств: я видел дома, людей, но они были так далеки от меня! Как на Марсе. Это был совсем другой мир. Это была загадочная, непостижимая, манящая страна. Почти мистическое видение. А однажды нас унесло на лодке в море. Ночью. И вдруг мы увидели огни Одессы. Что со мной стало! Мне так захотелось пристать к советскому берегу, а там пусть нас арестуют советские пограничники... Мы очень мало и в то же время очень все-таки много знали о Советском Союзе. Но живого советского гражданина мы себе не представляли. А теперь я сам советский гражданин.

КАРПАТЫ

8 октября

Выехали поздно. Проскочили длинный серый мост через Прут, обгоняя груженные соломой фуры.

Осень на все уже наложила свои тени. Обнаженная, прелая, измученная земля, низкие домики, порыжелые снопы кукурузы. Мокрые, синяя-черные борозды, горки картофеля, согбенные люди. Хмурое небо.

Дымчатая кромка облаков сливается с контурами виднеющихся вдали гор. Дорога летит, как стрела.

Вашковцы. Старое торговое село, упоминаемое еще в актах 1430 года. Неподалеку Анютина гора. Во время нашествия татар сюда убежала девушка по имени Анна. Она обратилась с мольбой к горе, и гора раскрылась и схоронила девушку от позора и пленения. Такие же легенды рассказывались и на Русь.

Автомобиль неукротимо мчит нас вперед и не дает оглядеться. Мелькают нескончаемые плетни и белые домики. Вся земля здесь разгорожена плетнями и располосована межами.

Длинный дощатый обветшалый забор. Бывшее имение. За оградой небольшое картофельное поле. Приземистый, неуклюжий крестьянин в кожухе, две женщины и несколько подростков копают картофель. У всех отвислые на один бок или растекшиеся по всей шее зобы. Горная болель.

На земле, еще этой весной принадлежавшей помещику Бильнеру, убирают картофель. В первый раз в жизни для себя.

Спустились серые сумерки. Горы, уже давно синевшие перед нами, вдруг словно прыгнули нам навстречу, оттолкнув наступающую ночь. Небо расступилось, и внезапно стало светлее. Лимонные прорези показались на горизонте, тучи расслоились, и всполохи закатного солнца озаарили горы, ставшие совершенно лиловыми.

А слева от дороги на совсем расчистившемся небе показался серебряный месяц.

Цветовая безмолвная симфония на горизонте продолжалась несколько минут.

Автомобиль уже катился по узким улицам горного городка Вижницы.

Почти совсем стемнело.

Где-то рядом, в глубоком овраге зашумела маленькая горная река, один из притоков Черемоша. Забираться в горы дальше было бесцельно, и мы решили отыскать здешний дом отдыха — первый, единственный и доселе неслышанный в Буковине.

Маленькая сторожка. По каменистой тропинке почти ощупью спускаемся в ложину, хватаясь за кусты и влажную от росы траву. Где-то в стороне, по большой дороге, пробирается вниз с проводником машина. Два невысоких, освещенных дома, треньканье, говор, людность сразу сказали нам, что мы пришли. Видно, только что кончился ужин, и обитатели дома вываливаются из столовой и как-то неумело топчутся на маленькой площадке. Узкоплечие девушки ходят обнявшись, как школьные подруги, по небольшой, усыпанной мелкой речной галькой площадке.

По правде говоря, мы немного удивлены большим числом подростков почти детского вида. Нам говорили, что дом отдыха принял только вторую партию отдыхающих, и профсоюзы посылают лишь старых и лучших своих производственников.

Мы садимся на маленькую, низкую скамейку под окнами, рядом с молоденькой девушкой. Она проста и естественно отвечает на наши вопросы. Эмилия С., девятнадцати лет, резинщица. Уже пять лет работает на фабрике «Каурум». Там же ее сестра и брат. Когда умер отец, вся семья закабалилась на этой фабрике. Работали не меньше десяти часов. Хозяин обсчитывал и издевался. Эмилия однажды пришла попросить аванс. Хозяин только сказал:

— *Machen Sie die Tür von anderer Seite zu* (Закройте дверь с другой стороны!)

Сейчас она при восьмичасовом рабочем дне значительно перевыполняет свою норму. История других юношей и девушек почти такая же. Оказывается, в дом отдыха на самом деле послали старых производственников.

Размахивая большими ручными фонарями, из столовой выходят еще несколько человек. С ними идут музыканты: скрипка, сопелка и цимбал. Начинаются танцы.

Шумит горная река. Звонит меланхолический цимбал. Ночное небо. Качающиеся керосиновые огни. Танцуют «хору» и «коломыйку» — нежные и ритмичные гуцульские танцы, во время которых парень осторожно водит девушку вокруг себя, то отступая, то приближаясь к ней на шаг. Самым первым и самым застенчивым кавалером выступает здесь молодой гуцул в белой холщевой рубашке до колен и таких же узких штанах и китарике. За исключением оркестра, он один одет не по-городски. К тому же он бос, и, видимо, это его очень смущает. Но зато кавалер он почти единственный. Сейчас он танцует с молоденькой еврейкой, толстухой в пестрой вязаной кофточке.

Мы спрашиваем, не Никифор ли играет на цимбале? Нет, не Никифор. У него сейчас по горло дел в сельраде. Никифора хорошо знают на Буковине. Он ходил по селам на чужое веселье. Ни одна свадьба или пирушка не обходилась без него. Струны его цимбала мелодично звенели среди непоколебимой тишины гор. Но вдруг среди хмеля и пляски начинались пыльные речи, которые надолго западали в память гуцулов. Хранитель свободолюбивых традиций народных музыкантов, Никифор разносил по горам заветное, неугасимое слово. Гуцулы ревниво прятали своего любимца от взоров сигуранцы, но все же два года тюрьмы осталось за его плечами.

Шумит горная река. По извилистой тропинке поднимаемся в горы. Влажная от росы трава. Редкие звезды. Кажется, прошли совсем немного, но дома с их успокоительными, мирными огнями словно прижались к земле и едва различимы во тьме. Чуть слышно однообразное бренчание цимбала. Но река становится громче, она словно заполняет собой горы. Где-то, бесконечно далеко и в то же время совсем рядом, победоносно шуршит ее нескончаемая песня.

Мы сходим вниз. Нам приготовлены свежие, чуть сыроватые постели в маленькой, чисто выбеленной комнатке в одно окно. Некрашенный пол; соломенные тюфяки коротеньки, не во всю длину кровати. Дом отдыха только возник. Раньше здесь был горный курорт и лыжная станция для туристов, любителей «дикой жизни». Хозяин сбежал, захватив все белье.

— Сюда наезжали, чтобы потом похвастаться, что жили с медведями. Владельцы курорта нарочно не заводили ни электричества, ни радио, ни ванн, ни умывальников, чтобы не пахло никакой цивилизацией.

С нами ночует отдыхающий здесь буковинский коммунист Евгений Ст., украинец. Сухощавый блондин с отлично выбритым тонким лицом, серыми глазами и ранней сединой. Ему не больше тридцати лет. Берет, спортивная вельветовая желтая куртка, короткие брюки, грубые пестрые чулки и тяжелые горные ботинки на шипах.

— Подправляю желудок, — говорит он, словно извиняясь, что он здесь, что он отдыхает, когда кругом такая пропасть дел.

Ему пришлось испытать на себе режим знаменитой румынской тюрьмы Довтаны (недалеко от Плоэшти). Эта тюрьма была построена по всем правилам современной науки из бетона с солью, чтобы обеспечить в ней вечную, неистребимую сырость. Около пятисот человек томилось в этой тюрьме без прогулок и света. В Довтанах заключенных заковывали в горячие кандалы весом до сорока кило. Кожа под ними сгорала и не заживала от постоянного раздражения железом. В тюрьме свирепствовали цынга, дизентерия и различные желудочные болезни. Бочками свозили из оврагов соленую воду, что стекала с гор, и кипятили с травой. Выходил зеленый борщ. На второе — прогорклая мамалыга. И так изо дня в день. Деньги, посылаемые родными и друзьями, посылки и передачи не доходили. Время от времени полиция устраивала расправу. В 1935 году повесили Ивана Маринюка. Бессарабец Зиновий Бутор умер от пыток. Лука Ласло провел в тюрьме восемь лет. Сейчас в Черновицах он заместитель председателя городского совета.

— Вот отдохнул и думаю итти на профсоюзную работу, — говорит Ст. — Не хочу отрываться

от рабочих. Или буду работать по кадрам. Уж очень много всякой сволочи! Маклеры, корчмари, торгаши. Переменяли места жительства. Нацепили красные банты. А сами выдавали крестьян полиции.

Его койка — под самым окном. Ветер заносит в комнату одинокие капли дождя.

— Не закрыть ли окно?

— Нет, не надо! Хорошо! Воздух. Разве только вот вам холодно?

Окно остается открытым на всю ночь. Мы все скоря засыпаем под успокоительный шум реки.

С утра в камату заходят парни поговорить с Евгением. Каждый что-то за ночь надумал или вспомнил. Евгений говорит с одним по-еврейски, с другим — по-немецки, с третьим — по-украински, с четвертым — по-румынски, со мной — по-русски.

— Во-первых, — Румыния, а во-вторых, в тюрьме и не тому научишься. В Довтанах было много бессарабцев и проникали русские книги. Я почти всех русских классиков прочел, — поясняет он нам.

Взяв полотенце, бежим умываться в овражек, к быстрой, холодной речке. Машина, будто собравшись за ночь со свежими силами, производит бодрый шум, гудит и подрагивает.

Вьющаяся дорога. Подпрыгивающие деревянные мостики. Поворачивающиеся перед глазами купола гор. Изумрудная трава на склонах. Залитые туманной дымкой овраги. Свежо. Багряные осенние недвижные леса. Граб. Бук. Ясень. Благородные, твердые, тяжелые породы деревьев. Слово самые камни, обретая растительную силу, победно стремятся к небу.

Совершенное безлюдье. Мы едем по «Брусиловской дороге», проложенной русскими войсками во время большого наступления в 1916 году. Воображение останавливается перед трудностями, которые преодолевали русские топографы, саперы и инженерные войска, когда вели эту дорогу через горные кручи, овраги, теснины, вдоль шумных, холодных рек. Как доставляли сюда тяжелые орудия, обозы, санитарные повозки, сколько усилий, увечий, обвалов! Все делалось руками, лопатами, солдатской натугой. Лишь изредка закладывали динамит.

Где-то совсем рядом должны быть безвестные братские могилы...

Маленький ночной дождь оказался достаточным, чтобы расквасить дорогу. Автомобиль скользит, виляет, скатывается вниз и, наконец, вовсе останавливается. Шофер подымает капот, чтобы дать простыть мотору. Кругом нас лес. Слева из обрыва подымаются ровные стволы деревьев. Листва где-то наверху, и перед глазами только эти прямые, тянущиеся к небу огромные стволы.

Темносерая кора блестит матовым блеском. Горы словно грозят небу исполинскими копытами...

Из-за поворота высовывается лошадиная морда. Расставляя ноги и скользя вниз по грязи, лошадь осторожно спускается по краю обвала. Молодой гуцул в белых, забрызганных грязью холщевых штанах, с лиловыми от холода ногами, бросается на помощь. Сам, без всякой обращенной к нему просьбы. Неписанный закон гор.

Еще час пути — и мы в долине Черемоша. Автомобиль бежит по узкой дороге вдоль реки, стремительно несущейся по камням. Воды Черемоша постоянно меняют свою окраску: то кристально-чистые, то мутнорозовые, то желтовато-красные, опаловые, янтарно-молочные, бледнозеленые, как утреннее море, голубоватые, дымчато-топазовые, малахитовые, неизменно холодные... Они текут как расплавленные самоцветы под непрестанно меняющимися небесами. «Зеленая кровь гор» — вспоминаются слова Коцюбинского о студеных водах Черемоша.

Долина Черемоша то расступается, открывая уходящие в горы темные леса, то сужается в теснину, словно искусственно сложенную из замшевых плит. Геометрические формы слонстых скал придают им сходство с развалинами древних крепостных стен. Неразбериха кустарников с одинокими, дрожащими на них яркокрасными влажными ягодами. Скользящая, повисшая над рекой дорога. Стремительный бег машины. Одинокие плоты запоздалого лесного сплава. Закончившие люди с баграми, по колено в ледяной воде. Дети, с накрашенными деревянными ранцами на веревочках, босиком пробираются в школу по краям дороги.

Уже проехали Ростоки... Все чаще встречаются суровые гуцулы верхом, в деревянных седлах. Понуры, спокойные, низкорослые лошади. Полосатые — черные с желтым — потники под седлами, наподобие войлочных одеял; местное название — «коц». Колесных дорог здесь мало, и вся кладь перевозится вьючным способом. Верхом едут молодые венчаться в церковь. Верхом отвозят покойников на погост, подвесив гроб на узком деревнице — «пляе» — к седлам двух лошадей, спереди и сзади.

Обгоняем несколько грузовых машин. Везут муку. Самое время завозить сюда соль, хлеб, керосин и другие товары, — зной сообщения со здешними местами не будет вовсе. Сейчас, впервые на Буковине, этим занялась кооперация, нанося удары мелким и крупным хищникам, обиравшим гуцулов. Неразлучный с нуждой гуцул бывал вынужден платить за самые необходимые товары в четыре-пять раз дороже, чем они стоили в долине, вдобавок еще нередко и в долг под неслыханные проценты. Летом на лесных работах, работая до полного изнурения, обманываемый и

обсчитываемый подрядчиками, скупщиками и мажерами, он едва успевал кое-как расквитаться с прошлогодними долгами и снова попадал в кабалу к ростовщику, мародеру и спекулянту, живущему его нищетой.

Сейчас паразитические элементы стремительно покидают деревню, надеясь замешаться в сутолоке взрытых новым укладом Черновиц.

Путица-Сторонец. Единственная разбросанная, извилистая улица с ухаба на ухаб сбегает к реке-Путиливке, притоку Черемоша. Одноэтажные, маленькие каменные домики. Часовенка с одиноко мерцающими свечами. Серая деревянная, обшитая тесом синагога с неестественно большими окнами. Вязаные рамы. Стекла образуют «магеновид» — щит Давида, шестиугольную звезду.

Я так и не могу понять: город это или деревня? Во всяком случае «административная единица», центр горного района. Автомобиль шныряет вдоль растянувшейся на несколько километров улицы. То и дело встречаюсь с речкой. Долго разыскиваем райисполком и райком партии. Все учреждения здесь покрываются одним наименованием — «примария». Иного здесь не знали и не полагалось знать.

У входа в райисполком — плотный мужчина в кожаной, крепко сшитой куртке, видимо собирающийся куда-то ехать на желтом, стоящем у ворот шарабане. Это, конечно, новый, примар.

Во дворе мнется несколько молодых парней. Пришли записываться на работу. Узнали, что вербуют рабочих в Донбасс. В Россию. Очень хотят все ехать, но не знают, куда обратиться. На столбе, прямо перед ними, большое печатное объявление на лиловой афишной бумаге. В нем подробно изложены все условия вербовки, включающие оплату проезда, питания в пути, выдачу одежды и пр. Но парни все как на подбор неграмотные.

Грамотного здесь встретить так же трудно, как и обутого.

Страшная бедность грызла людей. Нищета этих районов Гуцулии угнетает, режет глаза, как едкий дым топящихся по-черному беструбных хат. Здесь не было ни школ, ни путных больниц. Здесь дети питались одной прогорклой мамалыгой. Здесь люди по несколько месяцев ходили в одной рубашке — в одной и той же рубашке, единственным их достоинством. Здесь зимой на всю семью было не больше одной пары обуви. Кожные болезни, парша, короста и насекомые точили людей. . .

Бедность повелась здесь издавна, но последние десятилетия, усиливаясь год от году, низвела людей до последнего мыслимого предела. Из гуцульских хат исчезла вся живописная этнография, пленяющая нас в музеях. Пропали резная утварь, тисненная кожа, вышивки, медные инкру-

станции на топориках, седлах. . . Все, что имело ценность, ушло, продано или обветшало, сносилось, истлело, а новое завести было не на что. . .

Сэргши — горное гуцульское село. Вернее, его «осередок». С десяток хат скучилось возле примарии, остальные разбросаны в горах. Нас встречает одетый по-крестьянски «примар», с жесткими, седыми, словно наклеенными усами. Они распущены над бритым подбородком, как у австрийского капрала с цветной гравюры сорок восьмого года. «Примар» bestолокво суетится по темной примарии, не зная, чем услужить гостям. Мы все показываем ему свои удостоверения и наставительно говорим, что это надо требовать у каждого. Спрашиваем: получает ли сельсовет газеты? «Примар» кидается к шкафу и выволакивает целый ворох истрепанных газет. Повидимому, он принимает нас за каких-то ревизоров. Мы просим его назвать нам нескольких местных старожил. Он называет Крыжановского Юрия, 84 лет, Маковейчука, 86 лет, и других и тут же справляется, вытребовать ли их сюда немедленно или погодить до завтра. Нет, этого совсем делать не надо, а вот с учителями нам бы хотелось побеседовать. . .

Учителя легки на помине. Входит заведующий местной школой, мужчина лет пятидесяти, в рыжем пальто, и две девушки. Все — приехие из Киевской области. Раньше в школе в Сэргших было всего 79 учеников, да и то больше на бумаге. Теперь — 300. Впервые открылись классы на хуторах. На хуторе Фошки — два класса. Там работает в две смены учительница Олександра Олексеевна Теличко. Ей двадцать лет. На хуторе Випчина, — в 17 километрах отсюда, — первый класс. Там работает Катерина Петровна Турченко. Ей девятнадцать лет.

Хутора высоко в горах.

— Хуторяне научили нас ездить верхом. Сперва провозжали до сельрады. Теперь отпускают одних. Привыкли.

— А вам не страшно?

— Как не страшно? Конечно, страшно! Кругом лес непроходимый: днем едешь — и то темно. Я в школе одна живу: одна комната для классов, в другой — я; ночью ни души, ветер воеет. . . Ну, ничего! Попривыкали уже, — встряхивает головой Катерина Петровна!

Ей и радостно и боязно. Скоро зима, и до весны они будут отрезаны от всего мира. Как добраться хотя бы до сельсовета? Как будут добираться до школы дети?

— Развѣснитса — сойдем вместе с гуцулами с гор. . . Не только в Черновицы, в Киев съездим. . . Только бы вот книг достать на зиму.

Чувствуется, что она выговорила все свои страхи, и в ее голосе неподдельная бодрость.

— Я как техникум кончила, работала один год

в Петровском районе. В августе меня вызывают в районо. Поедешь, говорят, в новую, Черновицкую область. А вечером я уже в поезде сидела.

Маленькая керосиновая лампа, внесенная уса- гым «примаром», словно захлебывается в тем- ноте. Спинка рефлектора отбрасывает густую тень, и я плохо различаю лица девушек. Я пово- рачиваю лампу, и свет бьет прямо в лицо Олек- сандре Олексеевне; она жмурится и улыбается. Неясно очерченное, слегка обветренное лицо; свет снизу — и черты лица от этого слегка расплыва- ются. Темные глаза, темные, тонкие брови, зеле- ная лента в волосах выступают штрихами. Жел- тый свет и обильные тени делают ее лицо уста- лым и словно знакомым. Она не так разговорчи- ва, как ее подруга, она слегка конфузится и не знает, о чем рассказывать.

— Как в школе? Сейчас хорошо, а сперва жутко было. Дети такие затурканные! Всего бо- ятся. Вошла я первый раз в класс, а они как полезут под парты... Я так и обомлела.

— Тут обомлеешь! — подхватывает Катерина Петровна.

— И все руки целуют. Я прямо на знала, куда деваться: одергиваю руку, а самой так-то не- ловко! Теперь обошлось.

— И рук не целуют?

— Не целуют. Не велела. А вот под парту один до сих пор прячется. Посмотришь на не- го, — он сразу под парту. «Неужто, — думаю, — с ним весь год так буду мучиться?» А дети по- нятливые! Поначалу так ведь не знали даже, что такое карандаш, как им пишут. Раньше никогда не видали.

Придавленным сидит и едва принимает участие в разговоре местный учитель, здешний уроженец. Маленький, с бледножелтым, нездоровым лицом, влажными, почти липкими руками. Его привел «примар». Он семейный, у него двое детей. Как украинца его преследовали при румынах. Рабо- ты постоянной у него не было, жил он впрого- лодь, на приношения крестьян. Детей обучал почти украдкой. Сейчас ему дали работу в шко- ле, но он, как говорится, еще не отошел. Этот учитель и успокоившийся наконец «примар» рас- сказывают нам несколько местных преданий:

— Тут была пуца. Зашли в нее два человека с Косова. Один звался Сторонний человек, а дру- гой — Сергей. Вот и пошли отсюда Сторонец и Сёргии. Сробили каленку (сарай) и стали жить. Там — Сторонец, а тут — Сергей.

Разговор переходит на Лукьяна Кобылицу.

До сих пор в горах поют:

Ой у моим городчику, копана криница... .

А де воно пробуваэ Лукьян Кобылица.

Лукьян Кобылица — народный вождь и де- путат австрийского парламента 1848 года. Ро-

дился здесь, неподалеку от Сергиев, в Крас- ном Доле, около 1816 года. С юных лет тре- вожит его сердце людская несправедливость. С 1843 года Кобылица старается пробудить крестьян. Он собирает вокруг себя верных гуцулов. Среди них и его жена Ярина. В уро- чище Панщина, неподалеку от Сторонца-Пу- тила, Кобылица созывает «великое вече». На- род должен встать за свои права. Кобылицу арестовывают, но через несколько месяцев выпускают на волю: в горах за это время поутихло, и власти не хотят раздражать гу- цулов.

Снова Кобылица в горах, снова его видят по селам, на ярмарках, снова слышат его ре- чи, что пора покончить с помещиками. Новые кандалы и суд в Черновицах. На этот раз Кобылица попадает в тюрьму и проводит там почти год.

На волнах подымающейся по всей Австрии революции его выносит в Вену. Гуцулы из-бирают его в австрийский парламент. Отъезд Кобылицы на «сессию» и переполох панов, напуганных мужицкими речами, посеяв вспо- минает народ в песне. В Вене Кобылица слы- шит горячие речи таких же неграмотных «хлопов», как и он сам: депутата Капустяна из Галичины и других. В октябре он возвра- щается на родные Карпаты с твердой мыслью во что бы то ни стало освободить гуцулов от панов. Но Лукьян хорошо знает деревню, за- битых и покорных гуцулов. И он называет себя «Князем Буковины» и объявляет, что сам цесарь уполномочил его отобрать землю у помещиков и раздать ее крестьянам. Евро- пейский Пугачев XIX века, он купил у вен- ских букинистов различные пергаментные свитки и грамоты, надел на себя несколько старых медалей и предстал с ними пред кре- стьянами. В горах начались волнения, кре- стьяне заняли помещичьи дворы, поделили землю и скот, стали пользоваться панскими лесами и прочими угольями. Лукьян отпустил себе длинную бороду и называл себя уже «ге- неральным бригадиром». Он все реже теперь поминал цесаря.

В декабре 1848 года против Кобылицы бы- ли посланы регулярные австрийские войска. Они заняли Селятин, Путилов и Вижницю. Рас- права была жестокая. Кобылица бежал в го- ры. Гайдуки срубили старый родовой дуб возле его хаты и до того запугали маленьких детей Кобылицы, что у младшей из них, Па- раськи, начались припадки. Гуцулы долго прятали своего вожака. Скитаясь в горах, Кобылица простудился и заболел. Он переходит через Черемош и ищет убежища в Гали- ции, в Жабьем, сердце Гуцульщины. Там

весной 1849 года его настигает погоня. Кобылицу ссылают. В 1851 году он умер. В народе твердо убеждение, что Кобылицу извели паны. Мы уже слышали четыре варианта рассказа о его смерти. Здесь, в Сергиях, говорят, что ему подослали отравленную рубашку.

Ночевать нас «примар» ставит к корчмарю. Большая, пустая комната при входе уже не удивляет. Здесь-то и происходило главное пьянство. Теперь отсюда все вынесено. Даже скамьи. Рядом более обитаемое помещение. Две постели, маленький стол. На окнах пятнистые, словно подмоченные рулоновые занавесы; идилические вышивки с изречениями на стенах. Корчмарь — высокий астенический старик в засаженном черном пиджаке, черном галстуке и желтом от времени воротничке. Он передвигается вокруг нас, словно в посудной лавке. У него театральные угловатобережные движения. Покачиваясь и балансируя филетовыми руками, он осторожно ставит ногу на всю ступню, но при этом делает большие шаги, будто стараясь, чтобы их было как можно меньше. Он не навязчив, но его донкихотская фигура все время безмолвно маячит за дверью, словно в ожидании каких-то невысказанных приказаний или просто подслушивая. Мы попали к нему в порядке постоя. Он и слышать не хочет о каком-нибудь ужине. Видимо, он боится, что это почтут за промысел. Наконец, после долгих угороров, он согрел нам по стакану молока и принес немного хлеба. Он подал все это с неопишуемой изысканностью. У него было лицо закоренелого вегетарианца.

Корчмарство десятилетиями разоряло гуцулов. Тяжелый труд на сплавах предрасполагал к общению с горилкой. Корчмари охотно «чувствовали» ею в долг или под безобидные залого. Гостеприимный гуцул и сам наберет в долг и за соседа поручится. Особенно ежели случается свадьба или крестины. Ведь такой семейный праздник — единственная возможность повидать разбросанную в горах родню, перемолвиться словом, узнать незатейливые родственные новости. Как же отказать соседу или родственнику? Вот гуцул и «фелелуэ» (поручается) за него и сам примет участие в пирушке. А осенью за все придется заплатить в тридорога. Горький заработок уйдет на долги, а за зиму придется влезть в новые.

Корчмарство в горах было вместе с тем и ростовщицеством и маклерством. В корчмах совершались кабальные сделки, вербовались рабочие, скупалось за бесценок имущество. В корчмах подбивали крестьян на сутяжниче-

ство, используя доверчивость к правосудию и остро развитое в гуцулах чувство справедливости. Черновицкие адвокаты имели в горах агентов, которые за соответствующую мзду доставали им клиентов-гуцулов.

Пришедший корчмарь имитирует полнейшую безвредность. Он — воплощенная порядочность. У него печально-интеллигентное лицо. Ему много лет. У него внуки. Он — дедушка. Двое его сыновей работают в Черновицах. Они — трудящиеся. Да и он сам ведь всю жизнь трудился! Жизнь ушла. Ему уже ничего не нужно. Он собирается уехать отсюда. Дети будут лелеять его старость.

— Можете совершенно положиться на меня, — говорит он убеждающим голосом.

Это о белье. Оно и в самом деле очень чистое. Насколько позволяет судить слабое освещение, конечно.

10 октября

В холодной комнате сон недолог.

Легкий заморозок. Хрустякая дорога. Еще очень рано.

С дороги нам машет рукой Олександра Олексеевна. По-детски закутанная в большой шерстяной платок, уходит девушка в горы.

Солнце подымается в облачном небе. Возле белой хаты синичка треплет чахлый кустик, выбирая семена из похожего на морковь плода.

С веру горы, из лесу, по изумрудно-зеленым склонам сбегают маленькие белые фигурки. Дети в холщевых рубашках до пят. За ними следом бежит серая кошка. Двое падают и скатываются вниз по мокрой траве. Кошка испуганно шархается, отбегает назад и снова догоняет детей. Так и приходят в школу с кошкой.

Школа — простая хата, мало чем отличающаяся от других. Разве только попросторнее да крыльцо пошире. У школы уже целая стайка ребят. Почти все босиком. Лишь у двух или трех чоботы с загнутыми вверх плетеными носами.

У школьного порога собралось уже много детей, но их почему-то еще не пускают, и они безмолвно и терпеливо ждут, когда откроются двери. Никакой суеты, визга, возни или гомона. Все дети очень спокойны и серьезны; в глазах их какая-то врожденная созерцательность.

Гуцулы — поэтический и суеверный народ. Вернее, их суеверие и поэзия слиты пока воедино, как проявление архаического родового сознания. В горах еще властительствует грозная нечисть. Колдуны заклинаят грозу. Придурковатые черти сталкивают в канаву возвращающегося со свадьбы гуцула. Здешние черти очень бестолковы и напоминают пошехонцев. Провести их бывалому человеку ничего не стоит.

Здесь рассказывают не сказки, а бывальщины.

Про домовых, упырей, покойников с окровавленными губами, не отбрасывающих тени. Ветер шумит в горах. Чаровницы заманивают в пропасти одиноких путников.

Здесь еще живут в сказочном мире. Но это сказка с хорошим концом, как и все, впрочем, истинно-народные сказки...

Идем пешком в Путилу-Сторонец. Ободняло. Дорога снова стала вязкой и клейкой. Все чаще попадают дети, торопящиеся в школу. Теперь уже постарше. Плечистые, высокие мальчики; им лет по двенадцать.

На антропологической карте Гуцулии, составленной в 1907 году, район Путилы-Сторонца обозначен как место, населенное самыми рослыми гуцулами. 184 сантиметра роста для мужчины здесь не редкость.

Ребята негромко, но как-то очень естественно и приветливо здороваются с нами. Они идут кучками. Все в холстине и босиком. Они не переговариваются между собой. Они всецело заняты тем, что идут.

Отдельно и как бы соблюдая дистанцию, деловито шагает маленький человечек в суконой курточке, беретике, черных ботинках и с портфеликом.

У него надменный вид, но с нами он раскланивается с изысканным подобострастием. Черновицкий адвокат в миниатюре. Он — тоже ученик и спешит в ту же школу.

Ночная автомобильная дорога летит под колеса. Фары бросают вперед клубящийся свет. Полевые зайцы, атакованные страхом, попадают под машину. Белые хаты неясно светятся в листве палисадников. Обоз с сеном. Лошади медленно бредут вперед. Возницы спят ничком на высоких, движущихся душистых стогах. С гулянья возвращаются парни. Они кричат нам, чтобы мы ехали в объезд. Мост на ремонте. Темные брызги и холодный, глухой всплеск реки. Снова сонные хаты. Неожиданно перескочили узкоколейку. Забрехали огоньки. Серая в поле ночь стала розово-мглистой. Красноармеец на мосту через Прут. Непривычно тихая река. Неугомонный вокзал. Зеленые и красные огоньки над путаницей разъездов. Черновицы.

В МИЛИЦИИ

12 октября

После поездки на Карпаты я другими глазами смотрю на черновицкие улицы. Какие бездумные, словно стеклянные лица у прогуливающих по улице Янко Флондора опрятных мужчин средних лет! Сколько беспечной непринужденности в этой

городской толпе, наслаждающейся теплым днем, как стая мошек, вылетевшая на солнце.

Черновицкие буржуа сегодня не думают о грядущем. В такой чудесный вечер не к чему огорчаться. Там увидим!

С установлением советской власти изменились условия существования буржуа. Он довольствуется меньшим, но он не хочет расстаться со своими привычками. Не многие помышляют о труде. С какой стати!

В черновицком уголовном розыске проходит целая галерея людей «того мира». Бывшие торговцы, пустившиеся в спекуляцию, валютчики, маклера, перекупщики, комиссионеры, всякие «люди воздуха». Они не растерялись и проявляют неудержимую активность.

Соккрытие имущества от национализации карается по уголовному кодексу. Через областную милицию прошло несколько таких дел.

Сдавали магазины по суммарной описи: столько-то кусков неизвестно чего. Потом превращали куски в кусочки, подменяли шеврот ситцем и коверкот — коленкором. Владелец магазина радиоприемников Гальберштейн успел в первые дни распродать восемьдесят «Энгале», остальные попрытал у родственников. В магазине оставил для прилику 28 никудышных «сборных» приемников, описи порвал и забросил на чердак. Но их разыскали. Уже успевший устроиться на службу в промкооперации Гальберштейн был отдан под суд.

Милиция арестовала некоего Клейнмана, местного жителя, затесавшегося учетчиком при национализации мехового магазина. После приемки товаров оказалось так мало, что магазин был отнесен к числу не подлежащих национализации, и его возвратили владельцу. А когда тот стал принимать его обратно, то спрашивает: «А где товары?» На дому Клейнмана и его родичей нашли такое количество товаров, что снова встал вопрос о национализации магазина.

Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности немало выловил таких любителей «погреться у чужого камина», как здесь вырываются.

Работа по борьбе с преступностью в Черновицах трудна, но ведется с большой энергией. Приходится прямо удивляться, как быстро освоилась милиция в новой области. Румынские власти, покидая Буковину, старались всячески засорить ее преступными элементами. Из тюрем выпустили всех осужденных и подследственных уголовных преступников, из лечебниц — всех находившихся на излечении проституток. Румынская полиция жгла архивы и картотеки на преступников.

Черновицы пережили несколько тревожных часов. Преступники и провокаторы начали разби-

вать магазины и грабить брошенные бежавшей буржуазией квартиры. Но части Красной Армии шли быстро. Работники милиции, прибывшие сейчас же вслед за армией, быстро пресекли грабежи и обезвредили несколько крупных бандитских шайк. Преступникам сразу стало тесно в этом городе, где столько запутанных переулочков, укрывшихся в лощинах домиков, задворков, темных трущоб на окраинах.

Причины успехов милиции — в ее неожиданных для здешних преступников качествах.

В румынских условиях преступники пользовались почти полной безнаказанностью. Все покрывал пресловутый бакшиш. В тюрьме за бакшиш можно было получить известный комфорт: лучшие камеры, хороший обед из ресторана, свежее белье, принимать посетителей, даже отлучаться не надолго. Бакшиш влиял на ход следствия и освобождал от наказания.

Месяца за три до прихода Красной Армии у старого столяра, еврея Беккера, убили жену. Убийство было совершено с целью ограбления. Убийцы сняли с рук старухи, кольца и унесли домашние вещи. Беккер напрасно обивал пороги полиции. Убийцы были известны всему городу, но после короткого ареста их отпустили за «недостатком улики». «Был бы от меня бакшиш, — говорит Беккер, — их бы засадили в тюрьму».

После установления советской власти одним из первых пришел в милицию столяр Беккер. Преступление было раскрыто работниками уголовного розыска, доказано, и преступники были отданы под суд.

Уже не расхаживают по кафе бывшие адвокаты, предлагая первому встречному разные вещи. Уже не спрашивают на улице посторонних, чем они интересуются.

10 октября

По улице Мирча-вода, мимо редакции газеты «Радьянска Буковина», проходит высокий, выхолощенный мужчина в сером пальто с необыкновенно развернутыми накладными плечами. Лицо его выражает благородное и чуть надменное спокойствие. Идущий рядом со мной местный литератор преувеличенно шаркает в сторону.

Solcher Turus! ¹ Такие люди еще ходят по улицам!

Осведомляюсь о причине его испуга. Это один из братьев М., местный уроженец, но числящийся аргентинским подданным. Театральный деятель. Рецензент. Автор-режиссер. Что же тут страшного?

Он вербовал девушек в хореграфические труппы в Южную Америку, а там она прямехонько

поступали в публичные дома. Все остальное была лишь вывеска.

Я видел живого торговца живым товаром.

19 октября

Белые стены. Черный стол. За столом женщина в распахнутом розовато-песочном пальто. Сухие руки с едва приметным ободком золотого кольца. Продолговатое, усталое, спокойное лицо. В нем нет напряжения, но какая-то даже не задумчивость, а скорее отвлеченность, наподобие того равнодушия, которое охватывает человека при гибели чего-то близкого.

Ей 29 лет. Двенадцать лет тому назад она окончила гимназию. Потом вышла замуж за радиотехника. В один год потеряла родителей и мужа. На руках осталась девятимесячная дочь.

Человек, который составляет ее автобиографию, останавливается:

— Что же напишем дальше?

— Пишите что хотите!

Это и не растерянность, и не вызов, и даже не равнодушие. Это покорная усталость.

— Хорошо, напишем: была танцовщицей в ресторане. Согласны?

Женщина кивает головой, потом протягивает руку к папиросной коробке:

— Разрешите?

— Да, пожалуйста!

Она курит сдержанно. Без малейших признаков смущения, нервности или аффектации.

За соседним столом молодой милиционер стыдливо допрашивает двух развязных проституток с продранными локтями:

— И с какого времени вы этим занимаетесь?

Автобиография для той, что сидит перед нами, составляется на предмет устройства ее на работу. Возникает мысль, нельзя ли ее устроить в лабораторию при одной из больниц. Там, я знаю, две незанятые должности. Она училась полтора года на медицинском факультете. Но она — дочь врача, служившего в этой больнице. Значит, невозможно. Она там всех знает. Ее направляют на фабрику.

С приходом Красной Армии содержательницы притонов получили от милиции предупреждение. Началось устройство бывших проституток на работу. Было их в городе примерно 850. Часть ушла в Румынию. Сейчас в областное отделение милиции приходят бывшие проститутки и просят направить их на работу. Милиция договорилась с несколькими предприятиями, и они принимают на работу бывших проституток. Делается все, чтобы они могли

¹ Ну и тип!

знать свое прошлое. О характере их прежних занятий знает только руководитель предприятия. Это официально. Неофициально часто узнают многие. Но, как мне рассказывали на одном предприятии, где работает несколько бывших проституток, рабочие стараются не показывать виду, что им что-либо известно. На некоторых фабриках, где все же возникали перемены, была проведена разъяснительная работа.

Только что пришла одна бывшая проститутка. Она пришла показать свою первую двухнедельную получку. Она — еще ученица, на испытательном стаже. Румынка. Ей двадцать два года. У нее очень робкий вид.

22 октября

Посреди комнаты, как-то не к месту, на простом стуле бесформенно и грузно сидит старуха в черном платье и черном платке. Лицо закрыто одутловатой желтой рукой. Весь вид этой женщины говорит о страшной подавленности. Она безмолвна и неподвижна, если не считать мелкой, непроизвольной дрожи в руке. Жалость слегка тревожит мое сердце.

— Ну, Войнаровская, как дела? — окликает ее сержант милиции.

Войнаровская молчит. Она оглушена. Ее только что сфотографировали и сняли оттиск с пальцев. Потом начинает всхлипывать. Сперва тихо, затем все громче. Наконец начинает пропеть:

— Товарищ начальник, отпустите меня! Сколько я при румынах страдала, а теперь пришла советская власть — меня в тюрьму. За что меня в тюрьму?

— Да бросьте Лазаря петь! При румынах она страдала! Бакшишу приходилось много давать, что ли? Вы лучше скажите, сколько лет этим занимались? Тридцать?

Старуха не отвечает, предавшись каким-то своим мыслям. Потом сварливо говорит:

— Если меня в тюрьму, так и их надо всех, курв проклятых! Сколько раз я им говорила: «Не смейте, не смейте!»

— Да, вы только и смотрели за их нравственностью! А Елену кто привез из деревни?

— Елена работу приехала искать.

— Вы ей и подыскали!

— Неправда!

Со старухой происходит странное превращение. От прежней угнетенности не остается и следа. Она раздражается остервенелой, площадной бранью, как и полагается истинной «бандерше». Она яростно сквернословит и собачится, как во время хорошего скандала в ее заведении...

НА НАЦИОНАЛИЗИРОВАННОЙ ФАБРИКЕ

1 ноября

Серый, невзрачный день. Трамвай сбегает под гору, за вокзал... Хотинская улица. Двухэтажный, осевший домик, за ним лиловое, скучное пригородное шоссе, заборы, огороды, тонкие трубы паровой мельницы, пустыри...

Заходим со двора. Крутая, узкая лестница, словно высеченная внутри каменного столба. Внизу, на площадке, стенная газета, доска лучших производственников и под ними показатели: Глушко Сильвестр Петрович — 175%, Язлевиц Стелла — 166%, Легушинская Валерия — 164%.

Атмосфера советского предприятия, только вся фабрика размером с проходную контору большого ленинградского завода. На втором этаже — дирекция. Комната, напоминающая «ателье мод»: вдоль стен полки с коробками, тяжелые занавесы, зеркало, на столе альбом с модными журналами и образцами, за столом шелкает на счетах бухгалтер. На маленьком столике шпули с цветными нитками. На стенах колеры.

Фабрика № 7, бывшая Клингера, до национализации пасчитывала сорок пять рабочих. По черновицким масштабам цифра совсем не малая.

В погоне за модой все время менялись расцветки, фасоны и рисунки. На столе лежит черная раздвижная гармоника колеров «Фарбениндустри», позволяющая из немногих основных цветов шерсти импровизировать бесконечное разнообразие оттенков. Но это была погоня за собственной тенью. Дела фабрики шли из рук вон плохо. Не было сбыта. Рабочие жили под постоянным страхом сокращения.

После прихода Красной Армии, еще до проведения национализации, рабочим комитетом, взявшим в свои руки руководство предприятием, было принято тридцать новых рабочих. Сейчас на фабрике рабочих и служащих — 104 человека. Директор фабрики Иван Федорович Козачук рассказывает:

— Сырья у нас вдосталь. Хозяин в расчете на военную конъюнктуру запаса шерстью. Фабрику специализируем. Будем выработать только перчатки. Свозим все перчаточные машины со всех черновицких предприятий. Число рабочих доведем до 160. Тогда это будет третья фабрика по величине в Черновицах. После «Триняко» и «Трикотанни». Средний заработок пска — 8 рублей 60 копеек в день, а у передовиков доходит до 17 рублей. Я, как пришел на фабрику, стал думать, чем облегчить положение рабочих. Ну, прибрали, побелили. Здесь грязь была — пройти нельзя. Душ устроил. На пятьдесят человек. Что, думаю, еще? Столовую. Подыскал помещение для столовой. Вот посмо-

трите в окно! Напротив маленький домишко. Была пекарня. Закрылась. Пустует. Закрепил за фабрикой. Что еще? Земельный отдел отвел под огороды для фабрики двадцать гектаров земли. Свои овощи будут. Я все хожу и думаю, что бы еще такое завести? Да и не знаю! У нас при румынах ничего не было. И мы еще не знаем, что там у русских рабочих... Вам-то прямо, может быть, смешно, что мы такие недогадливые. Но до всего и не додумаешься сразу.

Сам теперешний Козачук тоже непредставим в прежней Румынии. Вчерашний рабочий, он вошел в контору твердой и легкой походкой молодости. Элегантно сшитое пальто, фетровая шляпа и кожаные перчатки. Простое, открытое лицо, волосы детской мягкости и белизны, серые спокойные глаза. Пальто он только сегодня получил из «Индивидуошива», но чувствует себя в нем так непринужденно, как будто всю жизнь одевался только у лучших портных. Повернувшись перед нами, чтобы показать, как сшито пальто, он его снимает и предстает в вышитой по-буковински рубашке.

Проста его повесть. Родился Козачук в глухой буковинской деревне Заставинского района, здешней области. У отца было семь душ детей. С четырнадцати лет пошел Иван «шукать доли и шматка хліба», батраковал у куркулей, сеял пшеницу, пас коров, ел мамалыгу, пил воду.

Работал от зари до зари, а свету не видел. Решил податься в город. Здесь мыкался на черной работе. Сперва каменщиком. Носил кирпичи на стройку. Потом извозчиком на извозном дворе Энклера. Спал с лошадьми на старой попоне. Затем поступил рабочим на мыловарню Вальдмана. За 60 лей в день. Прел в подвале посреди пара. Каустическая сода ела глаза. Потом попал в румынскую армию. Тут еще хлеще. Били и издевались, но ничему не могли научить. Едва стрелять умели.

В армии у Козачука было столкновение. С кашеваром. Надоело есть вместо борща одну юшку да делить 80 дека хлеба на десять человек. Попал под арест. Вернулся из армии, устроился на «Триняко». Пришла советская власть, и Козачук был избран в рабочий комитет на «Трикотаній». Был в делегации от Северной Буковины на VII сессии Верховного Совета. Потом принимал участие в национализации фабрики Клингера. Неожиданно для самого себя стал ее директором.

— А как вел себя при национализации бывший фабрикант?

— Ничего. Внешне был спокоен.

— А где он теперь?

— Где-то в Черновицах. Рабочие его видали. И вдруг он неожиданно переходит на то,

как он потерял веру в бога. Больше всего его поразило и навело на раздумье обилие вер.

— И мы молимся, и китайцы молятся. И всяк своему богу. А толк у всех один. Посмотрел я. Думаю — нет никакого бога. Так это просто, мечтают люди.

Ему хочется учиться:

— Я русского языка совсем до прихода Красной Армии не знал. А мне очень хочется больше языков знать. Я по-немецки и по-румынски хорошо говорю и читаю. И по-французски понимаю немножко. А вот еще английский. А стар я уже! 1913-го года рождения.

— Ну и старость! А хозяйка есть у вас?

— Нет еще. У нас на фабрике сейчас много народа переженилось.

— Ну, а вы?

— Я пока еще этим не занялся. Я, конечно, женюсь. Пока не знаю, на ком. Я только хочу жениться так, чтоб она была работница.

Мы идем смотреть фабрику. Маленькое помещение с низким потолком заставлено разнотипными машинами. Без видимого порядка, просто чтобы как-нибудь разместить. Еще два часа дня, а уже горит электричество. Как должно быть здесь было темно до побелки!

Девушка с длинной белокурой косой стоит у вязальной машины, из которой рождается серо-зеленый с белыми пупырышками джемпер. Против нее черная, как смоля, работница только что закончила оранжевую женскую кофточку.

Ниже этажом еще одна такая же комната — и вся фабрика. Во дворе Козачук вводит нас в какую-то пристройку, напоминающую склад. Дощатый пол. Голубые отсыревшие стены. Небольшие окна. Железная печка в углу.

— Вот приведем в порядок, утеплим, осушим и разместим здесь машины до лучших времен. Будет еще цех. Надо начинать с того, что есть.

Он — трезвый реалист и не ждет, что галушки полетят сами в рот. И фабрика растет и перевыполняет план, не дожидаясь сверхсметных ассигнований.

1 ноября

Ночь. Гасят последние фонари. Четыре подростка идут по улице Реджина-Мария и не слишком громко, как бы для себя, поют «Интернационал».

Они идут в гору. Навстречу им чернеет обелиск с большим, распростертым над ним крыльям австрийским орлом. Памятник «верным буковинцам», павшим в войсках «архикнязя Евгения» в ненужную им войну 1914—1918 годов.

Гремит старомодный фиакр с розоватыми фонариками, с подбитой в качестве рефлектора пластинкой красной меди.

И снова затихает улица, и лишь издали, словно с далекого берега, доносится песня...

В. Саянов

ВСТРЕЧИ С ГОРЬКИМ

1

Помню, в детстве видел я на сибирских приисках старого человека, волжанина, который хвастал, будто дружил с Горьким в молодые годы.

— Я с Алексеем Максимовичем как с шабром жил, душа в душу, — говаривал он вечерами. — Его ведь Пешков — вторая фамилия, и потому ему эту фамилию дали, что пешком он всю Россию прошел.

О других писателях я узнавал впервые из книг, а имя Горького было в жизни, в самом быту народном, и образ его навсегда остался неотделимым в памяти моей от первых впечатлений детства.

С тех пор образ Горького неизменно жил и развивался в моем сознании. В юности я увлекался наукой, изучал химию, литературные интересы были отодвинуты в сторону, но Горький вспоминался и тогда чаще других писателей нашего времени: и в ту пору, как всегда, был он для меня не только писателем, но и живым образом духовных исканий народных.

Прошли годы, я стал литератором, но о том, что придется со временем встретиться с Алексеем Максимовичем, никогда не думал.

...И вот — 1929 год. Ленинград, номер в первом этаже Европейской гостиницы, и из-за стола подымается навстречу мне высокий, сутуловатый человек, в светлом костюме. В комнате еще несколько писателей. Они рассказывают Алексею Максимовичу о новых книгах ленинградцев, и я могу спокойно сидеть в стороне, не принимая участия в беседе.

Так вот он какой, Алексей Максимович! До чего же он не похож на все свои портреты, даже самые известные и написанные лучшими художниками! Его лицо гораздо тоньше, артистичнее, сказал бы я, чем на портретах, и нет в его облике тяжеловесности, которую придают ему портретисты, да и глаза на портретах совсем другие. Их делают то слишком мечтательными, то озорными, а на самом-то деле в них есть и пытливость, и насмешливость, и тихая грусть, — удивительно они меняются во время разговора, отражая смену настроений самого Алексея Максимовича.

Не просидел я в комнате и получаса, а Алексей Максимович уже стал казаться мне человеком, которого я давно знаю: и говор его был знаком, и улыбка, и совершенно особенное движение руки его, когда он разглаживал усы, медленно и старательно, всей ладонью.

И сразу заметил я, что этот человек не умеет скрывать свои чувства, и тогда же запомнил характерный жест Алексея Максимовича — вернейший признак плохого настроения его в иные минуты: если его раздражало что-нибудь в словах собеседника, он хмурил брови, клал руки на стол и кончиками согнутых пальцев тихонько барабанил по столу, изредка поглядывая на сидящего рядом человека.

2

Беседа с литераторами кончилась быстрой, чем я ожидал, и я остался в комнате один, с глазу на глаз с Алексеем Максимовичем. Он сразу усадил за стол против себя и присталь-

ным, испытующим взглядом посмотрел на меня.

— Вы редактируете «Звезду»?— спросил он.— Как думаете строить журнал?

Я рассказал ему о редакционных планах, о некоторых нововведениях, которые хотел осуществить, и Алексей Максимович очень одобрил решение ввести в «Звезде» отделы, которые существовали в хороших старых журналах, такие, например, как международное и внутреннее обозрения.

Беседа только начиналась, но ее прервали новые посетители, и я лишь успел спросить, приближается ли к окончанию работа над «Климом Самгиным».

— Сейчас третий том заканчиваю, — сказал Алексей Максимович.

— А где он печатается?

— Пока никому не даю.

— Дайте нам для «Звезды»!

Алексей Максимович подумал, провел ладонью по усам и просто сказал:

— Обещаю. Вот вернусь в Сорренто — и сразу же пришлю.

3

Понятно, как обрадовался я, услышав эти слова: сотрудничество Горького сулило много радости читателям журнала.

Назавтра я составил план первого номера за 1930 год и стал ожидать присылки обещанного материала.

Давно миновал назначенный срок, а от Горького все еще не было ответа. Мне, признаться, было не по себе в те дни. Горький — человек аккуратный, и я был уверен, что он о своем обещании помнит. Но почему же все-таки нет ни рукописи, ни письма, объясняющего задержку.

Прошли все сроки, назначенные производственной частью издательства для сдачи рукописи в набор, а я все еще медлил и задерживал номер: выпустить новую книгу журнала без глав «Клима Самгина» было попросту невозможно, — ведь читатели уже знали, что Горький печатает «Клима Самгина» в «Звезде».

И вдруг приходит однажды почтальон и приносит большой конверт, густо залепленный иностранными марками, с надписью, сделанной большими круглыми буквами, а в нем — письмо Горького и рукопись «Клима Самгина»...

Вот что писал Алексей Максимович:

Товарищу В. Саянову

Вот Вам обещанный материал.

Не мог прислать его раньше, потому что случилась идиотская история: весной, уезжая в Москву, засунул куда-то рукопись второй редакции и — не нашел ее. Принужден был рабо-

тать с черновиком, восстанавливая вторую редакцию по памяти. Думаю, что вышло плохо, но уж если обещал — посылаю как вышло.

Прошу Вас присылать мне «Звезду».

Привет редакции. Журналу — успеха.

Вам — доброго здоровья.

А. Пешков

Каждому пишущему известно, как мучительно восстанавливать в памяти старую правку, но как это же это пережить старому, знаменитому литератору, каждая строка которого, выходя из-под печатного станка, становится предметом обсуждения литературной прессы всего мира? Должно быть, немало понервничал Алексей Максимович, снова возвращаясь к уже проделанной раньше работе...

Удивился я тогда: ведь это происшествие ясно показывало, что нет у Алексея Максимовича хорошего литературного секретаря, который бережно хранил бы каждую строчку, написанную Горьким.

Тот, кто будет писать работу о «Климе Самгине», со временем, быть может, выяснит судьбу второй редакции горьковской повести.

А для иных самонадеянных и самодовольных писателей наших хорошим уроком литературного поведения могли бы служить заключительные строки письма великого писателя к рядовому литератору: «Думаю, что вышло плохо, но уж если обещал — посылаю, как вышло».

Начало третьей книги было напечатано в первых номерах «Звезды» за 1930 год.

4

С тех пор Алексей Максимович каждый раз, когда удавалось ему найти интересный материал, присылал его мне, в редакцию «Звезды», прося напечатать в одном из очередных номеров журнала.

По ряду причин мне не пришлось долго поработать в «Звезде», и иные из писем Алексея Максимовича не дошли до меня. Сохранилось письмо, в котором он просил обратить внимание на рукопись Николая Евгеньевича Буренина:

Товарищ Саянов —

очень прошу Вас обратить внимание на рукопись Николая Евгеньевича Буренина, одного из активных членов «Боевой группы» при ЦК (б).

Обратиться к Вам с этой просьбой понуждает меня мнение одного рабочего-путиловца, бывшего каторжанина, который заявил автору, что «о нашем, большевистском подполье молодежь мало знает».

Рукопись написана для финского Истпарта. Буренин — старый мой друг, ездил по поручению

партии со мной в Америку собирать деньги. В. Ильич хорошо знал его.

Если рукопись найдете интересной, — м. б. не печатаете?

Жму руку.

А. Пешков

22. IX—30.

Письмо о рукописи Буренина много дает для понимания того, как вызревала у Алексея Максимовича мысль о создании истории фабрик и заводов и истории гражданской войны.

В написанном через два года обращении М. Горького к участникам гражданской войны огромное внимание уделяется именно вопросу о молодежи, которая «должна хорошо знать труды и подвиги своих отцов, должна подробно знать роль рабочего класса и его коммунистической партии в организации великой победы передового отряда пролетариев всех стран».

5

В то время начал издаваться в Ленинграде журнал «Литературная учеба».

В романе Джека Лондона «Мартин Иден», произведении, бесспорно талантливого и умного, мастерски показан путь начинающего писателя из народа, его глубокая и своеобразная «тоска по культуре».

Человеку некультурному, необразованному, если он не будет учиться, никогда не удастся стать большим писателем, — не уставал всю жизнь доказывать Горький, и «Литературной учебе» было суждено, по мысли Алексея Максимовича, учить людей литературной культуре, литературному мастерству.

При любви Алексея Максимовича к системе, главной задачей журнала он считал разработку курсов по самым разнообразным вопросам — от философии до русского синтаксиса.

Трудно было осуществлять это задание Алексея Максимовича.

В то время в большой моде были схоластические споры о философском методе в литературе. Некоторым писателям казалось, что стоит только прочесть десяток книг по философии, — и, не изучая жизни, можно будет сразу приступить к созданию новых «Онегиных» и «Карамазовых».

Алексей Максимович торопил, просил ускорить разработку плана философского отдела в журнале, и когда я привез в Москву курс диалектического материализма для писателей, составленный видными специалистами по новой философии, он очень заинтересовался рукописью, стал внимательно читать статью, но, перелистав несколько страниц, нахмурился, забарабанил

пальцами по столу, и я сразу понял: не нравятся Алексею Максимовичу это сочинение.

— Оставьте рукопись, я ее посмотрю на досуге, — сказал он, а через несколько дней, за вечерним чаем в Горках, глядя на заставленный едой стол, поднес ножик к блюду с копченым языком и огорченно сказал:

— Язычок-то какой хороший! Вот такой бы нашим литераторам и философам!

Я понял, что его слова относятся к злополучной философской статье — и не ошибся: на завтра Алексей Максимович посоветовал статью не печатать и, озорно улыбаясь, добавил:

— И вообще авторам ничего не говорите, но я-то уж доподлинно знаю: скоро эту анафемскую болтовню кончат. Учит писателей диалектическому материализму, а сам о диалектике говорит скучно, без души и так, словно философия к нашей жизни никакого отношения не имеет. И главное: в статье, написанной для нашего журнала, не приводит ни одного примера из литературы русской.

6

Особенно трудно было вести отделы журнала, посвященные творчеству молодых писателей и обстоятельному разбору произведений молодых авторов.

К таким статьям Алексей Максимович предъявлял большие требования; если статьи были слабы, он их браковал беспощадно и отзывался о них очень резко, — немногие из них разрешал он печатать в «Литературной учебе».

Об одном рабочем авторе, давшем статью в журнал, он писал: «Ничему не учит, заносчив и считает себя вправе быть малограмотным».

Сколько сердитых замечаний довелось мне слышать от Алексея Максимовича об известных писателях, ничему не учившихся, но всех поучавших, об авторах, писавших свои статьи казенно!

Больше чем кто-нибудь он знал, как труден путь писателя, вышедшего из народа, к подлинным высотам искусства, и особенно уважал в людях стремление к знанию, культуре.

Великий просветитель литературы русской, он старался воздвигнуть свод всей культуры прошлого для новых поколений писателей, — так рождались многие замыслы его, от «Всемирной литературы» до «Библиотеки поэта».

7

Было радостно принимать участие в начинаниях Горького, в осуществлении его замыслов, трудиться под его руководством, и я много времени отдавал этой работе, зачастую в ущерб собственному труду литературному.

Теперь нелегко представить, какие препятствия ставились иными околослитературными интриганами на пути осуществления горьковских начинаний.

Старые летчики рассказывали мне однажды о своей встрече в первый год революции с Лариным. Они пришли к нему с предложением восстановить воздушный флот и вдруг удивились, заметив, что Ларин прерывает их рассуждения необычайно «жизнерадостным», как язвительно говорили они впоследствии, смехом.

— Чем мы вас так развеселили? — спросил один из летчиков, человек крутой и прямодушный.

— Вы бы еще пришли ко мне с предложением строить в стране парфюмерные заводы Котил! — подсмеиваясь, сказал Ларин.

Теперь сие происшествие кажется совершенно неправдоподобным анекдотом, но ведь это факт общеизвестный, подтвержденный в печати.

Некоторые предложения Горького встречались иронической улыбкой недалеких людей, кое-чему сознательно мешали впоследствии разоблаченные враги народа.

Бывали тяжелые дни, когда хотелось отойти от трудной и кропотливой работы, но достаточно было доброй улыбки Алексея Максимовича, чтобы все начинало крутиться снова.

Так и установились у меня с Алексеем Максимовичем совсем особые отношения: беседы наши всегда касались общих вопросов культуры, очень редко — современного положения дел в Союзе писателей и никогда — моей личной работы в литературе.

В ту пору начинал я работу над большим романом, задуманным еще в двадцатые годы, и доныне не опубликованным, и все мне казалось, что настанет пора, когда смогу я привезти огромную рукопись Алексею Максимовичу и впервые в жизни посоветоваться с ним по поводу моей собственной работы.

Но работа над романом затягивалась, и не суждено было осуществиться этой мечте...

8

Возвращаясь домой после беседы с Горьким, каждый раз я думал: «Обязательно надо записать все слова Алексея Максимовича, все им сказанное сегодня». И каждый раз выходило так, что мое решение не осуществлялось... Казалось, будто это — долг тех, кто лучше знает Алексея Максимовича, кому доводилось с ним встречаться чаще и ближе, чем мне. Такое чувство, знаю я, было у многих писателей дома на Малой Никитской и загородной дачи в Горках. А жаль: ведь «разговоры Горького», если бы они были своевременно и добросовестно собра-

ны, могли бы стать одной из интереснейших книг литературы русской...

И то, что вспоминается сейчас, — только клочки воспоминаний, только обрывки переговоренного и передуманного в просторных комнатах загородной дачи в Горках...

9

Однажды, когда я вошел в его кабинет, Алексей Максимович стоял возле окна, задумчивый, грустный, с виноватой улыбкой, застывшей в прекрасных светлых глазах, и вид у него был какой-то странный, как у провинившегося школьника.

— Помните деда Архипа и Ленку? — спросил он.

— Помню.

— Веселый рассказ?

— Очень грустный.

— Зачем же они его напечатали?

Я не сразу понял, о чем идет речь.

— Напечатали этот рассказ в какой-то хрестоматии для детей, внучки прочли — и прибежали ко мне, плачут, одно только твердят: «Дедушка написал». Ну зачем такую грусть давать детям? Я даже признаваться не хотел им, что это я сочинил.

10

Среди стихотворений Маяковского, напечатанных впервые в его Собрании сочинений, мое внимание привлекло недавно стихотворение «Портсигар», совершенно горьковское по заложенной в нем мысли:

Портсигар в траву
ушел на треть.

И как крышка
блестит, наклонились смотреть
муравьишки всяческие и трависка.
Обалдело дивились:

выкрутас монограмма.
Дивились сиявшему серебром
полированным,
не стоившие со своими морями и горами
перед делом человечим
ничего ровно.

Было в диковинку.
Слепило зрение им,
ничего не видевшим этого рода.
А портсигар блестел

в окружающее с презрением:
— Эх ты, мол,
природа.

Прочитав стихотворение Маяковского, я вспомнил одну беседу с Горьким.

В связи с какой-то представленной в «Литературную учебу» статьей зашел разговор о гегелевой философии, и я напомнил Алексею Максимовичу одно место из «Философии при-

роды» — слова о стремлении, потребности стереть грани природы, уничтожить ее.

Был тихий день ранней подмосковной весны, деревья за окнами кабинета казались прозрачными, словно из воска вылепленными, и удивительно мягкими были легкие облака на светлом, будто слезами вымытом небе.

Алексей Максимович, держа в руках коробок со спичками, невольно залюбовался прямым светом, струившимся над березами.

— Что бы ни говорили, — сказал он, — а для меня спичечный коробок, сработанный человеческим неутомимым трудом, гораздо дороже, чем эти березы.

11

— Учатся молодые писатели? — спросил однажды Алексей Максимович.

— Не все учатся, — откровенно ответил я. — Для того, чтобы прослыть хорошим писателем, необязательно много знать. Да и зачем изучать трудные книги, написанные другими, когда твоя собственная фамилия уже значится на обложках нескольких книг?

Алексей Максимович улыбнулся, и я, осмелев, сказал ему:

— А многие и вашими похвальными отзывами хвастают, Алексей Максимович. Не зря ли вы иных хвалили?

Он сразу нахмурился, помрачнел и протянул мне листок бумаги, неряшливо исписанный крупными, прыгающими буквами:

— И то верно. Вот только что принесли мне такое послание. Похвалил я когда-то человека, а он загордился, стал плохо писать. Я ему написал сердитое письмо, а он в ответ пишет: «Прежде чем других учить, вы бы сами бы научились получше расставлять запяты». Каков человечище?

Он хитро улыбнулся и весело добавил:

— И самое удивительное, что его-то письмо написано без единой запятой: одни восклицательные и вопросительные знаки!

За долгую жизнь он прочел очень много книг и узнал очень много людей. И часто он начинал беседу с рассказа о каком-нибудь необыкновенном человеке, живущем где-нибудь в Архангельске или Астрахани, или с упоминания о старинной книге, посвященной то какому-нибудь средневековому деятелю, то народной медицине, то забытому, но хорошему поэту.

И если оказывалось, что собеседник и книгу читал, и человека, о котором говорит Горький, знает, Алексей Максимович веселел и ласково спрашивал:

— Откуда вы это знаете?

И если знание оказывалось дотошным, осно-

вательным, он готов был слушать собеседника часами.

Он не был злопамятен и прощал мелким завистникам самые несправедливые статьи и высказывания о писателе М. Горьком, но к невежде, который был способен в печати развязно поучать других, на всю жизнь сохранял неприязнь.

Горький не любил, когда самонадеянные люди иронизировали над тем, что было ему дорого в мировой культуре.

Больше всего ненавидел он в людях неверие и ненависть свою увековечил в «Климе Самгине». Но, создавая образ Самгина, не обеднял его и щедро давал своему герою возможность переосмысливать опыт, накопленный самим автором.

12

Он умел быть резким с иными людьми, но тем, кого любил, прощал их маленькие слабости.

Однажды приехал к Алексею Максимовичу в гости один очень хороший писатель и стал ему читать главы из своей новой книги.

У писателя была слабость, тягостная для окружающих: он был поклонником выразительного чтения, считал себя очень хорошим чтецом, и надо сказать, без должных оснований.

Алексей Максимович внимательно слушал, и под конец оба утомились: и сам чтец и его невольный слушатель.

— Хорошо прочел? — не без удовольствия спросил писатель.

— Очень хорошо, — сказал Алексей Максимович, — но вы, наверно, устали. Отдохните немного, а дальше я сам почитаю.

Он взял рукопись, надел очки и начал читать вслух, но на первой же фразе споткнулся.

— Так я и знал! — сказал писатель, отнимая рукопись. — Вы плохо читаете. Вот Писемский — тот был замечательным чтецом.

Горький улыбнулся: рукопись была написана неразборчиво, и сам Щепкин, пожалуй, плохо прочел бы ее, но стоило ли огорчать хорошего человека?

— Ну, вы-то читаете лучше Писемского, — добродушно сказал Горький.

13

Однажды я приехал к Алексею Максимовичу по делам «Библиотеки поэта». Зашел у нас разговор об издании фольклорных памятников, и слова Алексея Максимовича поразили меня необычайно глубоким проникновением в самые сокровенные глубины народного творчества.

Это была моя последняя встреча с Алексеем Максимовичем.

Вскоре я уехал на юг, а когда вернулся в Ленинград, меня уже ждало большое письмо от Алексея Максимовича о задачах изучения и пропаганды устного народного творчества.

Основной смысл издания Алексей Максимович видел в «ознакомлении нашей молодежи, — главнейше литературной, — с лучшими образцами устного народного творчества в целях освоения ею коренного русского языка».

Необычайно богато мыслями это письмо, касающееся самого широкого круга вопросов искусства.

Дорогой Виссарион Михайлович!

Весьма обрадован согласием Марка? — Азадовского организовать работу по изданию материалов нашего фольклора.

Каков основной смысл издания? Ознакомление нашей молодежи, — главнейше литературной, — с лучшими образцами устного народного творчества в целях освоения ею коренного русского языка. Этим возлагается на нас обязанность крайне строгого выбора материала.

Начать издание следует с былин и в первую голову дать новгородские — «Буслаева», «Садко», как наиболее оригинальные. Из киевских обязательно «Илью Муромца», его бунт против Владимира, встречу с «нахвальщиком». В предисловии нужно вскрыть политико-экономическое наполнение былин и, — особенно, — их высокое художественное значение.

Мне даже кажется необходимым дать отдельный томик по истории народного словесного творчества, указав на его «всемирность», на связи и совпадения и заимствования тем, а особенно на отражение творчества устного в литературе «писаной». Интересно указать, как образ «богоборца» Прометей, постепенно снижаясь, спустился до «Васьки Буслаева» с его «кошунством», как народная сказка легла в основу «Декамерона», а народные сатирические песенки о рыцарях отразились в «Доп-Кихоте».

Крайне любопытно отметить, что Фауст первоначально был героем ярмарочных балаганов и примитивных комедий, которые разыгрывали на цеховых праздниках средневековья, эпохи алхимиков, а затем изложить историю развития Фауста от Хрестофора Марлоу до Гёте и Клингера, а затем съязвения: у Крашевского — до «Пана Твардовского», у Поля Мюссе до «Искателя счастья».

В 1605 г. явился Санчо Панса, в 1613 — Калибан «Бури» Шекспира. В первом случае мы имеем типизацию «здорового смысла» буржуазии, во втором — типизацию «массы», которая заявила о себе в конце XIV в. восстанием Уотт Тайлера, в XV—XVI вв. крестьянскими войнами в Германии, московской смуты.

Все это пишется наскоро, схематично, но я уверен, Вы поймете цель: связать во единый поток факты социальной жизни, их отражение в народном устном творчестве, показать влияние этого творчества на литературу. Весьма стоит подумать над тем, не сродни ли Франсуа Вийон и Жиль Блаз, нет ли чего-то общего между Джеффри Чоссером «Кентерберийских рассказов» и Санчо Пансой? Нет ли в Обломове кое-чего от сказок об Иване-Дураке?

Связи живого с «выдуманым» крайне многообразны и поучительны. Каратаев и Поликушка написаны Л. Толстым не без влияния сказок о дурачке, и вообще этот огромный художник очень пользовался фольклором, см. его «сказки».

Сам он — весь — тоже материал для будущего романиста.

Думая по этой линии, мы, возможно, открыли бы и показали технику создания крупнейших типов всемирной литературы и, может быть, нашли бы прототипы их в народном творчестве, а это очень подняло бы в глазах литературной молодежи значение фольклора, подвинуло бы ее на изучение устного народного творчества.

Вероятно, М. Азадовский знает, что ценнейший песенный материал надобно искать в архиве Шейна, составителя сборника «Великоросс», и в архиве Якушкина, если таковой архив сохранился. Снегирев, Киреевский, Рыбников и др. собирали песни по большей части от помещичьих хоров, значит цензурованные помещиком, а затем, наверно, правленные общей цензурой, поэтому подлинный, непричесанный материал надо искать в рукописных сборниках.

В раздел лирики необходимо ввести песни проституток, такие, как «Любила меня мать», «Маруся отравилась», «Я с 15-ти лет по людям ходила», «Целовали меня, миловали» и т. д. — их много.

Полагал бы, что следует дать и юмор и сатиру, песни семинаристов и студентов за XIX-й в. «Частушку» многие считают «новинкой», а это — неверно, она уже встречается в сборниках первой половины XIX-го века, и позднее — в частности у Шейна. Частушке современной предшествовала саратовская «Матаня», о ней нужно посмотреть «Саратовский Дневник» начала 90-х годов, статьи Виктора Арефьева, исследователя «Матани».

В юмористические и сатирические песни следует включить украинские, напр. посвященные Екатерине II и Потемкину: «Ой что там за шум учинився? То комар да на мухе оженився», и т. д.; песню, посвященную генералу Тексли, Александру I, Николаю I.

Я как будто выхожу из границ фольклора слишком близко к текущей действительности? Но я думаю, что так и надо...

В «Библиотеке поэта» следовало бы дать томик «Ложно-народная песня и романс» — Нелединский-Мелецкий, Цыганов, Вельтман, Растопчина, Жадовская и др.

Я имею в виду такие штуки, как «Ванька-Ключник», «Среди лесов дремучих», «Что затуманилась зоренька ясная» и т. д. вплоть до «Из-за острова на стержень», и «Есть на Волге утес», даже до «Господу богу помолимся, древнюю быль возвестим».

Романсы: «Кольцо души-девицы», «Там, где море вечно плещет», «Стонет сизый голубочек», «Как от ветки родной», «Что он ходит за мной», «Кого-то нет, кого-то жаль» и еще десятки подобных. Среди «поэтов-переводчиков» не вижу Барыковой, Чюминой, Щепкиной-Куперник.

Женщин нашел двух: Павлову и Растопчину. Надо бы Бунину, Мирру Лохвицкую, вероятно есть и еще... Нужно Львову, Шапскую...» вероятно найдутся и еще».

Алексей Максимович интересовался дальнейшими планами издания русского фольклора, написал еще несколько писем, рекомендуя привлечь к работе фольклористов Андреева, Никифорова и др., но выход книг задержался из-за издательских трудностей, и только небольшая часть задуманного была осуществлена «Библиотекой поэта».

Письма о фольклоре были последними письмами Алексея Максимовича ко мне. В последний же раз увидел я его на съезде писателей осенью 1934 года...

Прошли годы, много нового довелось пережить за это время, а образ Алексея Максимовича все растет и обогащается в моем сознании, и все чаще советуешься с Горьким, читая его книги, чтобы понять завещанное им новому поколению писателей, всем нам...

Александр Прокофьев

У ГОРЬКОГО

Летом 1935 года Федин, Маршак, Тынянов, Ильин и я получили приглашение приехать к Горькому. Я не знал, как мне отнестись к приглашению. Дело в том, что Горький незадолго до этого очень меня разругал за редактуру книжки Ал. Молчанова «Крестьянин». Разругал справедливо, но сильно, — сильнее, как мне казалось, чем следовало. Я переспросил Союз писателей — не ошибка ли адресованное мне приглашение приехать к Горькому? «Нет», — ответили мне из Москвы и подтвердили необходимость нашего приезда.

В Москве мы узнали, что должна быть большая встреча писателей с Горьким. Но нам по счастью повезло. Горький принял нас отдельно, независимо от общей встречи.

... Горки. Дача. Широко раскрываются ворота. Садовая дорожка. Увижу Горького! Как он встретит? Что скажу я ему? Но Горький уже ожидает нас в подъезде. Я подхожу к нему, рекомендую, жму руку. Он всматривается в меня, задерживает мою руку и говорит:

— Так это вас я обругал?

— Да, меня, Алексей Максимович, — смущенно отвечаю я, — но ничего, ничего (тут уже начинается лепет, — всё, дескать, теперь уже прошло).

— Да по заглазью-то ничего, а в глаза известно, — говорит Алексей Максимович.

И мне этих слов никогда не забыть. Я повторил их сейчас, и вновь старая, нахлынувшая тогда на меня радость заполнила мое сердце.

«Горький прост и сердечен, — записал я по возвращении. — Его не крушит время. Он бодр».

Никак не ожидал я, что через год буду стоять в почетном карауле у гроба Горького, что через год, в конце июня, траурный марш Шопена зальет всю страну, весь мир, что Горького не будет...

Горький много курил. Перед ним на столе пепельница. В ней обгоревшие спички. Я увидел, как велика была страсть у Горького к огню.

Вот он складывает в пепельнице лесенкой полубогоревшие спички и поджигает их. Горит маленький-маленький костер. Горький доволен. Позже когда на скамье подсудимых сидели заклятые враги народа, уже из газет я узнал, как эти изверги, используя в своих целях страсть Горького к огню, погубили его.

У Горького в то время гостил Ромэн Роллан. По нездоровью он не участвовал в нашей беседе. Мы все пришли к нему наверх. Высокий человек, откинув плед, поднялся с дивана. Седые пучки бровей мне запомнились навсегда. Наш разговор с Р. Ролланом был краток. Горький также участвовал в нем. Как сейчас вижу я его стоящим у двери небольшой комнаты, сутуловатого, разглаживающего обеими руками рыжеватые усы, доброго, простого Алексея Максимовича!

Дальше цитирую по «Литературному Ленинграду», по номеру от 20 июля 1935 года.

«О многом мы переговорили с Алексеем Максимовичем за четыре часа.

«О кино. О двух фильмах последнего выпуска тепло отозвался Горький. Это о «Границе» и «Пэпо».

«— Не правда ли, хорошие картины? — сказал он.

«Я обратил внимание Алексея Максимовича на последний эпизод в кинокартине «Пэпо», на демонстрацию перед тюрьмой, сказав, что он мне кажется условным.

«Горький ответил, что он знает эту тюрьму, что окна ее находятся близко от земли и что картина правдива.

«Дальше разговор перешел на темы фольклора, детской литературы, поэзии.

«Обратно я ехал в одной машине с С. Я. Маршакom.

«— Вот Горький! — говорил Маршак. — Помоему, мало найдется людей с «искрой», которые прошли мимо Горького, не ободренные его вниманием».

Я навсегда согласен с ним.

ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА А. М. ГОРЬКОГО

1

Дорогая Ольга Дмитриевна — значит, для «Наших Д.» все-таки напишете? Я никогда не забуду столь чудесного поступка и тоже напишу Вам отличное, с рифмами, стихотворение, в котором изображена будет моя [вечная любовь к Вам: честное слово. У меня даже и рифмочки кое-какие есть, напр.:

О, Форш!
Вы — ерш!
Я — морж.
О, Форш,

а в заключение будет сказано:

И нас обоих, как телят,
В надзвездный мир переселят!

Что же касается до описания Вами меня в сумасшедшем романе, то — покорнейше благодарю! А читать его буду, когда он кончится. Я тоже предполагаю коснуться Вас моим талантливым пером в 13-ом томе знаменитого романа «Клим Самгин и К^о. Депо афоризмов и Максимов». О Василии Буслаеве могу сообщить нижеследующее: в 97 году XIX-го века аз, многогрешный, соблазнен был картинками художника Рябушкина и тотчас же начал сочинять «плачевную трагедию, полную милой веселости», как назвал свою «Жизнь Камбизо» Том Престон (сопутствующая мысль: какой я образованный, ах, какой образованный! И, наверное, буду велик, подобно Ивану Бунину). Сочинял — и Васюку начал у меня превышать, заслонять Потанюшка Хроменький, направляя ладью Васюкиных мечтаний на скалы и мели внутренних противоречий. Васюка в Иордань-реке купаться хочет, а Потаня, зная географию, говорит ему: «А текёт она, Ердань-река, а текёт она в море Мертвое». Момелфа Тимофеевна внушает Васе: «Люби воду текучую», окаянная Девка-Чернавка требует с него биологической дани, во сне ему снится обаятельная Девка-Вьюга, и вообще — получилась чертовщина. Бросил. Но, живя на Капрее, снова взялся за этот

сюжет и многожды говорил о нем с Амф., — он фольклор знает, хотя — очень внешне. Не думайте, что я его в чем-то подозреваю, нет! Но он тоже соблазнился «сюжетом», и, на мой взгляд, обработал его очень поверхностно, хотя и путанно. Причем тут Римлянин — Васюкина трагедия очень строга. Действуют в ней, кроме него — мать Мамелфа, Чернавка, Потаня-скептик, Костя Болгожанин — человек факта и двоеглавый и даже трехглавый мужик Залешанин. Вот и все. И желаю Вам всего доброго, весьма удивительная человечка. И — куда Вам писать? Будьте здоровы. Не забывайте древнего старика, на-днях публично проклятого газетой «Руль». Увы мне!

А. Пешков

8/VI—30

2

Талантливейший человек Вы, дорогая Ольга Дмитриевна! И — умница. Такая настоящая, русская умница. Человек умной души. Книжку Вашу прочитал с наслаждением, — очень хорошая, «сытная» книжка, эдакая кулебяка: начинки — много, начинка — разнообразная, и всё анафемски вкусно. Хорошо видит глазок у Вас, и язычок хорошо заострен. Старый, прокопченный литератор и писатель, я такие книги, как «Под куполом», читаю — т. е. воспринимаю — с радостью. Я — «извиняюсь» — очень русский, очень варвар и, как таковой, обожаю людей, живущих без «купола» над ними. Как хотелось бы, чтобы француз без «традиции» и знающий дух нашего языка, перевел Вашу книгу на свой, элегантный! Вот шокировался бы Париж!

Восхищаюсь книгой не токмо единолично, но ст лица всех сородичей и друзей моих. М. И. напишет Вам сама. Я собираюсь в Москву, в июне буду в Ленинграде. Увидимся?

А в Москве я бы показал Вам женщину, коя изумительно поет калмычские, бурятские и

вообще всякие нац-меньшинские песни. О, это мармелад и перец! Талантлива как чорт!

Крепко жму руку. Доброго здоровья!
Спасибо за посвящение!

А. Пешков

7/V—29

3

Обрадован письмом Вашим, Ольга Дмитриевна, буду очень благодарен, если Вы найдете свободный час, чтоб поделиться со мной мыслями Вашими о Федорове...

Большие темы в работе у Вас, О. Д., и особенно почтенна тема «Новиков». «Современники» позволяют уверенно ждать, что Вам хорошо удастся Новиков, ибо у Вас удивительно тонко развита интуиция в понимании прошлого, как мне кажется. Исторического романа, в подлинном смысле этого понятия, у нас еще не было, и вот он является как раз вовремя. Это — замечательно.

Не помню, писал ли Вам, что очень хвалю книгу Тынянова «Кюхля» и в совершенном восторге от «Разина» Чапыгина? А Вы как думаете об этих книгах? Не лень — напишите. Я, от любви к литературе, склонен иногда к преувеличениям, что и естественно для влюбленного. Сердечно тронут Вашим словом: «вот — встретились». Я ведь давно издали любовался Вашей душой, не скажу — понятной мне, но как-то и чем-то радовавшей меня. Желаю Вам всего доброго. А как Вы ногу-то повредили? Трамвай? Крепко жму руку.

А. Пешков

27/IX—26

4

Об А. Н. Шмит мне Вам, Ольга Дмитриевна, нечего добавить: в ту пору, когда я встречался с нею, я был к людям неласков и жестоко убежден, что все они живут не туда, куда следует жить, и не те книги читают, и не о том говорят. Впрочем, я от убеждения этого и по сей день не совсем отрешился, но, кажется, стал терпимее, ибо алогизм жизни кое-чему все-таки учит. А. Н. была для меня человеком прежде всего смешной, затем наянливый и как-то очень мешавший мне своим христолобием... Так что понимать «Аннушку» у меня не было ни времени, ни охоты. Могу лишь сказать, что все люди, встречавшиеся с нею, и самые разнообразные люди, относились к ней одинаково ласково, но что, кажется, потому, что все считали ее «блаженной». В 910 году, на Капри приехал с экскурсией учителей некто

Белов или Белявин, ее ученик, учитель из Кассимова, человек бойкий, неприятный; он рассказал мне о ее «успении», свидетелем коего он, якобы, был, но затем оказалось, что он мне похвастал.

Вас интересует: чем жил бы в глубокой старости Илья Артамонов-сын. Слеплять его излишне, это Вы сами понимаете. А жил бы он сознанием выполненной им исторической работы и чувством удовлетворения, возникающим из этого сознания. Так жили и живут многие старцы: В. В. Берви-Флеровский, князь Крапоткин, Н. Н. Златовратский, так, я думаю, живет Аксельрод и многие другие. По человечеству к ним надобно применить поговорку: «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». Лично я предпочитаю людей безутешных.

Все, сказанное Вами о «смертoboжцах», на мой взгляд, неоспоримо правильно, правильно и указание, что от Федорова «тошнотно» как после хлороформа. И верно, что мыслитель он оригинальнейший, но мне ненавистен его взгляд на женщину, церковный взгляд; формулировал оно этот взгляд так: культура — результат господства женщины, «не тяжелого, но губительного». У меня по этому поводу другие мысли...

Спасибо Вам за интереснейшее Ваше письмо. Когда и где будете Вы печатать о «Символистах»?

Мнение Ваше обо мне, разумеется, волнует меня.

Желаю Вам всего доброго, О. Д.

А. Пешков

13/XI—26

ПРИМЕЧАНИЯ

К письму 1-му: О живописном облике «Василия Буслаева» героя новгородской былины, который не верил «ни в сон, ни в чох», был у меня разговор с Алексеем Максимовичем на прогулке в Сорренто. В этом письме А. М. отвечает на какой-то мой вопрос о подробностях биографии Буслаева.

К письму 2-му: Письмо А. М. написано в ответ на присланную ему мою книгу о Париже «Под куполом».

К письму 3-му: А. Н. Федоров, о котором упоминает Алексей Максимович, был философом-мистиком.

К письму 4-му: В Нижнем-Новгороде Алексей Максимович встречался с А. Н. Шмит, которая была там учительницей. Она была автором одной странной книги, которая вызвала к себе особое внимание философа В. Соловьева.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

I

В 1898 году в Енисейске, читая и перечитывая первые томики рассказов М. Горького, думала: придет время, и я увижу его, расскажу ему про свою сибирскую жизнь, узнаю, как он жил и как сделался таким прекрасным художником.

В нашей маленькой колонии политических ссыльных было четверо народников: Распопов, Павел Скабичевский (сын критика), чернопеределец Макаренко, Беллах и трое марксистов: Василий Петрович Арцыбушев, Турковский, Анатолий Александрович Ванеев и я — четвертая.

Ванеев вскоре уехал в Минусинск и там умер.

О Горьком все в колонии со мной спорили. Народники обиделись на Горького за его рассказ «Челкаш» и вообще находили что Горький плохо относится к деревне, к мужику. Арцыбушев, мой ментор, и тот посмеивался: «Катуся заочно очаровалась новой знаменитостью: ей нравится, что он описывает босяков — «лумпенов». А нам сейчас не это надо». Товарищ, который сам же подарил мне книжки М. Горького, написал на обложке одной из них: «Сиди и жди, пока жизнь тебя изломает. а если уже изломала — сиди и жди смерти».¹ Он уверял, что весь смысл восхитивших меня горьковских рассказов — в этих словах. Я смеялась. Ведь все мои сверстники — местная молодежь, с которой я дружила, юные учительницы, гимназистки выпускного класса, беступенька Любовь Александровна Кытманова — полностью разделяли мой восторг.

¹ В рассказе М. Горького «Тоска» цитируемые слова «безрукого» читаются так: «Живи и ожидай, когда тебя изломает, а если изломало уже — жди смерти!» М. Горький, «Очерки и рассказы», СПб., 1898, т. I, стр. 122

Горький своими рассказами помогал мне вести пропаганду марксизма среди гимназисток, почитать „Zur Kritik“ К. Маркса, которую я тогда переводила, и Ленина «Что такое друзья народа», «Развитие капитализма в России». Горький давал живые иллюстрации из жизни нищей, «убогой, бессильной но и могучей, обильной Руси». А главное: когда я перечитывала эти маленькие томики, мне сияло южное солнце, для меня плескалось море, звучала гордая песня, предвещая грядущую победу. И легче становилось переносить суровую енисейскую зиму, могильную тишину дикого сибирского городка, в котором долгими темными вечерами не слышно было ничего кроме собачьего лая.

В самом конце 1899 года я с моим мужем Беллахом, Арцыбушев с женой и Макаренко со своей молодой сибирячкой Евлампией Семеновной тронулись в путь. Приехали в Питер вместе с Ангарской конторой, где все мы служили последние годы.

Одновременно с нами вернулся тоже из Восточной Сибири, из села Шушенского (Минусинского округа) Владимир Ильич, 30 января 1900 года. В Сибири нам встретиться не пришлось — нас разделяли сотни верст. Но мы, енисейцы, от А. А. Ванеева, соратника Ленина, знали, что творится в Питере, какую кипучую революционную работу вел Владимир Ильич до ссылки. Мы уже тогда видели в Ленине блестящего теоретика и практика марксизма, прямого продолжателя великого дела Маркса. Арцыбушев сразу по возвращении включился в партийную работу. Уже в Енисейске мы, марксисты, считали себя членами «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В Питере каждый принялся за свое дело.

Мне поручили пропаганду среди текстильщиц на Обводном канале. Кроме того, Арцыбушев снарядил меня ранней весной 1900 года в Париж и Брюссель для установления связи со старыми марксистами группы «Освобождение труда». Мне поручили отвезти наши и получить заграничные зашифрованные адреса для переписки, а также привезти в Россию нелегальную марксистскую литературу в отдельных экземплярах.

Выполнила я поручение успешно. Я знала, что это воля «нашего старика», как звали мы между собой Ленина. Он жил во Пскове, но в Питер наезжал. Тут-то я и увидела его в первый раз. Арцыбушев же держал с ним постоянную связь. Петр Ананьевич Красиков, наш краснопорец, жил тоже во Пскове. Приезжал в Питер, останавливался у меня. Рассказывал, как готовятся к изданию «Искры», поручил собирать деньги на «Искру».

Только в 1902 году удалось мне, наконец, увидеть Горького. О нем я знала больше, чем писалось в газетах. Муж мой, Евсей Александрович Беллах, один из последних народовольцев, перед ссылкой в Сибирь просидел четыре года в одиночке в Москве — в Бутырках и в Питере — в Крестах. Вместе с ним сидел в Бутырках Михаил Яковлевич Началов, очень добрый, внимательный к людям человек. С ним Беллах меня познакомил по возвращении из ссылки.

Началов несколько раз выручал Горького в ту пору, когда великий писатель вел еще бродячий образ жизни. Началов приютил Горького и в Тифлисе в 1891/1892 году, нашел ему место на железной дороге. Беллах знал хорошо и Каложного, Александра Мефодиевича, большого друга Горького. От них мы слышали о жизни Алексея Максимовича восьмидесятых и самого начала девяностых годов, то есть того времени, когда он еще не успел стать знаменитым писателем, но написал уже свой замечательный рассказ «Макар Чудра».

Встретилась я в первый раз с Алексеем Максимовичем у историка «Народной воли» Яковлева-Богучарского, на 8-й Рождественской, 49, кв. 14. Все меня поразило в этом необыкновенном человеке. Я знала, что не следует на него «глазеть», что это его раздражает, и все-таки не могла сторваться от его голубых глаз, смотревших так, будто он видит человека насквозь. Его грубоватое, скуластое лицо с густыми, хмурыми бровями мне показалось прекрасным.

Когда Богучарский шепнул Горькому, что я веду пропаганду марксизма среди работниц, глаза Горького потемнели, он стал меня распришивать. Восстановить нашу первую беседу мне трудно. Видя, что в нас людях затруд-

няюсь отвечать на некоторые вопросы, — хотя я и то выболтала ему многое, чего бы из конспирации, из осторожности никому другому не сказала, — он предложил мне зайти к нему на Невский, в издательство «Знание», где он обещал дать мне книг для маленьких подпольных рабочих библиотечек, которые я устраивала во всех шести районах города по желанию Ленина.

Стоило мне упомянуть это имя, как Горький заговорил вдохновенно. Он уже прочел «Развитие капитализма в России» и понял, что это гениальное произведение. А ведь Ленина тогда немногие так понимали. В интеллигентских кругах Питера царили Туган-Барановский и Струве. И Богучарский, хозяин дома, к Ленину относился скептически, особенно за брошюру «Что такое дружба народа».

Меня очень обрадовало, что Горький так высоко ценил Ленина. Мы заговорили о том, как любит Ленин художественную литературу и книгу вообще, какое значение придает распространению художественных произведений в рабочей среде.

Я все это знала от Вани Бабушкина, моего партийного начальства, любимого ученика Ленина и Крупской. Поделилась с Алексеем Максимовичем опытом Вани (как я тогда называла Бабушкина), который еще в девяностых годах устраивал подпольные библиотечки за Невской заставой.

Библиотечки составлялись из легальных и полуполигальных книг: беллетристических, историко-географических очерков, очерков рабочего движения в Европе, Америке, Новой Зеландии. Туда же входили книжки Степняка, «Записки Кропоткина», «Царь-голод» Баха, «Пауки и мухи» В. Либкнехта. Каждую библиотечку я старалась потом снабжать самыми свежими номерами «Искры», которые мне удавалось получать иногда совершенно необычными путями. Библиотечка поручалась сознательному, опытному в деле конспирации рабочему, которого выдвигал районный организатор с.-д. партии, — такому грамотному рабочему, который мог держать у себя на дому библиотечку и давать товарищам книги на прочтение.

Следующее мое свидание с Горьким состоялось в издательстве «Знание». Алексей Максимович познакомил меня с К. П. Пятницким; потом тот ушел, и мы остались вдвоем.

Перед тем я успела побывать у Марии Федоровны Андреевой, второй жены М. Горького. Она жила еще отдельно от Алексея Максимовича, в квартире А. А. Желябужского, со своими детьми. Приняла меня очень приветливо и надавала мне произведений Горького столько, что все шесть библиотечек были, в сущности, обеспечены. Но, конечно, мне хотелось и от него

самого получить его книги и все, что могло дать издательство «Знание», а главное — повидать его и послушать.

Но Алексей Максимович совсем не склонен был сам говорить. Он настаивал, чтобы говорила я. Его интересовало в Питере все. Он знал Москву, Поволжье, Кавказ, а столица была ему еще мало знакома. Он хотел знать не только о жизни рабочих, но и об интеллигенции, учащейся молодежи, о моей собственной жизни. Когда я сказала, что в шестнадцать лет, окончив гимназию, ушла из дому навсегда и без гроша денег училась на Педагогических курсах, давала уроки, состояла в минском землячестве, хотя сама была коренная питерская, и носила передачу политическим в Кресты, в ту пору прочла «Коммунистический манифест», а потом и I том «Капитала», — таким беглым жизнеописанием Горький не удовлетворялся, просил начать с детства. Я сказала ему, что помню себя с четырехлетнего возраста; он усмехнулся, спросил: почему именно с четырех, а не трех или пяти лет? Сам он тоже помнил себя с четырехлетнего возраста, но мне как будто не поверил или хотел подзадорить.

Я рассказала ему, что помню похороны Некрасова, что мне к этому времени как раз исполнилось четыре года. У нас в доме бывал поэт Полонский. Он был большой насмешник. Моя мать и ее приятельницы собирали к похоронам деньги на серебряный венок Некрасову от «русских женщин». Полонский, смеясь, сказал, обращаясь к матери: «Ну какие же вы, матушка, русские женщины? Вы русские дамы». Дело было в гостиной, при посторонних. Вышла, должно быть, заминка, все молчали, и в эту минуту я подошла к Полонскому, лохматому, страшиноватому, хромоногому человеку, и тихонько спросила: «А что же такое русские дамы?» Он захохотал, но ничего не успел ответить. За такую продерзость я была выслана из гостиной, а в детской поставлена на колени в угол носом. Дети в ту пору не смели задавать гостям никаких вопросов. Мне потом только дедушка, очень меня любивший, сказал, что Некрасовым была написана поэма «Русские женщины», и объяснил, почему Полонский не хотел признать мою мать и ее приятельниц «русскими женщинами».

Дед рассказал, что Некрасов был замечательным поэтом, что он бывал у нас в доме. Мне все это хорошо запомнилось. Я тогда начинала учиться читать. В семь лет я уже прочла вместе с дедом «Русские женщины» и поняла, насколько могла, насмешку Полонского.

Алексей Максимович спросил, знала ли я редактора «Отечественных записок» Салтыкова-Щедрина? Михаила Евграфовича я помнила хо-

рошо. Он бывал в нашем доме. Моя мать училась в институте вместе с его сестрой и потом дружила с ней. Моя старшая сестра бывала у детей Салтыковых.

Михаил Евграфович рассказывал моей матери, как он написал сочинение за дочку по русской словесности, а учительница, ничего не подозревая, снисходительно оценила это сочинение тройкой. Все старшие смеялись, а я, хотя и была десяти-двенадцатилетним подростком, очень удивлялась: как можно подать учителю сочинение, написанное отцом, и думать, что учитель имел право поставить единицу. Но к десяти годам я уже знала, что надо молчать и ни о чем не спрашивать, — это в меня было крепко вколочено долгой муштровкой.

Горький моим рассказом остался доволен, звал еще заходить и рассказывать. Говорил, что лучше бы все записать, чтобы не забылось.

Я не возражала.

Когда прощались, он задержал мою руку в своей и спросил, отводя глаза:

— Вы сказали: «крепко вколочено». Вас в детстве били?

Я ответила:

— Моя мать была истеричкой и самодуркой, она била меня иногда до потери сознания. Если бы не мамка Афимя, которая жила при мне лет до семи, и вылетала всегда на защиту, подставляя свои плечи, меня бы, наверно, забили или искалечили.

Мне показалось, что у Горького в глазах блеснули слезы. Он отошел к окну, крикнул и проворчал:

— Меня маленького дед порол до крови, и другие дикие люди били, но ведь не в доме же, где бывали Салтыков-Щедрин и Некрасов!

При следующих встречах Алексей Максимович расспрашивал о столичном студенчестве, о рабочих и работницах, о Сибири, об Ангаре.

Про Ангару я могла многое рассказать. Дикое Приангарье — это был сказочный край лебединых стай, курлыкающих на рассвете, диких уток, подплывающих к лодке, край с совершенно особым укладом жизни. Страна непроходимой тайги, где люди не видывали колесного экипажа, так как не было вовсе колесных дорог, даже проселочных, где жители вымирали от тифа целыми деревнями, а дети нарождались так плохо, что приходилось крестьянам усыновлять взрослых пожилых поселенцев, чтобы заполучить рабочие руки в хозяйство.

На порожистой, буйной Ангаре производились подрывные работы по очистке фарватера с 1894 по 1900 год. Вел работу инженер Чернцов. Ему разрешалось, за безлюдьем, держат на службе политических. Правой рукой Чернцова в Ангарской конторе был Василий Петрович Арцыбушев

(впоследствии его партийная кличка была «Волжский Маркс», за бороду и волосы). Ему поручено было нанимать партию подрывных рабочих. Он нанимал их сплошь из беглых поселенцев, так как крестьяне, занятые летом на своих каменных пашнях, на работы не нанимались.

Мне удалось пробыть одно лето на этих подрывных работах на Ангаре. Несколько месяцев прожила я в карбазе — крытой лодке, готовящая запальные патроны. Я очень сдружилась с «жиганами», как называли тогда всю эту беспаспортную братню. Об этих отверженных обществом людях я сохранила самое теплое воспоминание. Никогда не расспрашивала, за что попали они в Сибирь, но по вечерам подле костра объясняла им, что они выбиты из жизни потому, что сама жизнь плохо устроена.

Книжек М. Горького тогда, в 1895 году, еще не было. Я давала читать «жиганам» сибирские рассказы Короленко.

Читал обычно вслух Иван Зырянин, долго сидевший в сибирских централах, хорошо грамотный, по-своему даже начитанный, сказочник и рассказчик, поэт в душе. Когда книжка была прочтена, я спросила:

— Как понравилось?

Иван ответил задумчиво:

— Жалостно об нас господин Короленко пишет.

— Жалостно? А разве не верно?

Он махнул рукой:

— Где уж там верно! Все мы, известное дело, пьяницы и обороты.

Когда я это рассказала, Алексей Максимович усмехнулся:

— Думаете, я бы им больше пришелся по душе?

— Ну конечно! Нисколько не сомневаюсь.

Он спросил, не написано ли у меня что-нибудь о моих «жиганах». Я сказала, что есть только один рассказ о том, как их царская власть устрашает военными судами. Эту рукопись он попросил ему подарить. Называлась она «Смертная казнь» — описание выезда военного суда в Енисейске в 1899 году.

Судили двух заведомо невиновных людей, обвиняли в убийстве. Один обвиняемый был поселенец Иван без фамилии, другой — Павел Грачев, местный, енисейский парень, работавший на золотых приисках. Мать Грачева, распутная, пьяная женщина, склоняла сына к сожительству. Он не соглашался. Она решила ему отомстить и подала ложный донос. Алиби обоих обвиняемых было полностью доказано. Прекрасно, трогательно выступал на суде отчим Гра-

чева. Но отчим был поселенец. Суд решил не принимать во внимание его показаний.

Когда обоих обвиняемых «для остротки» присудили к повешению, военный защитник упал в обморок.

Суд происходил публично, в переполненном театре. Вся наша колония политических присутствовала. Защитник послал телеграмму царю о помиловании, так как приближалась пасха, царь с семейством говел. Николай просьбу отклонил. Невинных повесили.

Я уже в 1902 году знала, что Горький близок партии, что он пользуется полным ее доверием. Я знала это от моего партийного начальства: Красикова, Радченко, А. Стопани, и потому говорила с Горьким откровенно. Знала, что он расспрашивает не из простого любопытства, что он накапливает материал для своих художественных произведений.

Раз он спросил: почему Богучарский надо мной посмеивается и зовет меня «древняя римлянка»?

Я ответила вопросом:

— Привлекали ли вас к подпольному Красному кресту?

— Алексей Максимович усмехнулся:

— Деньги берут, когда надо, а больше что я могу — передачу носить?

Я объяснила, что кроме передачи сидящим и помощи семьям Красный крест помогает и при побеггах. Только это абсолютно законспирировано, так как в Красном кресте публика пестрая. О побеггах, пожалуй, никто и не знает кроме Богучарского, ну еще Лутугина. Поручено это дело мне. Мое партийное начальство не возражает. Помогать приходится, главным образом, рабочим и матросам, у которых нет своих связей. Чтобы не включать в дело лишних людей, что всегда опасно, я пользуюсь помощью моей совсем молоденькой, семнадцатилетней ученицы Пашеньки: она непостижимо смелое, отважное существо.

Квартиры, ночлеги устраиваю у лиц, не ведущих революционной работы, совершенно «чистых» с полицейской точки зрения, но сочувствующих партии. Паспорта изготовляю сама, имея бланки, добытые от паспортистов, а для образца печатей и подписей имею целую дюжину паспортов рассылных конторы биржевого нотариуса. Конторой заведывала моя старшая сестра; к революции никакого касательства она не имела. Меня любила и помогала всем, чем могла, не зная даже, на что мне это нужно. Дело, конечно, было опасное, особенно с военными, а у меня маленький ребенок, но все-таки я не привыкла трусить. Вот Богучарский и дразнится: «древняя римлянка».

С тех пор Горький помогал мне, чем мог. Дал потом и связи хорошие в Финляндии: в Куоккале и Гельсингфорсе, чтобы переправлять бежавших нелегалов за границу. Мария Федоровна Андреева тоже всегда помогала, чем только могла.

II

Прошло всего полтора года со II партийного съезда, а гениальное предвидение Ленина уже сбывалось: партия завоевывала все большее влияние в массах, крепла сама и спланивала массы. Когда мне удалось встретиться с Горьким (в конце 1904 года) в Вольно-экономическом обществе, в библиотеке на антресолях, мы именно об этом разговорились.

Ленин, отстаивая свой проект устава партии, между прочим сказал: «Самоотверженный, настоящий работник за чинами не гонится». И многие поняли, что для каждого из нас, для честного рядового работника пришло время самоотверженно выполнять роль хотя бы самого малого винтика в партии и строжайше соблюдать дисциплину. Об этом говорили мы с Горьким.

Он хотел знать, понятно ли все происшедшее на съезде питерским рабочим. Тем, с которыми мне в это время приходилось сталкиваться, было понятно: к чему призывал Ленин, куда тянули меньшевики. У меня уже были знакомства среди обуховцев и других металлистов.

Из немногих слов Алексея Максимовича о соромовских, нижегородских рабочих мне стало ясно, что у него собран большой материал о передовых, сознательных рабочих.

Потом Алексей Максимович заговорил о художественной литературе, о том, что образы передовых рабочих еще не даны, а дать их надо. Я сказала, что дать может только он, других певцов нарастающей революции еще не появилось.

Тут мы впервые заговорили, между прочим, о Л. Андрееве. Я сказала Алексею Максимовичу, что, признавая талантливость художника, не люблю Леонида Андреева за его пессимизм, изломанность, что передовые, сознательные рабочие тоже не одобряют «Леореева», как они его прозвали. Неумеренно восторгаются только «леореевки» (поклонницы писателя). Я была тогда уже совершенно уверена, что шумную славу Л. Андреева создает мелкобуржуазный слой интеллигенции, падкий на андреевские темы. Я знала о дружбе этих двух, таких различных между собой, художников и тем решительнее осуждала Л. Андреева. Горький молчал, потом спросил:

— Ну, а кого же вы любите?

Я ответила:

— Льва Толстого, Чехова. Антон Павлович

умер так рано, непризнан, но его еще признают и будут любить.

От товарищей я слышала, что Ленин любит Чехова, и сказала об этом Горькому. Алексей Максимович это знал от волжан, от самарцев. Он спросил:

— Вот вы ведете марксистскую пропаганду и, как я понял, просвещаете, воспитываете ваших учениц и учеников. Как удастся пробудить в них понимание настоящей красоты, мощи художественного произведения?

Я ответила:

— Готовой методики для таких уроков нет. Я даю им читать ваши вещи и выслушиваю мнения рабочих. Они говорят корявыми словами, но от всего сердца, и мы понимаем друг друга.

На прощание Алексей Максимович, сжимая крепко мою руку, сказал строго:

— Когда-нибудь вы должны все это записать. Пообещайте!

Я пообещала, — когда победим, — написать воспоминания рядового работника-пропагандиста.

«Поворотный пункт в истории России наступил»¹ — так сказал Ленин в январе 1905 года.

Действительно, напряжение достигло высшей точки. Все чувствовали, что в морозном воздухе Питера запахло грозой. В той же статье «Революционные дни» Ленин писал: «В истории революций всплывают наружу десятилетиями и веками зреющие противоречия. Жизнь становится необыкновенно богата».²

Находясь в это время в Женеве, в Швейцарии, Ленин с гениальной прозорливостью говорил о грядущих событиях. Он будто сам видел своими глазами то, что не всегда видели мы, «очевидцы».

Повстречаться с Горьким до «Кровавого воскресенья» мне не пришлось. Мы встретились только на Дворцовой площади перед самой бойней.

С 3 января, с начала стачки на Путиловском заводе, все закружились в вихре событий.

Хотелось видеть, слышать, наблюдать настроение масс. За Нарвскую заставу на собрания гапоновцев приходилось пробираться тайком, надевая платочки. Интеллигентов без личного разрешения провокатора-попа Гапона на эти собрания не пропускали.

На собраниях вырабатывалась петиция рабочих царю. Твердили о том, что идти надо мирно, без оружия. В том, что Гапон — провокатор, я лично ни минуты не сомневалась. Он был

¹ Ленин, «Революционные дни». Собр. соч., изд. 3-е, т. VII, стр. 82.

² Там же, стр. 83.

снят на обложке одного иллюстрированного журнала рядом с градоначальником Фулоном; он, с благословения оберпровокатора Зубатова, организовал легальное «Общество фабрично-заводских рабочих», отвлекавшее рабочих от марксизма.

На Васильевском острове тоже шли массовые собрания рабочих, но там выступали большевики. Они разъясняли смысл гапоновской затеи, они предупреждали рабочих, что кровопролитие неизбежно. Царь передал всю власть в Питере в руки жестокого выродка, великого князя Владимира, именно для того, чтобы беспощадной расправой припугнуть народ, стерчить революцию.

Как волновался в эти январские дни Горький, я знала от его близких. Знала, что Алексей Максимович участвовал в делегации общественных деятелей, посетившей министров для предупреждения этой неслыханной провокации. От министров требовали увода войск из Питера. Но войска все прибывали. Из Пскова вызвали пехотные армейские части. Бойня была предпринята.

9 января, когда я с двумя товарищами добралась во втором часу до Невского, протиснуться к площади Зимнего дворца было уже невозможно. Путиловцы, которых обстреляли у Нарвских ворот, пробрались поодиночке к дворцу. Сюда же стекались рабочие из-за Невской заставы, Московской. Они стали сплошной стеной перед решеткой Александровского сада. В эту толпу удалось пробраться только Ал. Ал. Макаренко, товарищу по енисейской колонии. Мы же пробрались через сад на Адмиралтейский проезд, чтобы легче протиснуться к площади.

Площадь была оцеплена полицией. Конные отряды несколько раз налетали на толпу, сгрудившуюся перед решеткой сада. Но лошади с разбегу останавливались перед ревушей толпой. Толпе некуда было податься, со всех сторон напирала вновь прибывавшие группы рабочих. За спиной была решетка.

Около двух часов (срок, назначенный для сбора) к нам подошел Горький. Перед ним раздвигалась толпа. Он молча пожал мне руку и двинулся дальше, прямо на сплошную толпу полицейского оцепления. Перед ним расступились и полицейские. Всем знакома была эта высокая, слегка сутулая фигура великого писателя. После ухода Горького не прошло и четверти часа, как на площадь выползла серая лента пехоты, построилась в два ряда. Проиграл рожок, и грянул первый залп, потом второй и третий. Рядом с нами был убит студент-горняк Лурье. Раненные падали на снег; их поднимали, оттаскивали в сторону.

Безоружная толпа дрогнула, отступила.

Где был в эту минуту Горький, никто не мог сказать. Я только поздно вечером узнала в Вольно-экономическом обществе, что он незредем.

После расстрела, в ту же ночь, Горький написал «Обращение к обществу», в котором обвинял министров в «предумышленном и бессмысленном убийстве множества русских граждан». В том же обвинял он и Николая II, приглашая «всех граждан России к немедленной, упорной и дружной борьбе с самодержавием».

После этого Горький был арестован, заключен в Петропавловскую крепость. Через месяц освобожден и выслан в Ригу.

Мне довелось с ним встретиться только через восемь лет, когда он вернулся из-за границы.

III

Прошло восемь лет после первой революции. Это были годы тяжелых испытаний: сколько казней, сколько погибших товарищей в тюрьмах и на каторге! Нелегко дались эти годы и тем, кто попал в эмиграцию.

Даже Ленин, по свидетельству Надежды Константиновны, много тяжелее переносил вторую эмиграцию по сравнению с первой. Тяжкой была и для Горького разлука с родиной, с массами, с его волжанами, сормовцами, нижегородцами. Те, кому удавалось побывать у Алексея Максимовича на Капри, говорили, что он тоскует и что его больные легкие не исцелило солнце Италии.

Но так как, по крылатому слову горьковского героя Нила, «нет такого расписания, которое бы не изменялось», то и российская реакция должна была пойти на убыль. «Не могло быть прочным правительство, которое не хотело дать народу ничего, кроме кнута и виселиц».¹ Начался новый подъем революционного движения в массах.

В конце 1913 года Горький вернулся в Питер и поселился в дачной местности Мустамьяках.

Когда мы встретились после восьмилетней разлуки, у меня сжалось сердце — таким он выглядел постаревшим, больным. А мне говорили перед тем нечуткие люди: «Горький — все тот же Горький, только горьковскую блузу сменил европейский костюм». Но, конечно, он был не тот.

Мой вид его поразил тоже. Он прежде всего спросил, почему появилась у меня седина.

Я ответила, что мне уже под сорок. Но он хотел знать все: как жила сама, как моя девочка.

Когда я сказала, что она умерла от туберку-

¹ «История ВКП(б). Краткий курс». Госполитиздат, М., 1938, стр. 140.

леза в 1910 году, двенадцати лет отроду, он по-мрачнел. 'Разговор перешел на работу. Меня поразило, что вспомнил он все: и «древнюю римлянку», и «катушечку белых ниток», как прозвали меня мои текстильщицы в 1902—1903 годах.

Только Горький мог проявить такое внимание к рядовому работнику и такую феноменальную память. Он хотел все знать. Он настаивал, чтобы я рассказывала начиная с 9 января, с того момента, как мы простились на площади. Звал погостить в Мустамяки, но я не могла принять приглашение. Ведь за ним был установлен полицейский надзор.

Я сообщила ему, что мне удалось проникнуть на Сестрорецкий оружейный завод, сколотить там маленькую рабочую группу по чтению художественной литературы, что читаем его произведения: «Мать» и другие, газету «Правда», главным образом изъятые номера. Ради этого и еще для того, чтобы переправлять нелегальных беглецов за границу, я поселилась на круглый год в Сестрорецке. Он спросил, есть ли связи с финскими друзьями большевиков. Дал от себя прекрасные адреса в Гельсингфорсе.

Мы стали встречаться с Алексеем Максимовичем на нейтральной почве. Я всегда могла ему передать все, что хотела, через его падчерицу, милую девочку Катю Желябужскую, с которой я познакомилась, и через Марию Федоровну.

Он рассказал мне, как создавалась «Мать», рассказал про Петра Андреевича Заломова. Я прочла «Мать» полностью впервые на французском языке в Женеве в 1908 году и беседовала об этой вещи с французскими рабочими. Горького заинтересовало, что они говорили.

Я припомнила полностью фразу: «О, если ваши матери таковы, ваше дело выиграно!»

Он улыбнулся, спросил:

— А что же вы ответили?

— Я сказала: «Если еще не все таковы, то такими будут, когда снова грянет революция».

Он закивал одобритительно:

— Я же ведь и не хотел утверждать, что все сейчас таковы.

Алексей Максимович спросил, как русские рабочие воспринимают «Мать».

Разумеется, эта вещь у наших рабочих имела огромный успех. Только интеллигенты-меньшевики и кадеты шипели о «неправдоподобности». Я рассказала, как пользовалась замечательной речью Заломова на суде, напечатанной в № 32 газеты «Искра» в январе 1903 года, как мои ученики допытывались, какими путями мог Заломов стать таким замечательным оратором, таким образованным человеком.

Я рассказала Алексею Максимовичу, как

пользовалась его статьей в № 1 студенческой газеты «Молодая Россия» — «По поводу московских событий».

Мне этот номер добыл в большом количестве для рабочих Александр Александрович Гапеев, горняк, писатель. Его статья «Победители и побежденные» была напечатана в том же № 1, от 4 января 1906 года. Там же была передовая статья Ленина — «Рабочая партия и ее задачи при современном положении».

Я сказала Алексею Максимовичу:

— Вот когда вы впервые встретились.

И он не отрицал того, что именно тогда, в 1905 году, он с Лениным встретился впервые.

Вдохновенно заговорил о Владимире Ильиче, о следующей встрече с ним на V партийном съезде, о приезде Ильича на Капри. Сознался, что в 1903—1904 годах, когда мы говорили о Ленине, великие произведения Ильича оставались для него еще не до конца постигнутыми. Он сказал:

— Ваше счастье, что вы их тогда читали, чтобы объяснять другим. Все, чему учишь других, становится самому яснее. А Ленин — это величина необъятная. Самая огромная фигура из всех наших современников: ум и энергия колоссальные и редкое человеческое сердце.

Я сказала, что я лично Ленину обязана всем и что расскажу об этом после победы.

Алексей Максимович перебил:

— Это вы опять торжественно обещаете? И все-таки не пишете...

Разговорились о «Всероссийском литературном обществе», в которое Горький, повидимому, не собирался вступать. Он взял у меня печатный список членов. Через некоторое время вернул. Я и сейчас храню этот список, погостивший у Горького, с оторванным им чистым уголком.

О писателях-самоучках мы неоднократно говорили с Алексеем Максимовичем. Вокруг него сгруппировались писатели из рабочих, из крестьян еще в бытность его на Капри.

В 1912—1913 годах я была редактором издательства «Общественная польза». Меня пригласил на работу директор общества, Петр Ефимович Кулаков, бывший ссыльный, знавший моего первого мужа Беллаха по Бутырмам и по Сибири. Кулакову было известно, что я — марксистка, большевичка. Он просил меня только быть осторожной и не повредить акционерному обществу. Во все остальное он старался не вмешиваться.

С писателями и читателями имели дело я и Августа Владимировна Мезиер, библиограф. Она была близка с большевиками. Конторой издательства заведывал большевик, к сожалению я забыла сейчас его фамилию. Он держал самую тесную связь с газетой «Правда». Мы и поме-

щались рядом. Запрещенные номера газеты через наборщиков попадали к нам, а от нас — к тем читателям и молодым начинающим писателям, которые жили в глуши и только от нас могли получить столичную литературу.

В числе таких писателей-самоучек был Абрамов-Ширяевец. Его письма у меня и сейчас хранятся. Тогда я давала их читать Горькому. Интересовали его и письма Михаила Сивачева, автора «Прокрустова ложа». Сивачев в 1913—1914 годах проявлял утрированную грубость. Когда ко мне попала одна из его рукописей, я должна была ее отвергнуть: там о женщине он говорил так, как не говорилось в русской литературе. Я написала ему длинное, на мой взгляд, суровое письмо. Однако он не рассердился и даже приехал ко мне в Сестрорецк, привез свою карточку с надписью «На добрую память».

О Горьком с Сивачевым мне пришлось говорить потом. Этот желчный человек, забалованный вниманием публики, падкой до литературных скандалов, позволил себе грубую выходку в печати — обругал и Горького и Марию Федоровну за «льстивый, слишком любезный прием в Мустамяках». Когда я укоряла Сивачева, ему стало стыдно. Потом я его потеряла из виду.

Были и от рабочих-читателей интересные письма, от передовой крестьянской молодежи. Земляк Горького, рабочий Линеv написал, что хочет покончить жизнь самоубийством: его изматывали нужда и черствость окружающих, просил моего совета. Я ему ответила, что сочувствия надо искать не у черствых обывателей, а, чтобы не приходить в отчаяние от собственных обид, — необходимо включить себя в общий план жизни и борьбы, как учат великие умы: Маркс, Ленин, Горький. Линеv попросил прислать ему книги Горького. Прочел и решил, что еще

можно жить и бороться. Эти письма я отдала Алексею Максимовичу. Линеv мне потом еще долго посылал открытки.

Горького очень интересовало положение женщины в буржуазном обществе, ее бесправие. волновали злоключения, связанные с рождением «незаконных» детей, переживания матерей, вынужденных бросать своих новорожденных ребят. Такой материал я подбирала и для Ленина (к женскому вопросу). Небольшую рукопись «Рабыня XX века» я подарила Алексею Максимовичу по его просьбе. Он настаивал, чтобы я приготовила ее для печати.

Я рассказала Алексею Максимовичу о гибели моей ученицы, девятнадцатилетней Пашеньки. Она успела выручить в 1906 году из военных тюрем Кронштадта несколько смертников-матросов. Потом попала в руки жандармов, получила сама смертный приговор. Он был заменен вечной каторгой, и после этого она сгинула бесследно. Я просила товарищей найти ее, живую или мертвую. Искали по всей Сибири, а найти не могли, так же как и Ваню Бабушкина. Алексей Максимович был потрясен моим рассказом, просил сообщить, если получу весточку о Пашеньке.¹

Алексей Максимович в наших беседах все упирал на то, что о муках, страданиях женщин ему не написать: женщины, владеющие пером, должны непременно сами писать для истории: рухнет царская Россия, «колосс на глиняных ногах», а с ней сгинет и последний осколок средневековья в Европе. Изучать же нашу борьбу будут еще в веках.

¹ Паша наплась после Октябрьской революции. Оказалось, что она переменяла имя. Провисела в кандалах 10 лет в Бутырках, с 1907 по 1917 год, участвовала в Новинском побеге.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ВСТРЕЧИ

Тихо, скучно, обывательски-нудно протекала жизнь нашего города. Железной дороги не было, не было и связи с миром.

Тишину спящего города нарушали политические ссыльные. Партия за партией пригонялись они в ссылку. Некоторые из них, попав в сонную атмосферу, сами засыпали, обрастали семьями, обывательски выдыхались. Большинство же бурлило, жаждало деятельности. Они то расклеят прокламации по городу, то устроят шумную вечеринку или разошлют революционные листовки по почте на имя влиятельных граждан города. Тогда мечется испуганная полиция, устраивает поголовные обыски и сажает в тюрьму правых и виноватых.

Гимназическое начальство запрещало даже малышам знакомство с ссыльными. Всякий запрет вызывает усиленный интерес, особенно у ребят. И мы старались везде просунуть свой нос и, захлебываясь, рассказывали друг другу о ссыльных.

У нас были свои потайные места, где мы собирались и шопотом говорили о революционерах. На одном из таких «собраний» во время перемены я сообщила девочкам:

— Появился замечательный писатель. Он пешком прошел всю страну. Он пишет, и все плачут над его книгами. Только царь их запрещает.

— Он тоже ссыльный?

— Наверно. Его ведь запрещают.

— Как его зовут?

Фамилии писателя я и сама не знала. От позора спас звонок. Все бросились в класс.

Вечером я пристала к сестре с расспросами о писателе.

— Я сама мало о нем знаю, — ответила сестра.

— Ты читала его книги? Если достанешь, дай мне прочитать!

— Тебе? Он не для ребят пишет.

— А ты сказала: сказочно-хорошо.

— Ты и решила, что он сказки пишет?

Я смутилась.

— Нет, Лелька, не сказки он пишет, а правду о нашей стране. Пишет, говорят, замечательно. В тюрьмы его сажают, преследуют, а он пишет. Ему все верят.

— Как его фамилия?

— Максим Горький.

Интерес к писателю среди ссыльных и у молодежи был огромный. Мы постоянно о нем слышали и говорили о нем как-то особенно — восторженно.

Время шло. Мы переходили из класса в класс. О Горьком слышали много, а книг так и не видали...

— Поедешь завтра с нами на лодке? — спросила меня подруга. — Уедем верст за десять. В лесу уху варить будем. Говорят, ссыльные будут, — шопотом сказала она. — Согласна?

— Еще бы!

Среди собравшихся на берегу было несколько ссыльных. Вскоре из леса вышла еще группа ссыльных. Среди них, видимо, были особо важные. Засуетились, поставили часовых.

Все засели за уху. Много шутили, смеялись, и ели с большим аппетитом.

После завтрака разделились на группы. Больше всего собралось народу около худого, длинного ссыльного. Он тихо читал что-то напечатанное на папиросной бумаге. Я подошла послушать. Ничего не поняв, пошла к другой группе. Здесь кричали, спорили до хрипоты.

Темнело. Мы развели костер. Понемногу все собрались около костра.

Глубоко задумавшись, сидели ссыльные. Молодежь тоже притихла.

Поднялся высокий, бледный ссыльный. У него туберкулез, — дни жизни остались считанные. При свете костра он мне показался огромным и каким-то вдохновенно светящимся.

— «Песня о Соколе» Горького, — тихо сказал он.

«Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущельи, свернувшись в узел и глядя в море...» Тишину нарушал только треск костра.

Ссыльный читал хорошо. Слабый вначале голос звучал все сильнее.

«... — Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко.

— Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!..»

Все как-то изменились — помолодели. А он читал, только голос стал слабее. И вдруг почти крикнул:

«... — О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!»

Ссыльный закашлялся, прижав худые руки к груди. Его закутали, положили. Темный лес показался страшным. Глаза у всех потухли.

— «А Уж подумал: «Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..» — произнес звонкий, молодой голос.

У костра стояла тоненькая девушка. Она просто, но с большим чувством продолжала превращенную песню.

Как обрадовались все! С благодарностью смотрели на девушку. Даже больной перестал кашлять.

А молодой голос звенел все сильнее, смелее: «Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

«Безумству храбрых поем мы песню!..»

Все вскочили, подхватили последние слова...

Костер давно потух. Была ночь, а люди все пели и пели.

Из Нижнего к нам прислали партию ссыльных. Несколько человек из них сидело с Горьким в тюрьме. Много раз приходилось видевшим или слышавшим по тюремной азбуке писателя рассказывать о нем.

Огромно было обаяние Горького. Его мысли о жизни мы, молодежь, принимали как наказ, как путевку в жизнь.

У моей сестры сохранилась фотография Горького. На обратной стороне карточки сидевший с Горьким ссыльный написал:

«20 декабря 1901 года.

«Прежде чем войти в жизнь практическим деятелем — нужно понять самую жизнь и, только

связав теоретическое обоснование с практиским анализом действительной жизни, можно с убеждением, а следовательно, и сильно проявить свою субъективную жизнь.

«Только обладающий глубокой эрудицией и только убежденный человек может последовательно проводить свою идею в жизнь, и только он способен и будет жертвовать всем для нее. А жертвы — это первое и необходимое условие нашей жизни».

Прошло 40 лет. Сестра забыла, подлиннее ли это слова Горького или его мысли, записанные ссыльным. Фотография пожелтела, но хорошо сохранилась. Суконная косоворотка, ременный пояс — обычный, хорошо всем знакомый костюм Горького. Длинные волосы, шляпа.

После окончания гимназии я уехала в Петербург. Очень хотелось учиться. Но денег не было, и пришлось поступить на работу.

Из тихой провинциальной жизни я попала прямо в водоворот. Шел 1905 год. После 9 января жизнь столицы неслась бурно, напряженно.

В книжном магазине, куда я поступила продавщицей, было много новых, интересных книг. Люди различных профессий и вкусов приходили в магазин. Они разговаривали, спорили о новых книгах.

Жадно ловила я все интересное. И опять звучало постоянно имя Максима Горького.

Говорили, как смело он поднял голос против произвола. Он не побоялся написать протест против расстрела рабочих 9 января.

Книги Горького расхватывали моментально. Разнесся слух об аресте писателя, о его ссылке в Ригу. Рассказывали об освобождении его из тюрьмы под залог, за огромную сумму. Заговорили о суде над Горьким. Всех это волновало, тревожила судьба любимого писателя. Покупатели у нас в магазине вели жаркие споры. Постоянно прорывались гневные слова против произвола и давящего все живое режима. Испуганная хозяйка магазина тщетно молила:

— Господа! В магазине прошу не спорить! Господа, прошу вас!

— Мы не позволим гноить Горького в тюрьме! — кричал юный студент.

— Так вас и спросят! — иронизировал желчный господин.

— Пусть попробуют они судить его!

— Нет, суд — хорошо! Горький сумеет оттуда сказать на весь мир нашу правду.

— У него туберкулез. Он не вынесет тюрьмы! — кричала курсистка.

— Прошу прекратить споры! — уже сердито требовала хозяйка. — Я вызову полицию, если не перестанете!

Покупатели уходили. На короткое время во дворялась тишина. Входила новая публика — и опять начиналось:

— Лучшие адвокаты будут защищать его.

— Не знаете, кто?

Перечислялись имена адвокатов, выразивших желание защищать Горького.

— Какую демонстрацию мы устроим в день суда!

Хозяйка снова просит студентов не кричать, и они, отойдя в угол, что-то тихо передают друг другу.

Принося из склада книги, заворачивая, считая, я слушала разговоры посетителей. Сердцем страны, силой страны казался мне Горький.

События 1905 года неслись со страшной быстротой. Началась революция.

Как в сказке, изменились витрины книжных магазинов. Столы завалены революционными брошюрами. Перемены произошли с головокружительной быстротой. То, за что вчера сажали в тюрьму, сегодня открыто продавали. Рабочие, студенты сотнями закупали книги Маркса, Энгельса, Ленина, «Песни революции» и, понятно, Горького.

Теперь в магазине спорили уже представители различных партий. Хозяйка больше не просила прекратить споры. Она даже улыбалась, когда ругали царя и правительство.

Стала выходить первая легальная большевистская газета «Новая жизнь». В ней писал Ленин и Горький. В первый раз люди увидели эти два имени вместе.

Но коротки были «дни свободы». Постепенно от «свободы» не оставалось ничего. Книги конфисковывали одну за другой. «Новую жизнь» закрыли, а Горькому за нее опять грозили судом. Он уехал с женой в Финляндию.

Разнесся слух об отъезде Горького в Америку. Как негодовали рабочие, студенты, узнав о скандале, устроенном Горькому американскими святошами!

Потом слухи о Горьком уже редко долетали до Питера. Иногда кто-нибудь неодобрительно скажет:

— У нас революция, а он путешествует по Америке!

Знавшие, что Горький уехал в Америку по заданию партии, молчали.

Споры в магазине почти прекратились. Люди испуганно затихли, — боялись предательства, измены.

Я перешла работать в издательство «Вперед», принадлежавшее ЦК РСДРП(б).

Здесь много товарищей хорошо знало Горького. Он принимал живое участие в работе изда-

тельства. Руководители нашего издательства несколько раз собирались в Териоках у Горького до его отъезда в Америку. Приехав от Алексея Максимовича, они рассказывали о жизни писателя.

О заграничной жизни Горького мало слышали, но «Прекрасную Францию» читали. Рады были, что Горький сказал правду о займе, данном Францией Николаю II.

Доходили слухи о жизни Горького на Капри. Жить в России становилось все тяжелее. Наше издательство и магазин после бесчисленных обысков в 1907 году полиция закрыла. В этом же году в сборнике «Знание» вышла «Мать» Горького, но она была скоро конфискована. Публика бегала по магазинам, отыскивая «Мать». Счастливицы, прочитавшие повесть, рассказывали ее содержание, восхищались революционной силой нового произведения Горького. Передавали, что по Питеру даже ходили переписанные экземпляры «Матери».

Опять изменился вид книжных витрин. Исчезли революционные брошюры. На их месте лежали солидные книги по естествознанию, философии, сельскому хозяйству, искусству. Беллетристика с оттенком порнографии или мистики не радовала глаз. Иногда, подобно белой вороне, залетали футуристические издания. Книги, даже с намеками на свободу, не пропускала цензура. Старые издания были конфискованы.

В небольшой квартире на Фонтанке в 1913 году открылся книжный склад и издательство «Жизнь и знание». Работа издательства проходила под руководством ЦК РСДРП(б). Во главе его стоял Вл. Дм. Бонч-Бруевич.

Вскоре после открытия «Жизни и знания» я поступила туда на работу.

— Горький возвращается в Россию! — радостно сообщил нам пришедший в магазин товарищ.

— Откуда вы слышали? Наверно, провоцируют! — закричали мы. Таким невероятным казался его приезд.

— Верно, возвращается. Его амнистировали по случаю трехсотлетия дома Романовых.

Всем стало весело.

Но проходили месяцы, а Горький не возвращался. Носились слухи об обострении туберкулеза. Говорили — совсем плох, умирает.

И вдруг узнали. Горький уже в Петербурге.

Трудным путем пробиралось наше издательство. Без денег. Даже вексель в 37 рублей, помню, не могли выкупить. От краха спасла

нява Владимира Дмитриевича. День за днем наше издательство отвоевывало себе право на существование. Несколько раз казалось — не выдержать. Но опять выправлялось и расширялось. Мы уже переехали в Поварской переулок. Здесь «Жизнь и знание» заняло большую квартиру.

Однажды, веселый, торжественный, вошел в склад Владимир Дмитриевич.

— Поздравляю вас, товарищи! Скоро мы будем издавать полное собрание сочинений Горького.

Время шло. Мы выпустили уже «Детство», «Городок Окуров», но писателя так и не видели.

С выходом книг Горького дела издательства пошли лучше. Оно уже занимало две квартиры по десять комнат в Поварском. Работы у нас тоже прибавилось. Часто приходилось оставаться вечером. Я любила одна работать среди книг.

В этот день была большая почта. Я решила вечером разобрать письма. Много было заказов на книги Горького. Заказчики часто писали о своем отношении к писателю и жаловались на трудность получения его книг. Зазвонил внутренний телефон.

— Как хорошо, что вы еще здесь! — услышала я голос Владимира Дмитриевича. — Будьте добры, возьмите вышедшие книги Алексея Максимовича и поднимитесь ко мне!

Я отобрала книги Горького и пошла в верхний этаж. Здесь довольно часто по вечерам заседала редакционная коллегия. Владимир Дмитриевич постоянно вызывал меня для справок.

В кабинете Владимира Дмитриевича было много народу. Спиной к двери, облокотившись на спинку стула, весело что-то рассказывала Мария Ильинична Ульянова.

Темный абажур настольной лампы закрывал лицо собеседника. Доносился только негромкий его смех. Марию Ильиничну я очень любила, и мне хотелось знать, с кем она так оживленно беседует.

— Как вы загляделись на Алексея Максимовича, Ольга Константиновна! Идите, идите, я познакомлю вас с ним! Алексей Максимович, вот кто работает больше всего по распространению ваших книг! — сказал Владимир Дмитриевич, обращаясь к сидевшему за абажуром человеку.

Встреча с Горьким, о которой я так мечтала, произошла неожиданно и просто. Со стула поднялся худой человек. Он протянул мне руку и что-то сказал. От смущения я не разглядела его и не слышала, что он сказал.

— Что, трудно двигать мои книги?

Голос у него был глухой, но ободряющий. Я перестала бояться и восторженно сказала:

— Ваши? Понятно, нетрудно!

— Почему — понятно? — спросил он, улыбаясь.

Я удивилась: неужели он сам-то не знает, как любят его книги? А может, кокетничает?

Выручила меня Мария Ильинична, наблюдавшая за нами.

— Алексей Максимович, вы, видимо, поразили ее своим вопросом. Давайте я вам за нее объясню. За десять лет работы ей приходилось возиться с такими трудными книгами, что работа с вашими для нее удовольствие. Верно я объяснила? — спросила она.

— Алексей Максимович, ваши книги, как коренник, все другие издания за собой тащат.

Они засмеялись. Горький внимательно посмотрел на меня.

— А вы уже десять лет работаете с книгой?

— Почти. С небольшими промежутками.

— Промежутки «по независящим от нас обстоятельствам», — добавила Мария Ильинична.

— И для них бывают «непредвиденные обстоятельства»? — спросил он Марию Ильиничну.

Она кивнула головой. Горький уже с тревогой обратился ко мне:

— Неужели из-за моих книг пострадали вы?

— Нет, что вы! Нас сажают «вообще» за книги в магазине. Хотят отбить охоту служить в таких издательствах.

Меня поразили тревога и сочувствие в его голосе. Марию Ильиничну кто-то позвал, и я осталась одна с Горьким. Он молчал; я не решалась заговорить и хотела уйти.

— Вы в отдаленные, маленькие города России посылаете книги или работаете с крупными центрами?

— Работаем, Алексей Максимович. Пожалуй, в провинцию мы даже больше посылаете книг.

— Это очень хорошо. Я по себе знаю, как трудно достать книгу, особенно в наших трущобах.

— Алексей Максимович, вас интересует, как мы работаем? — спросил подошедший Владимир Дмитриевич.

— Я спросил, куда вы посылаете литературу. — Посмотрите на эту карту, Алексей Максимович!

И Владимир Дмитриевич подвел его к висевшей на стене карте России. С воодушевлением принялся он показывать карту Горькому.

— Флажками мы отмечаем места, куда отправляем книги.

Меня поразило, с каким вниманием Алексей Максимович рассматривал карту. Он радовался, если видел флажок там, где когда-то жил или бывал. Он так увлекся, что хотел посмотреть заказы из этих городов. Его интересовало, кто выписывал книги и нет ли среди них знакомых имен.

— Вы знаете, Алексей Максимович, наше изда-

тельство молодое, а его уже знают. Число заказов растет, и на карте появляются все новые флажки.

— Ольга Константиновна, кого мы сегодня завоевали?

— Из Сибири несколько заказов, с юга России и большой заказ на книги Алексея Максимовича из Канады.

— Из Америки? — удивился он.

— Как же, в Канаде у вас есть горячие поклонники!

— Вот уж не думал! Как вы посылаете туда? Наверно, пересылка дороже книг обходится?

— Нет. Бандеролями по несколько фунтов — это дешево.

— Кто же там выписывает?

— Эмигранты. Их много там, есть даже русский книжный магазин.

Постепенно у карты собралось много народа. Владимир Дмитриевич показывал карту подошедшим, а Горький отошел. Прислонившись к стенке, он курил, внимательно прислушиваясь к разговорам.

Как он смотрел на людей — просто и в то же время глубоко-глубоко!

Мне показалось, что он точно насквозь видит человека.

Уже сорок комнат занимают наше издательство и склад. Приятно проходить из комнаты в комнату: везде стройными рядами стоят белые тесаные полки, доотказа набитые книгами. Каждый день привозят новые книги и еще больше отправляют запакованных тюков по вокзалам и почтам. Число сотрудников значительно увеличилось, это все больше молодежь, веселая и работоспособная. Малограмотные учились на курсах за счет издательства. Жили мы дружным рабочим коллективом. У нас была даже своя форма — голубые халаты и косыночки.

Для солидных издательств мы были «чужие» — без хозяина и без солидной фирмы. Суворины, Вольфы, Сытины охотно не покупали бы у нас книги, да спрос заставлял. Приходилось даже в витринах выставлять, особенно книги Горького.

Одна за другой выходили книги Горького. Начали печатать других авторов. Писатели дружески относились к нам. Мы знали, над чем они работали, помогали им собирать материалы. Покупателям мы рассказывали о выходящих книгах и их авторах. Авторам сообщали отзывы и пожелания читателей. Это был своеобразный конвейер — от автора к читателю.

Горький очень интересовался нашей работой. Перед Новым годом мы пристали к Владимиру Дмитриевичу:

— Разрешите нам устроить вечер!

— Какой вечер? — удивился он.

— Соберемся, поиграем, попляшем. Мы все работаем и совсем не веселимся. Позвольте!

Скоро Владимир Дмитриевич сам увлекся нашей затеей и деятельно помогал в устройстве вечера.

Алексей Максимович и другие писатели охотно согласились быть у нас.

Ну и волновались мы в этот день! Посуды не хватает, — несли из столовой. Булок забыли, — несколько человек летело за покупками. Самое трудное было — переделать рабочие комнаты в гостиные.

Начали собираться гости. Мы поделили обязанности: одни занимались хозяйством, другие занимали гостей. На мою долю досталось последнее. Страшно было чувствовать себя в роли хозяйки. Вышло как-то все само собой. Ко мне подошел пожилой писатель с умными, печальными глазами. Мы сели с ним на диван, я увлеклась разговором и забыла о других гостях.

— В других книжных магазинах условия работы такие же, как у вас? — спросил он меня.

— Нет, там побои, ругань, муштра.

— Среди ваших товарищей есть муштрованные?

— Кажется, только я работала у хозяев.

— Вам тоже доставалось?

— Всего бывало. За людей нас не считали — это, пожалуй, самое тяжелое.

— Какой-то случай из прошлого, видимо, мелькнул перед вами. Вы так задумались!

— Я вспомнила, как меня обвинили в краже перчаток.

— Если не трудно, расскажите!

Тихий, ласковый голос писателя, его печальные глаза всегда заставляли меня уделять ему особое внимание. Он давал мне книги, спрашивал о прочитанном. Просил рассказывать об интересных встречах. Я всегда охотно ему рассказывала.

— В магазине, где я работала, ходила за новинками одна генеральша. Хозяйка считала ее важной покупательницей, уделяла ей исключительное внимание. Однажды, отбирая книги, генеральша сняла свою дорогую шубу и бросила ее на мой стол.

«— Вот эти книги пришлите мне!»

«— Сейчас пришлем», — засуетилась хозяйка, подавая ей шубу.

«— Где мои перчатки? Я их на этот стол положила.

«Все бросились искать.

«— Это вы взяли?» — обратилась генеральша ко мне.

«Я вспыхнула.

«— Стыдно так поступать молодой девушке!»

«До боли закусив губы, молча стояла я. Со-

трудники, испуганные, возмущенные везде искали перчатки.

«— Что это торчит у вас из рукава?»

«— Ах, я и забыла, что положила их в рукав!»

«Она распрощалась с хозяйкой и ушла. Хозяйка, на протесты товарищей, сказала:

«— Что особенного? Всякий может забыть».

«Вскоре снова вошла генеральша.

«— Это вам!» — Она подала мне коробку конфет.

«Я отказалась от них.

«— Подумаешь, какая гордячка!»

«Через несколько минут генеральша вернулась с хозяйкой, которая набросилась на меня. Должно быть, вид мой не говорил о раскаянии. Не докончив наставления, хозяйка поблагодарила генеральшу и от моего имени приняла у нее коробку.

«После их ухода я убежала в склад и там в углу дала волю своему горю и гневу.

«Там и нашла меня Мария Ильинична. Она похвалила меня за выдержку. В магазине была явка ЦК, нельзя, чтобы меня выгнали. Мария Ильинична утешала меня, заплела растрепавшиеся косы, велела умыться и идти в магазин.

«Как я ей была благодарна!»

— Она — сестра Ленина! — произнес кто-то с большим чувством.

Все повернулись на голос. Позади нас, прислонившись к стенке, стоял Горький. Видимо, он давно подошел и не хотел мешать, а может, и самому интересно было. Поздоровавшись, он подошел к нам.

— Я в молодости тоже хотел поступить в книжный магазин, чтоб иметь возможность читать книги.

— Алексей Максимович, вы, должно быть, забыли пословицу: «сапожник — без сапог?»

— Разве мало приходится вам читать?

— В нашем-то издательстве мы читаем и авторов видим и знаем, над чем они работают. В других книжных магазинах требуется наизусть знать автора, название, цену, издание. На содержание книги хозяева не считали нужным тратить время.

— Но читать-то вам все же удавалось?

— Урывками. Больше в конке. При двенадцатичасовом рабочем дне не разойдешься. Мне еще сами книги рассказывали о себе, когда я одна вечером уставляла их на полки. Правда, и внутрь иногда заглядывала и рисунки смотрела.

— Хорошо рассказывали книги? — серьезно спросил Горький.

Все засмеялись. Смех смутил меня, и я замолчала. Алексей Максимович недовольно посмотрел на смеющихся и опять заговорил со мной:

— Книжки у вас воровали в магазине?

— Еще как! Только, знаете, и воровали-то по-разному. Одни — из озорства, другие — с голоду. Воровали и из любви к книге.

— Были и такие?

В вопросе Горького звучал не только интерес, а точно он вспоминал что-то из своей жизни.

— Расскажите о голодных ворах и любителях книг.

— Хорошо. У меня сегодня день такой — все о ворах получается. Однажды я принимала из типографии литературу. Это была брошюра Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

«Я взяла на плечи четыре пачки, пятую не могла поднять и поставила в передней. Прихожу обратно, а пачки нет. Бросилась к двери. Смотрю: по лестнице с моей пачкой спускается плохо одетый парень. Перепрыгивая через несколько ступенек, я бежала за ним. Швейцар стоял у закрытой двери, наблюдая за нами. Парень испугался. Заметался. На пойманного зверя стал походить. Неожиданно для себя я сказала: «Вы перепутали пакеты. Ваш пакет остался в магазине, а это другой. — Швейцар подозрительно посмотрел на меня. — Поднимитесь наверх переменить пакет!»

«Он нерешительно, озираясь, пошел за мной. Быстро из старого картона я свернула пакет.

«— Возьмите это для швейцара! Тогда он поверит вам».

Парень стоял, переминаясь с ноги на ногу. Уходя, тихо сказал: «От голода».

— Книжку выбрал подходящую — против собственности, — сказал кто-то.

Нас позвали пить чай. Занятая делами по хозяйству, я долго не могла освободиться. Придя в гостиную, увидела Горького, разговаривающего с Владимиром Дмитриевичем. Вскоре Горький подошел ко мне.

— Я жду продолжения, — сказал он.

Меня поразила его настойчивость.

— Вы, должно быть, очень любите книги, Алексей Максимович?

— Люблю и цену.

Мы уселись с ним в уголке.

— Теперь слушайте о книжных любителях. В книжный магазин ходят не только покупать, а и посмотреть интересную книгу. Хозяйка энергично боролась с такими покупателями.

— Господин, здесь магазин, а не библиотека, — смешно поджав губы, говорила она.

Покупатель поспешно платил, а если денег не было — уходил.

Я заметила одного посетителя. С первого взгляда он казался прилично одетым. Вглядевшись, вы видели прикрытую нищету, так тщательно было заштопано и подкрашено пальто. Он приходил, когда не было хозяйки. Спросив

Дарвина, «Происхождение видов», весь погрузился в чтение. Он точно на свидание ходил к Дарвину, и я привыкла без требования давать ему книгу. Однажды он пришел странным, задумчивым. Я подала книгу, он не хотел брать, потом порывисто взял и пошел к окну. Меня вызвали в склад. Когда я пришла, не было покупателя, не было и Дарвина.

— Знакомо и это мне, — задумчиво сказал Горький. — Он приходил потом?

— Нет, я его больше не видела.

Горький молча курил. Опять мне показалось, что мои рассказы о книгах разбудили в нем воспоминания о прошлом.

— Вы особенно будьте внимательны в своей работе к запросам одиночек, — сказал он.

— Мы стараемся.

— Так ли? Наверно, гоняетесь за большими заказами, а маленькие, дескать, подождут? — И добавил мягко: — Знаете ли вы, как ищет книгу человек, живущий в глуши один? Она, книга, ему больше хлеба может быть нужна.

Стыдно мне стало. Верно сказал. Большие заказы мы выполняли в первую очередь.

— Даю вам слово, Алексей Максимович, я буду крепко помнить об одиночках.

— Вот это хорошо.

Начались игры. Мне пришлось принять участие в них.

Через несколько дней после нашей вечеринки Горький прислал для нас всех билеты в Мариинку.

Ну и обрадовались мы! Тронуты глубоко были вниманием великого писателя к нам, простым продавцам. Как мы наслаждались оперой! Большинство из нас впервые видело Шалапина, да еще в «Борисе Годунове»!

— Вот Горький знает, что надо показать! Всю жизнь не забуду сегодняшнего вечера, — сказала мне молодая работница.

У нас много бывало писателей, поэтов, художников. Горького мы любили больше всех. Не потому, что он был знаменит, а за его внимательное, человеческое отношение к нам.

Подвели итоги работы издательства за истекший год. Результаты хорошие. Решили отпраздновать.

Приехал Горький. В этот вечер я его почти не видела. Он сидел среди солидной публики, разговоры у них были тоже солидные. У нас что-то не ладилось с хозяйством, и весь вечер прошел в суете. Ужинать сели поздно. Молодежь, весело болтая, заняла отдельный угол стола. Центр стола мы всегда уставляли лучшей посудой, хорошей закуской. Он предназначался почетным гостям. Кончив приготовления, я подседа к своим.

Они требовали скорее пирога. Я их дразнила замечательным пирогом. Неожиданно смех оборвался, и товарищи незаметно делали мне знаки. Каково же было мое удивление, когда рядом с собой я увидела Горького.

— Алексей Максимович, ваше место не здесь. а в центре, среди почетных гостей!

— Мне и здесь хорошо. Разрешите остаться с вами.

— Пожалуйста, пожалуйста! — закричали все. А сами, вижу, посмеиваются: «Попапась» — думают.

Мне хотелось удрать, и я искала предлога улизнуть. Горький все заметил. Был доволен, что влез в наше гнездо и устроил замешательство. Принесли пирог. Горький положил мне большой кусок. Сбежать было нельзя, и я покорно принялась за пирог. Горький шутил с товарищами, а потом дружески заговорил со мной.

— А сейчас вам рассказывают о себе книги? — тихо спросил он.

Думаю — смеется. Нет. В глазах интерес.

— Алексей Максимович, вы вспомнили, как я слышу книги?

— Мне показалось, это возможно. Понятно, при силе воображения, — добавил он.

— Я попрежнему люблю оставаться вечером одна среди книг. Мне кажется, я становлюсь умнее, думаю как-то остро. Знаете, среди книг тишина совсем особенная!

— Согласен. Мне хотелось бы вечером побывать в вашем складе.

— Это просто сделать. Кончится ужин — пойдемте!

— С удовольствием.

— Только вы никому не говорите, а то за нами потащится публика, и тогда тишина пропадет.

— Хорошо. Будем заговорщиками.

Достав ключи, мы незаметно спустились в склад. Зажигая электричество, мы шли из комнаты в комнату. Книг было много. Иногда штабеля новых книг загораживали нам путь. Горький всем интересовался. Спрашивал о технике работы, о способах отправки.

Осветив большую комнату, я сказала:

— Здесь лежат ваши произведения.

С полка, высоких штабелей на нас смотрели объемистые книги с ослепительно белыми обложками. Они точно рапортовали о себе: «Мать», «Жизнь ненужного человека», «Городок Окуров», «Детство», «Матвей Кожемякин», «По Руси».

Горький стоял среди них. Заметно волновался. Он брал книжку, листал что-то, читал, брал другую, лез по лестнице, чтобы достать с верхней полки, и смотрел, смотрел. Точно объясняя мне, сказал:

— Странное впечатление производят свои же мысли, сложенные на полки!

Я всегда относилась к произведениям Горького с почтительным восхищением. Я с изумлением смотрела на книги и на живого Горького, такого простого и человеческого. В первый раз я соединила их в одно существо. И существо это мне казалось прекрасным.

Молча шли мы по складу дальше. Каждый думал о своем.

В последней комнате я остановилась, указав Горькому на красивую анфиладу комнат, заполненных книгами.

— Теперь я вас оставлю одного. Так вы лучше почувствуете книжную тишину и поймете, о чем я говорю.

— Хорошо, — задумчиво сказал он.

— Меня вы найдете в первой комнате.

Горький довольно долго оставался один. Пришел сосредоточенный, но довольный.

— Хорошо ли вам рассказывали книги?

— Я понимаю вас. Я вам очень благодарен. Здесь воздух полон больших человеческих мыслей.

Мне было приятно, что Горький не смеялся. а сам почувствовал «книжный воздух». Мне хотелось поговорить с Алексеем Максимовичем о книгах. Но нас хватились наверху. Пришлось уходить.

В 1915 году мы решили устроить книжную елку. Молодежь всегда находит предлоги поселиться. Быстро прибрали рабочие комнаты. Зажарили гуся. Купили большую елку и вместо украшений повесили на разноцветных ленточках книги нашего издательства. Правда, с верхних веток солидные книги падали или сгибали их. Мы их укрепили на нижних ветках, а наверх повесили пеструю народную библиотечку. Разноцветные ленты, свечи сделали елку нарядной и красивой. Авторам понравилась наша затея. Они с удовольствием отыскивали свои вещи.

Меня товарищи отправили встретить Горького и задержать его, пока окончат все приготовления. К Алексею Максимовичу я уже привыкла и с радостью встретила его в гостиной. Заговорили о вышедших книгах. Я предложила ему пойти в склад, посмотреть последние новинки. Он согласился, и мы пошли во второй этаж.

За нами увязался один поэт. Он обычно издевался над всем новым. И больше всего, кажется, любил свои произведения. Вещи его не были оригинальны.

Горький просматривал новинки. Я подсовывала ему самые интересные. Поэт, пришедший с нами, вытащил книгу Маяковского и, держа ее за кончик, презрительно сказал:

— «Облако в штанах»! Чорт знает, какое звание выдумал!

С Маяковским я была знакома. Он поражал меня своей огромной силой и смелостью. Ему было и двадцати лет, а как он умел защищать свое! Я видела его на митингах, в спорах, в дружеской беседе. Везде он был оригинален, смел, горд, и трусам здорово от него попадало. «При Маяковском, — подумала я, — такой поэт не решился бы на критику, а, наверно, похвалил бы».

— Знакомы вы, Алексей Максимович, с этой футуристической штукой?

Презрительный жест, издевательский тон взорвали меня. Горький же спокойно взял книгу и сказал:

— Я читал ее. Книга интересная.

Скисло лицо поэта.

— Маяковский, — продолжал Алексей Максимович, — еще очень молодой. В нем много лихачества, задора, но много и наблюдательности, любви к жизни и несомненной талантливости. Мне кажется, он скоро заставит о себе говорить.

Поэт что-то промямлил, не решаясь опровергать мнение Горького. Я была счастлива: выпад поэта против Маяковского не удался.

Как легко бьют молодое маленькие людишки, и как бережно относятся к талантливым настоящим люди жизни! Алексей Максимович тогда уже видел в Маяковском большого поэта.

Однажды, приехав к нам, Алексей Максимович спросил про работу.

У меня настроение было кислое и какое-то безрадостное. Я вяло ответила и не старалась поддерживать разговор. Он тоже замолчал. И вдруг меня точно прорвало:

— Мне так надоела эта работа! Убежать хочется. Есть большие, настоящие дела, а мы, как муравьи, здесь копаемся!

— Вы думаете, ваша работа не нужна жизни?

— Может, и нужна, но мне хочется чего-то большего.

— Напрасно вы так недооцениваете свою работу. Вы делаете настоящее дело. Вы несете в жизнь знание — передовую, боевую книгу.

Он говорил резко. Глаза смотрели требовательно, сурово. Видимо, разговор ему был неприятен. Он отошел от меня и больше не подходил весь вечер.

Слова — даже не слова, а суровый тон Горького — заставили меня здорово задуматься. Казалось, мой порыв, жажда больших дел заинтересуют Горького. А он рассердился! Работая долго в одном деле, привыкаешь к нему. Кажется все просто и обычно. Так было и со мной. Работая постоянно под огнем, я привыкла

к обыскам, арестам, тюрьмам. Горький увидал «большое дело» в работе, которую я считала маленькой, обычной.

Я с новыми силами принялась за отправку книг по огромной бескнижной Руси.

В одну из следующих встреч я рассказала Алексею Максимовичу, как он спустил тогда меня с небес на землю. Он запротестовал:

— Я просто высказал свое мнение о вашей работе. Нет маленьких дел. Надо уметь полюбить — тогда всякая работа делается большой и нужной.

— Так я и доняла и думаю, что вы правы.

Шел 1917 год. Время начиналось боевое. Февральская революция вызвала огромный спрос на книги. Политической литературы нет. Царское правительство постаралось все уничтожить свое- временно. Широкой волной двинулись книги Горького.

Октябрьская революция. Наше издательство переименовано в «Коммунист» и принадлежит ЦК партии большевиков. Начали выходить книги В. И. Ленина. Требование на них громадное. Мы день, а иногда и ночь запаковываем, отправляем по всей стране большевистскую литературу. Работа живая, ответственная.

За напряженной работой не замечаешь времени. События напоминают о нем. Фронт подошел к Пскову. Правительство переехало в Москву. Наше издательство тоже.

Я глубоко любила Петроград. От переезда в Москву отказалась. Меня оставили во главе Петроградского отделения «Коммуниста».

От этого периода у меня осталось впечатление сплошной работы. Литературы требовалось масса, особенно фронтам. Красноармейцы, краснофлотцы вагонами увозили книги. Горького любили и охотно отбирали для фронта.

И книги Горького шли на фронт, в окопы, на боевые корабли. Там они вдохновляли бойцов, звали на бой и несли силу и волю к победе.

Запасы наших складов не могли удовлетворить требования на книги. Объявлена была национализация издательств и книготорговых складов и магазинов. Книги, служившие источником жизни отдельных людей, стали собственностью государства. Всюду открывались новые библиотеки, пополнялись старые. Организованы дома отдыха — лучшие книги направлены туда. С какой радостью отдыхающие набросились на книги! И больше всего требовали Горького.

Тяжелые годы переживала страна, особенно Питер. Надо было скорее победить разруху, залечить раны, нанесенные войной. Горький много работал по организации помощи ученым. С болью узнали мы о резком, опасном ухудшении его болезни.

Все отлично понимали, что при бурном потоке нашей жизни Горького не вылечить. Он будет включаться в жизнь, пренебрегая режимом и запретами докторов. Трогательно-внимательная забота Ленина о людях спасла Горького. По настоянию Владимира Ильича его отправили лечиться в Италию.

С каждым годом росла, крепла Страна Советов. 1928 год. Горький приехал в СССР. Его возвращению обрадовались, как в семье радуются возвращению любимого сына.

Всем хотелось показать Горькому, как много сделано, как выросла страна, какие в ней замечательные люди, как глубоко в народ пошло искусство.

Мне тоже хотелось рассказать Горькому, как за это время изменилась книжная работа. Кооперация деятельно помогала Госиздату и другим издательствам продвигать книги. В районах и больших селах она открыла книжные магазины, по деревням организовала книжные полки, разъезжали фургоны, по домам шли книгоноши. Горький, наверно, был бы доволен. Теперь любителям чтения не надо воровать книги. Вся страна охвачена библиотеками. Все бесплатно, свободно могут и должны читать.

Горький ехал по стране. Город за городом открывали ему свои объятия. Рассказывали о борьбе, показывали великую стройку, с гордостью говорили о победе на фронтах культуры и искусства.

Горького захватила сила роста, буйный шум молодых побегов нашей страны. Он забыл о болезни. Почувствовал молодость, жизнь и крылья.

В боевом строю шагал он в ногу с героической партией, со всей страной.

И когда против нашей страны начинали выть шакалы, спокойно, но грозно звучал голос Горького: «Если враг не сдастся — его уничтожат».

Горького горячо любила наша страна, любил пролетариат всего мира и яростно ненавидели враги коммунизма.

Они метко целили, они хорошо знали, какое сердце заставили остановиться.

Горького больше нет.

Книги, созданные им, шагают по жизни, зовут на битву за коммунизм.

В мире мощно звучит голос Горького.

ГОРЬКИЙ В НИЖНЕМ

I

Осенью 1892 года Максим Горький поселился в Нижнем.

Тогдашний Нижний не походил на нынешний город Горький.

Это была громадная деревня, обширное захолустье. От уездных городов отличался Нижний только размерами. Людей на улицах попадалось так мало, что летом, в июле, можно было обойти весь город и не встретить ни души.

В этом году на ярмарке и в городе свирепствовала холера. К сентябрю эпидемия почти кончилась. По улицам разъезжал верхом на свинье знаменитый клоун Анатолий Дуров, отпущая остроты и прибаутки для ободрения обывателей.

Нижний — в полном смысле обывательский город.

Губернатор Баранов, невысокий сухощавый генерал, известен своей неукротимой энергией. Административная деятельность его не подлежит обсуждению. Зато всем обывателям известно, что губернаторский экипаж ежедневно, в два часа пополудни, можно видеть у подъезда дома Киришаума, где позже будет жить Горький. Здесь губернатор завтракает и отдыхает.

Дряхлый полицеймейстер Каргер, за долгие годы службы дождавшийся генеральского чина и звезды, объезжая по привычке город, откровенно дремлет в своей коляске.

Кто в Нижнем не знает старообрядца-миллионера Бугрова, кряжистого бородача в картузе и чуйке? Его не отличишь от мелкого лабазника. Между тем Бугров перед министрами не робел, разговаривая с Витте, учил его уму-разуму, как мальчишку, наставительно приговаривая: «Ты, ваше превосходительство...» А с Горьким Бугров держит себя на равной ноге: Горький для него «свой брат», талантливый русский самородок.

Возвращаясь из гимназии, я постоянно встречаю тщедушного седенького старичка с трясущейся головой и розовыми щеками. Старичок походит на живого мертвеца. Это отставной чиновник Васильев; его сын был учителем и другом молодого Горького.

Эти давно забытые нижегородцы так или иначе связаны с Горьким. Сам он тотчас по приезде в Нижний навещает беллетриста Петропавловского-Каронина, заводит знакомства.

И все же Горького пока не видно и не слышно. Для большинства сограждан он — неизвестная величина.

II

Впервые услышал я о Горьком летом 1895 года. Двоюродный брат мой, только что окончивший гимназию, принес мне свежую книжку «Русского богатства»:

— Прочти «Челкаша»! Замечательная штука.

Странное чувство испытывал я, читая рассказ Горького. Не любопытство, не волнение, а смутное беспокойство вызвал во мне этот невинный, казалось бы, рассказ. Мне вдруг представилось, что окружающий мир непрочен, что какие-то роковые силы готовы вот-вот опрокинуть и сокрушить наш безмятежный уют, что силы эти близко и что от них не уйти. И в голову стучалась неотвязчивая мысль: а что если, кроме обывательской возможна иная жизнь?

Разумеется, испытывал это не я один.

Особенным кружком держались в Нижнем светлые личности. Говорю без иронии: этот двусмысленный титул принимался тогда вполне серьезно. Совсем иначе звучит он теперь, в едких словах чеховского дяди Вани: светлая личность, от которой никому не было светло.

Несколько врачей, два-три адвоката, один нотариус — вот и все светлые личности Нижнего в те отдаленные времена.

Авторитета в обществе они не имели, как не имел его и их предшественник и земляк П. Д. Боборыкин.

«Русские ведомости» да предания шестидесятих годов составляли весь их умственный капитал. В сущности, это были те же обыватели. От чиновников светлые личности отличались лишь тем, что не носили вицмундиров и фуражек с кокардами, но вкусы и занятия у них были общие: та же закуска, тот же винт, те же сплетни.

Кое-кто из наших светлых личностей удостоился особого внимания современников:

Боги были строги
И решили так:
Барсову Сергею
Кличку дать «дурак».

Эту эпиграмму приписывают Горькому, но вернее думать, что автор ее — присяжный поверенный Яворовский.

Горький в кружке светлых личностей не был, и они его не любили.

III

Ежегодно эти вечера устраивают на святках в зале гостиницы «Россия» нижегородцы-студенты, московские, петербургские, казанские. Сбор поступает в пользу бедных товарищей.

Успеху содействуют местные артистические силы: актеры городского театра, доморожденные певцы и декламаторы, гуслиар-любитель. Вечер кончается русской пляской и пением «Гаудеамус».

На одном из таких вечеров распорядитель, талантливый местный адвокат А. В. Яворовский, прочел с эстрады «Песню о Соколе».

Был январь 1899 года. Поэма Горького считалась еще новинкой.

Публика дружно рукоплескала. Горького в зале не было.

Через год опять состоялся студенческий вечер. На этот раз выступил Горький, и тут мне впервые пришлось его увидеть.

Читал он ту же «Песню о Соколе».

Тридцатилетний Горький казался старше. С нездоровым, бледным лицом, в скромном пиджаке поверх темно-синей косоворотки, он имел вид обыкновенного рабочего, по тогдашней терминологии — «мастерового». В этом у него есть нечто общее с Чеховым: автор «Вишневого сада» тоже совсем не похож был на «профессионального» писателя.

Выдающимся чтецом Горький не был, но в глуховатых нотах его монотонного, низкого голоса чувствовалась непреодолимая сила. Пробивалась она и в угрожающих жестах вдохновенно приподнятой руки.

Теперь я знаю Горького в лицо.

Нет-нет да и промелькнет он где-нибудь на улице, в мягкой шляпе и накидке морского покроя. Раз встретил я его близ почты: он нес объемистую пачку писем «До востребования» и с жадностью рассматривал адреса на конвертах, отыскивая, должно быть, чей-нибудь знакомый почерк. Как-то я увидел его в театре, на дневном представлении «Коварства и любви»; в антракте показалось мне, будто Горький взволнован. Однажды мы встретились на Тихоновской улице: у Горького подмышкой большая картина в раме; он пристально смотрит на меня.

И не один только Горький виден на улицах Нижнего: то и дело попадаются его герои или лица, напоминающие о них. Вот И. Г. Чернов, сын Гордея Чернова, прототипа Фомы Гордеева, высокий, плотный, с черными усами, с крупным изумрудом на мизинце. Богатый купец-мукомол Яков Башкиров невольно приводит на память старика Маякина, помещик Званцев — однофамильца из той же повести.

В летнем саду на ярмарке два куплетиста, одетые босяками, поют, нахально кривляясь и скаля зубы:

Благодарны в эту зиму
Все мы Горькому Максиму!

Горький присутствует тут же. Вся публика с жадным любопытством следит за ним. Угрюмо слушает Горький кабацкие куплеты и, не дождавшись, уходит.

IV

Ровно сорок лет назад в одной из нижегородских газет появилось мое первое печатное стихотворение «Иоанн Грозный». Я уже был в седьмом классе. По желанию директора гимназии стихи были прочитаны мной на ученическом вечере.

Бывший в числе слушателей Горький пожелал со мной познакомиться. Не помню, кто подвел меня к нему, чуть ли не общий наш земляк И. С. Рукавишников, розовый юноша с рыжей американской бородкой, позже известный поэт.

Пожав мне руку, Горький промолвил несколько одобрительных слов. На мой вопрос, как нравится ему стихотворение, он ответил:

— Я, знаете ли, неважный критик. Но если хотите, пришлю вам письменный отзыв.

Я был уверен, что Горький забудет о своем обещании. Однако через несколько дней пришло по почте письмо:

«Борис Александрович! Ваше стихотворение я показывал различным людям. Все одобряют форму, но никак не содержание. Техникой стиха Вы владеете. Возьмем начало:

Окончен пир. За слободою
Погасла майская заря,
И все объято тишиною
В палатах Грозного — царя.
Спокойно дремлет сад тенистый,
Широкий пруд заснул давно,
И только месяц серебристый
В резное смотрится окно.
Да соловей, не умолкая,
В саду рокошет и поет,
А звезды сыплются, мигая,
И месяц медленно плывет.

«Хорошие стихи, но только потому, что они описывают природу».

Но самый образ царя Горький разобрал:

«Все это звучит фальшиво,—писал он.— У вас тут учебник истории перемешался с балладами Алексея Толстого. Вы не отметили тот факт, что Грозный был великий государственный человек, истреблявший боярство с политической а вовсе не с личной целью. Никогда он не калялся так слезливо,— и в этом его сила, а не слабость,— как выходит у Вас».

В заключение Горький писал:

«Конец хорош. Мне кажется, что Ваше стихотворение испорчено примесью исторической тенденции. Но природный талант у Вас есть, и Вам следует теперь развивать его, запастись опытом и знанием. Не обижайтесь! *А. Пешков*».

V

Над квартирой Горького в доме Киришабаума есть еще квартира; ее занимает знакомое мне семейство, где я нередко бываю.

Зимой 1901 года, возвращаясь от знакомых, случайно столкнулся я с Горьким у самых дверей его квартиры и был приглашен зайти.

И вот я в кабинете у Горького. Непродолжительная наша беседа записана в моем дневнике. Прежде всего Горький пожелал узнать, кто мой любимый писатель. Услышав имя Пушкина, он оживился.

— Знаете, что больше всего я люблю у него? «Сцены из рыцарских времен». Несколько страничек всего, а какая глубина в них, какая сила и цельность! Быт средних веков Пушкин изобразил как первоклассный мастер. В самом деле, возьмите всех этих рыцарей с их убогим высокомерием, с односторонними правилами сословной чести, этого крепкоголобого мещанина, для которого выше денег нет ничего на свете. А пре-

зрение к науке? Разве вы не слышите, как гатнет дымом инквизиционных костров?»

Чуть ли не третий год подряд на страницах «Мира искусства» выпрыдывал тогда Мережковский свою бесконечную паутину о Достоевском и Толстом. Упомянув о ней, Горький заметил:

— Понятие «мистицизм» очень удобно для лиц, не умеющих разбираться в смысле литературных и общественных явлений. Но как сопоставить мнимый мистицизм Достоевского с его беспощадным, чисто реальным анализом?

На прощание Горький предостерег меня:

— Не увлекайтесь через меру стариной и историческими темами. Жизнь создают не археологические раскопки и не ветхие фолианты, а сила солнца и энергии человека. Не будьте Шлиманом, будьте Колумбом!

Лицо Горького всегда поражало меня разнообразием и частой сменой выражений. Сейчас волжанин, через минуту украинец. То прямодушная откровенность, то наивное лукавство. И просветленный, и мрачный, и здоровый, и больной. Это удивительное несходство одного и того же лица особенно ярко проступает на портретах Горького.

VI

В первых числах ноября 1901 года в зале Коммерческого клуба состоялся вечер, кажется, «в пользу недостаточных студентов».

В концерте приняли участие лучшие актеры городской труппы: М. М. Петица, Д. Я. Грузинский и сам директор театра К. Н. Незлобин. Исполнение было превосходное; публика с жаром принимала талантливых артистов.

Но по тому, как волновались зрители, особенно из молодых, нетрудно было заметить, что готовится нечто небывалое.

И вот на эстраду быстро поднимается актер Белгородский, он читает «Буревестника».

Выразительное чтение прерывают взрывы рукоплесканий, раздражается бурная овация.

Все требуют автора.

Долго не показывается Горький. Наконец в дверях «артистической комнаты» появляется характерная коренастая фигура в темной блузе и русских сапогах.

Приостановясь на пороге, Горький с недовольным видом поклонился и тотчас исчез.

Сколько событий и перемен произошло к тому времени, как Горький вернулся в Нижний!

Новый губернатор, Унтербергер, суровый и пунктуальный немец, зорко следит за Горьким, сооб-

щает о нем в Петербург, заставляет его жить в Арзамасе.

Полицеймейстер Яковлев, седой гигант с пушистыми бакенбардами, уволен без пенсии в отставку за то, что допустил демонстрацию на вокзале при отъезде Горького в Москву.

Жандармский генерал Шеманин, румяный, обходительный старик, при встречах с Горьким в театре или клубе добродушно смеется, протягивая издали обе руки, но не дает ни одной, а, ласково улыбаясь, отечески обнимает всемирно-известного писателя. Шеманину невозможно поступить иначе: а вдруг Максим Горький возьмет да и не примет протянутой ему при всех генеральской руки?

Вот едет на извозчике по Большой Покровке прокурор окружного суда Утин, костлявый, похожий на ростовщика: это он недавно посадил Горького в тюрьму.

По тротуару робко крадется невзрачная фигурка с курчавой рыжей шевелюрой; «Рыжий Пушкин» — так прозвали гимназисты учителя истории Колачевского за сходство с поэтом. Вздумал было бедный педагог познакомить шестиклассников с рассказами Горького и получил за это от попечителя жесточайшую нахлобучку.

И всех их я вижу, как живых...

Как много значил Горький для Нижнего!

И вот теперь Нижний носит имя Горького.

Е. Муратова

НОВЫЕ ЦЕНЗУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О М. ГОРЬКОМ

Имя Горького, быстро ставшее знаменем революционного искусства, обратило на себя внимание царской цензуры при первом же появлении на страницах ежемесячных журналов. Одни из рассказов Горького появлялись в печати в урезанном виде («Коновалов»), другие вызвали пространные донесения цензоров в Главное управление по делам печати с требованиями изъятия подобных рассказов из журналов. К таким донесениям-отзывам относятся публикуемые ниже документы об участии Горького в журналах «Русская мысль» и «Северный вестник». Говоря о «вредном» воздействии Горького на читателя, цензура настороженно относилась и к критике, истолковывающей творчество писателя. Позиция, занятая журналами по отношению к Горькому, влияла на общее отношение цензуры к этим органам.

Либеральный журнал «Русская мысль», привлекая в 90-е годы в состав своих сотрудников лучшие силы (А. Чехов, В. Короленко, Д. Мамин-Сибиряк и др.), опубликовал в октябрьском номере 1897 года «Супруги Орловы» Горького. Появление рассказа вызвало специальное донесение цензора Сергея Соловьева председателю Московского цензурного комитета.

«В первой половине октябрьской книжки «Русской мысли», — писал цензор, — в цензурном отношении по тенденциозности обращают на себя внимание две статьи: «Супруги Орловы (Набросок)» М. Горького и повесть Екатерины Летковой «Мертвая зыбь».

«В наброске Горького нарисована картина жизненных условий и семейных отношений проживающего по нашим городам ремесленного сословия. Жизненная обстановка этого сословия автором рисуется слишком мрачными красками. Работая без усталости, наши мастеровые очень хорошо понимают, что они никак не могут улуч-

шить своего положения и невольно поэтому приходят к мысли, что «жизнь» их — «яма» (стр. 12), что им незачем было даже и родиться на свет (стр. 9) и что только одно для них осталось — это пить и драться (стр. 1—3, 12). Супруги между ними, даже по душе добрые, не столько любовно относятся к друг к другу, сколько тягостятся один другим. И все это происходит оттого, что «при отсутствии внешних впечатлений и одухотворяющих жизнь интересов муж и жена даже и тогда, когда это люди высокой культуры духа, — говорит автор, — роковым образом должны опротиветь друг другу» (стр. 8). Правда, и при таких условиях они живут совместно, но такая жизнь для них есть пытка, в особенности если они при этом сознательно относятся ко всему их окружающему. Г. Горький рассказывает про двух таких супругов — Орловых, хороших мастеров-сапожников, проживающих в браке три-четыре года, Григория и Матрену. До женитьбы Григорий был «весельчак», занятый и добрый, а после женитьбы стал «сущим зверем» (стр. 9). Зверем же он стал потому, что сознавал, что у него ничего нет (стр. 11). Сам по себе он был умный и добрый человек, готовый даже на самопожертвование в пользу ближнего. Но его всегда убивало и вынуждало пьянствовать и безобразничать сознание, что на него «ни один чорт плюнуть не хочет» (стр. 24), что он «неровен другим», «неровня», и что жизнь его хуже холерной судороги (стр. 41). От пьянства и безобразий его на время отвлекла холера. Побывав случайно в больничном бараке, он увидел там человеческое отношение к страждущим со стороны докторов. Это сразу отрезвило его и побудило идти на помощь этим добрым людям. Он поэтому вместе с женою бросил свое ремесло с грязной квартирой в подвале и поступил на больничную службу, причем сразу перестал пить и своим

усердием к делу обратил на себя особое внимание начальства. Больничная служба настолько ему понравилась и настолько его обеспечила, что он решил даже во что бы ни стало отличиться на ней и высказал жене сожаление, что у него нет детей. Но это-то сожаление и разрушило все его благополучие. Матрена, ранее безропотно переносившая от него побои, никак не могла снести укора, что она бесплодна по своей вине, а не от его побоев, и разошлась с ним. Этого последнего обстоятельства Григорий никак не мог перенести и из человека хорошего стал босяком. Помимо Орловых Горький рисует в своем наброске и жизненную обстановку проживавших с ними в одном доме других бедняков и главным образом маляров. Оказывается, что жизнь и этих тружеников, в сущности, ничем не отличается от жизни Орловых. Отсутствие духовной удовлетворенности и их побуждает или в «банку ходит», или в «кабак» отправляться (стр. 3). Подростки же из них еще с детства «впитывают в себя грязь окружающей жизни» и привыкают или воровать (стр. 43), или забавляться, а не возмущаться человеческими безобразиями (стр. 1—6).

«Я потому особенно обращаю внимание вашего превосходительства на набросок Горького, что редакция «Русской мысли» рекламирует этого автора как последовательного «летописца обескураженных», или, вернее, босяков. Прежде чем напечатать этот набросок, редакция сочла долгом выставить автора его, г. Горького, в «библиографическом отделе» сентябрьской книжки за текущий год не только за писателя особенно талантливого, но и высоко честного, т. е., другими словами, особенно приятного ей.¹ Она даже поставила его много выше любимых ею народников-литераторов: Левитова, Успенского и Каронина, так как Горький — «пессимист» и так как пессимизм его не книжный, а «прямо жизненный пессимизм отчаяния, пессимизм людей, которым в пределах существующей общественной организации нет места» (см. сентябрьскую книжку «Русской мысли», библиографический отдел, стр. 425—432).

«Это пессимист «пятого сословия», которое, по мнению «Русской мысли», составляет «продукт зарождающегося нового общественного строя», продукт разложения деревни, т. е. «безработные люди, раклы, коты, босяки», вообще обескураженные (стр. 427, там же), которых будто у нас теперь слишком много и которые якобы не имеют других прав и преимуществ, кроме права «печально умирать с голода и холода», но не имеют и обязанностей (стр. 429). Обескураженный не

¹ В сентябрьской книге «Русской Мысли» была опубликована анонимная рецензия об «Озорнике» М. Горького.

есть даже и рабочий, это только кандидат в рабочие (стр. 431)» (Центр. гос. архив внутр. политики, культуры и быта. Фонд Главного управления по делам печати, I отд., № 76, 1878, л. 41—42).

В 1898 году, говоря о пристрастном отношении редакции «Русской мысли» к «сочинениям с либеральным оттенком», цензура отмечала, что в январской книге журнала «Горький — писатель босяков — признается сильным и оригинальным дарованием», в то время как «роман г. Салиаса «Экзотика» признается плохим произведением нашей литературы». Неодобрение вызвал в том же году и критический отзыв о «Вареньке Олесовой».

В феврале 1902 года Московский цензурный комитет, сообщая в Главное управление по делам печати о неблагонадежном направлении «Русской мысли», обращал особое внимание цензоров на «весьма тенденциозную рецензию рассказов М. Горького», помещенную в «библиографическом отделе» журнала. Мнение цензурного комитета было признано основательным, и анонимная рецензия (текст которой сохранился в цензурных делах) была, по распоряжению начальника Главного управления по делам печати, удалена из журнала.

Приводим выдержку из этой рецензии:

«Пятый том сочинений Горького, кроме полутора страничек «Песни о буреветнике», весь занят повестью «Трое». Большинству читателей она, без сомнения, известна; ее с волнующим интересом читали, когда она появилась в «Жизни», где ей суждено было дойти до конца; а теперь, в отдельной книге, она снова обратила на себя напряженное внимание. Эпопея бедности и горя, написанная порою в высшей степени колоритно и ярко, богатая красивыми деталями и оригинальностью положений, она вся проникнута духом протеста и имеет серьезное общественное значение и смысл. Главный жизненный нерв, проходящий через ее страницы, — это мучительное недоумение, которое во всякой искренней и чуткой душе рождается при зрелище несправедливой действительности. Автор как бы хотел сосредоточить в своей книге все тревожные думы наших дней и воплотить их в ясные образы — в образы людей, которые на себе испытали всю тяжесть и горькую обиду современного жизненного уклада. Герои «Троих» испили полную чашу бедности и унижений; но в то время как большинство покорно сгибается под ярмом нищеты и бесправия, они своею мыслью и чувством, — а один из них, Лунев, даже и делом, — встают и за себя, и за других против этой жестокой участи, не хотят ее, не примиряются с нею — и гибнут в неравной борьбе, сломленные и чужой силой, и собственной слабостью, подавлен-

ные дерзновением собственного подвига. Трагизм их судьбы выступает на фоне общей корысти и злобы, которые цепко охватывают все живущее и сутолокой шумной городской улицы, дрянной музыкой трактира заглушают чужие стоны, чужую боль. А этот город со своими учреждениями покровительствует сильным и довольным, и не у кого искать помощи; бедную девушку Веру судит за кражу Петруха, который грабил умирающего, который убивает родного сына, который пьет кровь у тех, кто пьет у него водку... И нет исхода, и остается только разбить свою голову о «холодную, серую каменную стену».

Не менее придирчиво отнеслась цензура и к рассказам Горького, появившимся на страницах «Северного вестника». Этот журнал, редактировавшийся в 90-х годах Л. Гуревич и А. Волынским, вызывал постоянные нападки цензоров. «Вредное направление» журнала, по мнению цензуры, было выражено прежде всего в стремлении подорвать основы семейного быта и религии. Под этим углом зрения расценивался в основном весь материал «Северного вестника». Участие в журнале писателей-символистов (Д. Мережковского, Н. Минского, К. Бальмонта, Ф. Сологуба) расценивалось цензурой как не уклужее прикрытие редакцией ее основных тенденций».

12 декабря 1897 года член Цензурного совета Вакар отправил начальнику Главного управления по делам печати специальное донесение о журнале.

«В дополнение к заявлению моему от 27-го прошлого ноября за № 25, — писал цензор, — считаю долгом довести до сведения г. председательствующего совета, что и в новой, 12-й книжке журнала «Северный вестник» за декабрь с. г. высказывается то же вредное направление, о котором я изложил в последнем моем заявлении о 3-х предпоследних номерах этого издания, за №№ 9, 10, 11. Так, в № 12 помещены окончания замеченных в безразличном направлении: романа «Красная лилия» (переводный с французского) А. Франса и рассказа сочинения М. Горького под названием «Мальва». Оба стремятся изобразить в самых ярких красках разврат, царящий в семейном быту, роман — в высшем парижском свете, а рассказ — в быту русских простолюдинов-рыбаков» (Центр гос. архив внутр. политики, культуры и быта. Фонд Главного управления по делам печати, № 72, 1884, л. 245).

Особое возмущение цензуры вызвало появление в журнале рассказа «Варенька Олесова», расцененного как антирелигиозный рассказ, в котором к тому же было усмотрено стрем-

ление к «оскорбительным насмешкам над целыми сословиями».

18 марта 1898 года цензор Вакар доносит Главному управлению по делам печати:

«В дополнение к моим неоднократным заявлениям о предосудительных статьях и местах, печатаемых в «Северном вестнике», долгом считаю представить, что и в настоящей, мартовской книжке этого журнала за № 3 появились перед публикой рассуждения и выходки, недопускаемые действующими цензурными постановлениями и свидетельствующие о продолжающемся вредном направлении этого периодического журнала.

«В подтверждение этого приведу краткие указания на места и статьи в последовательном порядке.

«В отделе первом, в рассказе М. Горького под названием «Варенька Олесова» автор влагает в уста своей героини, Вареньки, следующую тираду: «Я не люблю читать о мужиках: что может быть интересного в их жизни? Я знаю их, живу с ними и вижу, что о них пишут неверно, неправду; они такими жалкими описываются, а они просто подлые и их совсем не за что жалеть. Они только одного и хотят — надуть вас, украсть у вас что-нибудь. Клянчат всегда, ноют, гадкие, грязные... Как они мучают меня иногда, если бы вы знали! Противные до того, что я так бы всех их и прогнала куда-нибудь».

«Эта горячая выходка дворянки-землеладелицы напечатана в нарушение ст. 96 Устава о цензуре и печати, не допускающей к печати статей:

«§ 2., в которых заключаются оскорбительные насмешки над целыми сословиями» (Д. № 72, 1884, л. 272).

18 апреля последовало следующее заявление:

«В дополнение к многократным заявлениям моим о статьях «Северного вестника», свидетельствующих о вредном направлении этого журнала, долгом считаю представить, что в последней апрельской книжке «Северного вестника» проявляется то же самое направление.

«В подтверждение этого приведу указания на некоторые выдающиеся своею тенденциозностью статьи и места. Начну с отдела первого, в котором первое место занимает рассказ М. Горького, озаглавленный «Варенька Олесова».

«В этом рассказе автор влагает в уста одной из своих героинь, Елизаветы Сергеевны, следующую сентенцию: «—Позвольте мне слово! Я знаю одно изречение какого-то мудреца и оно гласит: «Не правы те, которые говорят — вот истина, но не правы и те, которые

возражают им — это ложь, а прав только Саваоф и только Сатана, в существование которых я не верю, но которые где-нибудь должны быть, ибо это они устроили жизнь такой двойственной, и это она создала их. Вы не понимаете! А ведь я говорю тем же человеческим языком, что и вы. Но всю мудрость веков я сжимаю в одну фразу, чтобы вы видели ничтожество вашей мудрости» (стр. 8). Далее (на стр. 28) автор заставляет главную героиню своего рассказа, Варвару Васильевну (Олесову), говорить следующее: «Когда я гуляю в лесу, мне почему-то всегда думается о боге... вокруг его престола должно быть

так же жутко... Ангелы не славословят его, это неправда! Зачем ему слава? Разве он сам не знает, как он велик?» Далее на той же странице собеседник героини, Ипполит Сергеевич (Полканов), не верующий в бога, на вопрос Вареньки: «Откуда же все явилось?», заговорил о происхождении мира так, как он понимал его: «Могучие, неведомые силы вечного движущиеся, сталкиваются, и великое движение их рождает видимый нами мир, в котором жизни мысли и былинки подчинены одним и тем же законам. Это движение не имело начала — и не будет иметь конца» (Д. № 72, 1884, т. 287).

Г. Ф. Лано

А. М. ГОРЬКИЙ В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ В 1905 ГОДУ

Как известно, в ночь на 11 января 1905 года Горький был арестован в Риге и затем отправлен в Петербург и заключен в камеру № 39 Трубецкого бастиона Петропавловской крепости.

В Центральном государственном архиве внутренней политики, культуры и быта в архивных материалах Петропавловской крепости имеются документы об А. М. Горьком, относящиеся ко времени заключения его в Трубецком бастионе (с 12 января по 12 февраля 1905 года).

Публикуемые ниже документы дополняют имеющиеся в литературе данные о пребывании А. М. Горького в Петропавловской крепости.

ОТНОШЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ КОМЕНДАНТУ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ, 10 ЯНВАРЯ 1905 ГОДА

Совершенно секретно.

Департамент полиции имеет честь покорнейше просить Ваше высокопревосходительство сделать распоряжение о принятии, для содержания во вверенной Вам крепости, арестованного 10 января по обвинению в государственном преступлении писателя Алексея Максимовича Пешкова с зачислением его содержанием за Департаментом полиции.

Директор *Лопухин.*

На подлинном резолюция: «Означенного арестанта принял 12 января. Подполковник *Веревкин*».

(Управление коменданта С.-Петербургской крепости, д. № 929, 1905 г., л. 15).

РАПОРТ КОМЕНДАНТА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ НИКОЛАЮ II, 12 ЯНВАРЯ 1905 ГОДА

Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу, что сего числа, по распоряжению Департамента полиции, доставлен в крепость и заключен в отдельную камеру

здания Трубецкого бастиона арестованный по обвинению в государственном преступлении писатель Алексей Максимович Пешков.¹

Комендант, генерал-от инфантерии *Эллис*
(Управление коменданта С.-Петербургской крепости, д. № 929, 1905 г., л. 16).

ОТНОШЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ КОМЕНДАНТУ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ, 26 ЯНВАРЯ 1905 ГОДА

Секретно

Имею честь препроводить при сем на усмотрение Вашего высокопревосходительства прошение жены литератора *Екатерины Павловой Пешковой* о разрешении ее мужу, содержащемуся в С.-Петербургской крепости политическому арестанту *Алексею Пешкову*, носить собственное платье, белье и пользоваться бумагой, чернилами и перьями для письменных работ.

Директор *Лопухин.*

На подлинном резолюция коменданта Петропавловской крепости: «Отказать», и резолюция подполковника *Веревкина*: «Читал 26 января, подполковник *Веревкин*».

(Управление коменданта С.-Петербургской крепости, д. № 916, 1905 г., л. 99).

ЗАЯВЛЕНИЕ Е. П. ПЕШКОВОЙ В ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ, 24 ЯНВАРЯ 1905 ГОДА

В Департамент полиции
жены литератора
Екатерины Павловны Пешковой

Заявление

С 12 января муж мой, писатель Алексей Максимович Пешков, содержится в Петропавловской крепости. Ему не позволяют носить обычное платье, заставили одеть арестантское белье и арестантский халат, не дают бумаги и чернил и тем лишают возможности рабо-

тать. При состоянии его здоровья ношение арестантского костюма в комнате с холодным полом может вызвать новый приступ болезни. Запрещение писать является стеснением совершенно необъяснимым. А так как муж мой находится на положении подследственного, то применение к нему мер, имеющих характер наказания, считаю совершенно незаконным. Поэтому признаю себя в праве требовать, чтобы ему разрешили носить свое белье, обувь и платье и пользоваться бумагой, чернилами и перьями для работы.²

Екатерина Пешкова.

Петербург, 24 января 1905 года.

Местожителство мое:

Знаменская, 20.

(Управление коменданта С.-Петербургской крепости, д. № 916, 1905 г., л. 100).

ЗАЯВЛЕНИЕ А. М. ГОРЬКОГО КОМЕНДАНТУ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ. ЯНВАРЬ 1905 ГОДА

Его превосходительству,
г. коменданту Петербургской крепости.

Необходимость заработка для содержания моего семейства побуждает меня просить Ваше превосходительство разрешить мне заниматься литературным трудом.

Пользуясь свободным временем, я хотел бы написать комедию; кончив ее, я представлю рукопись Вам с покорной просьбой переслать ее в Департамент полиции для выдачи мне или жене моей.³

Вместе с этим убедительно просил бы Ваше превосходительство разрешить мне заниматься по ночам, ибо это самое тихое и удобное для литературной работы время.

К тому же, по привычке, усвоенной годами, я не могу заснуть ранее двух часов ночи, и ночная работа очень сократила бы часы бесполезного лежания на постели.

Считаю нужным указать, что работа моя, имея характер чисто психологический и нравоописательный, не касается так называемых «общественных вопросов».

Извиняюсь за то, что так часто обременяю Вас просьбами своими, но надеюсь, что эта— последняя.

Алексей Пешков.

(Управление коменданта С.-Петербургской крепости, д. № 916, 1905 г., л. 116).

ОТНОШЕНИЕ КОМЕНДАНТА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ ЭЛЛИСА ЗАВЕДЫВАЮЩЕМУ АРЕСТАНТСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КРЕПОСТИ. 1 ФЕВРАЛЯ 1905 ГОДА

Секретно.

Предписываю сообщить арестованному Алексею Пешкову, что заниматься при элек-

трическом освещении до 2 часов ночи, как он к тому привык, я разрешаю; что же касается до его просьбы, в виду необходимости заработка для содержания семьи, то мною сделано сношение с директором Департамента полиции, но самый литературный труд его может быть предоставлен ему, или жене его, только по освобождении из крепости и пересмотре рукописи в Комендантском управлении и в Департаменте полиции.

Комендант, генерал-от-инфантерии *Эллис.*

(Управление коменданта С.-Петербургской крепости, д. № 916, 1905 г., л. 115).

РАПОРТ КОМЕНДАНТА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ НИКОЛАЮ П. 12 ФЕВРАЛЯ 1905 ГОДА

Вашему императорскому величеству

всеподданнейше доношу, что сего числа, по распоряжению Департамента полиции, содержащийся в крепости по обвинению в политическом преступлении Алексей Пешков перемещен в С.-Петербургский дом предварительного заключения.⁴

Комендант, генерал-от-инфантерии *Эллис.*

(Управление коменданта С.-Петербургской крепости, д. № 929, 1905 г., л. 47).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Сообщения аналогичного содержания были посланы военному министру, главнокомандующему войсками гвардии и Петербургского военного округа и директору Департамента полиции.

Последнее сообщение опубликовано в книге «Революционный путь А. М. Горького» (Центрархив, М., 1933, стр. 86).

² Комендант Петропавловской крепости 25 января разрешил Горькому иметь письменные принадлежности, но не разрешил носить собственное платье и белье («Красный архив», 1936, № 5, стр. 63)

³ 5 февраля 1905 года Департамент полиции разрешил А. М. Горькому «написать комедию с тем, чтобы этот литературный труд был представлен в Департамент полиции для просмотра» (см. «Революционный путь А. М. Горького», Центрархив, М., 1933, стр. 91; «Красный архив», 1936, № 5, стр. 64.)

12 февраля написанные А. М. Горьким произведения были переданы в Департамент полиции (см. «Красный архив», 1936, № 5, стр. 64.)

⁴ Сообщения аналогичного содержания были посланы тем же лицам, которые перечислены в первом примечании.

Г. Ленобль

ГОРЬКИЙ-ПОЭТ

I

Тема «Горький-поэт» до последнего времени казалась многим как бы запретной. Сам Алексей Максимович отчасти отталкивал от этой темы литературоведов и критиков. Правда, он не умалчивал об этой стороне своей творческой деятельности, — в автобиографических произведениях Горького, в его статьях содержится ряд замечаний писателя относительно его ранних стихотворных опытов, — но показательно, что говорил о своих стихах Горький почти всегда иронически. Еще более резко отзывался он о них в своей переписке. «Плохие стишки», «постыдные стишки» — с такой суровой самооценкой Горького нам приходится встречаться не раз.

В одном из писем к И. А. Груздеву Горький писал как-то, что в молодости он был «фантазером, стихотворцем». В зрелые годы Горький поэтом себя не считал; иногда он даже заявлял, что вообще стихи понимает плохо.

Н. Пиксанов, автор книги, посвященной рассмотрению поэтического наследия Горького, правильно замечает, что при жизни писателя нелегко было писать на эту тему: можно было опасаться вызвать огорчение и неудовольствие Алексея Максимовича. Но почему-то Н. Пиксанов опускает наиболее определенное высказывание на сей счет Горького, хотя оно выражено столь категорически, что обойти его не представляется возможным.

Был такой случай, о нем рассказывает В. Десницкий в своих воспоминаниях. Алексею Максиминовичу неосторожно передали тетрадку с его юношескими стихами. Горький просмотрел эту тетрадку — и сжег ее.

Когда Десницкий стал упрекать его в «варварстве» и говорить, что он не имеет права так относиться к историко-литературным документам громадной культурной ценности, последовал ответ:

«Не стоит хранить то, что не нужно никому... Не хочу я, чтобы потом писали обо мне всякую чепуху. Обязательно найдется ученый любитель и напишет исследование о стихах М. Горького».

Нет необходимости, думается нам, доказывать, что эти слова явно несправедливы. Несправедливы не по отношению к наличным и будущим «ученым любителям», а по отношению к великому художнику слова Максиму Горькому.

Не будем уже говорить о том, что любая деталь в биографии такого человека, как Горький, заслуживает тщательного исследования. В том-то все и дело, что писание стихов вовсе не было в жизни Горького «деталью». Не было это и увлечением одного лишь периода его юношества. Сейчас можно считать твердо установленным, что «для себя» Горький писал стихи до конца своих дней.

Интерес к поэзии, к стиху у Горького не случаен, а принципиален и тесно связан со всей его литературной творческой работой.

Любой вздумчивый читатель даже при беглом, первоначальном ознакомлении с творчеством Горького должен обратить внимание на два обстоятельства.

В прозаических произведениях и в пьесах Горького действует множество поэтов.

В «Жизни Климса Самгина», например, стихи сочиняют Дьякон и Инок. О стихах Дьякона, занимающих в повести весьма видное место, умный Лютов говорит, что они гениальны, и читатель, мы полагаем, вряд ли будет с ним спорить.

В «Дачниках» стихотворством занимаются Влас и Калерия, в «Детях солнца» — Лиза, в «Вареньке Олесовой» — Бенковский, в «Фоме Гордееве» — журналист Ежов, в «Городке Окорова» — Сима Девушкин, в «Рассказе Филиппа Васильевича» — Платон Багров, в повести «О тараканах» — Платон Еремин, в повести «Трое» — Павел Грачев, в «Сказках об Италии» — пьяный поэт Кермани. Список этот продлить нетрудно.

Нет и не было в русской литературе ни одного сколько-нибудь заметного писателя, у которого герои испытывали бы такое сильное и такое органическое влечение к поэзии, как у Горького.

Но в то же время стихи «от себя», от собственного своего имени, стихи, опубликованные автором в качестве самостоятельных художественных произведений, — в писательской работе Горького редчайшее исключение. При настолько-недоверчивом отношении Алексея Максимовича к себе как поэту иначе, понятно, и быть не могло.

Однако по количеству стихотворных произведений, «признанных» писателем, никак нельзя судить об удельном весе их в его творчестве.

Перечисляем те стихотворные произведения, которые сам Горький считал достойными перепечатки: «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», «Девушка и Смерть», «Баллада о графине Элен де Курси, украшенная многими сентенциями, среди которых есть весьма забавные», «Песня о Марко».

К этой же группе произведений следует причислить и поэму «Человек», в которой, правда, стихотворная форма выдержана далеко не последовательно.

Называть мало, всего пять или шесть, но без этих замечательных творений не было бы Горького, которого мы знаем.

В сознание миллионов людей Горький навсегда вошел как гордый Сокол, который рвется в небо, как бесстрашный Буревестник, который жаждет бури.

Канонизированные автором стихотворные произведения Горького относятся к числу вершинных его произведений. Они, бесспорно, не могли бы появиться, если бы им не предшествовала большая, упорная и совершенно необходимая для Горького-художника работа над стихом.

Все это показывает, что отказываться от изучения стихотворного творчества Горького было бы неправильно.

Но вместе с тем неправильно было бы и игнорировать «недоброжелательство», проявленное Горьким к своим стихам. Это факт неоспоримый, который нужно попытаться проанализировать и объяснить. Иначе многое в становлении Горького может оказаться для нас неясным и непонятным.

II

Силу и красоту стихового слова, стиха народного, а затем и книжного Горький почувствовал очень рано. Огромное влияние на будущего писателя оказала при этом, как известно, его бабушка Акулина Ивановна Каширина, выдающаяся сказительница и талантливая народная поэтесса.

«В те годы, — вспоминал Горький о своих отроческих годах, — я был наполнен стихами бабушки, как улей медом; кажется, я и думал в формах ее стихов».

Несколько позднее он познакомился со стихами Пушкина. Интересно отметить, что, рассказывая в автобиографической повести своей «В людях» о впечатлениях, произведенном на него пушкинской поэзией, он сравнивает и сближает ее со сказками Акулины Ивановны:

«Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной, и читать ее было неловко. Пролог к «Руслану» напоминал мне лучшие сказ-

ки бабушки, чудесно сжав их в одну, а некоторые строки изумляли меня своей чекаинной правдой».

Неудивительно, что при таком подходе к стиху и прозе Горький должен был начать со стихов. И по словам самого Алексея Максимовича и по единодушному свидетельству мемуаристов, стихи молодому Горькому давались легко. ¹ Но удовлетворения они ему не приносили. Особенно ясно он стал ощущать их неполноценность тогда, когда он «начал понимать, что видел, пережил, слышал много такого, о чем следует и даже необходимо рассказать людям».

В брошюре «О том, как я учился писать», мы читаем:

«Стихи я писал легко, но видел, что они отвратительны, и презирал себя за неумение, за бездарность. Я читал Пушкина, Лермонтова, Некрасова, переводы Курочкина из Беранже и очень хорошо видел, что ни на одного из этих поэтов я ничем не похож. Писать прозу — не решался, она казалась мне труднее стихов, она требовала особенно изощренного зрения, прозорливой способности видеть и отмечать невидимое другими и какой-то необыкновенно плотной, крепкой кладки слов. Но все-таки стал пробовать себя и в прозе, избрав, однако, стиль прозы «ритмической», находя простую — непосильной мне. Попытки писать просто приводили к результатам печальным и смешным».

И далее:

«Ритмической прозой я написал огромную «поэму» — «Песнь старого дуба». В. Г. Короленко десятком слов разрушил до основания эту деревянную вещь...»

«Но Короленко не вылечил меня от пристрастия к «ритмической» прозе и, спустя еще лет пять, похвалив мой рассказ «Дед Архип», сказал, что напрасно я одобрил рассказ «чем-то похожим на стихи». Я ему не поверил, но дома, просмотрев рассказ, горстоно убедился, что целая страница — описание «ивня в степи — написана мною именно этой проклятой «ритмической». Она долго преследовала меня, незаметно и неуместно просачиваясь в рассказы».

Пожалуй, одним из наиболее разительных примеров того, как в творческой практике Горького произвольно возникла «проклятая ритмическая», является его дидактическая поэма «Человек». Ее Горький написал в 1903 году, когда он был, разумеется, вполне сложившимся, зрелым мастером, писателем, завоевавшим не только всероссийскую, но и мировую славу. Ритм в «Человеке» выявлен с такой отчетливостью, что, на посторонний взгляд, признать это явление непреднамеренным немислимо. Но тем не менее это так. Посылая К. П. Пятницкому первую редакцию своей поэмы, Горький сообщал: «У меня не было намерения писать ритмической прозой, вышло это неожиданно, будучи, видимо, вызвано самим сюжетом». А затем идет крайне характерное замечание: «Гладких и слащавых стихов — я не хочу, и языка править не стану».

В случае с «Человеком» ритмическое построение вещи художественно оправдано. Но часто такая ритмизация шла вразрез с художественными замыслами Горького, с заданиями, которые

¹ Сводка фактических данных о первых опытах Горького-поэта, в большинстве своем не дошедших до нас, дана Н. Пиксановым в начальных главах его книги «Горький-поэт».

он себе ставил. Для того чтобы стать «правверным прозаиком», молодой Горький должен был преодолеть глубоко вкоренившуюся в него привычку к ритму, к стиху. Достиг он этого не сразу и не без труда. Не в этом ли следует усматривать одну из причин (отнюдь, конечно, не единственную) столь парадоксальной «нелюбви» Алексея Максимовича к своим стихам.

Мы должны оговориться. Когда мы говорим, что тяготение Горького к стиху мешало ему сперва овладеть прозаической формой, мы не хотим этим отрицательно оценить роль стиха в развитии Горького как художника. В процессе этом нужно уметь видеть его диалектичность. Музыкальность и приподнятость поэтической речи перешли во многие прозаические произведения Горького, но только в «снятом», преображенном виде.

III

5 марта 1895 года в «Самарской газете» было напечатано стихотворение М. Горького «Прощай».

Впоследствии в свои сборники Горький стихи эти не включал и вообще никогда их больше не перепечатывал. До массового читателя они так и не дошли, хотя в различных литературоведческих и мемуарных работах они несколько раз опубликовывались.

По этим стихам, как нам кажется, можно судить о том, от чего писатель отгалкивался и отказывался, переоценивая, по прошествии ряда лет, свои ранние опыты.

Вот стихотворение «Прощай», приводим его полностью:

Прощай! Я поднял паруса
И встал со вздохом у руля.
И резвых чаек голоса
Да белой пены полоса —
Все, чем прощается земля
Со мной... Прощай!

Мне даль пути грозит бедой,
И червь тоски мне сердце гложет,
И машет гривой вал седой,
Но море всей своей водой
Тебя из сердца смыть не может...
О, нет!.. Прощай!

Не замедляй последний час,
Который я с тобой вдвоем
Переживал уже не раз.
Нет, больше он не сблизит нас,
Напрасно мы чего-то ждем...
Прощай!

Зачем тебя я одевал
Роскошной мантией мечты?
Любя тебя, я сознавал,
Что я тебе красиво лгал,
И что мечта моя — не ты!
Зачем? Прощай!

Любовь — всегда немного ложь,
И правда вечно в ссоре с ней;
Любви достойных долго ждешь,
А их все нет... и создаешь
Из мяса в тряпках — нежных фей...
Прощай!

Прощай! Я поднял паруса
И встал со вздохом у руля.
И резвых чаек голоса
Да белой пены полоса —
Все, чем прощается земля
Со мной... Прощай!

В том, что стихотворение это отражает глубоко волновавшие Горького мысли и чувства, никто, конечно, не усомнится. И все же Горький его «забраковал».

Почему? Что побудило его поступить таким образом?

Здесь возможны различные предположения. О степени их вероятности пусть судит читатель.

Первое и самое естественное предположение: Горький, который писал очень много (и особенно много как раз в 1895 году), мог попросту об этом своем произведении забыть.

По данным известного библиографического справочника С. Балухатого, в 1895 году Горький опубликовал 26 рассказов и очерков, 2 стихотворения, 2 рецензии и 130 статей и фельетонов — всего сто шестьдесят произведений. Как удержать все это в памяти?

Горький, однако, о своем стихотворении не забыл: через девять лет после напечатания «Прощай», в 1904 году, он вспомнил о нем в одном из своих рассказов.

Второе, не менее естественное предположение: как взыскательный художник, Горький мог отказаться от перепечатки «Прощай» по соображениям чисто эстетического порядка.

Такая возможность, конечно, не исключена: горьковская требовательность к себе хорошо известна.

Но хочется все же отметить, что из всех известных нам ранних стихотворений Горького «Прощай» — одно из самых сильных. Так, первоначальный вариант знаменитой «Песни о Марко»,¹ напечатанной в том же 1895 году и в той же «Самарской газете», по своим литературным качествам сравнения с «Прощай» не выдерживает. Но к «Песне о Марко» Горький вернулся в 1901 году, и она, пройдя тогда его творческую «корректуру», стала подлинным шедевром русской лирики. Нельзя забывать, что ранние горьковские произведения мы читаем обычно в редакции, принадлежащей зрелому Горькому. Если бы Горький захотел доработать «Прощай», мы, возможно, восхищались бы этим стихотворением не меньше, чем «Песней о Марко» или «Девушкой и Смертью». Но Алексей Максимович не захотел к нему больше возвращаться.

Можно выдвинуть третье предположение относительно мотивов, по которым Горький не стал перепечатывать «Прощай».

Эти стихи носят чересчур личный, интимный характер, и поэтому Алексей Максимович не пожелал поделиться ими с миллионами своих читателей.

Горький не раз высказывался против излишнего «откровенничания» с публикой, против того чтобы личная жизнь писателя становилась достоянием любопытствующей улицы.

Леониду Андрееву он однажды писал:
«Касаться... моей личной жизни я никогда ни-

¹ См. этот вариант вместе с каноническим текстом «Песни» в вышедшей недавно книге Н. Белкиной «В творческой лаборатории Горького» М. 1940, стр. 30—31.

кому не позволял и не намерен позволить. Я — это я, никому нет дела до того, что у меня болит, если болит. Показывать миру свои царапины чесать их публично и обливаться гноем, брызгать в глаза людям желчью своей... — это гнусное занятие и вредное, конечно».

Письмо Андрееву написано с явным раздражением, но Горький и в произведениях, предназначенных к печати, говорил примерно то же.

Интересен разговор с Блоком, записанный Горьким.

Блок заговорил как-то с Алексеем Максимовичем про «детские вопросы», «самые глубокие и страшные!»

«— Почему вы не пишете об этих вопросах? — настойчиво допытывался он.

«Я сказал, что вопросы о смысле бытия, о смерти, о любви — вопросы строго-личные, интимные, вопросы только для меня. Я не люблю выносить их на улицу, а если изредка невольно делаю это — всегда неумело, неуклюже.

«— Говорить о себе — тонкое искусство, я не обладаю им».

Точка зрения Горького выражена четко и недвусмысленно. Как согласовать ее с тем, что в творчестве Горького чрезвычайно силен автобиографический элемент? Ведь Горький рассказывал в своих произведениях о себе, о своих переживаниях, о своей жизни с такой прямоотой и откровенностью, что мало кто из художников прошлого может с ним в этом смысле сравниться.

На наш взгляд, противоречия между высказываниями и практикой великого писателя здесь нет: его откровенность была всегда целенаправлена, — говорил он всегда о том, о чем, по его мнению, «следует и даже необходимо рассказать людям».

В 1895 году «Прощай» не казалось Горькому слишком личным произведением, об этом свидетельствует самый факт его напечатания. Но дело не в том только, что в этом стихотворении есть личное, дело в том, как это личное дано.

Мы подходим к последнему, четвертому предположению о судьбе, постигшей эти горьковские стихи. Горький, надо полагать, не был удовлетворен их содержанием, их существом, оттого он и не стал их перепечатывать.

Это предположение, по-нашему, единственно правильное. Такие строки, как:

Любовь — всегда немного ложь,

И правда вечно в ссоре с ней,

и не могли удовлетворить Горького.

Отношение к любви, высказанное в них, резко расходится с тем пониманием, тем восприятием, той философией любви, что сложилась у Горького очень рано и нашла свое гениальное выражение в юношеской его сказке «Девушка и Смерть».

Мучительно тяжелые настроения, временно овладевшие Горьким и вылившиеся в пессимистических строфах «Прощай», повели к таким поэтическим формулировкам, к таким обобщениям, с которыми великий пролетарский писатель, когда прекратили воздействие специфические причины, их вызвавшие, не мог примириться.

Ибо не отрицание, а утверждение любви, красоту ее и правду отстаивал и пропагандировал Горький во всех своих произведениях.

Краше солнца — нету в мире бога,
Нет огня — огня любви чудесней! —

этому девизу, провозглашенному в молодости, Горький оставался верен всю свою жизнь.

То, что Горький не пожелал извлечь «Прощай» из запыленных кип «Самарской газеты», — яркий показатель настоящей творческой самокритики художника, стремящегося своим искусством принять участие в борьбе за изменение мира.

Позиции писателя проверяются не только тем, что он выдвигает, но и тем, что он отвергает и преодолевает.

Стихотворение «Прощай» написано под влиянием личных осложнений в жизни А. М. Горького. Это очевидно.

Но выводы, к которым привел Горького пережитый им опыт, окончательные выводы в нем еще не даны.

IV

Еще несколько слов о причинах, побуждавших Горького скрывать, а зачастую и уничтожать свои лирические стихи.

Говоря об интимной, «потаенной» лирике Горького, следует учитывать, как нам кажется, во-первых, чрезвычайно впечатлительность Алексея Максимовича и, во-вторых, необычайную быстроту, с какой он оформляет в стихах самые мимолетные свои чувства и настроения.

Многие стихи Горького, случайно и помимо воли автора попавшие к нам в руки, являются, без сомнения, своего рода дневниковыми записями, и так только и надо их оценивать. Рассматривать их в качестве самостоятельных поэтических произведений, имеющих право на самостоятельное литературное бытие, значило бы грубо исказить их подлинную природу. Они нуждаются в «контексте», в сопоставлении с другими явлениями душевной жизни писателя, чтобы ясно было, что он хотел ими сказать.

Взятые отдельно, стихи эти отличаются крайней одностороностью. Они могут дать представление о переживаниях писателя лишь в данный момент, но по ним нельзя ни в коем случае судить о целостном, поэтическом восприятии им мира.

В лирическом стихотворении чувство, переданное в нем, обособляется, выделяется из ряда сопутствующих (и противоречащих) ему чувств, приобретает ценность и значимость само по себе. Вот почему лирический поэт, запечатлевая в стихе свои чувства и мысли, производит определенный отбор их, не все допуская в свои стихотворения. В горьковских стихах «для себя», которые мы приравнили к дневниковым записям, такой отбор не произведен, что объясняется особым назначением этих записей.

В автобиографических произведениях Горький цитировал иногда отрывки из своих лирических стихов, для того чтобы ярче обрисовать состояние свое в тот или иной момент. Никогда, однако, стихотворные эти отрывки самодовлеющей роли для него не играли; они служили исключительно целям, так сказать, иллюстративным, дополняя то, что уже было сказано в прозе.

Возвратимся снова к стихотворению «Прощай».

В 1904 году в сборнике товарищества «Знание» Горький напечатал «Рассказ Филиппа Васильевича».

Стихи двадцатисемилетнего Горького — в сокращенном и несколько огрубленном виде — приписаны в этом рассказе девятнадцатилетнему «полуинтеллигенту» Платону Багрову.

Передача литературному персонажу высказываний, сделанных ранее автором от своего лица, не всегда означает, что данный персонаж — рупор авторских мыслей. Часто в такой форме происходит отказ писателя от тех или иных его мнений или увлечений.

Так обстоит дело и с «Рассказом Филиппа Васильевича». В нем Горький как бы отказался от старых своих стихов в пользу Платона.

И действительно, этому юноше, безнадежно влюбленному в дочь своего «хозяина», «образованную» барышню, которая зло и изобретательно над ним издевается, грустные строфы «Прощай» подходят куда больше, чем писателю-революционеру, с ранних лет провозгласившему:

Я в мир пришел, чтобы не соглашаться!

Характерно, что, передуывая свои стихи для рассказа, Горький решил их сократить. Строки, содержащие пессимистическую оценку любви, выпали.

Такое понимание любви даже косвенно, через Платона Багрова, Горький в своих произведениях распространять не хотел.

В «редакции» Платона Багрова стихотворение «Прощай» выглядит следующим образом:

Прощай. Душа — тоской полна.
Я вновь, как прежде, одинок,
И снова жизнь моя темна.
Прощай, мой ясный огонек!..
Прощай!

Прощай! Я поднял паруса,
Стою печально у руля.
И резвых чаек голоса
Да белой пены полоса —
Все, чем прощается земля
Со мной... Прощай!

Даль моря мне грозит бедой,
И червь тоски мне сердце гложет,
И грозно воев вал седой...
Но — море всей своей водой
Тебя из сердца смыть не может!..
Прощай!

Стихотворений, написанных сперва «от себя» и «для себя», а затем в более или менее измененном виде отданных литературным героям, в горьковскую прозу и драматургию вкраплено, вероятно, немало. Н. Пиксанов справедливо отмечает в частности, родственность стихов Инокова (которого он без оснований считает «образом автобиографическим») и стихотворного письма молодого Горького к О. Ю. Каминской, воспроизведенного в рассказе «О первой любви».

Но, конечно, далеко не все стихи поэтов, изображенных в произведениях Горького, возникли таким путем.

Черновые материалы пьесы «Дети солнца»¹ показывают, что стихотворение в последнем монологе Лизы Протасовой («Милый мой идет среди пустыни») писалось сразу от лица Лизы

Нам хотелось бы отметить здесь одну методологическую ошибку, допущенную. Н. Пиксановым в его книге. Пиксанов объединяет стихи самого Горького со стихами горьковских персонажей в общие «группировки» и на этом основании устанавливает даже даты написания стихов, приписанных литературным героям. Прием этот, понятно, совершенно не научный, так как при этом забывается о сложности создания и об органичности художественного образа. О том, до каких курьезов можно дойти, безоговорочно принимая за стихи самого писателя произведения его персонажей, свидетельствует пример с Павлом Грачевым (из повести «Трое»). В повести даны три его стихотворения, и вот, следуя своему методу, Н. Пиксанов два стихотворения относит в одну «группировку» («тяготеющих» к ранним стихам), а третье — «не без колебаний» — зачисляет в «группировку» «переходного времени». Как целостный образ Павел Грачев при таком способе анализа во внимание не принимается, равно как оставляется без внимания и целостность работы художника над образом.

Однако, как бы стихи горьковских поэтов ни создавались, никогда между горьковским персонажем и стихотворением, для него сочиненным, нет несоответствия.

Отсюда у той же самой Лизы или у Калерии в «Дачниках» — символистские стихи, которые ярче, убедительнее, доходчивее, чем многие стихи самих символистов.

Когда Маяковский прочитал предсмертные строки Есенина, ему стало ясно:

«С этим стихом можно и надо бороться стихом, и только стихом».

Горький сам дал слово Лизе и Калерии в своих пьесах, но не для того, чтобы предоставить проповедникам декаданса возможность демонстрировать себя, а для того, чтобы бороться с ними их же оружием — стихом.

В «Дачниках» он устроил, по выражению Н. Пиксанова, «дуэль на стихах» между Калерией и Власом.

Калерия читает в последнем акте свои стихи:

Осени дыханием гонимы,
Медленно с холодной высоты
Падают красивые снежинки,
Маленькие, мертвые цветы...
Крутятся снежинки над землей,
Грязной, утомленной и больной,
Нежно покрывая грязь земную
Ласковой и чистой пеленой...
Черные, задумчивые птицы...
Мертвые деревья и кусты...

¹ «М. Горький. Материалы и исследования». Том I. Изд. Академии Наук СССР, Л. 1934.

Белые, безмолвные снежинки
Падают с холодной высоты...¹

Возбужденный Влас, на протяжении всей песни высмеивающий мечтательную отрешенность Калерии от всего земного, тут же отвечает ей — и отвечает стихами же. Читает он, по ремарке автора, «ясно и сильно, с вызовом»:

Маленькие, нудные людишки
Ходят по земле моей отчужды,
Ходят и — уныло ищут места,
Где бы можно спрятаться от жизни.

Все хотят дешёвенького счастья,
Сытости, удобств и тишины,
Ходят и — все жалуются, стонут,
Серенькие трусы и луны.

Маленькие, краденые мысли...
Модные, красивые словечки...
Ползают тихонько с краю жизни
Тусклые, как тени, человекки.

Стихотворение это пародийно, но значение его не исчерпывается компрометацией ничемной красоты стихов Калерии, оно гораздо глубже.

Пародией можно было бы ограничиться, если бы сочинительство Калерии было просто пустышкой. Но Влас отлично понимает, что Калерия написала сильные, заражающие слушателя стихи.

Поэтичность их — следствие того, что в них, хотя и в скрытой, односторонней и неразвитой форме, выражена неудовлетворенность мещанским, обывательским существованием русского «образованного» общества начала XX века.

Однако неудовлетворенность эта лишена активности, она не побуждает к действию, кризис в борьбе она подменяет эгегическими вздыханиями и стремлением отвернуться от пошлости повседневной буржуазной жизни, о действительном преодолении которой Калерия и не помышляет.

Поэтому для Власа (как, несомненно, и для самого Горького) стихи Калерии — жалкое нытье, а сама поэтесса — малоинтересная, но вредоносная разновидность тех маленьких, нудных людишек, которые ползают, как тени, «с краю жизни».

Влас против Калерии — это боевая, революционная, повышающая волю к борьбе поэзия против поэзии «пассивного романтизма» (термин, предложенный Горьким в брошюре «О том, как я учился писать»).

Примерно такой же смысл, что и в «Дачниках», имеет стихотворное состязание в «Детях солнца». Происходит оно между Лизой Протасовой и Вагиным.

Любопытная подробность: чтобы осуществить это состязание, Горькому пришлось допустить некоторую натяжку: отвечает Лизе (чужими стихами) Вагин, человек для этого не вполне подходящий.

¹ Стоит указать, между прочим, на то, что до революции эти стихи печатались различными издательствами отдельно, с музыкальным сопровождением. Сомневаемся, чтобы это было сделано с разрешения Алексея Максимова.

Лиза произносит полное смятения и печали стихотворение — об орлах, вслед которым она бесплодно жаждет подняться в небеса, и о «слепых кротах, живущих в темных норах, без красивых мыслей и без солнца».

Вагин, которому, по словам автора, возбуждение Лизы не нравится, говорит: «Елизавета Федоровна, я знаю другие стихи, они могли бы служить ответом вам».

И он читает тишично горьковские, проникнутые горьковским оптимизмом и горьковской верой в человека стихи:

Как искры в туче дыма черной,
Средь этой жизни мы — одни.
Но мы в ней — будущего зерна!
Мы в ней — грядущего огни!
Мы дружно служим в светлом храме
Свободы, правды, красоты —
Затем, чтоб гордыми орлами
Слепые выросли кроты.

Персонажа, аналогичного Власу, в «Детях солнца» не оказалось. Но отповедь Лизе Горький считал необходимой, и он доверил ее Вагину.

Если придаться, то можно сказать, что Вагину, индивидуалисту и эстету, содержание прочитанного им восьмистишия чуждо и враждебно.

Можно сказать также, что это восьмистишие Вагин не мог припомнить, он должен был сочинить его экспромтом, так как он прямо «обыгрывает» образы, употребленные Лизой.

Все это так. Но Горький пренебрег соображениями мелочного правдоподобия для разрешения более значительной и глубокой художественной задачи.

Почему Горький так упорно внедрял в свою прозу и пьесы поэзию?

Почему он с такой настойчивостью заставлял своих героев говорить стихами?

У гениального писателя такую особенность его произведений как случайность или «чуждость» истолковать нельзя.

Введение элементов поэзии в прозу, в произведении реалистического (в узком смысле слова) типа, — одна из стилевых установок Горького-художника.

Это — программное требование основоположника литературы социалистического реализма, в которой реализм и романтизм должны слиться воедино.

Горький считал, что для того, чтобы душа человека высказалась по-настоящему, полно и богато, одной прозы мало, нужны стихи.

И особенно нужны юни, когда писатель изображает нашего человека, человека героя, человека с душой Сокола, с душой Буревестника.

В своих воспоминаниях о Горьком поэт Дм. Семеновский рассказывает:

Написал он для журнала «Колхозник» поэму об ивановском садовод-опытнике Самцове.

Горький поэму отклонил, но одновременно предложил автору интересный план ее переработки.

«Дорогой Семеновский, — писал он, — мы не можем напечатать в «Колхознике» 43 страницы стихов, однообразных и тяжелых, не мо-

жем потому, что уверены: наш читатель не одолеет такую массу рифмованных слов.

«Но я Вас очень прошу сделать вот что: дайте биографию Самцова и очерк его опытов в прозе, перебивая ее — там и тут — строфами Ваших стихов...»

«Этой работой Вы создадите новую форму очерка — патетический, пафосный очерк, и этим Вы положите начало новому приему изображения и, может быть, начало нового течения в литературе, нашей. Это не будет романтизм «Путешествия на Гарц» Гейне, а должно быть советской героической романтикой. Вы достигнете этого, если будете писать прозу так, что она сама, свободно и естественно, перейдет в стихи».¹

Совет Семеновскому основан на собственном художественном опыте Горького: именно Горький положил начало такому «приему» изображения человека, при котором проза «свободно и естественно», то есть органически необходимо переходит в стихи.

Это совет не теоретика, а великого практика художественного слова, гениального осмысливающего свой литературный труд.

Семеновский последовал горьковскому совету, и новая его работа Алексея Максимовича удовлетворила.

Оценивая ее, он писал:

«Наш человек плохо умещается в прозе, особенно если эту прозу пишут небрежно или с холодной душой. Изображение нашего человека так, как он того заслуживает, должно быть повышено в тоне и красках».

Когда говорят о «заветах Горького», не надо забывать о том его завете, который выражен в процитированных только что строках.²

VI

По поводу знаменитого вольтеровского афоризма: «Все жанры хороши, кроме скучного», Пушкин заметил как-то, что Вольтер не сказал: «одинаково хороши».

То же самое мог бы сказать и Горький.

Как и Пушкин, Горький находил, что литературные жанры и виды неравноценны.

Придавая большое значение газетным стихам, эстрадной песне и т. п., он в то же время считал, что крупные поэтические дарования, «конечно, незаконно дробить на фельетоны, на эстрадные песенки и вообще на мелочи».

Во избежание недоразумений, подчеркиваем: Горький говорил это только о крупных поэтических дарованиях, отнюдь не о всех пишущих с большим или меньшим успехом стихи.

Сам Горький как поэт тяготел к большим обобщениям, к большим, емким образам-символам.

Наряду со струей интимной лирики в ран-

¹ Дм. Семеновский «А. М. Горький, Письма и встречи». «Советский писатель», М., 1938, стр. 100—101.

² В литературе последних лет интереснейшим образом сочетания прозы и поэзии является пьеса М. Светлова «Сказка». Герои этого произведения уславливаются между собой: «Если нам в сказке будет особенно хорошо — давайте говорить стихами».

ней поэзии Горького чрезвычайно сильной. была и струя аллегорическая. Аллегория была даже, насколько мы можем судить, излюбленной поэтической формой молодого Горького.

В очерке «Время Короленко», описывающем пребывание Горького в Нижнем в 1889—1890 годах, он рассказывал о двух своих стихотворениях:

«Одно стихотворение было озаглавлено «Голос из горы идущему вверх», другое — «Беседа чорта с колесом». Не помню, о чем именно беседовали чорт и колесо, — кажется, о «круговращении» жизни, — не помню, что именно говорил «голос из горы».

Под влиянием критики В. Г. Короленко стихи эти были Горьким уничтожены.

Позднее, в 1892—1893 годах, Короленко не раз упрекал молодого писателя за страстие к аллегориям. «Не доведут они вас до добра!» — говорил он по поводу «Старухи Изергиль».

По воспоминаниям Горького, скромно отодвигающего себя на второй план, трудно составить себе полное представление об его отношении к замечаниям Короленко.

Вряд ли все они Алексеем Максимовичем принимались.

Относительно «Старухи Изергиль», например, он был другого мнения, чем Короленко, и в письме его к Чехову, относящемся к августу 1899 года, мы находим примечательную фразу: «Видно, ничего не напишу я так стройно и красиво, как «Старуху Изергиль» написал».

Но нас интересует сейчас вопрос об аллегориях.

В том же 1899 году в газете «Нижегородский листок» Горький поднял этот вопрос в статье «Аллегории Оливии Шрейнер».

Возможно, что он помнил при этом о своих беседах шести-семилетней давности с В. Г. Короленко, имя которого в статье этой упоминается.

Выписываем из нее наиболее важные места:

«Нужно обладать очень своеобразным талантом для того, чтобы писать аллегории, и нужно иметь тонкий, художественный такт, чтобы не свести аллегориями на степень туманного и скучного нравоучения. Нужна ли аллегория, эта трудная литературная форма, всегда стремящаяся изложить заранее предвзятую мысль, нравоучение в художественном образе? Несомненно, нужна; на это указывает тот факт, что за последнее время писатели разных стран все чаще и чаще именно в этой форме говорят к публике». (Называются произведения Немецкого, Марии фон Эшенбах, Стриндберга, Короленко, Мамина-Сибиряка и Василевского-Буквы).

«Чем может быть объяснена в наше время склонность к этой литературной форме, давно уже признанной отжившей историками литературы? Надо думать тем, что в форме аллегории можно удобнее и проще сказать то, что хочешь. Аллегория позволяет быть схематичным. Нужен огромный талант, нужно иметь глубокое философское образование, нечеловеческую опытность и сделать массу технической работы, для того чтобы написать книгу на тему Шрейнер, затронутую ею в рассказе «Охотник», и в реальных образах показать настойчивое, неутомимое стремление человека

к истине, все ошибки, все муки его на этом пути. Это труд свыше сил человеческих, и писатели, которые брались за эту тему, не имели успеха... А в рамки аллегории можно уложить такую грандиозную тему, обрисовав ее, разумеется, легкими чертами и развивая ее механически, внешним штрихом, без психологии явлений, без того проникновения в душу, в суть их, которое и представляет собой собственно художественное творчество, являясь счастливым уделом единиц-гениев. Таким образом, являясь трудной как форма, как работа, аллегория очень удобна как одежда идеи, как вместительница ее. Под аллегорией можно ловко скрыть сатиру, колкость, смелую речь, в нее можно вложить огромное идейное содержание».

Из этой небольшой статьи видно, что пришло к Горькому в аллегории и что в ней его не удовлетворяло.

Философская насыщенность, доступная аллегории, возможность вложить в нее огромное идейное содержание, содержание революционное — «сатиру, колкость, смелую речь», разработка грандиозных тем, которые в других литературных формах уместить почти невозможно, — всем этим аллегория дорога и ценна была для Горького.

Она соответствовала его стремлениям пропагандиста и мыслителя.

Но для Горького как художника аллегория была недостаточной: собственно художественное творчество заключалось для него не в индизации, которое, в сущности, лишь подытоживает продуманное, прочувствованное, познанное, а в том проникновении в «душу» явлений, в их «суть», в их «психологию», что требует сочетания методов реализма и романтизма.

Аллегорическим — в горьковском понимании этого слова — является такое произведение, как «Человек».

Аллегоричен образ Данко, освещающего путь людям своим пылающим сердцем.

Но, наверно, никто из читателей Горького (за исключением клеветников из реакционно-буржуазного лагеря) не признает образ Данко обрисованным «внешним штрихом».

Тем более никто не скажет этого о Соколе или Буревестнике.

Образы Сокола, Буревестника, Данко, Девушки,¹ — если говорить о существе их, а не о технике изображения, — поражают изумительно верным воспроизведением самых глубоких, самых главных основ психологии народа, в котором никогда не иссякает воля к жизни и воля к борьбе.

Горький не раз указывал, что литературные типы создаются по законам абстракции и конкретизации. «Абстрагируются» — выделяются, — писал он, — характерные подвиги многих героев, затем эти черты «конкретизируются» — обобщаются в виде одного героя, скажем — Геркулеса или рязанского мужика Ильи Муромца.

Так созданы и образы Сокола, Буревестника и других.

Понятно, почему таких образов у Горького немного.

Их и не может быть много, так как опыт,

наблюдения, выводы Горького выражены в них в наиболее общем, сгущенном виде.

В прошлом предпринимались попытки уменьшить значение образов Сокола, Буревестника, Данко для творчества Горького: говорилось, что они характерны лишь для первого этапа его литературной работы.

Сам Горький держался на этот счет другой точки зрения.

В четвертом, посмертном, томе «Жизни Клима Самгина» Клима Иванович Самгин размышляет (после поражения революции 1905 года):

«— И дым отечества нам сладок и приятен». Отечество пахнет скверно. Слишком часто и много крови проливается в нем. «Безумство храбрых»... Попытка выскочить «из царства необходимости в царство свободы...» Что обещает социализм человеку моего типа? То же самое одиночество и, вероятно, еще более резко осязаемое «в пустыне — увь! — не безлюдной»... Разумеется, я не доживу до «царства свободы»... Жить для того, чтобы умереть, — это плохо придумано».

Подчеркнутые нами строки чрезвычайно показательны.

Итак, в сознании отрицательного персонажа, который думает всегда чужими словами, ненавистное ему мировосприятие социалистической революции представлено двумя формулировками: публицистической — Энгельса и образной — Горького.¹

Сопоставление, сделанное Климом, — объективное свидетельство художника о смысле, который вкладывала в «Песню о Соколе» тогдашняя русская интеллигенция.

Но то, что Горький это мнение о себе в своей повести воспроизвел, свидетельствует о том, как он сам оценивал свою поэзию.

VII

На Первом Всесоюзном съезде писателей А. М. Горький призывал художников слова учиться на фольклоре.

Убеждение в том, что подлинное великое искусство может основываться лишь на народном творчестве, было всегда присуще Горькому.

Пожалуй, наиболее рельефно оно высказано в статье 1908 года «Разрушение личности».

Цитируем ее по книге М. Горького «Статьи», выпущенной в 1918 году:

«Народ не только — сила, создающая все материальные ценности, он — единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной культуры...»

«Только при условии сплошного мышления всего народа возможно создать столь широкие обобщения, гениальные символы, каковы

¹ Ср. аналогичный случай во втором томе «Жизни Клима Самгина»: струвенец Преис кричит большевику Кутузову, развивающему ленинские мысли об организации и воспитании профессиональных революционеров: «Никак не мог я ожидать, что вы — вы! — дойдете до утверждения необходимости искусственной фабрикации каких-то буревестников».

¹ Из сказки «Девушка и Смерть».

Прометей, Сатана, Геракл, Святогор, Илья, Микула и сотни других гигантских обобщений жизненного опыта народа. Мощь коллективного творчества всего ярче доказывается тем, что на протяжении сотен веков индивидуальное творчество не создало ничего равного Илиаде или Калевале, и что индивидуальный гений не дал ни одного обобщения, в корне коего не лежало бы народное творчество, ни одного мирового типа, который не существовал бы ранее в народных сказках и легендах...

«Мильтон и Данте, Мицкевич, Гёте и Шиллер возносились всегда выше тогда, когда их открывало творчество коллектива, когда они черпали вдохновение из источника народной поэзии, безмерно глубокой, неисчислимо разнообразной, сильной и мудрой.

«Я отнюдь не умаляю этим права названных поэтов на всемирную славу и не хочу умалять; я утверждаю, что лучшие образы индивидуального творчества дают нам великолепно ограниченные драгоценности, но эти драгоценности были созданы коллективной силой народных масс. Искусство — во власти индивидуума, к творчеству, способен только коллектив. Зевса создал народ, Фидий воплотил его в мрамор».

Эти полемически заостренные строки могут показаться чересчур категоричными. Однако с творческой практикой Горького-поэта они не расходятся.

Почти все его стихотворные произведения, все его поэтические образы-символы выросли на плодородной почве народного творчества.

Связь этих своих произведений с искусством народа Горький подчеркивал неоднократно.

Геннальная поэма-легенда «Девушка и Смерть», о которой товарищ Сталин сказал: «Эта штука сильнее, чем «Фауст», Гёте», — охарактеризована автором как «румынская сказка».

«Песня о Марко» называется иначе «Валашской легендой».

«Песню о Соколе» «рассказывает» старый крымский чабан Надыр-Рагим-Оглы.

Не нуждается в доказательствах фольклорная основа чудесного монолога Васьки Буслая из задуманной, но не осуществленной Горьким драмы (монолог этот включен автором в очерк «А. П. Чехов»).

По своей форме поэзия Горького глубоко народна.

Но Горький, черпая полными пригоршнями из вечно бьющих источников народной поэзии, никогда не стилизовал свои стихотворные произведения «под фольклор».

Он воплощал в них дух народа в эпоху, когда во главе народа встал социалистический пролетариат как руководитель и вождь всех трудящихся и эксплуатируемых в их революционной борьбе.

Поэтому поэтический голос Горького так звонок, так молод и нов.

Поэтому в его поэзии, как сказал товарищ Сталин, любовь побеждает смерть.

Поэтому в его поэзии поется слава безумству храбрых, вся жизнь которых является

Живым примером,
Призывом гордым
К свободе, к свету!

Поэтому безумство храбрых провозглашается в его поэзии мудростью жизни.

Поэтому смелый Буревестник—пророк победы—кричит у него: «Пусть сильнее грянет буря!»

Поэзия М. Горького, первого великого писателя единственного до конца революционного класса, поистине народна во всех отношениях.

В. Друзин

ПОЭЗИЯ ВИССАРИОНА САЯНОВА

Первая книга Виссариона Саянова вышла в 1926 году и тогда же получила одобрение как дебют поэта, обладающего незаурядной культурой стиха и своей самостоятельной темой. В этой книжке, названной «Фартовые года», преобладали мотивы гражданской войны и рабочей окраины. Тогда же критикой были отмечены и особенности языка Саянова — перегруженность такими оборотами речи, которые тогда именовались «комсомольским жаргоном». Некоторые критики даже видели своеобразие и перспективы развития Саянова именно в этих особенностях его языка. Между тем теперь, при издании последнего одно-томника, сам поэт исключил эти стихи из книги, и о них остались только воспоминания:

Я был из первых, кто, свирепость
Стихи взорванной познав,
По каплям выпил новый эпос —
Былинный выговор застав.

Шли годы. Постепенно раскрывались основные темы Саянова: гражданская война, русская история, борьба за революционное мировоззрение.

С первых лет работы в поэзии Саянову бросались и бросаются упреки в том, что его поэзия бывает слишком часто абстрактной, что у него отсутствует логически-предметное мышление. Некоторые критики хотели бы видеть в творчестве любого поэта бытовые детали, развернутый повествовательный сюжет, психологические характеристики героев, одним словом — хотели бы поэта воспринимать как прозаика. Понятно, что поэзия Саянова не укладывается в эти рамки сугубо прозаического мышления. Его лирика, прежде всего — лирика, то есть выражение эмоционального отношения к миру, раскрытие внутреннего мира поэта; его лирика оперирует завершенными, отточенными лирическими формулами, которые не нуждаются в прозаических приемах повествования. Именно на примере поэзии Саянова можно продемонстрировать то характерное свойство лирики, которое забывается не только критиками, но и некоторыми поэтами, изготовляющими рифмованные прозаические произведения, лишённые поэтической силы.

Лирическая формула — это концентрация поэтического переживания, это выражение мироощущения поэта в особо отобранных, взвешенных и точных словах, это «лучшие слова в лучшем порядке», запоминающиеся как афоризмы, наравне с научными истинами и политическими лозунгами. У поэтов гражданского направления, у поэтов-публицистов лирические формулы закономерно превращаются в лозунги, выраженные средствами поэзии.

Маяковский в статье «Как делать стихи» подробно рассказал о той трудной работе, которую ему пришлось совершить, когда он задумал противопоставить силе лирической формулы Есенина свою лирическую формулу, выражающую совершенно другое мировоззрение. Как известно, Есенин, умирая, написал маленькое стихотворение, представляющее собой как бы квинтэссенцию его упадочного мировоззрения. Это стихотворение кончалось словами, способными повлиять на неустойчивые умы:

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей...

Маяковский остался недоволен теми полемическими стихами, которые появились как «противоядие» этим строкам Есенина. По его мнению, никто из тогдашних поэтов, возражавших Есенину, не возвысился до подлинно поэтического отпора этой безнадежной философии Есенина. Маяковский поставил себе задачей дать в качестве ответа лирической формуле Есенина свою, еще более сильную формулу, с такими же предельно отобранными и взвешенными словами. Он приводит в своей статье множество вариантов последних строк своего известного стихотворения «Сергею Есенину». Много пришлось перебрать слов и комбинаций слов, пока создалась эта заключительная, действительно исключительной силы строфа, ныне известная всем:

Для веселия
планета наша
мало оборудована.
Надо
вырвать

радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть не трудно,
сделать жизнь —
значительно трудней.

Саянов как поэт-лирик прекрасно чувствует и понимает силу завершенных и отточенных лирических формул, и многие его стихи держатся именно на таких формулах, выражающих и тему поэта и его мироощущение, сказавшееся в этой теме.

Еще в ранних стихах Саянова можно найти немало блестящих примеров его поэтического мастерства:

И путиловский парень и пленник,
Полоненный кайенской тюрьмой, —
Все равно это мой современник
И товарищ единственный мой.

(«Современники»)

Гай да гай, отрада,
Жить да помереть,
Только песню надо
Легким горлом спеть.

(«Песня»)

И то, что шумело и жгло тогда,
В те ночи и дни бегущие,
Все запросто входит в наши года,
Как наши войдут в грядущие.

(«Степан Поликарпов»)

Мы с тобой съели соли куль,
Мы с тобою знали столько пуль, —
Для чего ж ты нынче позабыл,
Как со мной ходил и пел и пил?

(«Братишке»)

Ту песню, которую я распевал,
Теперь затянули подростки,
Она задымилась в губах запевал,
Как дым от моей папироски.

(«Гаянист»)

Спи, товарищ, качавшийся с нами,
В море почесть особая есть:
Подымается месяц, как знамя,
И волна отдает тебе честь.

(«Снова море в огне не бывалом»)

Недавно один критик упрекал Саянова за то, что в стихотворении «На смерть Амундсена» поэт не дал конкретных бытовых черт жизни знаменитого полярного исследователя, не раскрыл его психологии, не рассказал подробно о подвигах, то есть не написал об Амундсене повести или рассказа в стихах. Но Саянов писал лирическое стихотворение, и его задачей было изображение того чувства, того пафоса овладения природой, которое двигало Амундсеном, и стихотворение это, лирическое по своему складу, заканчивается превосходной стиховой формулой, которая не нуждается в бытовых и психологических деталях:

Природа, ты еще не в нашей власти,
Зеленый шум нас замертво берет,
Но жарче нет и быть не может страсти,
Чем эта страсть, влекущая вперед.

В этом отношении поэзия Саянова довольно трудна для анализа. Его основные темы воплощены в стихах, полных эмоциональности, причем четкость рисунка на самом деле отсутствует у Саянова. Иногда это бывает недостатком, иногда же это оправдано общим колоритом, которого добивается поэт в данном стихотворении.

Стихи Саянова — это страницы дневника. Далеко не все поэты строят свою поэзию как лирический дневник, где вырисовывается, в конце концов, и образ героя этого дневника. У Саянова же лирический дневник позволяет читателю познакомиться и с детством героя, и с его юностью, и с его воспоминаниями, и с различными его переживаниями, с отношением к всевозможным явлениям жизни. Поэтому так часты у него переключки мотивов в стихах ранних лет, поэтому сквозь все его стихи, от самых ранних, до самых последних, проходят основные, устойчивые образы, основные, любимые представления. Мотив странствия пронизывает собой стихи о гражданской войне, но его же мы находим и в стихах о Сибири и в многочисленных поэтических воспоминаниях о пройденном жизненном пути.

Одна из важнейших тем Саянова — это тема гражданской войны, которая впервые была дана уже в книжке «Фартовые года».

О гражданской войне написано очень много стихов советскими поэтами, и каждый самостоятельный поэт давал свою поэтическую концепцию гражданской войны. По-своему писали о гражданской войне Тихонов и Багрицкий, Асеев и Светлов, Прокофьев и Ушаков. У Саянова своя, особая концепция гражданской войны. Прежде всего это романтика походов и боев — киргизские степи и Петроград 1918—1919 годов.

Разрабатывая тему гражданской войны, Саянов не изображает отдельные боевые эпизоды, не дает характеров людей. Для него главное — раскрытие мироощущения бойца Красной Армии (высокие революционные идеалы, во имя которых люди отдают жизнь, мужество в походах и в бою, боевое товарищество, дружба и любовь). Внешние черты — пейзаж, бытовая обстановка — все это дано мельком, не на этом концентрирует свое внимание поэт.

Большая группа стихов о гражданской войне посвящена теме боевой дружбы (стихотворения «Разлука», «Братишке», «Другу с Накатамы», «Степан Поликарпов и Сидор Кудров» и др.). В этих стихах рассказывается о боевых товарищах, друживших до конца, о горечи разлуки, если приходилось расставаться, о боли сердечной, если старый друг забывал боевую дружбу, и о радости встречи после разлуки.

Если угодно, все это психология, но психология, выраженная средствами лирики, при помощи лирических стиховых формул, и в этом особенность разработки любой темы у Саянова. Вот центральные строки стихотворения «Разлука»:

Руку в руку, особенным ладом,
Мы скрестили над мордой коня,
И товарищ грохочет прикладом
Да украдкой глядит на меня...

В начале своей деятельности, в 20-х годах, Саянов написал немало статей по вопросам истории и теории поэзии, и если теперь оказывается, что многое в этих статьях было ошибочным и незрелым, то все же важен самый факт постоянного, пристального внимания поэта к вопросам теории и истории стиха. Культура стиха всегда высоко ценилась Саяновым, и с самых первых шагов он заботился о своем формальном вооружении, не боясь упреков в формализме, в то время чрезвычайно модных и часто незаслуженных.

Увлечение «блатной музыкой» и некоторые формальные эксперименты в ранних стихах Саянова довольно скоро сменились иным, правильным отношением к традициям русской поэзии, и это благотворно сказалось на зрелом его творчестве последних лет. Давно уже нет никаких признаков формализма в стихах Саянова. Футуристическая мозаика самоценных образов и акмеистическая изысканность никак не прельщают Саянова. В его стихе с каждым годом все яснее проступают традиции русского реалистического стиха XIX века и реалистические достижения Александра Блока.

В свое время, в 20-е годы, объединяемый по признаку тематики с так называемыми «молодежными» поэтами — Жаровым, Безыменским, Молчановым, Голодным и другими, Саянов отличался от них не только своеобразием разработки взятых тем, но и особым, своим отношением к культуре стиха. Ненавидя эпигонство и всяческие мещанско-романсные традиции, Саянов никогда не попадал в те грехи, которые оказались характерными, например, для Жарова в конце 20-х годов. Можно утверждать, что путь, избранный Саяновым, — чрезвычайно трудный путь, потому что тут нет погони за внешними блестящими украшениями, нет игры на отдельно выпяченных формальных моментах, нет ставки на языковую игру (от нее Саянов избавился после юношеского увлечения «блатной музыкой»). Этот путь — путь упорного овладения полноценным реалистическим стихом, унаследованным от классиков и лучших поэтов начала XX века. Это новый реалистический стих, чуждый эпигонства, не повторяющий старых, привычных ритмико-синтаксических схем. Здесь есть одна большая опасность: имитация, то есть имитация старых образцов. Но именно борьба за революционное мировоззрение, основной пафос поэзии Саянова, его понимание человеческих чувств и революционных идеалов обеспечивают ему правильное отношение к наследству и спасают его от эпигонства или имитации.

В борьбе за мировоззрение Саянов борется и за культуру стиха. Культура стиха достигается им путем обращения к лучшим традициям прошлого. Но это прошлое не заслоняет собой современности. Любовь к прошлому вообще характерна для Саянова; он не принадлежит к числу тех поэтов, которые считают себя людьми без роду и племени, которые чуть ли не хващаются отсутствием знания и культуры, которые считают себя начинающими новую поэзию на абсолютно пустом месте.

Саянов любит и знает не только старую поэзию, но любит и знает историю своей страны, своего народа. Самые названия его стихов иногда очень характерны: «Старая застава», «Старая Москва», «Старый Иркутск». История

у Саянова — это прежде всего история народа с его великими деяниями, с его творчеством, преданиями, былинами, сказками, песнями. Из деятелей русской старины упоминаются в стихах Саянова только Петр, Пугачев и Разин; обычно же горюхи его исторических произведений являются рабочие и крестьяне, не документально засвидетельствованные исторические деятели, а представители народных масс. И в этих стихах у Саянова, так же как и в стихах о гражданской войне, нет изображений каких-либо отдельных выдающихся исторических событий, он прежде всего старается в лирическом обобщении дать широкую картину истории народа.

Вот, например, стихотворение «Старая Москва».

Переулки с Арбата к Пречистенке
Сонный ястреб ударил крылом.
Там бродяги слонялись и странники
И мусолили карты в три листика,
Пахла венником старым предбанники,
Ползаставы сносили на слом,
И шатала давнишняя мистика
Эти темные сны о былом.

Старый быт, над проулками реющий,
Тупики в невозвратную рань.
По базарам лабазы с крупчаткою,
А в трактирах напев канаречный,
Странник песенку выведет шаткую
Про старинную Тьмутаракань,
На просторы зари вечерошей,
Где подрамники греет герань.

В таком же духе и «Старый Иркутск».

Рисуя методом эмоциональных перечислений эти города, Саянов дает как бы историю народа — историю целой страны. Если же он берется за изображение какого-то исторического события (стихотворения: «Эллидифор Петров» и «Петр и Алексей в 1702 году»), то получают менее удачные стихи.

К этим собственно историческим стихам примыкают у Саянова стихи, базирующиеся на фольклорных мотивах. Тут опять-таки характерны самые названия: «Баянист», «Присказка», «Байкальские предания», «Романсы», «Былина о красном коннике Иване Лукине», «Сказка», «Записка», «Старинная бывальщина», «Сказ». Поставленные в один ряд, эти стихи дают какую-то жанровую номенклатуру. В этих стихотворениях Саянов говорит об истории русского языка, истории поэтического слова. Они тесно связаны с его стихами о борьбе за мировоззрение. Это не стилизация, это не подделка под фольклор, что иногда встречается у некоторых наших поэтов, — это история русского народа, выраженная в его поэтическом творчестве. Эти стихи органически связаны всеми своими мотивами с теми стихами, где Саянов говорит от своего имени и выражает свое лирическое мировосприятие. Так, например: «Байкальские предания» и «Былина о красном коннике Иване Лукине», конечно же, органически входят в цикл стихов «Золотая Олекма» и примыкают к таким, например, автобиографическим стихам, как «Офения» или «Жюль Верн».

В стихотворении «Офения» рассказано о том, как ходил по деревьям Сибири офения — Игнатий Ломов — и своей любовью к жизни и жадным любопытством прельщал людей, особенно

подростков. В его лубочном кошельке лежали картинки, где «русский снег расцветен яркой выдумкой восточной».

И все смеялись; в месте нежиле,
Где всех томило долгое ненастье,
С ним приходила песня о былом
И тайный сон о славе и о счастье.

Такую же роль возбудителя романтических мечтаний играл для будущего поэта и Жюль Верн:

За то, что ты сделал краше
Страницами дерзких книг
Холодное детство наше, —
Спасибо тебе, старик!

Отсюда вполне естественна любовь к различным преданиям, сказкам и бывальщинам.

История развития поэзии Саянова поучительна. Начав в 20-х годах и получив на первых порах много похвал, в дальнейшем Саянов прошел через тяжелые испытания. Рапповская критика незадолго до ликвидации РАППа особенно охотно упражнялась в предъявлении тяжелых обвинений лирике Саянова. Романтический характер этой лирики был особенно не по нраву Рапповцам. Его поэзия объявлялась чуждой задачам пролетарской литературы, от него требовали перехода на прозаические сюжетные повествования и т. п. На несколько лет поэт был даже вынужден замолчать, и только в 1933 году он как бы заново родился, выпустив книгу «Золотая Олекма».

Она была справедливо оценена как книга, свидетельствующая о большом творческом росте поэта. Но до сих пор никем не указано, что в этой книге появились у Саянова и такие тенденции, которые не являются для него органическими, и поэтому они не получили дальнейшего развития, а были свидетельством только упорной борьбы его за конкретный, реалистический стих. Речь идет о так называемых прозаизмах в стихе. Известно, что великие поэты-реалисты XIX века не только не чуждались так называемых прозаизмов, но даже специально декларировали (например, Пушкин) необходимость обогащения прозаизмами стихотворной речи.

Саянов никогда не был поэтическим пуристом; в самых ранних его стихах мы находим тот живой материал современности, который не был освящен поэтическими традициями. И «путиловский парень», и «левобережная станция», и «грохочущие пероны», и «визжащие бuffers», и «буденновский марш» — все это очень далеко от веками освещенных «поэтизм», свидетельствующих о банальности мышления. Саянов не увлекался такими банальными «поэтизмами» и писал о современности языком современников. Тем не менее его стихи построены на эмоциональных лирических формулах, на чистых, беспримесных чувствах и настроениях. Не отличаясь четкой предметностью рисунка, его стихи многим казались недостаточно конкретными а по сему случаю и нереалистичными. «Золотая Олекма» в этом отношении показала, что в творчестве Саянова произошли изменения. В целом ряде случаев он дал развернутые повествования, обильно вводя прозаический материал, и некоторые критики именно такие вещи, где по-

явилась эта новая для Саянова тенденция, похвалили.

Между тем надо признать, что в таких стихах как «Хозяева», «Биография», «Управляющий прииском», прозаический материал задавил поэтическую эмоцию. В таких же стихотворениях, как «Золотая Олекма» и «В бега», произошло лирическое освоение прозаического материала, и здесь лучшие качества саяновского дарования выступили наглядно.

Эта борьба прозаических и лирических тенденций в творчестве Саянова показательна, потому что именно в начале 30-х годов в нашей поэзии появилось немалое количество стихотворений, где поэтическая эмоция была совершенно задавлена тяжелым и непрочувствованным прозаическим материалом. Пример этому — стихи Виктора Гусева.

Но в целом книга «Золотая Олекма», где Саянову удалось ярко показать образ старой Сибири, рассказать о своем детстве, где удалось дать колорит сибирского фольклора, — в целом эта книга была действительно большой удачей поэта, позволившей ему дальше двигаться уже уверенно, по твердо найденным и определенным путям. Именно после «Золотой Олекмы» начинается по-настоящему зрелый период творчества Саянова, когда им написано большое количество стихотворений и, наконец, написаны первые его поэмы.

Склад лирики Саянова таков, что переход к поэме для Саянова, несомненно, очень труден. Настоящая поэма требует развернутого повествовательного сюжета, требует характеров, и при этом в поэме нужна лирика.

«Не просто роман, а роман в стихах — дьявольская разница» — говорил Пушкин, сообщая о трудности своей работы над «Евгением Онегиным».

За последние годы в нашей поэзии появилось много поэм, которые на самом деле, конечно, недостойны этого названия, а являють собой бесформенные словесные массы, кое-как зарифмованные и просто своей длиной вводящие в заблуждение читателя.

Поэмы Саянова выросли на основе его лирики и даже по своим темам являются продолжением тематики лирической. Поэтому «Слово о Мамаевом побоище» органически примыкает к историческим стихам Саянова, а поэма «Оренбургская повесть» так же органически примыкает к стихам о гражданской войне в киргизских степях, третья же поэма — «Ива» — по существу является развернутым лирическим стихотворением.

Пока что обе поэмы Саянова скорее похожи на лирику, герои этих поэм имеют условный характер. В «Слове о Мамаевом побоище» Мамай, Дмитрий Донской, Олег Рязанский и ратник Никита — конечно, весьма условные образы, при помощи которых Саянов рисует те или иные лирические картины. Наиболее удачные места поэмы — лирические пейзажи и передача чувств самого автора и некоторых действующих лиц. О глубокой психологической разработке выведенных персонажей говорить не приходится. Так же условны герои «Оренбургской повести». Основные мотивы этого произведения напоминают мотивы стихов о гражданской войне. В центре — конфликт между изменником Берестом и коммунистом Сеницыным; была дружба, дружба нарушена, Берест — изменник, и Сеницын дол-

жен испытать всю горечь этой измены и предательства Береста, человека, которому он доверял. Опять-таки психологически-конкретной разработки характеров нет, есть несколько эффектных эпизодов, когда подлость и измена Береста противопоставляются благородству и верности революционера Синицына. В повесть введена трагическая история обманутой Варвары, на которой женится Берест, уверив ее, что Синицын, которого она любила, погиб еще на Карпатах в мировой войне.

Опять-таки наиболее удачны в поэме те места, где даются лирический пейзаж и некоторые настроения как автора, так и его любимого героя — Синицына.

Стоит особо отметить, что в обеих этих поэмах обращает на себя внимание интонация стиха — свободная, разговорная, но не утратившая своей лирической, даже переходящей в напевность основы.

Поэмы Саянова, выросшие из его лирики, сохранили в своей структуре все следы лирического происхождения, и задача создания настоящей поэмы еще не решена поэтом-лириком.

Особое место в одноместнике стихов и поэме Саянова, вышедшем в 1939 году, занимают три стихотворения о Пушкине. Несомненно, это лучшие стихи из тех, что написаны нашими поэтами к столетней годовщине смерти великого классика. Три стихотворения Саянова, вместе взятые, составляют целостное идейно-политическое единство. В первом стихотворении дана общая характеристика роли Пушкина в истории России; во втором — передано значение стихов Пушкина для его единомышленников:

Когда стихи доверчиво твердили,
Под звон стиха страдали и любили,
О вольности мечтали и порой,
Твердя стихи, кончали путь земной.

В третьем стихотворении — Лермонтов, пишущий стихи на смерть Пушкина:

Но он еще не ведает душой,
Что час настал безвестного обета,
Что он судьбой отмечен роковой,
Обычной долей русского поэта,
И чашу горя выпьет до конца,

Что и его по приговору света
Еще князят бездушные сердца,
Что он — наследник славы величавой —
Пройдет путем погибшего певца...

Безвестный современник Пушкина, живущий его стихами, и Лермонтов, в глубокой тоске мечтающий о возмездии, «чтоб отомстить стрелявшим в грудь России», — эти образы еще сильнее подчеркивают историческое величие Пушкина:

И вот уже века живут его судьбой...
Да будет ныне мир внимать его рассказам!
Из всех певцов земли он — самый молодой,
Он солнце воспевал и он прославил разум.

Так ясными и убедительными словами о Пушкине, обращением к пушкинской традиции декларирует Саянов свое отношение к поэтическому наследию прошлого. В ранних стихах его не было такой ясности. Пройден плодотворный путь от «комсомольских стихов» до зрелого творчества последних лет. В 1933 году, в предисловии к «Избранным комсомольским стихам», Саянов, вспоминая начало своей работы, писал:

«Обрывки песен, которые распевала молодежь, окраинные словечки, старый рабочий сказ — я жадно ловил все это и заключал в стихи. Новые слова приходили ко мне — и я возвращал их рабочей окраине; некоторые мои стихи наигрывали заставские баянисты, и кто-то из старых путиловских ребят обошел все дома на улице Стачек, разыскивая меня, — он был убежден, что я, автор многих стихов и песен о Нарвской заставе, работаю на «Путиловце». Я ходил по заставе с блокнотом, работал в стенновках, записывал некоторые наиболее мне нравившиеся слова, в дружеской беседе рождались стихи — и многое в них было не от меня, интеллигента и начинающего стихотворца, а от веселых ребят, с которыми я дружил и работал».

В молодой советской поэзии двадцатых годов голос Саянова звучал с юношеским задором «ребят из-за Нарвской заставы». Достигнув подлинной творческой зрелости, в наши дни Саянов входит как уверенный в себе мастер разнообразных тем, поэт широкого кругозора.

Ф. Гаврилова, „Записки рядового партийца“. Литературная обработка Дм. Шеглова. Гослитиздат, Л. 1940

«Как-то вдруг сама собой встала предо мной моя жизнь, и я заговорила о ней, не робея и не стыдясь... Впервые оказалась я в такой огромной толпе. Было ли мне хоть немного страшно? Нет. Наоборот. Новое чувство, чувство решимости и стремления вперед, испытывала я вместе со всеми».

Так внезапно встала перед человеком его жизнь, когда он вступил на рубеж, отделявший его от всего прошлого и открывший дорогу вперед. Это было весной 1917 года, когда деревенская девушка, недавно прибывшая в столичный город, на завод, впервые выступила с революционной трибуны.

Прошли два десятилетия, и снова «вдруг сама собой» прошла перед человеком вся его жизнь, и о ней захотелось рассказать, «не робея и не стыдясь». И тогда была написана книга.

Это повесть о жизни рядового партийца, рассказанная им самим. Правда, судьба Ф. Гавриловой была исключительна. Книга написана не ее рукой, она написана под диктовку. Летом 1938 года слепая женщина принесла эту книгу в издательство, и теперь она напечатана.

«Я знаю это жизнь [зовет меня к сопротивлению]. Это слова Николая Островского, напечатанные в сборнике «День мира», где он описывает рядовой день своей жизни. Книга Ф. Гавриловой — такой же документ мужества и сопротивления: слепота не могла сломить ее волю, и человек поднялся выше собственной судьбы:

«То, что стояло предо мною страшнее смерти — безделье, то, чего я так боялась, теряя зрение, — оторванность от жизни, — все это становилось преодолимо. Я жила радостями и тревогами своей страны. Я была нужна своей родине, и родина заботилась обо мне».

Итак, судьба героини этой книги исключительна, незаурядна. Но не совсем верно было бы утверждать, что именно в этом причина необыкновенной притягательности ее книги. О чем рассказано в книге? О жизни рядового партийца. О том, «как деревенская темная жен-

щина стала бойцом революции, как поняла она, во имя чего надо жить». О том, как после первой своей речи на митинге спустя короткое время она услышала Ильича и как живо она ощутила, что «Ленин произносит мои собственные слова». О том, как донеслась до нее весть об июльском расстреле 1917 года и как встретила она Октябрь. О том, как пошла она с красногвардейским батальоном на фронт, как работала под Пулковым в санотряде. Как отнимала у помещиков землю и участвовала в создании советской власти на селе. Как работала чекистом, агитатором, телефонистом, рядовым пехотинцем, судебным заседателем, уполномоченным по продовольственным заготовкам, членом детской комиссии, воспитателем, завклубом. Как устроила «первый митинг дезертиров Хмерьской волости», образумив поддавшихся кулацкой агитации и скрывшихся в лесу крестьянских ребят. Как негодовала против несправедливостей, помогала обиженным, восстанавливала правду, разоблачала врагов. То есть о том, как жил и работал рядовой, честный партиец, свято храня достоинство советского гражданина, самоотверженно служа революции и не сгибаясь под тяжестью личной судьбы.

Именно в этом основное достоинство книги. Образ Лизаветы, ее героини, своей правдивостью, естественностью, простотой завоевывает чувства читателей. Сила жизненных фактов доведена здесь до степени подлинного обобщения, и в моральном облике Лизаветы, во всем ее внутреннем благородстве, в необыкновенной чистоте ее сердца, в решительности действий и в правдивости слов мы видим воплощение лучших качеств человека нашего времени, поборника правды, большевика.

«В течение полутора лет, — пишет Ф. Гаврилова, — я выполняла обычную работу уездного партийца, который должен был уметь делать все». По существу, на протяжении всей своей сознательной жизни она была на этой «обычной работе партийца» и «делала все». И несомненно, самым тонким искусством, проявленным в этой работе, было искусство понимания человека. Любовь к человеку, заступничество за него и жгучая, неистребимая ненависть ко всем прихлебателям, трусам, скрытым врагам давали героине этой книги отчетливую ориентировку. Потому таким пре-

зрением отмечены Михаил Быков, Кукушкин, Семенов, Бобров — люди, торговавшие советью, бежавшие с поля битвы, расхищавшие народное достояние и вредившие. Потому с такой теплотой говорит автор о людях самоотверженных, трудолюбивых.

Два лирических сюжета проходят через повесть. Это рассказ о двух людях, которых героиня в разное время любила и с которыми порвала. Рассказ этот кладет дополнительные штрихи на центральный образ и на портреты двух встреченных ею людей. Последние не были до конца правдивы перед страной, чрезмерно заботились о личном устройстве, порой жертвуя долгом, борьбой. Героиня же оставалась и в личной жизни «рядовым партийцем», незапятнанным большевиком.

Книга Ф. Гавриловой — волнующая, человеческая книга. Это документ жизни, свидетельство человеческой стойкости, способное вдохновлять и воспитывать, очищать и выращать людей, придавать им моральную силу.

И едва ли будет преувеличением сказать, что книге этой предостит необычная, большая судьба.

И. Эвентов

В. Тоболяков, „Сибирские рассказы“. „Советский писатель“, Л. 1941

Рассказы В. Тоболякова привлекают прежде всего своей естественностью и простотой. Претенциозной вычурности, нередкой в произведениях других авторов, пишущих о Сибири, читатель здесь не найдет. Голос писателя звучит спокойно и уверенно; так говорят люди, у которых есть что сказать.

Книга открывается рассказом «Земляки». Действие происходит весной 1920 года. Черниговский крестьянин Курочка и орловский — Иван Ивашкин идут с Дальнего Востока домой, в родные края. На Дальнем Востоке друзья очутились не по своей воле — их, красноармейцев, попавших в плен где-то под Самарой, чехи отправили в одну из сибирских тюрем, а оттуда — в тюрьму дальневосточного города. Освобожденные партизанами, Курочка и Иван Ивашкин некоторое время пробыли в госпитале, а затем, после жаркой схватки с японскими интервентами, напавшими на части Народно-революционной армии, направились домой, к черниговской хате и орловской избе.

Дальний Восток не по душе двум бывшим красноармейцам, охваченным воспоминаниями о родных селах. «Нехай пропадет этот край!» — сердито говорит Курочка. Немного погодя, он пренебрежительно добавляет: «Я тут женихаться не собираюсь».

У человека, попавшегося навстречу, Курочка, шутки ради, спрашивает, далеко ли еще до Черниговской. Тот отвечает, что Черниговская рядом, и показывает на огни ближайшей деревни. Изумленный Курочка вскоре убеждается, что встречный сказал правду. Не веря своим глазам, видит он здесь, на Дальнем Востоке, белые украинские хаты,

слышит родную речь. В деревне живут переселенцы из Черниговской губернии.

Радушно принятые в первой же хате, куда они зашли, друзья узнают, что весь этот край населен земляками — черниговскими, орловскими, киевскими, воронежскими.

Ивану Ивашкину и Курочке становится ясно, что Дальний Восток — это своя, родная земля, которую нельзя оставить врагам. И, забыв о своем желании вернуться домой, они вместе с другими солдатами идут драться за эту землю, за всю свою необъятную родину.

Любовь к родному краю, свойственная героям рассказа, была вначале неполноценной: за пределами родных сел, родных губерний Курочка и Иван Ивашкин чувствовали себя чужими. Автор сумел просто и убедительно показать, как эта их любовь под воздействием самой жизни становится шире, глубже и содержательнее, перерастает в подлинный патриотизм — действительную любовь ко всей родной стране.

Положительных героев Тоболякова, в большинстве случаев отличающихся друг от друга ясно выраженными индивидуальными чертами, роднит между собой именно эта действительная любовь к своей земле. Изображаемые автором люди обычно «небогаты на слова», зато едва ли не каждое их слово осязательно, конкретно и полномерно, подкреплено делом.

Таков, например, Устин Иванович. Ему, старшине обоза батареи, «молодому коммунисту и старому артиллеристу» («Двенадцать»), комиссар предлагает вести агитацию среди нарооармейцев. Устин Иванович смущен. Он понимает ответственность этой задачи и боится не справиться с ней. На другой день после разговора с комиссаром Устин Иванович, так и не придумавший, с чего и как начать агитационную работу, наблюдает за чистой обозных коней и остается ею доволен: не так, по его мнению, следует чистить народного коня. «Двенадцать кучек шерсти надо с него собрать», — говорит он солдатам и, взяв у одного из них щетку и скребницу, тщательно принимается за дело. Проходит несколько минут, и конь становится неузнаваем. «Хоть в бинокль на него гляди, ничего не сыщешь», — удивляются нарооармейцы. Указывая на вороха вычесанной им шерсти, Устин Иванович обращается к окружающим:

«Товарищи, вот эти кучки! Которые мал-мала-меньше. Чего они могут обозначать? Я, как человек вполне партийный, должен вам пояснить. Сами читали, сами видали, что Хабаровск должен быть нашим. А потому приходится нам с разлюбезным врагом так поступать, как с этими кучками. Чтобы врага у нас мал-мала-меньше было. Под Ином мы его здесь тряханули мордой о снег. Он тогда уж вроде второй кучки стал. Под Ольгохтой опять же его так тряханули, что он пошел вниз с горы, как эта третья кучка. А мы еще нажмем, чтоб он как четвертая стал, как пятая. Так и далее, словом. А от наших обозных коней тоже много зависит. Конь в аккурате скорей снаряды на позицию доставит. Поскорей врага в двенадцатую кучку распотрошим».

Устин Иванович даже вспотел. Передохнув,

коротко закончил: «А теперь по коням! По дюжине кучек чтоб было».

Причина блестящего успеха Устина Ивановича в новой для него агитационной работе заключается в его умении наглядно показать прямую связь между внешне незначительной, будничной работой народоармейцев и общей большой задачей окончательного разгрома врага

Устин Иванович — один из тех, кто, по выражению Маяковского, «приходит к коммунизму низом — низом шахт, серпов и вил». Основные идеи коммунизма, постепенно усвоенные старым солдатом, опираются у него на огромный жизненный опыт, приобретенный в труде и в боях, являющийся естественным выводом из этого опыта. Отсюда нерасторжимое единство слова и дела, придающее такую убедительность объяснениям Устина Ивановича.

Действенная любовь людей труда к своему родному краю в самых разнообразных ее проявлениях — это, в сущности, основная тема «Сибирских рассказов». Во имя этой любви гибнет под Волочаевкой смертью героя народоармеец Косицын («Ножницы»), во имя ее «царь Егор», опытный таежный охотник, выходит против четырех румынских легионеров и берет в плен офицера, известного своими зверствами («Майор Китичанов»); она же заставляет Федора Чихачева, старого колхозного зверолова, рассказать об известных ему месторождениях полезных ископаемых, нарушив тем самым отцовский и дедовский обычай, предписывавший тщательно оберегать эту тайну («Завещание»).

Важную роль в «Сибирских рассказах» играет изображение природы. Суровая сибирская природа, такая привычная и родная для людей труда, изображаемых Тобояковым, является их надежным союзником в борьбе с чужеземными врагами. Особенно интересен в этом отношении рассказ «Прогулка». Партизаны уничтожают итальянский карательный отряд, но майору Паджиотти, начальнику отряда, удается бежать. «Ничего, — говорит партизан Константин Метелев, — тайга наша. Куда он денется?».

Метелев оказался прав. Паджиотти очень быстро почувствовал, что «тайга наша»:

«Его пугало здесь все. Боярка своими острыми шипами рвала его френч и остатки бриджей. Когда ящерица шуршала в прошлогодней траве, Паджиотти бросался в сторону, попадая рукой в колючий куст шиповника».

После нескольких дней блужданий по тайге бывший начальник карательного отряда падает в руки партизан.

В этом изображении родной природы как союзника советских людей в их борьбе за неприкосновенность своей земли много сходного с аналогичными мотивами в нашем современном фольклоре. У замечательного сибирского сказочника Магай (Е. И. Сорокови-кова) есть сказка «Как охотник Федор японцев прогнал». Магай рассказывает:

«...Когда братьям приходилось трудно, то Федор стал просить природу, чтобы и природа помогла им. Никоткуда взялась страшная буря и уронила большую сосну и придавила несколько японцев. Японец напирал, а лес вставал преградой, буря гнула лес в дугу, а Федор с братьями хватывался за вер-

шину. Лес поднимал их и перебрасывал в другую сторону».

Природа в рассказах Тобоякова неотделима от человека, ее хозяина и преобразователя. Строки, в которых идет речь о скрытых ранее богатствах природы, ставших в наше время достоянием законного их владельца, отмечены высокой поэтичностью:

«Олимпиада рассматривала мрамор и яшму. Словно радуясь тому, что они, наконец, оказались в верных человеческих руках, камни ожили. В прожилках серого мрамора забилась оранжевая, малиновая и пунцовая кровь, а над зеленой яшмовой водой, казалось, поплыли вдаль волнистые облака» («Завещание»).

Рецензируемая книга свидетельствует о незаурядном мастерстве Тобоякова. Автор хорошо овладел нелегким искусством короткого рассказа. Отметим любопытную деталь. Тобояков умеет, когда это уместно и необходимо, заканчивать рассказ двумя-тремя фразами, содержащими интересную и глубокую мысль, которая является естественным выводом из предыдущего изложения. Он делает это с большим тактом и вкусом (одна такая концовка — заключительные строки рассказа «Завещание» — приведена выше).

Следует указать на отдельные промахи, допущенные автором. Некоторые слова, употребляемые украинцем Курочкой («Земляки»), напоминают псевдоукраинский язык одного из персонажей «Дней Турбиных». Так, герой Тобоякова несколько раз употребляет странное словечко «страдавали», отсутствующее как в русском, так и в украинском языках (по-украински надо сказать «страждали»). Ему же принадлежит совершенно немислимое выражение «дюже земляков». Слова «дюже» в украинском языке нет, а есть слово «дуже», которое означает «очень»; здесь же надо было сказать «багато» (т. е. «много») или «дуже багато».

Рассказы Тобоякова в большинстве своем тематически связаны с историей гражданской войны, однако те из них, которые отражают нашу современность (таких, к сожалению, немного), свидетельствуют о наличии у писателя всех данных для создания хорошей книги, всецело посвященной нашей сегодняшней социалистической Сибири.

Читатель вправе ждать от Тобоякова такой книги.

А. Бен

Вл. Лидин, „Дорога на Запад“. Гослитиздат, М. 1940

Трудной и овейной славой дорогой двигались советские войска, когда после краха панской Польши выступили они на помощь братским народам Западной Украины и Белоруссии. Вместе с войсками, в числе других фронтовых корреспондентов, эту дорогу проделал и писатель Вл. Лидин. И привез из похода по-настоящему хорошую книжку очерков.

Лидин не задавался целью рассказать обо всех событиях тех наполненных дней и не собирался давать широкое их отображение.

Это и понятно: такая задача не по силам писателю, идущему по горячим следам истории.

Два десятка коротких, — иногда в четыре-пять страничек, — рассказов представляют итог наблюдений, встреч, раздумий. И хотя впечатления и мысли автора изложены в манере путевых заметок и набросков, хотя рассказывается в книге об очень точно названных обстоятельствах, собранные вместе, эти очерки возвышаются над обычным уровнем специальных сообщений с мест, воспринимаются как произведения искусства. Отдельный факт, положенный в основу каждого из очерков, взят крупным планом, художнически осмыслен, и очерковые зарисовки оказываются поднятыми до значения верных и глубоких социально-психологических обобщений.

Со своими спутниками — капитаном Комаровым, фото-корреспондентом Ивашиным и шофером Володей Речным — Лидин исколесил большую часть Западной Украины и Белоруссии.

«В нашем «шевроле», нервной машине с помятыми крыльями, бывшем варшавском такси, еще сохранились дощечка „Drogazka samochodowa“ и счетчик, нащелкивавший фантастическое количество злотых. Машину эту еще бывший шофер угнал из самой Варшавы, и она досталась нам как трофей вместе с просаленной куковской картой Европы, двумя нераспечатанными банками с консервами и форменной фуражкой с прямым козырьком шофера варшавского такси».

Не надо, однако, думать, что так вот, развалясь на подушках авто, совершали корреспонденты увеселительную прогулку по недавним «заграницам», созерцаая окрестности, называя «сюжеты» и пощелкивая объективом фотоаппарата. Нет, на самом деле поездка была обставлена совсем иначе. Это был военный поход. Застревая со своим «шевроле» на грунтовых, по-осеннему размытых дорогах, нередко подвергаясь обстрелу вражеских пулеметов (как об этом рассказано в очерке «Дорога на Трабы»), Лидин и его спутники уже самыми условиями пути были введены в атмосферу прифронтовой полосы. Эта атмосфера определила эмоциональный тон книги.

Но в общей композиции книги дорожные картины играют лишь вспомогательную роль чисто внешней связи между рассказами. Очерчены путевые картины достаточно бегло, пунктирно, места в книге занимают немного. О себе и о друзьях-корреспондентах Лидин пишет тоже скупно и неохотно. В ряде очерков он и вовсе обходится без дорожного «обрамления». Здесь он и его попутчики выключаются из сюжета.

Когда же корреспонденты все-таки появляются в рассказе, они обычно оказываются активно действующими в нем лицами, меньше всего посторонними наблюдателями. Остановясь в деревушке Марьяна на случайный ночлег, они долго, далеко да полночь, ведут беседу с крестьянами о социалистическом жизнеустройстве. И это естественно. На всем пути от границы корреспонденты «видели» крестьянские полоски, межи, узкие ленты, уходящие к взгорью, все эти нарезанные ломтями, как скудный хлеб, клинья с их убогим урожаем, которого нехватало до по-

ловины зимы... И мы, — замечает Лидин, — должны были сейчас говорить о земле и о том, как на этой земле работают наши крестьяне».

Документом великой убеждающей и всепокоряющей силы явился для крестьян в этой беседе Сталинский доклад о проекте Конституции, который кто-то из корреспондентов успел захватить. «Великая народная надежда — земля — была заключена в этой книжке», и потому так властно и бесповоротно завоевывала она сердца обездоленных тружеников.

Характерно в рассказе это произвольное и непредвиденное вторжение автора в действие. Как ни старается Лидин остаться в тени, быть скромным очевидцем, все время дает себя знать тот факт, что рассказчик в этой книге — не поверхностный хроникер и не бесстрастный летописец, а всегда соучастник событий.

Вот почему книга, новеллистическая по структуре, оказывается целостной и органически слитной по внутренней теме, спаянной единым публицистическим заданием и остро эмоциональным отношением автора к событиям и персонажам.

Тема распада «Речи Посполитой» и тема складывания новых социалистических отношений на расширенном пространстве — это две стороны одной темы: возрождения народов, освобожденных Рабоче-крестьянской Красной Армией.

В бывшей Польше Лидин побывал в самый разгар ломки старых порядков, когда немало отжившего еще не ушло из современности, а новое только начало устанавливаться. Лидин явно далек от мысли удивить, эффектно «ошарашить» читателя. Книга написана в сдержанных тонах, но и без того вся старая Польша выглядит для советского человека каким-то диковинным анахронизмом.

Прочно забытые советскими людьми (а некоторыми и вовсе не виданные) уродливо карикатурные социальные типы всплывают со страниц книги: все эти Ваньковичи, Арцышевичи-Ниелецкие, Слущины и Парфенюки — частные поверенные и держатели борделей, желтые газетчики и гробовщики по призванию. Сегодня их уже нет на освобожденной земле. Их право на существование непреложно опровергнуто жизнью. С едкой иронией и нескрываемым презрением рассказывает о них Лидин.

Не меньше удивимся мы, читая об «условиях человеческого существования» польского крестьянства до 17 сентября 1939 года. Ведь все это было так недавно.

«Деревня была глухая, — сообщает Лидин, — уже свыше трех месяцев без спичек, соли и керосина, без радиоприемников и без газет. Меньше суток назад через нее прошли отступающие польские части; они увели с собой всех крестьянских лошадей и отобрали у крестьян последнее сено, оставив расписки, которые можно было бы скрутить на цыгарки, если бы был табак».

«Ночлег», «Песня», «Портрет», «Спирт», «Портной» — добрая половина очерков показывает, как постепенно рассеиваются сомнения и колебания крестьян, чьи головы заморожены были лживыми панскими росказнями, как творческие начинают освобожденные крестьяне переделывать жизнь. Крестьянство — вот истинный герой книги.

И все же об этом герое хотелось бы узнать больше, чем рассказал Лидин.

Красная Армия — другой герой этой книги. Единственная армия, несущая с собой не разрушение, а выполняющая огромную созидательную работу. Армия — родная народу, помогающая ему в его исторических начинаниях и пользующаяся его любовью. Как-то само собой выходит, что бойцы в свободное время чинят вдвойн покосившийся домик («Песня») или на бывшем помещицком тракторе совершают первую запашку нового общественного поля («Спирт»).

Гибкость интонаций, непринужденное пользование разнообразными повествовательными манерами, свободное и органическое влечение в изложение выдержек из газетных статей, стихов Мицкевича и таких специфических журналистских материалов, как тексты местечковых объявлений, вывесок и меню ресторанов и т. п., — все эти принадлежности очеркового жанра ничуть не разбивают стилового единства книги. Правда, изредка проскальзывает кое-где налет беспредметной элегической грусти, рассказах в пяти как-то слишком изысканно «оппадают платаны». И эти следы прежних импрессионистских влияний вызывают удивление своей полной немотивированностью и стилевой чужеродностью. Но недостаток этот почти невесом в интересной, богатой острыми писательскими наблюдениями новой книжке Вл. Лидина.

Д. Золотницкий

И. И. Лебедев, „Из давних лет“. Гослитиздат, М. 1940

Имя автора этой книжки престарелого крестьянского писателя-самоучки Ивана Ивановича Лебедева мало известно широкому читателю. Оно знакомо, быть может, лишь очень узкому кругу историков литературы, когда-либо интересовавшихся суриковским литературным движением. В изданиях суриковцев, литераторов-самоучек из рядов мелкобуржуазной демократии, И. И. Лебедев печатался с 90-х гг. прошлого столетия. А еще того раньше, в 1882 г., он выпустил первую книжку стихов «Занозы и слезы».

Но зато хорошо знают пьесы Лебедева в деревне. И. И. Лебедев является пионером крестьянской драматургии, одним из создателей зловещного репертуара для деревенского театра. Некоторые пьесы Лебедева выдерживали по десятку изданий. Лучшая и самая ходкая из них, с заглавием, прямо вводящим в тему, получила одобрительный отзыв А. В. Луначарского. В статье «К вопросу о революционном театре» («Вестник театра», 1920, № 49) первый нарком по просвещению писал:

«Пьеса И. Лебедева «Голодные и сытые» — поистине превосходная вещь... По идее пьеса не нова. Она противопоставляет темную, голодную деревню — с одной стороны, и верхоглядыв-культуртрегерев, выходцев паразитических классов — с другой... Со стороны же формы пьеса тов. Лебедева — превосходна. Крестьянские типы удались ему как нельзя

лучше; они говорят сочным сельским языком, от которого брызжет непосредственной, стихийной талантливостью... Пьесу нельзя назвать революционной в точном смысле этого слова, но эта пьеса глубоко народная, благородная в своем плаче над горем народным и в своей негодующей сатире».

В этой оценке верно отмечены главные достоинства произведений И. И. Лебедева: точное изображение деревенских нравов и настроений дореволюционной поры, выразительность языка, насыщенность действия мотивами народного протеста, порой еще стихийными. Именно благодаря этим качествам пьесы и рассказы Лебедева не лишены известного интереса и для современного крестьянского читателя.

В рецензируемой книге собрана проза И. И. Лебедева. Лебедев — один из тех немногих «людей страшной жизни» (говоря словами М. Горького), которым из «низов» старой России удалось все же пробиться к литературе. Поистине о страшных событиях говорится в его повестях и рассказах. Наиболее крупное из произведений — «Прошкина юность» (эта повесть прежде печаталась под названием «Вчера и сегодня») — несомненно автобиографично, что не мешает повести служить воплощением жизни целых поколений людей «из народа». Именно в качестве такой типической биографии человека из народа она и задумана автором.

Большим достоинством этой до жестокости правдивой повести является образ стоящего в центре ее героя, умеющего сохранять и пронести через все тяготы и испытания душевную бодрость и веру в светлое будущее народа. Повесть получилась оптимистическая и по «колориту» и по своему сюжетному разрешению. Но из этого отнюдь не следует, что, как полагает анонимный автор предисловия к книге, «трагическая история его (Прохора, героя повести. — Д. З.) проникнута оптимизмом, напоминающим нам оптимизм Павла Корчагина». Вряд ли эта явная и грубая натяжка поможет читателю уяснить черты своеобразия повести, осознать место ее в нашей литературе.

Есть в книге и произведения мало удачные. Это главным образом беглые, эскизные зарисовки «с натуры» и «юмористические сценки». В них автор силится подражать фольклорному анекдотическому жанру, но не достигает сатирической силы и остроты избранных им образцов. Герои этих «сценок» разговаривают слащавыми, уменьшительными полусловечками: «камушки», «молоточки» и т. п., и не только в речь персонажей, но и в собственную авторскую речь проникают искаженные, псевдонародные выражения, как «ефто», «ишо» и проч.

Бесспорно интересны записки автора об его более чем восьмидесятилетнем пути. Это не только ценный комментарий к произведениям но и человеческий документ самостоятельного значения. Долгую и трудную жизнь прожил И. И. Лебедев. Родился он еще при крепостном праве. Нищее детство, услужение у кабатчика, конторская должность при винокуренном заводе и, наконец, сотрудничество в провинциальных и мелких московских газетах — таковы вехи биографии Лебедева.

Жаль только, что Лебедев ни словом не обмолвился в воспоминаниях о своем былом литературном окружении. В частности, о Московском кружке писателей из народа, в сборниках которого «Думы», «Грезы», и «Нужды» (1895—1897) печатались и его стихи.

Д. Золотницкий

Борис Брик, «Шамиль».
Поэма Гослитиздат, Л. 1940

Поэма Б. Брика посвящена национально-освободительной борьбе горских народов Дагестана и их вождю — Шамилю. Деятельность Шамиля, в течение многих лет борющегося с колонизаторской политикой царизма, человека легендарной храбрости, неистощимой энергии и большого государственного таланта, не была до сих пор надлежащим образом показана в нашей литературе. Однако нельзя сказать, что и Брик справился с этой задачей и сумел создать действительно исторически верный образ Шамиля.

Шамиль был не только религиозным фанатиком, грозным имамом, ведшим непримиримую борьбу с русским самодержавием под знаменем гасавата, каким его обыкновенно представляла официальная историография. Под религиозной оболочкой движения мюридизма заключалась идея социального равенства, демократической борьбы с феодальными верхами. Шамиль был вождем крестьянских масс, возглавившим их борьбу как за национальную независимость, так и против феодального гнета, против власти своих князей. Недаром Маркс, сочувственно следивший за борьбой Шамиля против русского самодержавия, назвал его в одном из своих писем «демократом». Вот этой социальной, демократической стороны движения, связей Шамиля с народными массами Брик в своей поэме показать не сумел. Его привлекла романтически-легендарная биография Шамиля, героический ореол его личности.

В течение тридцати лет Шамиль вел упорную, но неравную борьбу с самодержавием. Много раз его отряды бывали наголову разбиты и сам он, израненный, растерявший своих приверженцев, должен был спасаться бегством, с тем чтобы спустя немного времени вновь организовать сопротивление. В 1859 году Шамиль, осажденный в Гунибе, был вынужден сдать на милость победителей и отправлен кн. Барятинским в Петербург, к Николаю I. Последние годы своей жизни Шамиль провел в почетном плену в Калуге и лишь перед смертью получил разрешение на поездку в Мекку, где и умер. Эти основные вехи жизни Шамиля и положены в основу поэмы. Однако, несмотря на большой охват событий во времени, самый образ Шамиля получился неясным и романтически-условным.

Возможно, что одной из причин неудачи автора явилось совершенно не оправданное ни исторически, ни художественными соображениями изложение событий от лица писателя-декабриста А. Бестужева-Марлинского, якобы перешедшего на сторону Шамиля и оставившего свои записки. Эффектно-

романтический ореол, сложившийся вокруг личности автора «Аммалат-бека» и «Муллы-Нура», способствовал возникновению легенд, связанных с его именем. После его гибели в 1836 году в бою у мыса Адлер долго передавались фантастические рассказы и легенды о том, что Марлинский не погиб, а ушел в горы к черкесам.

Конечно, Б. Брик имел право использовать эту легенду в поэтическом произведении. Но беда в том, что благодаря этому самый образ Марлинского у Брика вышел не только романтически-легендарным, но и внутренне фальшивым. При всем своем отвращении к николаевскому режиму Марлинский не мог стать перебежчиком. Этому противоречат не только фактические данные, но и весь внутренний облик писателя-декабриста, все его убеждения. Верность своему долгу, глубокое чувство патриотизма исключали для Марлинского, хотя и относившегося с большим сочувствием к горцам, переход на их сторону. Поэтому и та роль, которую он играет в поэме в качестве сознательного и принципиального «пораженца» и перебежчика, совершенно неверна исторически. Кроме того, показывая самого Шамиля и историю борьбы за независимость горских народов глазами Марлинского, автор суживает возможности исторически верно изображения и обрекает себя на стилизацию самой манеры и языка вымышленных «записок» Марлинского. Правда, эта стилизация очень невыдержана и во все не напоминает романтической эффектности и затейливости стиля Марлинского, но и она чрезвычайно связывает автора и утомляет читателя.

«Шамиль» — вторая поэма Брика. Однако едва ли она является шагом вперед по сравнению с первой, посвященной Чапаеву. События и люди, о которых говорится в поэме, при всем драматизме их биографий чрезмерно литературны и в то же время показаны очень внешними, традиционными чертами.

Основным пороком поэмы является ее вялость, многословность, книжность. Задуманная в духе романтической поэмы 20-х-30-х годов, поэма Брика все время сбивается на стилизацию, полна литературных реминисценций и штампов. Даже в самом сюжете сказывается какая-то литературная трафаретность, нарочитая сентиментальность. Тут и пленная княжна Нина Чавчавадзе, и влюбленный в нее, умирающий в разлуке сын Шамиля, Джемаледдин, и традиционное кольцо, переданное на балу в знак памяти об умершем, и т. д. Но дело не только в этой традиционности сюжетных мотивов и аксессуаров, а в отсутствии своего, непосредственного восприятия, живого отношения автора. Брик словно делает свою поэму по готовым образцам.

Уже самый пролог к поэме носит этот стилизованный характер, откровенно перелицовывая знаменитый лермонтовский «Спор»:

Сабли блещут сквозь туман,
Дым смешался с прахом.
Это бьетса Дагестан
С белым падишахом...

Захватил седой Стамбул
Свой клинок дамасский
И поспешно заглянул
За хребет Кавказский.

Здесь все идет от Лермонтова: и персонафикация образа, и размер, и словарь, и в то же время все очень непохоже на Лермонтова. Разве можно представить себе, чтобы Лермонтов написал «дым смешался с прахом» («прах» здесь в смысле тлена)? Да и весь пролог настолько растянут, что никак не вяжется с точной и экономной манерой Лермонтова. Это многословие, вялость стиха особенно вредят поэме: в ней слишком много пустых мест, лишние подробности, безжизненных, книжных строк. Вот, например, рассказ Марлинского о себе:

И вновь приняв лихой удел солдата,
Вступил в союз я с бедною страной,
И стал я жить судьбой ее, когда-то
Со стороны изведенной мной.

В чужом краю, угрюмом и гористом,
Где бог войны справлял кровавый пир,
Я перестал быть смышленым декабристом
И заменил черкескою мундир.

Я полюбил изгибы узких улиц,
Обвалов гул и дым от кизяка
И на лезгин, как их одноаулец,
Уж не глядел отныне свысока.

Ритмическое однообразие стиха не нарушается от того, что автор пользуется разными размерами, разной строфической формой. Все эти разнообразные фрагменты лишь внешне, формально отличны, а по существу столь же аккуратно, по правилам стихосложения написаны.

Эта анемичность поэмы происходит оттого, что Брик не смог глубоко, поэтически «перезжить» ее образы. Самый сюжет, все идейное ее содержание слишком литературно-традиционно, сделаны по книжкам, занимательно-романтическая фабула подменяет в ней подлинное ощущение истории и эпохи. Можно привести немало примеров такого внешнего, версификаторского отношения к стиху. Так, патетическая по своему содержанию «Исповедь Джемаледина» написана каким-то водевильно-куплетным ритмом, совершенно не вяжущимся с ее содержанием:

Ты хочешь знать, Марлинский,
Как к русским я привык
И позабыл лезгинский,
Родной душе язык?
Но к цепи привыкает
С годами даже хищник,
И наконец смолкает,
Когда-то грозный, рык (?).

Всего в поэме около 3000 строк, прочесть которые из-за вялости стиха трудно, несмотря даже на сюжетную занимательность действия и драматический характер событий.

Н. Степанов

*Жюль Ромэн, „Прелюдия
к Вердену“, „Верден“. Интер-
национальная литература,
1940, № 7—8*

Есть книги, которые звучат обвинительным документом, своеобразным «j'accuse» хозяевам капиталистического мира. И каков бы ни был нарочито бесстрастный, объективистский

тон повествования, каковы бы ни были философско-исторические позиции самого автора — все же невозможно заглушить в них голос обличителя.

К числу таких книг принадлежат романы Жюль Ромэна о Вердене — XV и XVI тома серии «Люди доброй воли».

Романы о Вердене — кульминационный пункт этой серии. Ибо вся история предвоенной Франции, описанная в первых четырнадцати томах, дана в свете опыта первой империалистической войны, как история назревания кризиса, приближения военной катастрофы, подрывающей все устои буржуазного общества. Автор вскрывает факторы, подготовившие войну, дает анализ кризиса Третьей республики, развешивает блестящую сатирическую картину ее нравов, политики, культуры. И все это — под знаком грядущей войны. Сквозь всю серию красной нитью проходит мысль: империалистическая война — это исторический рок, Немизида буржуазной Франции.

В романах о Вердене вскрывается обширный документальный материал, связанный с верденской операцией. Разоблачаются преступное легкомыслие и слабость верховного командования, его неспособность нащупать «нерв» войны, направление главного удара, его блуждающие в потемках, наугад, стремление во что бы то ни стало скрыть от страны истину, склонность к обману, даже к предательству и авантюризму. Вся история Вердена рассматривается как величайшее преступление верховного командования и правительства Франции по отношению к родине и народу.

Целый мир предстает на страницах этих книг. Подобно своим учителям, великим французским реалистам XIX века, Жюль Ромэн мог бы сказать: «Мое произведение имеет свою географию, как свою генеалогию и свои фамилии, свои места и свои вещи, своих людей и свои события, словом — весь мир».

Но мир этот хаотичен, всецело подчинен игре случайности, находится во власти темных, стихийных сил. Весь ход исторического развития представляется автору лабиринтом человеческих воль, хаосом, сквозь который едва брезжут исторический разум и историческая закономерность. И в книгах Жюль Ромэна толпится великое множество людей различных классов, сословий, профессий. Человеческие лица на мгновение всплывают на поверхность общего потока, чтобы вновь исчезнуть, захлестнутые водоворотом событий; мелькают обрывки человеческих судеб, спутанные, переплетенные между собой.

Так, один за другим встают перед нами участники трагедии Вердена, исторические деятели и вымышленные лица.

Вот Жоффр, человек большого личного обаяния и непоколебимой ясности духа, но ограниченный и близорукий политик, без исторического чутья и «чувства времени». Гюро, дипломат и министр, человек с гибкой и покладистой совестью и легким, поверхностным умом, облученный доверием правительства и делающий себе карьеру на ожидании военной катастрофы. Командующий армией генерал Дюрур, гротескная фигура,

написанная в убийственно сатирических тонах. Это карьерист, трус и филистер, горе-теоретик и стратег, плетущийся в хвосте событий, позер, деланным глубокомыслием и псевдоученостью прикрывающий свое полнейшее ничтожество. Нет, во всей этой коллекции бездарностей, карьеристов и предателей не найти героя Вердена, спасителя Франции от позора и разгрома.

Не найдем мы его тем более в тылу. Жюль Ромэн развертывает картины тыла: разгул продажности, наглая спекуляция, торговля оптом и в розницу человеческой жизнью, кровью народной. Вот мадам Тодори, подруга Гюро, с широкими связями в высших дипломатических кругах, интриганка и лицемерка, хозяйка и руководительница салона. Здесь назначаются и смещаются генералы, заключаются политические и коммерческие сделки, обсуждаются секретные планы командования и общее направление его политики, составляются прогнозы дальнейших военных действий. Отсюда, из аристократических салонов и из кабинетов промышленников, управляет армия и решаются важнейшие вопросы внешней политики. Вот Аверкамп, военный подрядчик и спекулянт, человек алчного, чисто животного эгоизма, мелкий хищник, вредитель и авантюрист чистой воды. Вот Майкотен, рабочий военного завода, заглушивший в себе голос чести, окопавшийся в тылу и жиреющий вместе со своей подругой на легких заработках.

И наконец, даже на фронтах, в окопах, на линии огня, мы напрасно стали бы искать героев, спасителей Вердена. С большой теплотой и мягкой, сентиментальной иронией автор рисует фигуры лучших людей французской интеллигенции, либо мобилизованных, либо добровольцами ушедших на фронт. Это Жерфаньон, чей обаятельный образ открывается в его письмах и беседах с женой Одеттой и другом Жаллезом: волюнтерист, мечтатель с юношески-воспламеняющей фантазией, с философски-обобщающим умом и детски-непосредственным сердцем, упивающимся самыми простыми, обыденными житейскими радостями. Его друг Фабр, неизменный и верный товарищ, во всех опасностях и трудностях военной жизни. Кланрикер, мучительно переживающий на войне не лишения, тяготы и страх смерти, но «вопросы совести», мечущийся между необходимостью повиноваться несправедливому приказу и отвращением вести своих людей на смерть, ненужную и нелепую. Дево, раненный, лежа в госпитале и ожидая ампутации обеих ног, терзается религиозными сомнениями и чувствует крушение своей веры, всего своего внутреннего мира. И много, много других...

Из поля зрения Жюля Ромэна, который пожелал быть историком верденских боев и мировой войны 1914—1918 годов, выпал единственный подлинный герой Вердена: не маршалы и генералы, не члены верховного командования армии, не депутаты, выступавшие в парламенте, а французский народ, который встал стеной вокруг Вердена и отдал на защиту его свыше миллиона жизней.

Жюль Ромэн стремился стать последователем и продолжателем великих мастеров французского реализма XIX века. Подобно им, он

хотел быть не только художником, но и историком, социологом, философом, «доктором социальных наук», как говорил Маркс о Бальзаке. Он мечтал «дать историческую хронику нравов и событий, создать историю, каждая глава которой должна быть романом, а каждый роман — эпохой» (Бальзак), построить эпопею по образу и подобию «Человеческой комедии» и «Ругон-Маккаров», охватывающую всю социальную жизнь Франции XX столетия.

Но ничто не помогло Жюлю Ромэну: ни историческая документация, ни обширный познавательный материал, ни честность художника-реалиста. Ему не удалось вскрыть движущие силы истории, силы классовой борьбы, дать судьбы народов, обнаружить ростки новой культуры, возникающей на обломках потрясенной войной европейской цивилизации, показать новое революционное сознание, родившиеся в широких народных массах в огне Вердена и Ипра, на полях первой мировой войны. Да и как мог это сделать Жюль Ромэн, вначале буржуазный пацифист, затем официальный пропагандист завоевательной политики Франции, открыто перешедший в лагерь французского империализма? Ведь гений Бальзака, Стендаля, Золя умел провидеть будущее, умел вынести смертный приговор старому миропорядку и возвестить рождение нового мира. Но давно миновал золотой век критического реализма, и не эпигонам современного буржуазного искусства возродить его. Ибо преемственность его славных культурно-исторических традиций — это дело мировой революционной литературы и, в первую очередь, ее авангарда — советской литературы.

Р. Миллер-Будницкая

Томас Бойда. „В мирное время“ Пер. К. Ксаниной. Гослитиздат, Л. 1940

Американская литература дала за последние годы ряд произведений, принадлежащих к наиболее значительным явлениям мировой литературы нашего времени. К числу таких произведений надо отнести «Гроздь гнева» Стейнбека и «Сын Америки» Ричарда Райта, ярко и талантливо раскрывающие мрачную действительность современной Америки.

Наряду с такими книгами существуют книги, не выделяющиеся художественными достижениями, но честно и правдиво изображающие процессы, которые происходят сейчас в сознании американской интеллигенции. Эти книги псказывают, как американская интеллигенция, утратив веру в старые иллюзии, начинает переходить на новые позиции. Этой теме посвящены романы Лины Зугсмис, Престона и др. Эта же тема лежит и в основе романа Томаса Бойда «В мирное время».

Герой романа, — репортер Хикс, участник первой империалистической войны, человек, совершенно не разбирающийся в социальных вопросах, — кончает тем, что осознает свою связанность с рабочим классом. Причем путь, пройденный Хиксом, — это не обычный путь,

по которому американские писатели приводят своих героев к революционным идеям. Не собственные долгие, мучительные лишения, не картины зверского обращения предпринимателей с рабочими, не варварские сцены линчевания негров или какие-либо другие вопиющие явления капиталистической действительности способствовали радикальному поведению Хикса. Нет, его привело к этому другое: цепи повседневногo, будничного быта, опутывающие Хикса паутиной растущих потребностей, которые он не может удовлетворить, и всасывающие его в омут долговых обязательств, которые он не может оплатить. Даже материальные удачи не создают чувства уверенности и удовлетворенности, потому что возможности не поспевают за потребностями, потому что незначительный успех дает не большую свободу, а большее рабство, наконец потому, что перспектива потери работы в будущем омрачает всякое достижение настоящего.

Хикс — отнюдь не неудачник. Он женится на любимой девушке и счастлив в семейной жизни. Он быстро получает работу и неплохо продвигается по служебной лестнице. Он даже заводит себе любовницу из буржуазного круга. Жена его, поступив на службу, тоже занимает хорошее положение, и до поры до времени все идет как будто хорошо. Каждый имеет возможность пробыть, кругом столько соблазнов, и так мало нужно, чтобы эти соблазны стали доступными! Все как будто идет тебе навстречу: детская коляска покупается в рассрочку, автомобиль покупается в рассрочку, дом покупается в рассрочку. Наконец, если ты хочешь построить собственный дом, то это тоже доступно — надо только взять ссуду в банке, который охотно пойдет тебе навстречу.

Но из этого общего благожелательства выковырывается цепь, которая обвивается вокруг шеи, зажимает ее железным кольцом и не дает вздохнуть. Если ты в срок не вносишь деньги, универсальный магазин накладывает арест на твой жалкий текущий счет в банке, домовладелец приходит к тебе на службу, чтобы наложить арест на твою заработную плату, а банк отбирает твой дом, в который ты вложил уже столько труда и денег. Свободная инициатива для маленького человека существует только в мечтах, а в жизни он видит лишь подневольное рабство. И это ощущение своей связанности и загнанности, эта невозможность хоть раз вздохнуть полной грудью, эта обреченность жить не так, как хочется, и делать не то, что хочется, — все это порождает в Хиксе глухой и смутный протест против окружающего.

Достоинство книги Бойда в том, что в ней с удивительной реальностью воспроизведен тот узкий круг профессиональных и семейных отношений, в котором мечутся Хикс и его жена Патси. С первых дней супружества — денежные тиски, высчитывание каждого пенса, трудность сводить концы с концами. Зарплаток растет, но свободы и радости не приносит, потому что вместе с заработком растут и расходы. Куда ни глянь — счета, счета и счета... За уголь — счета, за газ — счета, за новые платья — счета и т. д. В результате, несмотря на увеличение заработка, — необходимость сокращения расходов. Но

ведь это — время «просперити», время, когда хозяйство процветает, цены на недвижимость растут, население богатеет, жизнь бьет ключом, мечты превращаются в реальность и будущее таит тысячу заманчивых возможностей! Хикс и Патси выстроили себе хороший дом, по которому, правда, предстоят большие платежи, но ведь это — «просперити», и пока все идет хорошо! Но Хикс чувствует непрочность своего благополучия и понимает, что над ним нависает какой-то непоправимый удар.

И удар не заставляет себя ждать. «Просперити» сменяется кризисом. Крах банков, закрытие предприятий, сокращение рабочих и снижение заработной платы.

Хикс и Патси теряют дом. Хикс лишается работы... Умирает от удара мать Патси, и им приходится содержать старого безработного отца... Всеобщая паника и уныние. мрачные перспективы в будущем. Правда, положение Хикса не так уж скверно. У Патси еще есть работа, у них сохранилось бенгало, куда они опять въезжают всей семьей, но Хикс уже дошел до предела. Ему опротивела эта бесодержательная, мучительная жизнь, ему опротивели ложь и лицемерие, встречаемые им на каждом шагу, ему опротивела разрозненная, унижительная борьба за существование миллионов задыхающихся одиночек — и он приходит к неизбежному выводу, единственному выводу, который может внушить бодрость и надежду: «Добиться чего-нибудь мы сможем только, если будем вместе с рабочими».

Не только личная жизнь Хикса, его личные неудачи и невзгоды подготовляли эту внутреннюю перестройку. Тот мир, в котором он жил, те люди, с которыми он общался, постепенно раскрывали ему глаза и вызвали ненависть «ко всему этому проклятому строю». Он видит продажность и беспринципность газет и понимает, что между лицемерным соглашательским «рабочим» «Маяком» и откровенно буржуазными «Новостями» нет разницы. Он видит методы и характер предвыборной кампании и приходит к выводу, что кандидаты в мэры с самой различной программой мало чем отличаются друг от друга. Он видит, как «выправляются» его репортерские заметки, и начинает отдавать должное демократической «свободе печати». Его воспитателями делаются реальные, конкретные факты, реальные, конкретные обстоятельства.

Правда, характерам Бойда недостает глубины, правда, Бойд несколько поверхностно изображает их мрачные внутренние переживания, но все они — живые люди, показанные в своем простом человеческом облике. Сам Хикс, Патси, ее старики-родители, циничный пьяница-писатель Воан и его племянница Карлотта — любовница Хикса, образы репортеров и др. — все это вполне конкретные, осязаемые, персонажи, живущие на вполне конкретном, осязаемом фоне. Все это — картина нравов современной Америки, показанная писателем, который прежде всего хочет быть правдивым и умеет дать художественно убедительное изображение жизни.

Роман, переведенный К. Ксаниной хорошим, простым языком, читается легко.

О. Немеровская

В. Я. Виленкин, „Вл. И. Немирович-Данченко“. Очерк творчества. Изд. Музыкального театра им. нар. арт. СССР Вл. И. Немировича-Данченко, М. 1941

Трудно представить себе мало-мальски культурного человека, которому было бы неизвестно имя Вл. И. Немировича-Данченко. И все же каждый раз, когда знакомишься с публикацией каких-либо новых материалов по истории Художественного театра, истории первых горьковских и чеховских спектаклей, поставленных инициативой Немировича-Данченко, — каждый раз словно заново узнаешь этого прозорливого знатока искусства, создавшего совместно со Станиславским лучший театр нашей эпохи.

Это чувство вновь охватывает читателя, едва он начинает перелистывать (а затем неотрывно читать) монографию театроведа Виленкина. На трехстах с лишним страницах монографии уместилась не только сжатая, продуманная характеристика основных этапов творческой истории Немировича-Данченко как критика, драматурга, режиссера, педагога, превосходного театрального организатора. Особым достоинством книги следует признать публикацию ряда интересных высказываний Немировича-Данченко, почерпнутых из стенограмм репетиций, писем, бесед.

Среди иллюстраций — факсимиле надписи, сделанной Горьким на томике рассказов, подаренных Немировичу-Данченко на втором году существования Художественного театра, сорок лет назад:

«Старшему брату по перу, создающему в России новый, действительно художественный театр. Удивляюсь вашей энергии и уму — искренно, почтительно преклоняюсь перед вами» — писал Горький, желая «силы и бодрости в этом великом, исторически-важном деле».

Впоследствии, вспоминая о знаменитой своей двухдневной беседе со Станиславским в ресторане «Славянский базар», положившей начало организации Художественного театра, Немирович-Данченко писал:

«Труд театра — вот что мы, люди театра, любили больше всего на свете. Труд упорный, настойчивый, многоликий, наполняющий все закулисье сверху донизу, от колосников над сценой до люка под сценой; труд актера над ролью, а что это значит? Это значит — над самим собой, над своими данными, нервами, памятью, над своими привычками... Труд мучительный, жертвенный, часто неблагодарный до отчаяния, и тем не менее труд, от которого актер, раз ему отдавшись, уже не захочет оторваться никогда в жизни, не променяет его ни на какой более спокойный... Если этого нет, — не надо идти в театр. Вот что было в самом корне сближения между мною и Станиславским».

Творческая жизнь Немировича-Данченко — замечательный пример умной и глубокой любви к искусству, помноженной на огромный, непрестанный труд, масштаб которого далеко не ясен зрителю, знакомящемуся только с конечным результатом работы — спектаклем.

Немирович-Данченко в беседах с актерами любит повторять, что «на сцене ничего не

может быть чересчур, если это верно». В 1923 году молодая Музыкальная студия МХАТа показала постановку «Лизистраты», вызвавшую бурную дискуссию. Немирович-Данченко, парируя критическую статью, эффектно названную «Пожар Вишневого сада», заметил: «Сад сгореть может, но почва никогда!» И дальше стал развивать излюбленную свою мысль о необходимости «говорить со сцены только правду, но правду не в натуралистической ее сущности, а в кратоте яркого обобщения». Когда сейчас читаешь театральные рецензии Немировича-Данченко, написанные почти 60 лет назад, видишь, что уже тогда, в самом начале жизни в искусстве, он отставал мысли, убеждения, нашедшие окончательное выражение в его сегодняшних требованиях актеру, — «добиваться мужественной простоты, слиянности трех правд — жизненной, социальной и театральной».

В 1882 году, в содержательном анализе гастрольных спектаклей Сальвини, Немирович-Данченко, подробно разбирая приемы исполнения знаменитым трагиком роли Отелло и указывая, как поражают зрителя «непринужденность, простота артиста», делал примечательное отступление по вопросу, не потерявшему остроты и до наших дней:

«Кстати скажу, что слово «простота» в русской театральной жизни понимается совершенно неправильно. В последние годы между русскими актерами сильно развилось стремление к простоте, завещанной Шепкиным и Шумским. Это стремление часто доводит актеров до крайности. Тот актер, — по мнению театральной публики среднего уровня, — играет просто, который не старается оттенять более выдающиеся места роли, вносит в игру некоторую вялость речи и движений. Простоту едва не делают синонимом бесцветности. Это — совершенное заблуждение. От актера непременно требуется энергичное отношение к роли, и, хотя бы даже изображаемое лицо было выхвачено из простой жанровой картины, актер должен передавать его не только жизненно, но и художественно. В жизни есть много бесцветного, но оно не может составлять предмет сцены, требующей движения. Фотография вялых бесцветных диалогов не может быть художественной, не только потому, что она скучна, но и потому, что она неинтересна» («Русский курьер», 1882, № 100).

1909 год. Немирович беседует с участниками постановки андреевской «Анатэмы»:

«Я пришел к убеждению за последний год, что если бы захотели уничтожить реализм, который имеется в составе самого театра, то нужно было бы уничтожить весь театр... Беда, когда реализм уходит в натурализм мелкий. Идеал — реализм, отточенный до символа. Жизнь должна быть самым первым источником сценического воплощения».

Стенограммы репетиций Немировича-Данченко, его бесед с актерами содержат сотни характерных замечаний, направленных против рутины, плоского натурализма, мнимой простоты, обманчивого штампа.

Немирович-Данченко упорно добивается от актера создания многогранных, живых, целостных образов, ощущения органичной непрерывности жизни образа на сцене.

«Никак нельзя, чтобы актер жил только теми словами, какие он сейчас произносит, и

тем содержанием, какое по первому впечатлению под этими словами находится, — говорит он на репетиции «Трех сестер». — Каждая фигура несет с собой что-то недосказанное, какую-то целую большую жизнь невыраженную. Где-то вдруг она прорвется, в какой-то фразе, в какой-то сцене. Тогда наступает та высокохудожественная радость, которая составляет театр».

На одной из репетиций Немирович-Данченко резко отчитывает актера, прибегающего к штампам:

«Следите за улыбкой! Нет более обманчивого штампа, чем улыбка. Как актер улыбается — я сейчас же проверяю: почему он улыбается? Улыбка часто скрывает содержание. Если ее снять — будет гораздо глубже и мужественнее... Этой улыбкой закрывается занавес для внутренних правдивых раскрытий».

Стремясь в работе над спектаклем прежде всего с предельной точностью установить и провести мысль, идею пьесы в целом, мысль каждой сцены, образа, Немирович-Данченко добивается от исполнителей желаемого результата с тончайшим проникновением в эмоциональную природу актерского творчества:

«Живые люди на сцене должны быть только эмоциональны, — говорит он на репетиции. — Мысль посылается нервам, а нервы играют, но не голые мысли «разбираются» в спектакле».

В книге Виленкина публикуется письмо Немировича-Данченко, написанное им вдумчивому критику Любви Гуревич незадолго до Октябрьской социалистической революции. Делясь своими репертуарными планами, Немирович-Данченко писал:

«Увы! я не могу с вами согласиться, что «Горе от ума», наше «Горе от ума» было бы сейчас подходящим спектаклем. Потому что наше «Горе от ума», в конце концов, все-таки сведено к красивому зрелищу, лишенному самого главного нерва протеста, лишенному того, что могло бы лишний раз дразнить и беспокоить буржуазно налаженные души. В настоящий момент особенно ярко чувствуется, до какой степени красота есть палка о двух концах, как она может поддерживать и поднимать бодрые души и как она в то же время может усыплять совесть. Если же красота лишена того революционного духа, без которого не может быть никакого великого произведения, то она, преимущественно, ласкает бессовестных».

Эти замечательные строки, написанные, — повторяю, — за несколько месяцев до октября 1917 года, делают особенно понятной органичность всего дальнейшего пути Немировича-Данченко в советском искусстве. Последние годы в ряде выступлений Немирович-Данченко со всей искренностью говорил, что Октябрьская революция вооружила его как режиссера особенным прожектором, находящимся как бы внутри его самого, в мозгу и сердце. В свете этого прожектора он видит новое даже в давно отживших образах, в их психологии, в бытовых чертах.

В книге, рассчитанной не только на специалистов, но и на широкий круг читателей, Виленкин лишь мельком и, надо сказать, в достаточно туманных выражениях касается вопроса, представляющего далеко не частный, а сугубо принципиальный, весьма существенный и для истории театра и для сегодняш-

ней творческой практики интерес, — вопроса крупных методологических разногласий между двумя создателями Художественного театра — Немировича-Данченко и Станиславским. Эта тема (то, что сам Немирович-Данченко называет своим «40-летним спором с Художественным театром») еще ждет своего исследователя. В целом же очерк творчества Немировича-Данченко, написанный Виленкиным, является ценным вкладом в весьма и весьма скудную критическую литературу об одном из крупнейших деятелей русского театра.

С. Давыдов

В. Десницкий, М. Горький. Очерки жизни и творчества. Гослитиздат, Л. 1940

Книга В. Десницкого — сборник статей о Горьком, написанных в разное время, но по ознакомлению с ней хочется назвать сборник книгой о Горьком, а статьи — главами книги. Объединены статьи в одно органическое целое в первую очередь, как законно заметил их автор в предисловии, «любовью к великому писателю и прекрасному человеку». Объединяет статьи сборника и их мемуарный характер.

В. Десницкий поставил и осветил в своей книге наиболее важные вопросы изучения Горького: Ленин и Горький, Горький на заре первой революции, Горький в революции 1905 года, Горький в борьбе с реакцией, Горький — автор революционной повести «Мать» и выдающихся повестей автобиографического цикла, Горький и русская литература. И эти проблемы жизни и творчества великого пролетарского писателя настолько глубоко и принципиально правильно разрешены, что статьи Десницкого на долгое время сохраняют свое значение для биографов и исследователей Горького.

В лучшей статье книги — «В. И. Ленин и М. Горький» — на истории отношений и дружбы двух великанов глубоко и всесторонне показана тесная и органическая связь пролетарского художника со своим классом, со своей большевистской партией, любовное, отеческое отношение Ленина к Горькому, символизирующее любовь партии и народа к своему писателю. Этот волнующий момент лейтмотивом проходит и через другие статьи книги.

Десницкий поступил совершенно правильно, что в статье «В. И. Ленин и М. Горький» уделит центральное место Лондонскому съезду, ибо на этом съезде Ленин прочно вошел в сознание Горького как вождь миллионов, как гениальный стратег социалистической революции. Высказанная Десницким мысль о том, что Лондонский съезд имел для Горького огромное революционизирующее значение, подкрепляется неоднократными свидетельствами самого Горького в его воспоминаниях о Ленине.

Вернувшись с Лондонского съезда, Горький писал И. П. Ладыжникову:

«Съезд меня ужасно хорошо починил! Много темное стало ясным, психология меньшевизма понятна и удивительно поучительна» (Архив А. М. Горького).

Статья «В. И. Ленин и М. Горький» в достаточной степени вскрывает своеобразие мемуарного жанра В. Десницкого. В мемуарах о Горьком многие авторы отдаются лирике воспоминаний и остаются только зарисовщиками интимных отношений, бытовых деталей. В. Десницкий отдает некую дань этой интимно-бытовой стороне, но главное, основное во всех его мемуарных статьях — показ Горького не только на широком фоне общественно-политической, культурной жизни России и Европы, но и в самой гуще событий, как участника и делателя их. И потому даже бытовые детали из жизни Горького получают большой общественный резонанс, дополняя характеристику Горького — писателя-революционера и удивительного человека.

И все же некоторые вопросы освещает Десницкий недостаточно полно. Следовало бы, например, расширить характеристику ленинского влияния на Горького и показать это влияние на творчестве Горького, в частности 900-х и 10-х годов. Можно было бы привлечь и использовать письма Горького с замечательными характеристиками Ленина, например письма к В. И. Анучину, в которых Горький говорит о «безоговорочном авторитете» Владимира Ильича и называет его «человеком большого плавания» (письмо от 2/VI 1912, Архив А. М. Горького).

Следовало бы остановиться на поразительном совпадении оценок Ленина и Горького в отношении одних и тех же явлений русской жизни (например, высказывания о Л. Толстом, о мещанстве) как ярком свидетельстве идейного единства вождя пролетариата и пролетарского художника.

Чрезвычайно богата содержанием статья «М. Горький нижегородских лет». Она вводит нас в интереснейший период биографии Горького, знакомит с революционным движением 90-х годов, с деятельностью первых социал-демократических организаций, с бытом рабочих и интеллигенции и с русской литературой.

Из этой статьи и из следующей за ней — «М. Горький на Капри» читатель узнает много нового о личности Горького, о своеобразном горьковском «личном быте», всегда пропитанном идеями общественно-политической жизни страны и подчиненном делам революционной борьбы.

Очень интересно отметить, что «нижегородский патриотизм» Горького, так тепло описанный Десницким в конце статьи «М. Горький нижегородских лет», и «хвастовство» Алексея Максимовича знаменитыми земляками находят свое яркое выражение у Горького и в его неопубликованном плане очерка Нижнего Новгорода для «Истории городов».

«Мало народовольцев и эс-эров, много большевиков, — писал Горький в плане. — Интеллигенты 80—90 годов». Затем в скобках было помечено: «Патриарх Никон, Аввакум, Минин, как нижегородцы, далее: Кулибин, Добролюбов, Балакирев, Мельников и т. д.» (Архив А. М. Горького).

В мемуарных статьях Десницкого следует особо подчеркнуть весьма важную и вместе с тем столь редкую в мемуарах черту — историческую верность и точность сообщаемых

в них многочисленных фактов. Десницкий умеет отделить существенное от несущественного, типичное от случайного.

Основная черта всех статей книги, характерная для В. Десницкого как исследователя, — проблемность и историко-литературная широта в выдвижении тех или иных тем. Так, например, ставя вопрос об историческом значении повести Горького «Мать», В. Десницкий дает широкий охват историко-литературных фактов, явлений общественно-политической жизни и революционной борьбы. Статья о «Матери» была первой научной работой, достойной замечательного произведения. Недаром она сразу прочно вошла в практику высшей и средней школы.

Частный, на первый взгляд, эпизод биографии Горького — несколько встреч и небольшая переписка с П. Ф. Якубовичем — прокомментирован В. Десницким как один из многочисленных и характерных фактов партийной борьбы за Горького. Из статьи «М. Горький и П. Якубович в 1900 году» мы узнаем, как в процессе борьбы Горького с народниками со всей определенностью сказался в Горьком его большевизм.

Статья «М. Горький и Л. Андреев в их переписке» — яркая иллюстрация пролетарского гуманизма Горького, его принципиальности, партийной непримиримости. Одновременно статья содержит в себе оригинальную по форме полумемуарную характеристику Л. Андреева, его идейной позиции, специфики его творчества. С мемуарным характером статьи надо связывать те или иные особенности в освещении и трактовке литературных проблем. Именно благодаря ему литературный портрет Л. Андреева получился несколько импрессионистичным.

Приходится пожалеть, что в поле зрения В. Десницкого не попал целый ряд новых материалов об Андрееве, в частности письма Горького, в особенности к Пятницкому и Ладзжникову, содержащие в себе яркие, развернутые отзывы Горького о личности и творчестве Андреева.

Горький высоко ценил работы В. Десницкого. В одном из писем к И. Груздеву по поводу журнала «Литературная учеба» Горький писал:

«Ценные статьи: Десницкого, смотр литкружков и о Мериме». (Архив А. М. Горького).

Одобрение Горького относилось к статьям В. Десницкого об автобиографических повестях «Детство» и «В людях».

К сожалению, статья В. Десницкого об автобиографических повестях Горького включена в книгу без дополнений, желательных именно теперь, когда учтен и частично переиздан целый ряд ранних, забытых рассказов Горького о детстве. Очень жаль, что в статье о «Детстве» Десницкий не расширил круга рассматриваемых им художественно-автобиографических произведений писателей XIX века включением семейной хроники Щедрина и повестей и рассказов шестидесятников — Воронова и Левитова.

Написание статьи о «Российском Жан-Вальжане» как бы завещано В. Десницкому М. Горьким. «Возьми, посмотри когда-нибудь.

Может быть, что и сделаешь из этого» — сказал Алексей Максимович, передавая Десницкому пакет с материалами о беглом каторжнике. По всем данным, в «Российском Жан-Вальжане» Горький хотел реализовать занимавшую его тему о сектантах-«правдоискателях», о «бродячей Руси». Эта тема настойчиво намечается им в планах замышляемых произведений, начиная с 1900 г. Отголоски этой темы есть в «Исповеди». Интересный материал о «Российском Жан-Вальжане» давал Горькому возможность по-настоящему «осудить» российский «пелигринаж».

В. Десницкий правильно отвечает на вопрос, почему Горький оставил свой замысел неосуществленным. Пьесой «Старик», в которой нашел свое отражение мотив о добродетельном каторжнике, Горький уже осветил тему «Российского Жан-Вальжана», а оставшийся материал о сектанстве, накопленный в связи с этой темой, был затем широко использован в «Жизни Климса Самгина».

Выдвижением новых интересных историко-литературных вопросов отличается последняя статья книги — «М. Горький в истории русской литературы». В ней впервые так широко поставлен вопрос о Горьком и литературных традициях XIX века: Горький — продолжатель лучших из этих традиций, он — законный наследник зачинателей национальной русской литературы от Ломоносова и Пушкина. Не менее важна и другая проблема — о литературной самостоятельности, самобытности раннего Горького, об отсутствии у него так называемого периода ученичества.

Принципиально проблемный характер этой статьи открывает самые широкие возможности для дискуссии, для возражений и замечаний. Я ограничусь только некоторыми соображениями. Спорным, на мой взгляд, является вопрос о творческих взаимоотношениях Горького и Чехова. Десницкий сводит его только к технической учебе Горького у Чехова. Не вдаваясь в дискуссию, заметим, что дело здесь значительно сложнее и глубже. То же самое надо сказать и в отношении Горького и Короленко. В «отталкивании» Горького от Короленко, о котором говорится в статье, следует видеть и «приятие» чего-то от Короленко. Так, например, горьковские образы Кирилки, Ваньки Мазина (из одноименных рассказов), Осипа из «Ледохода», несомненно, вызваны к жизни образом Тюлина у Короленко. Десницкий настоятельно сближает Горького с Помяловским, но, по-моему, несправедливо забывает о Левитове. При изучении Горького — бытописателя российской провинции Левитов должен занять свое место. Можно было бы расширить связи и точки соприкосновения Горького и Салтыкова. Очень жаль, что в статье выяснение литературных связей Горького ограничивается XIX веком и не затрагивает русской литературы XX века.

Книга написана простым, эмоциональным, с большой долей лиризма и образности языком.

Помещенные в книге впервые публикуемые снимки с фотографий Горького гармонируют с ее содержанием.

С. Касторский

Н. Белкина, „В творческой лаборатории М. Горького“. „Советский писатель“, М. 1940

В советском литературоведении имеется немало специальных работ по творческой истории отдельных произведений Горького. Но еще не было обобщенной характеристики приемов и процессов его творческой работы. Тем самым определяется своевременность и актуальность темы, поставленной в книге Н. Белкиной.

Интерес к книге усиливается еще тем, что в Архиве А. М. Горького в Москве собран богатейший рукописный материал, позволяющий документировать исследование творческой лаборатории писателя с недоступной прежде полнотой и точностью. Материалами Архива могла широко пользоваться Н. Белкина.

Свое изложение автор задумал так, чтобы ясными стали принципы работы Горького над образами, замыслом, сюжетом, историческим материалом, наконец, языком». Следует признать правильным такое задание. Однако осуществление его оказалось неудачным и, в последнем счете, бесплодным.

Неприятное впечатление производит систематическое замалчивание Н. Белкиной работ ее предшественников. У несведущего читателя может возникнуть мысль, что до нее никто и никогда не занимался изучением творческой лаборатории Горького. Но это совершенно неверно.

Многие произведения Горького (и среди них как раз те, какие обзрывает Н. Белкина) уже изучались в их творческой истории. Напомню давнюю работу П. Беркова: «Максим Горький как редактор своих ранних произведений» («Макар Чудра» и «Старуха Изергиль») в сборнике «Работа классиков над прозой» (Л., 1929). Над творческой историей «Челкаша» работал Н. Бродский; в 1940 году он подвел итоги этим работам в большой статье («Горьковские чтения», т. I). О переработках Горьким текстов своих ранних произведений писали еще А. Елисеев («Натиск», 1934, № 1), Ф. Усвяцева («Ученые записки Гос. пед. института им. Покровского», вып. I, 1939). Творческую историю рассказа «Мордовка» изложил В. Гиппиус в сборнике «М. Горький. Материалы и исследования» (т. I, Л. 1934). Работы о «Весенних мелодиях» и стихотворении «Милый мой идет среди пустыни» (в «Детях солнца») Н. Морачевского и Б. Городецкого опубликованы в том же сборнике. Изучению творческой истории пьес Горького посвящены исследования С. Балухатого (сборник «Поэтика», вып. V, 1929, и названный сборник 1934 года). Самой обширной из работ данной категории является книга С. Касторского: «Мать» М. Горького. Творческая история повести» (Л. 1940).

Н. Белкина, конечно, знала эти работы и, конечно, ими пользовалась, но могла не пользоваться. Но в книге своей ни разу их не назвала, хотя в них читатель нашел бы многое, сказанное полнее и лучше, чем у Н. Белкиной. Кстати, в перечисленных работах нередко даются снимки с рукописей и печатных текстов, правленных рукой Горького (чего нет в книге Н. Белкиной), и эти снимки дают бо-

лее наглядное представление о творческой работе писателя, чем транскрипция или дробные выборки.

Справка о вышеназванных работах обнаруживает и еще один крупный пробел в работе Белкиной. Для характеристики творческой лаборатории Горького она берет только прозаические, повествовательные произведения. Но ведь Горький написал свыше двадцати пьес и около ста пятидесяти стихотворений. Драматургический и поэтический стили Горького обладают особенностями, которые остались никак не охарактеризованными в книге Н. Белкиной.

Из других жанров взят только очерк; он представлен «Девятым января». Но совершенно отсутствует такой жанр, как портрет-характеристика, хотя Горький и здесь является замечательным мастером, автором прославленных характеристик В. И. Ленина и Л. Н. Толстого.

В предисловии автор достаточно четко ставит задачи типологических характеристик творческих работ Горького над языком, образом, сюжетом, историческим материалом, с привлечением данных из contemporaneous переработок (редакций и вариантов) текстов. Но в самой книге Н. Белкина не всегда следует этому заданию и вместо точных стилистических, эйдологических, композиционных анализов нередко предается ненужному рассуждательству.

Особенно это заметно в статье о «Деле Артамоновых». Здесь мы узнаем, что «Илья любит Баймакову. Он очень силен волей, и потому ему безразличны сплетни, которые поднимают досужие кумушки, осуждающие греховное чувство Артамонова к Баймаковой». А с другой стороны, «Ульяна Баймакова — это сильная, красивая, властная женщина, которая подпадает под влияние Ильи Артамонова как человека, еще более сильного, чем она». Но «Илья Артамонов как будто уносит с собой остаток ее молодости, всю ее нравственную и физическую силу». В результате: «Баймакова уже поседела, появилась усталость в голосе, завяла Ульяна, состарилась одряхлела, у нее распухли ноги» и т. д. Как видим, нехорошо получилось — не только для Ульяны, но и для читателей: вместо анализа творческих приемов писателя нам преподносятся наивные пересказы содержания общеизвестного текста.

Немало таких рассуждений и в главе о «Фоме Гордееве». Там, например, о страннике Мироне Н. Белкина начинает рассуждать: «Действительно ли жизнь странника так чиста и хороша? Действительно ли сам странник — носитель идей бога на земле?» Поставив вопрос ребром, Н. Белкина твердо отвечает: «Конечно, нет. Странничество есть некоторое успокоение, но не разрешение жесткости жизни. Уйти от зла — не значит его уничтожить», и т. д. Невозможно спорить против такой железной логики. Только не нужны эти афоризмы для анализа «сюжета и образа» в «Фоме Гордееве».

Вот Н. Белкина ставит задачу проследить работу Горького над художественным языком. Для этого она выбирает ранние рассказы Горького, не все, разумеется, а всего-навсего два: «Челкаш» и «Коновалов». Почему только ранние? Разве в позднейших произведениях Горький уже не перерабатывал язык? И почему только два рассказа и именно «Чел-

каш» и «Коновалов»? Такого материала явно недостаточно, и сама же Н. Белкина вынуждена добавить «работу над языком» в главе о «Фоме Гордееве» и в главе о «Матери». Впрочем, и в главе о языке говорится — неожиданно для читателя — не только о языке, но и о других элементах. Так, для «Челкаша» даны примеры «портретных исправлений», «работы над пейзажем». Зато обещанная в заглавии первой статьи разработка композиции так и не осуществлена.

Анализ языка ведется неумело. Для характеристики разных групп языковых переработок предлагаются неуклюжие, неточные формулы: «смягчение изменений преврежденности», «облегчение тяжеловесных оборотов и укорачивание фразы», «разряжение (?) эпитетов».

Не получает читатель удовлетворения и от разработки темы о «художественном замысле». Для этой темы следовало бы взять произведение обширное, сложное, зрелое, имевшее длительную творческую историю. Таков, например, роман «Жизнь Клима Самгина». Н. Белкина предпочла взять «Валашскую сказку», маленькое раннее произведение, дошедшее до нас только в газетном тексте 1895 года. В тексте неисправном, искаженном в наборе (рукописей не сохранилось). Ясно, что продемонстрировать на «Валашской сказке» возникновение, развитие и завершение «художественного замысла» у Горького невозможно, — материал недостаточен.

А тут еще получилась неприятная путаница. Взявшись показать читателю «эволюцию художественного замысла» на примере «Валашской сказки», Белкина подменила целое произведение отдельным его эпизодом, «Валашскую сказку» — «Легендой о Марко». Никогда не перепечатавая целиком «Валашской сказки», Горький, однако, выпустил отдельным изданием «Легенду о Марко». Это было естественно сделать, так как легенда является вставной песней, не связанной с основным сюжетом. В отдельном издании Горький добавил новую концовку — известное четверостишие: «А вы на земле проживете, как черви слепые живут...» и т. д. Концовка изменила, осложнила «замысел» легенды. Но такое изменение создано внутри легенды, выделенной в особое издание. Сказка же осталась неизменной. А. Н. Белкина уверяет, будто «трогательная сказка о маленькой фее переросла в легенду о сильном человеке, мужественном, непоколебимом в своих чувствах», и заключает: «такова эволюция произведения».

Поразительно, как превратно истолковывает Белкина «замысел» (вернее — смысл) «Валашской сказки»! «Если, — пишет она, — все симпатии читателя сказки были на стороне маленькой феи, умершей от любви, то из легенды поднимается Человек, о котором сложилось предание, осталась песня». Фея в сказке охарактеризована поэтом сочувственно. Но симпатии автора на стороне Чабана, воспевающего «силу и свободу»; «в груди его все горело это могучее, смелое, что позволяло ему одному стоять грудью к грозе и не бояться»; для него «несовместимы свобода и любовь». Путая фею сказки с феей легенды, Н. Белкина уверяет, будто «писателя уже не волнует печальная судьба маленькой феи, она — только фея, она бездушна, она равно-

душна к страданиям человека». Но М. Горький никак не считает фею бездушной и равнодушной. Ее гибель описана с большой теплотой, а предсмертная речь ее полна фило-софских рассуждений о природе, судьбе, смерти, свободе, необходимости.

В книге допущена и текстологическая путаница. Н. Белкина уверяет, будто в «Самарской газете» (№ 100, 1895) было напечатано:

Купается фея в Дунае,
Как раньше до Марко купалась,
А Марко уж нет. Но о нем
Хоть песня вот эта осталась.

Однако в «Самарской газете» напечатано иначе:

А Марка уже нету! От Марка
Лишь песня вот эта осталась!

В статье о работе Горького над романом «Мать» Н. Белкина ставила существенную задачу — показать, как писатель обрабатывает исторические материалы и документы, претворяя их в художественные образы.

Правда, после обширного исследования С. Касторского о «Матери» трудно сказать что-нибудь новое. Но вот Касторский оставил неразработанным вопрос о претворении подлинной речи на суде Петра Заломова в речь Павла Власова. Речь П. А. Заломова дошла до нас в печати в разногласящих записях. Сам П. А. Заломов мог бы помочь исследователю установить максимально полный и точный текст. Важно определить, от какого именно текста речи Заломова отправлялся Горький в своих творческих обработках речи Павла.

Сама Н. Белкина понимает всю важность и показательность такого сравнительного анализа для изучения «творческой лаборатории» писателя. Она пишет: «В речах подсудимых сормовцев — участников первомайской демонстрации 1902 года — и прежде всего Петра Заломова мы опять встречаемся с фактами живой действительности, которая вошла в роман». Читатель ждет тщательного сопоставления двух речей, но получает только короткую, невнятную отписку: «Речь Петра Заломова, как и всех остальных участников, — значительно беднее по содержанию речи Павла Власова». Зато — неожиданно — вновь предлагаются таблицы «исправлений к роману», несколько не относящихся к «историческим материалам» и вновь возвращающих нас к «снятию эпитетов и метафор», к «устранению излишней приподнятости стиля», то есть к работе над языком (чему место не здесь, а в главе первой).

В повесть «Фома Гордеев» Горький внес около трех тысяч исправлений, в роман «Мать» — свыше двух тысяч. «Мать» имеет шесть редакций. По несколько редакций насчитывают и для других произведений. Для маленького рассказа «Челкаш» Н. Белкина набрала 21 исправление «преувеличенности», 59 исправлений «уточнения смысла». При таком изобилии фактов немудрено сделать интересные наблюдения. И они имеются в работе Н. Белкиной. Ценно наблюдение, что «Горький тщательно вычеркивал оценки, идущие от автора, предпочитая, чтобы читатель делал выводы сам». Удачно и убедительно сближены описаний грозы в «Валашской сказке» и в «Песне о Буревестнике». Наглядно показана борьба Горького с длиннотами, с излиш-

ней приподнятостью стиля. Есть существенные для выяснения хода идейных исканий писателя данные о переработке крупных образов-персонажей.

К сожалению, таких положительных черт немного. Они тонут в массе недостатков, больших и малых.

Рассказывая о работах Горького над произведениями, Н. Белкина ставила задачи не только исследовательские, но и дидактические: «Всему этому должен учиться у Горького молодой писатель». Но ее работа так механична, так суха, примитивна и мертвенна в своих приемах, отборе и анализе материалов, что способна только отпугнуть молодого писателя.

Н. Пиксаюв

Н. Калинин, „Горький в Казани в 1884—1888 гг.“ (Спутник по горьковским местам). Татиздат, Казань, 1940

Подзаголовок книжки определяет ее как краеведную и уясняет ее практическую задачу: помочь экскурсанту в обозрении казанских горьковских мест.

Эту задачу книжка хорошо разрешает. Как местный житель и краевед, Н. Калинин собрал большое количество свежих и точных материалов, разъясняющих внешне обстоятельство казанской жизни Горького во второй половине восьмидесятых годов. Материалы и факты заботливо собраны из архивов, местных газет, показаний казанских старожилов, из напечатанных мемуаров и т. д. Той же цели служат тщательно собранные и недурно воспроизведенные виды старой Казани: Проломной улицы, Марусовки, булочной Деренкова и т. д. Приложен и план города с пометками самого Горького.

Иллюстраций дано много, до тридцати. И среди них есть такие, которые интересны не только для внешней биографии Горького казанского периода, но и для его общественно-политической биографии. Таковы многие из приложенных портретов (часто публикуемые впервые): студента Гурия Плетнева, много способствовавшего революционному росту молодого Горького, Андрея и Марии Деренковых, у коих в «конспиративной» булочной происходили нелегальные сходки и хранилась нелегальная библиотека, и др.

Еще ценнее извлечения из воспоминаний о молодом Горьком, собранных заботливым краеведом в Казани: Д. А. Плетнева, Н. А. Щербатовой, И. Деренкова, А. И. Марусова, И. Н. Садовникова и др. Они дают много свежих, ценных деталей, живо характеризующих молодого Горького и нелегальные казанские кружки.

Неизданные мемуарные материалы дополняются еще неизданными документами, извлеченными Н. Калининным из казанских архивов. А к архивным данным он присоединил сведения из печатных источников. В результате сложилась книжка, получающая уже научную ценность.

Впрочем, автору не удалось до конца пре-

зратить ее в исследование жизни и деятельности А. М. Горького в Казани. Досадно, что даже в пределах популяризации Н. Калинин не излагает всего того, что уже добыто известными биографическими исследованиями. Так, он не говорит о том, какую обширную программу по общественным наукам проходил Горький в нелегальных казанских кружках для самообразования. Не говорится и

о первом знакомстве юноши Горького с подлинной крестьянской жизнью, когда один из его товарищей по хлебопекарне пригласил его однажды в деревню на пасхальные праздники.

Автор обещает издать более обширную книгу на ту же тему. Будем ее ждать.

Н. Пиксанов

ПОРТРЕТ А. М. ГОРЬКОГО РАБОТЫ ЭМИЛЯ ОРЛИКА

Число портретов А. М. Горького, написанных иностранными художниками, довольно значительно. Но, к сожалению, среди них мало удачных вещей. Это объясняется тем, что, за редкими исключениями, иностранные портреты Горького сделаны не с натуры, а по фотографии.

Нам удалось установить, что две зарисовки Горького сделал в 1906 году в Берлине выдающийся немецкий художник Эмиль Орлик. Одна из этих зарисовок, менее значительная, была напечатана в 1913 году в журнале „Licht und Schatten“ (в № 7, посвященном Орлику). В СССР этот набросок Орлика был впервые опубликован нами в журнале «Литературный современник» (1935, № 12), а затем в журнале «30 дней» (1937, № 10). Орлик изобразил Горького сидящим за столом во время работы. Большого сходства в этом портрете нет и не могло быть (писатель изображен сбоку, с опущенной головой), но он ценен как рисунок с натуры, сделанный большим художником.

Недавно удалось обнаружить в немецкой монографии, посвященной рисункам Эмиля Орлика, другой, гораздо более значительный портрет Горького работы Орлика, исполненный в том же 1906 году, который и воспроизводится в настоящем номере «Звезды». Оригинал (находящийся, вероятно, в Германии) исполнен пастелью на желтоватой бумаге. В СССР этот портрет до сих пор ни разу не воспроизводился, между тем он представляет незаурядный художественный интерес и

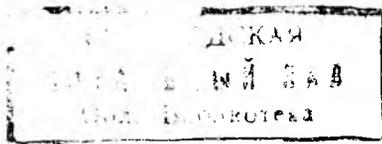
является ценным иконографическим документом.

Эмиль Орлик — один из виднейших западноевропейских графиков, стяжавший репутацию обновителя современной цветной ксилографии. Орлик родился в 1870 году, юность провел в Шарлоттенбурге; затем в 1890-х годах он учился рисунку и живописи в Мюнхене (у Книрра, Линденшмидта и Рааба). В 1900—1901 годах Орлик побывал в Японии, где изучал цветную гравюру на дереве. С 1905 и по 1932 год он состоял профессором в художественно-учебных заведениях Берлина. Художник много путешествовал, посетил в 1911 году Египет, Китай, Корею, Сибирь; в 1924 году был в Северной Америке.

Наряду с гравированием Орлик занимался и автотитографией; немало работал он и в области художественной промышленности. Произведения Эмиля Орлика имеются во многих музеях Западной Европы. В Германии существует обширная литература о его творчестве. Влияние творчества Орлика можно проследить в произведениях ряда более молодых графиков.

Орликовский портрет Горького резко отличается от таких произведений, как рисунки итальянцев Биаци, Майани и др., исполнявших свои рисунки по фотографиям и, естественно, не достигавших ни сходства, ни экспрессии. В рисунке Орлика чувствуется непосредственное восприятие, внимательное наблюдение образа Горького, живая творческая мысль художника.

Э. Голлербах



Ответственный секретарь *Н. В. Лесючевский*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: И. А. ГРУЗДЕВ, В. А. КАВЕРИН, П. О. КАПИЦА,
В. А. ЛАВРЕНЕВ, Н. В. ЛЕСЮЧЕВСКИЙ, М. Л. СЛОНИМСКИЙ, Н. С. ТИХОНОВ

Год издания 18-й Подписано к печати 23/V 1941 г. М53965. Тираж 20000 экз. Авт. л. 25.
Печ. л. 13¼. Тип. знаков на 1 бум. л. 73000. Заказ № 2492.

Набрано и отпечатано в тип. № 2 Управления издательств и полиграфии Исполкома Ленинградского Совета. Ленинград. Социалистическая. 14.

Вологодская областная универсальная научная библиотека

О П Е Ч А Т К И

<i>Стр.</i>	<i>Колонка</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует</i>
18	1	1 св.	«Прощание»	«Прощение»
53	2	18 св.	свернула	свернули
94	1	24 св.	Отефинах	Отефиных
107	2	16 св.	получил	получал
124	1	7 св.	Все жаждут изучить поскорее украинский и рус-	за обучение совсем не знающих. Жалуются, что
137	1	13 св.	комату	комнату
137	2	18 св.	названия	название
148	1	4 св.	писателей	посетителей
151	1	8 св.	стержень	стрежень
165	2	25 св.	хозяйств	хозяйству
177	1	20 св.	«баню ходит» или «кабак» отправляться	«баню ходить» или в «ка- бак отправляться»
185	1	15 св.	пишете	пишете
188	1	24 св.	гениального	гениально
200	1	8 св.	да	за
207	2	4 св.	Немировича-Данченко	Немировичем-Данченко
211	1	15 св.	уже	уж

«Звезда» № 6, 1941.